

ЭКОНОМЕР
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА

Вы знаете все о бизнесе —
о Вас знают все.

ТЕЛЕБИРЖА
Биржевой инвентора
фирмы «Аскад» —
Ваш коммерческий успех!

Вы побываете в Швеции
и Германии
(отсутствие марок и
крон — не-помеха).

**ГОСТИНИЦА
«МОРСКАЯ»**
Здесь вы почувствуете,
что город
на Неве прекрасен,
несмотря ни на что...

ЛЕНИНГРАД
355-47-86

Заказ и подготовка рекламы:
355-47-86, 273-37-24

ИЗВЕСТИЯ

ISSN 0321-1878. Звезда. 1991. № 7. 1—208. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.). Индекс 70327.

Звезда

7
1991

**В КОНЦЕ 1991 И НАЧАЛЕ 1992 ГОДА
«ЗВЕЗДА» НАПЕЧАТАЕТ:**

Повесть «МАСКИРОВКА» Юза Алешковского, одного из оригинальнейших авторов русского зарубежья, до сих пор не печатавшего свою прозу в Советском Союзе.

Роман «ЖИВИ» — последнее произведение автора «Зияющих высот» Александра Зиновьева, едкое, саркастическое повествование о современной жизни.

Роман Альберто Моравия «СКУКА» — анатомия любовной страсти, произведение, прославившее итальянского классика.

Роман Нормана Мейлера «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА» — книга, три последние десятилетия будоражащая умы читателей в США.

Роман Джона Стейнбека «КОРОТКОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПИПИНА IV».

Фрагменты повести философа Алексея Лосева «ТРИО ЧАЙКОВСКОГО».

Фантастический роман Андрея Столярова «МОНАХИ ПОД ЛУНОЙ».

Повести: Владимира Ляленкова «ПОБОЧНЫЕ МЫСЛИ РАЗДЕТОГО ГРАЖДАНИНА», Бориса Носика «БОЛЬШИЕ ПТИЦЫ», Михаила Чулаки «ГАВРИЛИАДА», Марины Рачко «ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ».

Стихи Дмитрия Бобышева, Иосифа Бродского, Глеба Горбовского, Льва Лосева, Олеси Николаевой, Евгения Рейна, Виктора Сосноры, Владимира Уфлянда...

Окончание документальной книги А. Антонова-Овсеевского о Берии «КАРЬЕРА ПАЛАЧА».

Подготовленные Еленой Боннэр интервью А. Д. Сахарова.

Работу Якова Гордина «ДЕЛО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ».

Работу английского философа Бертрانا Рассела «ВЛАСТЬ».

В рубрике «Мемуары XX века»: Василий Яновский «ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ», Борис Вайль «ОСОБО ОПАСНЫЙ», Григорий Подъяпольский «АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ» (с предисловием А. Д. Сахарова).

«ЭТЮДЫ О ЛЮБВИ» испанского философа Ортеги-и-Гасета.

Сара Кульнева «СОРЕЛЭ» (трагические страницы из жизни актеров театра Михозлса).

Статьи Бориса Парамонова в рубрике «Философский комментарий».

Статьи Петра Вайля и Александра Гениса в рубрике «Уроки изящной словесности».

Из литературного наследия впервые будут опубликованы:

Дневники Дмитрия Философова, письма Сергея Эфрона к Максимилиану Волошину, работа Аркадия Белинкова «ПОЧЕМУ И КАК БЫЛ ОПУБЛИКОВАН «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»».

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ



Звезда

7
июль
1991

ЛЕНИНГРАД

■ ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

Журнал «Звезда» сердечно благодарит организации и отдельных читателей, поддерживающих свое издание. На наш расчетный счет № 14000608435 в Дзержинском отделении ЖСБ Ленинградской городской конторы Госбанка, МФО 171047 прислали пожертвования:

Отделение «Инженерная экология» фонда УЭНДИСИ при АН СССР — 1000 руб.

Ф. С. Сачук, г. Белгород-Днестровский Одесской обл. — 10 руб.

А. М. Бычков, г. Воркута — 10 руб.

Г. П. Зуев, пос. Актас-1 Карагандинской обл. — 10 руб.

Учредитель: Союз писателей СССР

Издатель: редакция журнала «Звезда»

Главный редактор Г. Ф. НИКОЛАЕВ

Редакционная коллегия:

А. Ю. АРЬЕВ (зам. главного редактора), Л. Э. ВАРУСТИН, Я. А. ГОРДИЦ, В. С. ДЯКИН, В. В. КАВТОРИН (первый зам. главного редактора), Ю. Ф. КАРЯКИН, В. Н. КУЗНЕЦОВ, И. С. КУЗЬМИЧЕВ, А. С. КУШНЕР, Н. К. НЕУЙМИНА, А. А. НИНОВ, М. М. ПАНИН, Н. Н. СКАТОВ, Б. Н. СТРУГАЦКИЙ, С. С. ТХОРЖЕВСКИЙ, А. А. ФУРСЕНКО, Б. И. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, М. М. ЧУЛАКИ

Зам. главного редактора по производству В. В. РОГУШИНА

Ответственный секретарь А. С. ЩЕГЛОВ

Корректоры: О. А. Назарова, Л. А. Привалова

Технический редактор В. Т. Молоткова

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместители главного редактора 273-52-56, 273-74-91, 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Сдано в набор 21.03.91. Подписано к печати 20.05.91. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага тнп. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,9 усл. кр.-отт. 25,45 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ № 776. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.).

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.

197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.

© «Звезда», 1991

Евгений
Рейн

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Памяти Михаила Алексеевича Кузмина

1

Много ты просил у Бога,
или так... чего-нибудь?
Хорошо бы для итога
в эту дверцу заглянуть.
Там светло, там свежий сумрак,
там неприбранный простор,
там датчанин или турок
произносит «Never more».
Все, что было,— это было
и пропало невзначай.

Расскажу тебе, пожалуй,
коль пожалуешь на чай.
Только не смотри угрюмо
в эту дверцу, в эту щель.
Мы глядим туда отсюда,
ну, а Он глядит в прицел.
Кипяток кипит бурливо,
ты меня не огорчай.
Все, что было,— это было
и пропало невзначай.

2

Широк Техас, игрок Техас:
ковбой, Кеннеди, нефть!
И если удача — она у вас,
а если уж нет — так нет.
За ним мелочуга всех Аризон
и конфедератский флаг,
а на дорогах под горизонт —
«ролс-ройс», «BMW», «кадиллак».
Приехал, и все хорошо, о'кей,
сто тысяч — чудо-оклад.
А но «week end'am» спешит «free way»
в Мексику и назад.
На дальнем ранчо кипит бассейн,
и он сидит без штанов,
и вносят под полотняную сень
виски, джин и «Смирнофф».
Жена сияет, дети кричат:
«брасс, кроль, баттерфляй».

Развеется шашлычный чад,
«бай-бай», что значит «прощай».
Бегут года, он здоров и цел,
и в доме простор зверью.
«Эссо», «Эксон», а также «Шелл»
берут у него интервью.
Но все скучнее горят глазки
на кухне в двадцать машин,
и все жирнее летят куски
друзьям, не достигшим вершин.
А он возглавляет разведотряд
и вышки ставит повсюду.
И все щедрее куски летят
в Петроград и Москву.
Несносны семейные голоса,
жара приходит, пыля.
И в черную пятницу в два часа —
тоска, гараж и петля...

Евгений Борисович Рейн (род. в 1935 г.) — поэт. Автор книг «Имена мостов» (1984), «Береговая полоса» (1989), «Темнота зеркал» (1990), «Непоправимый день» (1991). Живет в Москве.

Мы жили на одном перекрестке
улицы Троицкой в Петрограде.
Раза два-три-четыре в неделю
он заходил ко мне,
чаще всего утром,
прогуливая фокстерьера Глашу.
Стертые дерюжные брюки,
какая-то блуза из Парижа,
солдатские ботинки.
У меня часто бывало пиво —
сидели, сидели.
Но пиво было ему не по нраву,
он предпочитал грубые, тяжелые вина
«Солнцедар», «Агдам», «Три семерки».
Говорили, говорили, говорили.
Тогда он говорил лучше, чем записывал.
А потом писал лучше, чем говорил.
Но больше всего — больше «Агдама» и
«Трех семерок», больше острот своих,
которые уже тогда повторяли,
он любил американскую прозу.
Хемингуэй, Дос-Пасос, Том Вулф,

Фолкнер, Воннегут, Джон Чивер...
Тут его сбить было невозможно.
Жили мы вместе в Эстонии,
жили в заповеднике Святогорском.
Рассыпали книгу его рассказов,
рассказов, ради которых он так
полюбил американскую прозу.
И тогда он уехал. Правильно сделал.
«Правильно сделал, правильно сделал», —
все повторяло литературное зхо.
И долго, долго не было вести.
А потом пришли американские журналы,
где в переводе на американский, там же,
где когда-то Хемингуэй, Дос-Пасос,
Том Вулф,
Фолкнер, Воннегут и Джон Чивер, —
были напечатаны его рассказы.
Десять лет, десять лет только
не было его на Троицкой и в Святогорье.
Теперь уже не прилетит на «Рапак»,
не доберется даже Азрофлотом.
Неужели никогда-никогда больше?

«Как представляешь ты кружение,
Полоску ранней седины?
Как представляешь ты крушение
И смерть в дороге без жены?»

Е. Р. 1959

На Каменноостровском среди модерна Шехтеля,
за вычурным мосточком изображал ты лектора.
Рассказывал, рассказывал, раскуривал свой «Данхилл»,
а ветер шпиль раскачивал, дремал за тучей ангел.
Ты говорил мне истово о Риме и Флоренции,
но нету проще истины — стою я у поленицы,
у голубого домика, у серого сарайчика
и помню только рослого породистого мальчика.
А не тебя, плечистого, седого, знаменитого...
Ты говорил мне истово, но нет тебя, убитого,
среди шоссейной заверти, меж «поршем» и «тоётою»,
и не хватает памяти...

Я больше не работаю
жрецом и предсказателем, гадалкой и отгадчиком...
Но вижу обязательно тебя тем самым мальчиком.
Ты помнишь, тридцать лет назад в одном стихотворении
я предсказал и дом, и сад, и этих туч парение,
я предсказал крушение среди Европы бешевой
и головокружение от этой жизни смешанной.
Прости мое безумие, прости мое пророчество,
пройди со мной до берега по этой самой рошце,
ведь было это названо, забыто и заброшено,
но было слово сказано, и значит, значит... Боже мой!
Когда с тобой увидимся и табаком поделимся...
Не может быть, не может быть, но все же понадемся.

СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

П о в е с т ь

Посвящается М. Эфросу

Это ведь родина. Что же ты плачешь, дурак!..
Д. Б о б ы ш е в

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ужасные новости

I

Марья Сидоровна Тютина по обыкновению встала в восемь, позавтракала геркулесовой кашей, вымыла посуду за собой и мужем и отправилась в угловой «низок», где накануне определенно обещали с утра давать тресковое филе.

Марья Сидоровна заранее чек выбивать не стала, а заняла очередь в отдел, чтобы сперва взвесить. Отстояв полдня, уж полчасика всяко, она оказалась наконец у прилавка, и тут эта ей сказала, что без чеков не отпускаем. Марья Сидоровна убедительно просила все же взвесить полкило для больного, потому что она здесь с утра занимала, а к кассе полно народу, но продавщица даже не стала разговаривать, взяла чек у мужчины и повернулась задом. Из очереди на Марью Сидоровну закричали, чтоб не задерживала — всем на работу, и тогда она пошла к кассе, сказала, что ей только доплатить, и выбила семьдесят копеек. Но к прилавку ее, несмотря на чек, не пропустили, потому что ее очередь уже прошла, а филе идет к концу.

Когда Марья Сидоровна сказала, что она здесь стояла, то одна заявила, что лично она никого не видела. Бывают же люди на свете! Марья Сидоровна связываться не стала, а пошла в хвост очереди и отстояла еще двадцать минут, а за три человека до нее треска кончилась.

II

Петр Васильевич Тютин, муж Марьи Сидоровны, пенсионер, любит читать газеты и общественно-политические журналы, потому что он ветеран и член партийного бюро ЖЭКа. Выходя в среду утром из дому, он взял с собой мелкие деньги в сумме, требуемой для покупки «Недели» и «Крокодила», плюс две копейки, чтобы позвонить в квартирную помощь и вызвать врача к жене, забо-

Нина Семеновна Катерли — прозаик, член СП СССР. Автор книг «Окно» (1981), «Цветные открытки» (1986), «Курзал» (1990). Живет в Ленинграде.

левшей нервным расстройством от вчерашнего. В телефонной будке Петр Васильевич частично по рассеянности, а отчасти в расстройстве бросил в щель таксофона вместо двух копеек гривенник. В поликлинике ему грубо сказали, что невропатологи на дом не ходят, а к старше шестидесяти — так уж просто смешно, хоть стой, хоть падай, а когда Петр Васильевич потом пришел к газетному ларьку, то ему, естественно, не хватило восьми копеек, и пришлось остаться без «Крокодила».

III

Тютинна Анна после окончания восьмилетки прошла по конкурсу в газотопливный техникум, где на танцах познакомилась с волосатым Андреем, сыном профессора из интеллигентной семьи. Непонятно, кстати, что это такое за интеллигенты в кавычках, если сыновья у них не могут постричься, как люди, а ходят похожие на первобытного человека.

На последнем курсе Анна с Андреем поженились, после чего он пошел учиться дальше, в Технологический институт, к папе, Анна же вынуждена была работать по распределению на абразивном заводе в три смены, чтобы содержать семью, а стипендии охломон не получал из-за успеваемости, которая, несмотря на блат, была намного ниже средней.

Родители Анны, Петр Васильевич и Марья Сидоровна, в качестве пенсионеров не могли все время помогать молодым материально, а отец Андрея оказался подлецом и, будучи профессором химии, не давал сыну ни копейки якобы из принципа — раз женился, потрудись сам себя содержать, а на самом-то деле потому, что ненавидел невестку, считая ее и ее родителей ниже себя. И, наверное, имел две семьи, как они все.

Закончив институт, Андрей при помощи отца все же устроился в аспирантуру, а Анна продолжала ломить сменным мастером термического цеха, имея к этому времени уже двух детей от трех до пяти лет.

Еще через четыре года Андрей защитил кандидатскую и стал получать двести пятьдесят рублей в месяц, у Анны же как раз в это время от недоедания и перов открылся миокардит, и тут случайно выяснилось, что этот мерзавец встречается с другой женщиной, аферисткой и «сотрудницей отца», то есть дочерью другого богатого профессора, такого же прохиндея, как они все.

Марья Сидоровна и Петр Васильевич имели все основания обратиться к руководству, чтобы сохранить семью, но у них-то блата нигде не было, и они посчитали это ниже достоинства. Теперь Андрей живет в новой квартире на Тишанова с новой бабой, похожей на селедку в шубе, оба профессора сами не свои от радости, а, между прочим, кандидатского жалованья ему бы сроду не видать, если бы Анна не отдала за это всю свою молодость и здоровье.

Сама Анна, оставшись с миокардитом и двумя детьми, теперь правильно думает, что, как говорят родители, лучше вырастить детей одной, чем жить с подлецом, недалеко укатившимся от своей яблони.

IV

Антонина Бодрова, соседка Тютинных по дому, сказала своему Анатолию, что если он с ней зарегистрируется, то она пропишет его постоянно к себе на 18 метров. Анатолий на это ей возразил, что поскольку она старше его на четырнадцать лет, то он поставит свои условия, а именно, что сына Антонины Валерика он кормить не собирается и считает ублюдком с еврейской кровью.

Антонина давно догадывалась, что Валерик, возможно, родился у нее от заведующего винным отделом Марка Ильича, но уверена не была, а уточнить не могла, так как Марк Ильич отбывал срок в колонии усиленного режима за растрату и дачу взятки должностному лицу.

Лично сама Антонина к Валерику ничего не имела — ребенок не виноват, хотя цвет глаз и нос ребенка намекали на его происхождение. Под давлением Анатолия Антонина пообещала устроить Валерика в круглосуточный садик, но

вскоре Анатолий раздумал, согласия на это не дал и сказал, что детский дом — это его последнее слово как гражданина и патриота своей страны.

Антонина трижды обращалась в райисполком и различные комиссии по делам несовершеннолетних, но ей везде указали, что это ни на что не похоже, когда мать так поступает. Антонина сутки плакала и побила Валерика, а Анатолий велел ей поторапливаться с решением вопроса и пригрозил, что его обещала прописать дворник Полина, женщина хоть и совсем в летах, но полная и безо всякого потомства.

Тогда Антонина выпила натошак «маленькую», отвела Валерика на Московский вокзал, взяла ему детский билет в один конец — до Любани, посадила в электричку, купила эскимо и сказала, что в Любани его встретит бабушка Евдокия Григорьевна.

Мальчик поверил родному человеку, хотя и помнил, что бабушка в прошлом году умерла в Ленинграде от паралича и лежит на кладбище, где растут цветы.

Когда поезд с Валериком ушел, Антонина вернулась домой и сказала Анатолию, что можно идти в загс. Они выпили пол-литра и еще «маленькую» за все хорошее, легли на тахту и уснули в обнимку, а Валерик в это время плакал в детской комнате милиции в Любани и никак не мог вспомнить свой домашний адрес, а только говорил, что ехал к бабушке, которая закопана в земле.

К вечеру следующего дня, а это был четверг, ребенок был все же доставлен к матери сержантом линейной милиции, но Антонина, находясь в нетрезвом состоянии, заявила, что видит этого жиденка в первый и последний раз, в то время как Валерик протягивал к ней худенькие ручки и кричал: «Мама! Мама! Это же я!»

Присутствовавший при этом Анатолий плюнул на пол, обозвал Антонину сукой и ушел навсегда к дворничихе Полине на ее четырнадцать метров.

По приказу милиции Антопина вынуждена была принять Валерика. Весь дом ее осуждает, а Тютинны даже с ней не здороваются, причем Марья Сидоровна при всех сказала, что когда ребенок вырастет и поймет, он не простит.

V

Наталья Ивановна Копейкина вырастила сына одна. Являясь медсестрой, всю жизнь она работала на полторы ставки и часто брала за отпуск деньгами, чтобы у мальчика все было не хуже, чем у других детей, которые растут в благополучных семьях с отцами.

Таким образом, Наталья Ивановна себе во всем отказывала, десять лет ходила в одном пальто, и к сорока годам ей давали за пятьдесят и называли на улице «мамашей». Сына же звали Олегом, и когда он вырос, то получил образование и хорошую специальность шофера такси. Одевался Олег Копейкин всегда во все импортное, и однажды Наталья Ивановна заметила, что сын как будто стесняется матери. Например, когда она попросила Олега сходить с ней в овощной за капустой для квашения, он сказал: я и один могу сходить. А в другой раз посмотрел на ее пальтишко и говорит: «Ты в этом балахоне на чудище огородное похожа, не следишь за собой, даже люди смеются».

Наталья Ивановна, услышав про людей, так сразу и поняла, что сына ее забрала в руки какая-нибудь. И, действительно, буквально через два дня зашла соседка Тютинна из восьмого номера и рассказала, что видела Олега около кинотеатра «Искра» с девицей в такой юбчонке, что ни стыда ни совести — все наружу.

Наталья Ивановна в тот же вечер строго предупредила сына, что не допустит его встречаться с женщинами легкого поведения, что или мать — или эта. Но для него, видно, мать была хуже не знаю кого, и он на ее слова закричал, что в таком случае уходит из дому, сложил свои вещи в два чемодана и рюкзак, сказал, что за проигрывателем и пластинками зайдет завтра, и ушел, а наутро явился вместе со своей простигосподи и, даже не поздоровавшись, сказал, чтобы Наталья Ивановна дала согласие на размен площади, не то он подаст на принудительный раздел ордера по суду.

Наталья Ивановна заплакала и напомнила сыну, что растила его без отца, ничего не жалела, что пусть они с лахудрой сдадут ее лучше в дом хроников, а себе забирают всю комнату с обстановкой. Олег на это взял проигрыватель и пошел к дверям, а своей сказал, что с Натальей Ивановной хорошо вместе только дерьмо есть. Тогда Наталья Ивановна разнервничалась, подбежала и плюнула потаскухе прямо в намалеванные глаза, та разревелась, села у дверей на табурет и велела Олегу убираться на четыре стороны, потому что ей не нужен мужчина, у которого мать плюется и обзывается, и что, кто предал мать, тот и с женой не считается.

Теперь эта девушка, ее зовут Людмилой, и Наталья Ивановна лежат в одной палате в больнице Коняшина. У Натальи Ивановны травма черепа, а у Людмилы сломана ключица и укус плеча.

VI

Почему-то в семнадцатой квартире на четвертом этаже, как раз над Тютиными, всегда живут нерусские жильцы. Конечно, евреи евреям рознь, есть люди, а есть, с позволения сказать... вроде Фрейдкиных, которые предали Родину, уехали за легкой наживой в государство Израиль. Говорили, что эти Фрейдкины вывезли десять килограммов чистого золота, и это вполне похоже, иначе зачем бы они потащили с собой своего облезлого кота Феньку. Антонина Бодрова, хоть и сволочная баба, правдоподобно сказала, что кота небось полгода перед отъездом силком заставляли глотать золотые царские монеты, а потом повезли, изображая, будто они такие любители живой природы.

Черт с ними, с Фрейдкиными, зато семья Кац, которую почему-то поселили в их квартиру, очень умные и культурные люди. Особенно сам Кац, Лазарь Моисеевич, кандидат технических наук. Да и жена его Фира, зубной врач-техник, — очень приличная женщина, не говоря уж о матери, Розе Львовне, которая после того, как потеряла на войне мужа, сумела воспитать сына, получить хорошую пенсию и до сих пор работает в библиотеке.

Жизнь складывается у разных людей по-разному. Взять двух женщин — Наталья Ивановна, кажется, ничем не хуже Розы Львовны, а вот почему-то одной повезло с сыном, а про другую говорить — только расстраиваться. Видно и правда: евреи — и сыновья, и мужья хорошие, всё — в дом.

После Фрейдкиных семье Кац пришлось вынести горы грязи и сделать дезинфекцию — клопов те в Израиль почему-то не взяли, наверное, там и своих достаточно.

А через неделю после дезинфекции Лазарь Моисеевич мыл во дворе свою машину «Жигули» и вдруг обратил внимание, что на скамейке сидит и смотрит на него оборванный и грязный старик с очень знакомой внешностью. Лазарь Моисеевич, не прекращая мыть, стал вспоминать, где же он встречал этого старика, но не вспомнил, а старик тем временем встал со скамейки, подошел к нему и спросил: «Это ваша машина?» Лазарь Моисеевич подтвердил, что да, но спросил, в чем дело. Тогда старик разрыдался, как ребенок, вытащил из кармана замызганный бессрочный паспорт и показал, что он как раз Кац Моисей Гиршевич, 1901 года рождения, по национальности еврей, то есть родной отец Лазаря Моисеевича, якобы погибший во время войны. Правда, как потом выяснилось, «похоронки» Роза Львовна не получила, а значит, не имела никогда никакой помощи на сына. Есть такие бестолковые женщины. Лазарь всем говорил, будто еще в детстве видел письмо фронтового друга отца, где сообщалось, что рядовой Моисей Кац героически пал смертью храбрых, что буквально на глазах этого друга бесстрашного Моисея разорвало вражеским снарядом на куски и, так как вместе с ним, скорее всего, разорвало и его документы, вдове нет смысла наводить справки. Естественно, Лазарь Моисеевич всегда считал отца погибшим и только теперь, через тридцать с лишним лет, вдруг узнает: оказывается, Моисей жив и здоров и вспомнил, что у него есть сын, как две капли, кстати сказать, на него похожий. Старик собрался было броситься Лазарю на шею, но тот аккуратно отстранил его и отвернулся, хотя надо было не отворачиваться, а задать вопрос: «А где вы были, так называемый папа, когда мы с матерью сидели в Горь-

ком, в эвакуации, в качестве семьи без вести пропавшего? И где вы были потом, когда мать выбивалась из сил, чтобы дать мне высшее образование? А теперь, когда я стал человеком, вы являетесь и протягиваете мне документ. Вы мне не отец, я вам — не сын, и, кроме матери, у меня нет и не будет никаких родителей».

И хотя Лазарь по бесхарактерности ничего этого старику, к сожалению, не сказал, тот все равно зарыдал еще громче и попросил, раз уж так получилось, дать ему три рубля на дорогу не то в Шапки, не то в Тосно, где он живет с детьми от второго брака, а у них зимой снегу не выпросишь. Лазарь Моисеевич дал ему два рубля, хотя по роже старика было ясно, что он тут же их пропьет, и намеревался забыть дорогу к этому дому и не травмировать мать.

И, действительно, хотя сам он матери ни слова не сказал, Марья Сидоровна Тютина, которая слышала весь разговор, стоя с помытым ведром возле бака, на другой же день все сообщила Розе Львовне, слово в слово, вследствие чего Роза Львовна слегла, но теперь уже поправляется. Петр Васильевич выругал жену: зачем сказала. А та ответила: как это «зачем»? А чтоб знала...

VII

Петуховы живут на четвертом этаже в квартире № 18, рядом с семейством Кац. Еще три года назад Саня Петухов был обыкновенным молодым человеком, имел мотоцикл с коляской и в один прекрасный день привез в этой коляске из Дворца бракосочетания жену Татьяну. А потом что-то случилось такое, куда-то его выбрали, назначили, а может, повысили, неважно, зато теперь, вместо мотоцикла, Александр Николаевич ездит на службу на черной машине, и часто шофер носит за ним на четвертый этаж большую картонную коробку. Никого не касается, что в этой коробке, и поэтому, когда Александр Николаевич в сопровождении шофера проходит от автомобиля к лифту, никто, встретившись с ним в подъезде, естественно, глупых вопросов не задает. Зато в прошлую пятницу Антонина, которую давно бы пора лишить материнских прав, да жалко ребенка, поймав во дворе Танечку Петухову, нахально спросила: «Я вот уже который раз смотрю, ты банки из-под кофе растворимого выносишь и коробки из-под лосося в собственном жиру. Где это ты досташешь? Мне что-то, кроме хека с бельдюгой, ничего не попадается».

Танечка даже растерялась, но тут, на счастье, мимо проходила Роза Львовна. Роза Львовна посмотрела на Антонину и сказала, что интересоваться, Тоня, надо не пустыми консервными банками, а тем, какому делу служит человек. Александр Николаевич — большой работник, с него много спрашивается, поэтому ему и дано больше, чем нам с вами. Вы знаете, какая ответственность лежит на этих людях? Его могут в любой момент вызвать, и он будет решать вопросы...

Зря Роза Львовна связывалась с Антониной, потому что та сразу же заорала: «Воп-хо-сы! Имеет „Жигуля“, так думает — и она туда же! Да вас таких — хоть бей, хоть „Жигули“, все равно будете задницы лизать и улыбаться, как кошка перед тем, как гадить! Фрейдкины, и те лучше были, уехали по-честному. А вот возьмем хворостину и погоним жидов в Палестину!»

Роза Львовна, бедная, вся покраснела, руки затряслись, повернулась к Танечке за сочувствием, а та боком-боком — и в парадную. Кому охота участвовать в таком скандале, да еще когда муж занимает пост? А когда дверь за Татьяной захлопнулась, хулиганка сказала Розе Львовне, что вот то и оно, а вы чего думали? Так они и за всех нас заступаются: напьются кофе растворимого с лососем, сядут в черную «Волгу» — и пошли заступаться! Зла не хватает от вашей наивности, ну, пока — мне в детсад за Валеркой.

И ушла.

VIII

Дуся и Семенов, проживающие в одной квартире с Тютиными, не ответственные работники, не кандидаты наук, не торгаши с рынка и не лица еврейской национальности, однако у них все есть не хуже кого, а сами — простые люди: Семенов работает на производстве слесарем, Дуся там же — кладовщицей.

Непьющий Семенов работает не тят-ляп, вкалывает как надо — и сверхурочные, и по выходным за двойной тариф, и в праздники. Халтуру, понятно, тоже берет, потому что все умеет, руки есть и разряд высокий. Вообще Семенов молодец, другого про него не скажешь: на производстве уважают, как собрание — оп в президиуме, как выборы — его в райсовет депутатом, с начальником цеха — за ручку, да и сам директор всегда поздороваётся: как дела, Семенов? — Да что — дела! Порядку мало. — Это вы правы, наведем порядок, товарищ Семенов. Как там у вас с квартирой? — Завком решает. — Думаю, решат положительно, товарищ Семенов.

Так что недолго осталось Семеновым мыкаться в коммуналке.

А про Дусю сказать: как у нее на работе — ее дело, на складе многое можно взять для семьи, мыло, допустим, перчатки резиновые посуду мыть и другие мелочи. Воровать Дусю не станет, они с мужем люди порядочные, оба не пьют, и Семенов на высоком счету, но смешно ведь идти в магазин за куском мыла, когда у тебя в кладовой полный ящик стоит. А дома Дуся — хозяйка, каких поискать, ломовая лошадь. День и ночь она что-то моет, чистит, скребет, таскает в скупку ношенные вещи, в макулатуру — бумагу за талоны: библиотеку надо собирать для сына. Главный принцип у нее, как она сама сказала Марье Сидоровне: хоть тряпка, хоть корка — всё в дело, обратите внимание — вы мусор каждый день выносите, а я — два раза в неделю. Поэтому Семеновы имеют обстановку не беднее, чем у тех же Кац: телевизор «Рубин-205», пианино и недавно купили «Москвича», подержанного, но будьте уверены, Семенов с его руками приведет машину в такой божеский вид, какого Лазарю Моисеевичу нипочем не добиться при всех его деньгах и ученой степени кандидата технических наук.

И вот этот случай: буквально на днях Семеновы достали для своего Славика в комиссионке письменный стол. Раньше Славик готовил уроки за обеденным, но теперь он перешел в английскую школу, и неудобно. Стол купили старинный и недорогой, что говорить — Семеновы барахла не возьмут, но только зеленый материал на крышке кое-где уже лопнул и обтерся, и Семенов, конечно, решил подреставрировать вещь своими руками: поменять сукно, покрыть дерево лаком. Вместо зеленой Дуся кунила в «Пассаже» полтора метра голубой, в цвет к обивке кресла-кровати, костюмной шерсти с синтетикой. В воскресенье Семенов аккуратно снял зеленое сукно — Дуся собиралась сделать из него стельки в резиновые сапоги — и обнаружил под ним заклеенный конверт.

Когда Семенов при жене вскрыл конверт, то оказалось, что в нем лежат четыре пятидесятирублевые бумажки. Кто их туда спрятал — разные могут быть предположения и варианты: прежний хозяин был старик и отложил на черный день, родным не сказал, чтоб не отняли, а сам внезапно умер. Родные, ничего не зная, сдали стол на комиссию и наказали себя на две сотни. А может, кто по пьянке запихнул от себя самого, а, проспавшись, забыл. Много возможностей, теперь не узнаешь. Тютиним Дуся сказала, что, представьте, мы могли бы еще пять лет не собираться менять сукно, а тут вдруг раз — и реформа. Представляет? На что Семенов возразил, что этого быть не могло. И он прав. Не могло. Но самое интересное, что Семеновым этот стол вместе с перевозкой и голубым материалом обошелся в сто двадцать рублей. Представляете?

Нет, это верно: деньги идут к деньгам.

IX

А у Барсукова, старого пьяницы, пегодного человека, когда он спал на автовокзале в день полочки, вытащили, конечно, все до последней копейки. Это сам Гришка так думает, что вытащили, а, скорее всего, его же собственные дружки и взяли, когда распивали бормотуху где-нибудь в парадной. Потому что документы и ключи у него остались, а воры разбираться бы не стали, где деньги, а где документы с ключами. Так, например, считает Наталья Ивановна Копейкина, и с ней согласны все — и Семеновы, и Тютини, и Фира Кац. Танечка Петухова сказала, что, главное, противно: теперь Григорий Иванович начнет звонить по квартирам и у всех кланяться деньгами и одеколоном, лично она не даст, а Роза Львов-

на, к сожалению, даст, да и Антонина тоже, эта пьяница любит, сама такая. Что же, Танечка совершенно права, жалеть людей надо с умом и смыслом, а у такого забулдыги, как этот Барсуков, никогда не будет ни денег, ни здоровья.

X

Копейкина Наталья Ивановна после больницы стала совсем другим человеком. Во-первых, живет она теперь одна, Олег после товарищеского суда у себя в автопарке сразу завербовался куда-то на Север и уехал за длинным рублем, даже мать из больницы не встретил.

Во-вторых, раньше Наталья Ивановна была полная и выглядела старше своих лет, а теперь — на французской диете, похудела, сделала укладку в салоне причёсок и ходит в импортном плаще. Людмила — помните? — та самая — взяла над Натальей Ивановной шефство, навещает почти ежедневно, вместе в кино, вместе — в Пушкин, в лицей — в общем, подруги — не разлей вода. Людмила оказалась очень и очень порядочной девушкой, раздувать дальше скандал из-за полученной травмы не стала, сама служит в автопарке диспетчером, сутки работает, три выходная, и учится в вечернем техникуме. Родители, оказывается, тоже очень культурные люди, а не, как предполагали Тютини, тунеядцы вроде ихнего бывшего свата-профессора. Отец служит в речном пароходстве, а мать учительница. И брат в армии. А модные эти юбочки Людмила шьет сама, они ей копейки стоят, а одета всегда, точно из телевизора вышла. Такую невестку днем с огнем не сыщешь, и Наталья Ивановна всем сказала, что Люда ей как родная дочь, а если Олег там, на Севере, найдет какую-нибудь гулящую старше себя, Наталья Ивановна спустит ее с лестницы.

XI

Было лето. Палила жара и взрывались ливни, тяжело тащились по пыльным, засыпанным тополиным пухом улицам беременные поливальные машины, налетал ветер, то душный и жгучий, то тяжелый и мокрый, будто скрученный холодным жгутом. Давно ли из Таврического сада сладковато пахло сиренью, а потом — липовым цветом, а в начале сентября — отцветающими флоксами? Но вот запах флоксов сменился запахом прелых листьев и мокрой земли, выше и отчужденнее стало небо; природа, летом нахлынувшая на город всеми своими красками, звуками и запахами, теперь отступила. Как отлив, ушла далеко за окраины и будет существовать там до весны, отдельно и замкнуто, когда в пустых лесах сыплются с деревьев и летят день за днем сухие листья. Наступает ночь, а листья все равно падают, шуршат в глухой темноте, а потом принимается дождь, суровый, безжалостный, и сутками хлещет по окоченевшим стволам и сутулым черным корягам.

...Ноябрь. Самое городское время. Господствуют только камни домов и парапетов, решетки оград, высокомерные памятники и колонны. Прямые линии, треугольники, правильные окружности, черно-белые тона. Торжество геометрии.

Ноябрь. Прошли праздники.

Ноябрь. Александр Петухов гостит в далекой дружественной нам Болгарии у все еще теплого Черного моря, где рассказывают по солнечному берегу громадные серебристые чайки и прогуливаются западные туристы в белых брюках и кожаных, в талию, пиджаках.

Ноябрь. Темное утро. Дождь со снегом. В доме около Таврического сада все еще спят, ни одно окно не горит.

Антонина во сне пытается натянуть одеяло на острые плечи чернявого Валерика — кашлял с вечера, вот и положила вместе с собой.

Наталья Ивановна Копейкина всхлипывает, потому что видит странный сон, будто вернулся беглый сын ее Олег и стоит в дверях почему-то босой и без шапки, а пальто все мокрое, аж вода течет на натертый пол.

Роза Львовна Кац тоже плачет во сне, плачет тихо, с удовольствием, кого-то прощает за все свое вдовье одиночество, за чертову жизнь эвакуированной с ре-

бенком и без аттестата у прижимистой Пани в Горьком, за то, что теперь уже старуха, а, если вдуматься, что она видела в жизни? Завтра Роза Львовна и не вспомнит, что видела во сне, встанет в хорошем настроении и по дороге к себе в библиотеку сочинит стихи для стенгазеты: «...но было то не по нутру злему недругу-врагу, и задумал он войной разрушить мир наш и покой». Лазарь, конечно, опять начнет смеяться, так ему ведь все смешно — такой человек.

Весь дом спит. Кроме Григория Барсукова. Тот лежит в темной комнате, таращится в пустоту, думает. Как ему уснуть, когда он один в городе, да что — в городе, может, в целом мире, знает то, что никому еще пока узнать не дано.

Все мы, безусловно, правы: нет у бедняги Барсукова ни денег, ни здоровья. А вот насчет ума — это, уважаемые, извините-подвиньтесь со своими дипломами и кандидатскими степенями, это еще поглядим. Потому что если бы кто-нибудь из нас с вами обнаружил *такое*, то, возможно, не только бы запил, а сбежал бы прочь, в другое место. Или руки на себя наложил со страху.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Треугольник Барсукова

I

Этот треугольник расположен в центре города, а именно — на Сенной площади под названием площадь Мира. Вершина его приходится как раз на специализированный рыбный магазин «Океан», где каждое утро толкуются доверчивые любители селедки, не ведающие, где они стоят. Другие углы такие: здание станции метро, воздвигнутое на месте упраздненной с лица земли церкви Успения Пресвятой Богородицы — раз, и автобусный вокзал, бывшая гауптвахта, там еще Достоевский просидел как-то несколько дней. Это два. А еще летом, — наверное, помните? — на этом автовокзале у Барсукова пропала вся получка до последнего рубля. Но только по наивности можно предположить первое попавшееся: будто деньги были пропиты либо украдены. Только по наивности! И теперь Барсуков это знал.

Никто из нас с вами, слава Богу, не был и, будем надеяться, не окажется в Бермудском треугольнике, в этой мутной части Атлантики, где, согласно источникам, гибнут без вести, начисто пропадают среди ясного дня самолеты, где слепо дрейфуют покинутые мертвые суда, причем никто не знает, куда девались с них люди. Как-то на одном из таких судов была обнаружена воющая собака, но — что собака, она ведь только понимает, а сказать не может, а тот, кто мог сказать, то есть говорящий попугай, — тоже пропал совершенно бесследно.

Бермудский треугольник, по счастью, от нас далеко, тысячи миль до него и десятки надежных границ, и поэтому нам на него наплевать, он для нас вроде бабы Яги или как космические пришельцы, про которых мы ничего не знаем.

Нам и без Бермудского треугольника есть чего бояться: войны с Китаем, тяжелой продолжительной болезни, бандитизма отпущенных по амнистии, своего непосредственного начальника и еще кого-то неведомого, кто не ест и не спит, а денно и нощно дежурит у нашего телефонного провода, чтобы узнать, что же мы говорим о погоде.

А ведь наверняка те, кто живут рядом с Бермудским треугольником или имеют с ним дело по работе, тоже боятся войны с Китаем и бешеных собак, а также своих бермудских гангстеров и начальников. И, уж конечно, рака. А про истории с самолетами и кораблями думают редко и неохотно.

Барсукову же и думать было нечего, чего тут думать, тут не думать надо, а меры принимать, и потому Григорий Барсуков, человек, за пятьдесят лет своей жизни поменявший столько мест работы, что уже из-за одного этого, плюс внешнего вид, мог считаться «бомжем и з», то есть лицом без определенного места жительства и занятий, так вот, этот субъект ранним ноябрьским утром подстерег во дворе кандидата технических наук Лазаря Каца и обратился к нему с антинаучным заявлением. Он сообщил Кацу, что на Сенной площади Мира якобы

безвозвратно пропадают вещи и деньги, люди и даже автомобили с шоферами и что лично он, Барсуков, был свидетелем этого явления многократно.

— Могу привести ряд примеров, — заявил Барсуков.

— Приведите, прошу вас, — поощрил его Кац, который потому и стал кандидатом наук, что всю жизнь отличался любознательностью к явлениям природы. — Приведите, приведите, — повторил он и вынул из кармана пачку сигарет, но, взглянув на свои окна, тотчас спрятал ее обратно и предложил Григорию Ивановичу лучше прогуляться через сад.

Небо над Таврическим садом сплошь было залеплено толстыми и белесыми тучами. Из разрывов этих туч нет-нет да и выскакивало солнце, ошалело плюхалось в пруд, секунду трепыхалось в холодной воде, как блесна, и тут же исчезало.

«...и равнодушная природа красою вечною сиять», — вдруг ни с того ни с сего назидательно сказал Барсуков и твердо посмотрел в глаза Лазарю Моисеевичу. Тот, являясь человеком тактичным, никакого недоумения не проявил, как будто так оно и следует, что необразованный «бомж и з» цитирует бессмертные строки.

— «Красою. Вечною!» — злобно настаивал Барсуков и, когда Лазарь наконец кивнул, добавил: — Природа вечна, а человек в ней ничто. Сегодня он есть, а завтра нету.

— Люди, безусловно, смертны, — согласился Кац.

Барсуков посмотрел на него с жалостью, махнул рукой, снял с головы кепчонку и принялся яростно трясти ее, точно ботинок, в который набрался песок. Ничего не вытряс и деловито сказал:

— Привожу примеры исчезновения людей и предметов: сорок рублей восемьдесят четыре копейки, принадлежавшие лично мне. Так? Теперь: Виталий Матвеевич, старик...

— Какой Виталий Матвеевич? — спросил дотошный Кац.

— Какой он был, точно не знаю, — задумчиво ответил Барсуков, — но, полагаю, дерьмо... А как исчез — это видел сам: в прошлую среду около автовокзала попросил рубль, я ему: только, мол, трешка. Он взял, говорит: ничего, разменяю. Пошел к ларьку, через улицу шел, я видел, а потом вылез трамвай — и с концами. Пропал человек.

— Ясно, — сказал Кац. — Еще какие были явления?

— Еще явление с синей машиной. Пустая, без людей, с горящими фарами днем.

— Стояла?

— Ага. Хрен тебе в зубы! Прямо с Московского по середине площади как вжарит. И на Садовую. Милиционер еще свистел.

— Я думаю, — сказал Кац, закуривая, — что все это просто цепь совпадений.

— Тебе хорошо, — Барсуков снова тряс свою кепку, — тебе хорошо — ты дурак...

Он пожал руку ошеломленного Лазаря, который не сумел захлопнуть рта, и удалился величественной походкой человека, который знает, что ему делать. А кандидат технических наук долго еще стоял на пустой аллее у пруда с глупым выражением на интеллигентном лице.

Вечером того же дня, когда семья Каца сидела за чаем, а по телевизору показывали фигурное катание, раздался телефонный звонок.

— Лелик, тебя, — позвала Лазаря мать. — Ты бы все-таки объяснил им, что беспокоить человека после работы — не дело.

— Олег, может быть, я подойду? — сказала Фира. — А ты ушел и будешь поздно. Ага?

— Во-первых, я просил больше не называть меня Олегом...

— Ах, прости, пожалуйста, забыла о твоём гражданском мужестве в кругу семьи, — сразу же надулась Фира. — Между прочим, пока ты тут произносишь декларации о правах человека, человек ждёт.

Человек действительно терпеливо ждал, хотя времени, как потом выяснится, у него было в обрез.

— Алло, — раздался далекий голос Барсукова, когда Лазарь наконец подошел к телефону. — Алло! Слушайте и записывайте для науки. Говорит Барсуков из треугольника. Я гибну. Сос. Местоположения в пространстве определить не могу. Сколько время — тоже не знаю. Выхода отсюда нету и мгла.

— Где вы? Какая мгла? — закричал Лазарь, глядя в окно, где с ясного черного неба иронически смотрели звезды.

— Мгла обыкновенная. Сплошная. Бело-зеленая. Видимости никакой. Гибну.

— Вы не пьяны? Слышите, Григорий Иванович, я спрашиваю — вы пьяны?

— В самую меру. Записывайте для науки: «Барсуков Григорий вышел из метро в 19.03...» — голос становился все глуше и гас, точно «бомж'а и з» уносило куда-то прочь от земли.

— Темно и выхода нет. Гибну смертью храбрых во славу... — Это были последние слова, услышанные Лазарем.

— Барсуков! Барсуков! — кричал он в опустевшую трубку.

Ни звука.

Никто, ни один человек на земле, никогда больше не видел Григория Ивановича Барсукова.

II

После возвращения из Болгарии Александр Николаевич Петухов начал задумываться. А задумавшись, замирает на кухне с горящей спичкой в руке или чашку с черным кофе поднесет ко рту, а пить забудет. И Танечка, видя все это, очень переживала. Как-то раз зашла к соседке Марье Сидоровне за рецептом печенья на майонезе и вдруг внезапно и неожиданно расплакалась. Получилось это совсем некстати, Марья Сидоровна была не одна, и к тому же больная. У нее сидели Дуся Семенова и Наталья Ивановна, так что слезы Танечки, хоть она и объяснила их зубной болью, конечно, стали обсуждаться.

— Гуляет он, — сказала Дуся про Петухова, как только Танечка ушла, — а чего не гулять? Ездит по Европам за казенный счет, кожаный пинжак себе купил.

— Татьяне тоже замшевую юбку привез, — вступилась справедливая Наталья Ивановна.

— Гуляет, это точно, — несмотря на юбку, стояла на своем Семенова, — давеча смотрю: идет домой в восьмом часу вместо шести, глазки, как у кота, так и глядят туда-сюда, туда-сюда. А как увидит Кац Фирочку, так уж вообще... Вчера вышагивают через двор, он ее сумочку несет.

— Фира интересная, — согласилась Наталья Ивановна, — полная и одевается.

— Это верно, жить они умеют, этого от них не отнимешь. Марья Сидоровна, корвалольчику еще накапать?

— Не надо, — тихо сказала Тютин. И все замолчали.

У Марьи Сидоровны было свое горе, и все из-за мужа. Конечно, старик Тютин кожаных пиджаков сроду не носил и глазами не зыркал, зато последнее время все его разговоры непременно сводились к близкой смерти, даже про бывшего зятя что-то стал забывать. То начнет распоряжаться, как поступить после похорон с его старым синим костюмом (слава Богу еще, Марье Сидоровне удалось уговорить его надеть в гроб выходной серый, а то заладил: синий да синий, а серый импортный, дескать, в комиссионку, ну не срам?), то решает вопрос, съезжаться ли Марье Сидоровне с дочерью и внуками, и приходит к выводу, что — не сметь! Анна выскочит замуж за какого-нибудь прощелыгу, а мать окажется без своего угла. Марья Сидоровна ему и так и сяк:

— Петя! Зачем, скажи, эти разговоры? Травмировать меня? Поднимать давление?

А он опять:

— Окончание жизни — это финал. Смерть тебя не спросит, когда ей прийти. Вон, Барсуков: был и нету.

Она ему:

— Так Барсуков же пьяница! Неизвестно, куда девался, может, в тюрьме сидит, может, в психбольнице на принудительном лечении.

— Это брось! Гришку искала милиция, они дело знают. Нигде не нашли и комнату опечатали, а ты — «неизвестно»! Если неизвестно, закон опечатать не

даст. Нет Барсукова. И меня не будет, — твердит Тютин, а сегодня и вообще заявил, что действительно желает, чтобы на его похоронах обошлось без рыданий и кислых слов, потому что в таком возрасте смерть — дело житейское, вполне естественное и даже нужное, вроде свадьбы, например, или проводов в армию на действительную службу.

— У гроба моего завещаю петь песни, — велел он жене.

— Какие? — шепотом спросила Марья Сидоровна и присела на диван.

Петр Васильевич долго думал, глядел в окно, потом сказал:

— Солдатские. Поняла, мать? Я — ветеран. Солдатские песни, запомни.

— Господи, помилуй! — заплакала Марья Сидоровна. — Дай ты мне, Христа ради, первой помереть!

Тютин плюнул, покачал головой и отправился в киоск покупать «Неделю», а Марье Сидоровне пришлось звать Дусю: не могла уж сама накапать лекарство — руки тряслись.

Так что вполне понятно — не до Танечки Петуховой было в тот день Марье Сидоровне Тютинной.

К сожалению, и Петухову было теперь не до жены. Уже две недели прошло после возвращения его из Болгарии на родную землю, а он как был в первый день не в себе, так и остался.

Точно яркие цветные слайды, вспыхивали в его мозгу разные картины: ночной бар, тихая музыка, притушенный свет, сигареты «Честерфилд», коктейль «Мартини», элегантный бармен — друг, не лакей и не хам — нагнулся к Петухову, щелкает американской зажигалкой: курите. Холл отеля «Амбассадор» на международном курорте «Златны Пясци», где Александр Николаевич прожил три последних дня своей первой заграничной поездки, — так было предусмотрено программой: после заседаний, встреч и приемов — отдых у моря. Здание казино, вдоль которого всю ночь стоит вереница машин. И каких! «Мерседесы», «шевроле», «фольксвагены», «тойоты», «форды»... Огни, огни, огни... Толпа западных людей в зале казино около игровых автоматов — это рулетка такая, называется «однорукий бандит». Петухов сам был свидетелем, как какой-то джентльмен с бешеными глазами и голубыми ввалившимися щеками бросил в щель «бандита» серебристый жетон, дернул ручку — и целая груда этих жетонов со звоном выпала в лоток. А мистер Петухов, профсоюзная шишка, в только что купленном черном кожаном пиджаке и белых брюках, в одном кармане которых лежали американские сигареты, а в другом — турецкая жевательная резинка, он, причесанный на косой пробор в лучшем салоне Варны, он, к которому здесь, за границей, все обращались только по-немецки, мялся в углу, не смея подойти к автомату, поминутно оглядываясь на дверь: не войдет ли Павлов, руководитель их группы. А уж о том, чтобы самому сыграть в рулетку, и речи быть не могло. А почему? Почему?! И ведь им, павловым, все равно, что Петухов — человек с высшим профсоюзным образованием, знающий два языка со словарем, что это было из их так называемой делегации, жлобы, уроженцы города Саратова или какого-нибудь Челябинска, которые в варьете, в ВАРЬЕТЕ! — только и выжидали, когда замолчит наконец оркестр, чтобы грянуть свои «Подмосковные вечера». Зачем их возят по заграницам, поэрище одно?! И изволь сидеть с ними у всех на виду в ресторане, среди их немыслимых двубортных пиджаков или жутких синтетических платьев с блестками! Изволь улыбаться, пить за то, что хороша, дескать, страна Болгария, а Россия лучше всех. Ну и сидели бы в своей России, в грязи и серости по уши! Так нет — им подавай Европу, а ты, как дурак, веселись тут с ними, лови на себе презрительные взгляды западных немцев, сидящих напротив. Немцы, кстати, и сидят иначе, и сигарету держат как-то красиво, и лица у всех культурные. Ведь вот — тоже выпили, а никто не красный, не потный, не орет и руками не машет.

И, главное, не встанешь, не закричишь: «Товарищи!», то есть, конечно: «Господа! Я не такой, как эти! Я все понимаю, мне смешно и противно смотреть на них, так же, как и вам! Это, ей-богу, не я покупаю в аптеке медицинский спирт и напиваюсь, как свинья, у себя в номере, а потом начинаю горланить на весь отель! Не я с утра до вечера дуюсь в холле в подкидного дурака! Не я под джазовую музыку пляшу в ресторане «цыганочку» или топчусь в медленном танго, как допотопный сервант. Не я это! Не я!»

Тонко улыбаются нарядные западные люди, кажется, если бы можно, вынули бы сейчас фотоаппараты и кинокамеры, запечатлели бы на память дикарей. Но — нельзя, неприлично.

А наши и понятия такого не имеют — «неприлично», им все прилично, вопят на весь зал, плятятся по сторонам и еще шуточки отпускают — у нас, мол, танцуют лучше и одеваются наряднее. Кретины! Неандертальцы! Толпа!

Так они сводили его с ума там, в Болгарии. А теперь — вот она, Родина. Родина — мать. Перемать. Россия, сплошь состоящая из них, из этих...

На второй день после приезда зашел днем в «Север» пообедать и сразу: «Глаза есть? Не видите — стол не убран? Ах, видите. Так чего садитесь?.. Мест нет? А у нас — людей нет. Вы к нам работать пойдете?» Сервис!

Можно было, конечно, показать ей кузькину мать, чтобы знала, с кем имеет дело, хамка, да связываться противно, тем более был не один, с начальством. Еще, слава богу, ему, Петухову, теперь не нужно стоять по очередям за продуктами, на дом возят... Ах, скажите, пожалуйста: на дом! Благодетели. Купили за банку паршивого кофе! Да, если уж на то пошло, плевать ему на их растворимый кофе и лососину! Да и на икру, если совсем на то пошло! Не хлебом единым! Орут везде, что у нас — права человека, а в городе ни одного ночного бара. Только на валюту, на доллары. В занюханной Болгарии, тоже мне — Запад, а сколько угодно этих баров! И девочки! Только не для нашего брата девочки, для нашего брата — руководитель Павлов, он тебя и...

Болгария... А где-то есть еще и Париж. Есть и Швейцария. И Штаты...

В гробу я видал этот вонючий кофе!

— Сашенька, почему так поздно? — робко спросила Таня, когда Петухов в третий раз явился домой в половине восьмого.

— Автобус сломался, — с горделивой скорбью отрезал он.

— Автобус?! Почему — автобус? А где Василий Ильич?

— А пускай твой Василий Ильич другую задницу возит! Ясно?! — заорал Петухов. — Сдалась мне их поганая «Волга»! И пайков больше не будет, поняла? Попили кофе, хватит! Обойдешься чаем «Краснодарским», сорт второй, и городской колбасой!

— Что случилось, Саша? У тебя неприятности? — Танечка уже плакала.

— Приведи в порядок лицо! — завизжал Петухов. — Не женщина, а чудело! Плевал я! Принципы надо иметь! Дешево купить хотите, граждане-товарищи!

Долго еще бушевал Александр Николаевич, хлопал дверью, выкрикивал лозунги о демократических свободах, о том, что никому не позволит душить и попиражать. Потом улегся на диван с транзистором и на всю квартиру включил «Голос Америки».

III

В середине декабря месяца Наталья Ивановна Копейкина случайно узнала, что в субботу в магазине «Океан» с утра будут давать баночную селедку. Новый год был уже вот-вот, и поэтому Наталья Ивановна с Дусей Семеновой и недавно прощенной Тоней Бодровой за час до открытия отправились занимать очередь. Марья Сидоровна, которой тоже предложили, сказала, что ей не до селедки, плохо себя чувствует, и женщины решили взять две банки и разделить: по полбанки Наталье Ивановне с Антониной, полбанки Тютиным, они старые люди, надо помочь, и полбанки Дусе. Антонине хорошая селедка очень бы кстати, так как Анатолий все же обещал первого зайти. Это надо: с лета ни разу не вспомнил, а тут... нет слов, одни буквы. А Валерку тогда заберут к себе с ночевкой Семеновы.

Селедку, действительно, отпускали, очередь шла быстро, так что к десяти часам все трое, довольные, стояли с банками на трамвайной остановке напротив метро «Площадь мира». Погода была ясная, светило солнце.

Трамвай не шли, на остановке собралась огромная толпа, говорили: кто-то должен проехать из аэропорта, не то король, не то кто из наших, и движение перекрыто. Минут через десять появилась милицмейская машина, принялась кричать в мегафон, загнала всех на тротуар, давка началась невероятная. И в

этой давке Антонина внезапно почувствовала, что в глазах у нее темнеет, ноги отнимаются, кругом зеленая мгла, как с хорошей поддачи, и что она не соображает, где находится и зачем.

Сколько времени продолжалось такое состояние, Антонина никогда потом сказать не могла, но, когда очнулась, увидела, что сидит на скамейке около автобусного вокзала, а рядом с ней сидят и Наталья Ивановна, и Дуся, обе бледные, не в себе и без сумок.

— Чего со мной? — спросила Антонина слабым голосом, но ей не ответили. Как выяснилось, ответить ей и не могли, потому что ни Семенова, ни Копейкина не знали, что и с ними-то произошло, как, например, попали они с остановки на эту скамейку, а главное, где их сумки с деньгами и банки с селедками. Обе они, как и Антонина, оказывается, видели только зеленую мглу и туман среди ясного дня.

— Несомненно — вредительство, — предположила Наталья Ивановна, и женщины с ней согласились.

Посидев с полчаса, придя в себя и переговорив, они решили все же ничего никому не рассказывать, все равно не поверят и еще засмеют, а деньги, которые дала им на селедку Тютина, собрать между собой и вернуть. Про банки же сказать, что их не давали, а была мороженая треска с головами.

IV

А ведь и верно: совсем скоро Новый год. Кажется, только что прошли ноябрьские, а через неделю опять праздник. Все скоро в этой жизни, так что и уследить не успеешь.

Петр Васильевич Тютин праздник Новый год любил и всякий раз радовался: смотри, пожалуйста, опять дожид — и ничего, сам, вон, с Некрасовского рынка (придумал какой-то болван назвать рынок именем великого писателя!) — с Мальцевского елку приволок. Приволок, украсил, подарки разложил, а как же? — придут внуки, Даниил и Тимофей.

Нравился Петру Васильевичу Новый год, а все-таки главными праздниками у него были другие. День Советской Армии и самый важный — это, конечно, Праздник Победы. Новый год — больше для внуков, для жены с дочерью, а это — собственные его.

В эти дни Петр Васильевич надевал на серый костюм орден Красной Звезды и Отечественной второй степени, прикалывал медали и шел к Петру Самохину, тезке, другу и однополчанину. У Самохина была большая квартира, и это уж, как говорится, создалась такая хорошая традиция — по праздникам собираться у него. Приходили ребята без жен, выпивали умеренно, пели, вспоминали. И если кто в десятый раз принимался рассказывать один и тот же случай, никогда не одергивали и не поправляли, мол, не так было, путаешь, старый хрен; этого у всех и дома хватало, наслушались от родных деток, которым что ни скажи — в глазах тоска: скоро ли он кончит, надоед, все одно и то же, да одно и то же. А товарищи, те и послушают, а если у кого слезы, дело-то стариковское, не заметят, виду не подадут, а не то что сразу охат да бегать с валидолами. Одно слово: мужская дружба фронтовиков.

Интересное дело, сколько времени прошло после войны, больше двадцати лет Тютин отработал на заводе мастером, на отдых вышел как полагается, с почестями, никто не гнал, сам захотел, и друзья были, а вот, пожалуйста, остались от этих заводских друзей только поздравительные открытки к календарным датам. И от завкома — открытки, и от партбюро. А эти парни, с которыми в войну самое долгие три года вместе был, да что — три года, некоторых и года не знал, — эти мужики до самой, видно, смерти, до последнего дня. Почему так?

Встречи с фронтовыми товарищами считал теперь Петр Васильевич единственным и главным делом своей жизни, только с ними, с ребятами, чувствовал, кто он такой, что сделал, какие дороги прошел, потому что личное — это личное, это для женщин, а мужчина для другого живет. Но все меньше, с каждым разом меньше народу собиралось у Петьки Самохина на праздники. В прошлый День Победы только трое пришли, остальные — кто болел... Встречались вообще-то

последнее время довольно часто, но те встречи были далеко не праздничные, да и какие это встречи, это — проводы...

Так что не от злобы или плохого характера, не от жестокости Петр Васильевич мучил жену похоронными разговорами, а потому, что видел — подходит время, и смерть представлялась ему последним заданием, которое скромно и с достоинством предстоит ему выполнить на земле. Только дурак полагает, будто умереть можно кое-как и безответственно. Пускай, дескать, родственники беспокоятся и хлопочут, а мне что — лег себе в гроб, руки крест-накрест и спи, дорогой товарищ.

Петр Васильевич недаром был ветераном и солдатом, он, может, потому и войну без ранений прошел, с одной контузией, что все умел и привык делать как следует, хоть окоп вырыть, хоть автомат смазать. А теперь — это тебе не окоп, тут надо решить ряд важных вопросов: материальное обеспечение жены, то есть, конечно, вдовы, распорядок ее дальнейшей жизни, организация похорон. Естественно, и в этих делах не на родственников рассчитывал Тютин, а на боевых товарищей, знал, что помогут Марье Сидоровне и внуков не оставят, но надо же и самому руки приложить. Как раз сегодня утром он принялся составлять список — фамилии и адреса тех, кого обязательно надо пригласить, чтобы проводили его в последний путь, но жена, увидев этот список, ударила в такой рев, дура старая, что Тютин разозлился, скомкал бумагу, сунул в карман и ушел, хлопнув дверью, в сад на прогулку. Вот ведь, ей-богу, бабий ум! Курица и курица. Будет потом метаться, кудахтать, кого позвать, как сообщить, где найти. Самой же приятно: пришли проститься с мужем хорошие люди, никто не побрезговал, вот, пожалуйста, фронтовые друзья, а это — рабочий класс, товарищи, ученики, смена то есть. А тут — руководство. Ладно... Допишет он свой список потом, без нее. Допишет и спрячет в стол, в тот ящик, где ордена и документы. Понадобятся тогда ордена, начнет искать, пойдет и список.

...Петр Васильевич Тютин шел себе воскресным утром в валенках по узкой дорожке среди сугробов, смотрел на белые патлатые деревья, на простецкое светлое небо, на глупую мордастую снежную бабу с палочкой от мороженого вместо носа, шуршал в кармане мятым списком, думал, и вдруг так расхотелось ему помирать, так стало страшно и неохота проваливаться из этого обжитого уютного мира куда-то во тьму, где наверняка ничего хорошего нету, что вытащил он скомканную бумажку с фамилиями, торопясь бросил в мусорную урну и, как мог быстро, подволакивая ноги, — чертovsky валенки по пуду весят! — пошел прочь. Надо еще конфет купить, а то в магазинах уже завтра будут очереди — жуткое дело.

V

В ночь под Новый год Фира сказала мужу, что она его больше не любит. Это надо еще суметь — выбрать такой день для подобного разговора! Вообще-то Лазарь уже давно, с месяц, наверное, чувствовал: что-то не то. Фира постоянно где-то задерживалась, у нее невеста откуда завелось огромное количество дел, а так бывает всегда, когда человеку плохо у себя дома. Все ее раздражало и выводило из себя, а особенно почему-то невинная просьба Лазаря не звать его больше никакими Олечками, Леликами и Ляликами. Раньше и внимания бы не обратила, может быть, даже с уважением бы отнеслась, а теперь:

— Ах, Лазарь? Понимаю... Это у тебя такая форма протеста. Мол, ничего не скрываю и даже горжусь. Очень, о-очень смело, ты у нас прямо какой-то Жанна д'Арк.

— Ты чего это?

— Потому что противно! Кукиш в кармане. Герой — борец за идею. Ты бы еще магендовид надел.

— Надо будет — и надену, вон, датский король с королевой, когда немцы...

— Слышала. Ты мне про этот случай рассказывал раза три... позволь, четыре раза. Но ты, к сожалению, не король, тебе ничего надевать не надо, у тебя, как говорится, факт на лице.

— Я не понимаю, — вконец растерялся Лазарь, — ты что, антисемиткой сделалась?

— Просто, миленький, дешевки не люблю. Лазарь ты? Великолепно! Гордишься своим еврейством? Браво-браво-бис! Не нравится, когда кривят рожу на твой пятый пункт? Противно, что любой скобарь в трамвае может, если пожелает, обозвать жидовской мордой, и ничего ему за это не будет? И мне, представь, противно, только при чем же здесь «Лазарь»? Будь последовательным. Уезжай!

— Ты что это, Фирка, обалдела?

— Испугался. Вот она, цена твоего гражданского мужества.

— Подожди, ты что, серьезно?

— Я-то серьезно, я о-очень даже серьезно, а вот ты со своим твяканьем из подворотни, с вечными «я бы в морду...»

— Ты действительно хочешь уехать? В Израиль?

— А это уже второй вопрос: куда? Важно, что *откуда*. Ясно?

— Ладно, Фира, давай поговорим... хотя я не представляю себе, чтоб ты... У тебя что-то случилось!

— Ну, знаешь, это уж вообще! «Случилось»! А у тебя ничего не случилось? Ни разу? Лелик, то есть, тьфу! Лазарь Моисеевич? Это не тебя ли как-то не приняли на филфак с золотой медалью? И не ты ли тут вечно рвешь и мечешь, когда твой доклад читает на каком-нибудь симпозиуме в Лондоне ариец с партийным билетом?!

— Тише ты.

— Тише?! Вот-вот. Надоело! Их — по морде, а они — тише! Чего ж не врезать? Да брось ты сигарету, мать увидит, будет орать!

— Не увидит. А меня ты напрасно агитируешь, я тебе могу привести и не такие примеры.

— Ну, так что ж?

— А... так плохо. Как в том анекдоте. Плохо, Фирочка. И все-таки я не уеду. Боишься? Мол, подам заявление, с работы выгонят, а разрешение не дадут. Так?

— Если уж честно — и это. Но не во-первых, даже не во-вторых. Во-первых, то, что здесь, видишь ли, моя родина. Мелочь, конечно.

— Родина-мать?

— Да уж как тебе угодно: мать, мачеха, тетя, а только — родина, и никуда от этого не деться.

— Какая там тетя? Какое отношение имеешь к России ты, Лазарь Моисеевич, еврей, место рождения — черта оседлости? Нужен ты ей со своей сыновней любовью, как Тоньке Бодровой ее незаконный Валерик!

— Это черт знает что! Мне дико, что это мы, ты и я, ведем такой разговор. Лично я не верю в генетическую любовь к земле предков, может быть, потому не верю, что сам ее не чувствую. Конечно, кто чувствует — пускай едет, всех ему благ...

— ...А тебе и здесь хорошо.

— Нет. Не всегда хорошо. Но, боюсь, что лучше нигде не будет. И — почему такой издевательский тон? Неужели я должен объяснять тебе, что я тут вырос, что мне симпатичны их рожи, что русский язык — мой родной язык, что я, прости за пошлость, люблю русскую землю, русскую литературу, а еврейской просто не знаю. Кто там у вас главный еврейский классик?

— У нас?! Ну, вот что, — Фира стояла посреди комнаты, сложив руки на груди, — мне этот разговор противен. И ты сам, прости, пожалуйста, тоже. Это психология раба и труса.

— А катись ты... знаешь куда! — разозлился Лазарь. — Подумаешь, диссидентка! Противен — и иди себе, держать не стану!

Фира тут же оделась и ушла на весь вечер. Может быть, у нее на работе завелся какой-нибудь сионист? Их теперь полно, героев с комплексом неполноценности и длинными языками...

Лазарь долго стоял на кухне у окна и курил в форточку. Наконец он решил, что, скорее всего, Фирку кто-нибудь обругал в автобусе или в магазине, у нее-то внешность — клейма негде ставить, прямо Рахиль какая-то. Конечно, противно! Только нет из этого положения выхода, как она, глупая, не понимает?! Евреям всегда и везде было плохо и должно быть плохо.

«Успокойтесь, тогда и поговорим», — решил Лазарь.

Но Фира не успокоилась. И вот в новогоднюю ночь, сидя за накрытым столом, она при свекрови официально заявила мужу, что намерена с ним развестись из-за несовместности характеров и политических убеждений.

Роза Львовна сразу сказала, что у нее болит голова и она идет спать. А Лазарь выслушал следующее:

— Это счастье, что у нас нет детей, хотя я знаю, что вы с матерью за глаза всегда меня за это осуждали. Развод мне нужен немедленно. Мы с тобой чужие люди. Слабых не ругают, их жалеют, но мне жалости недостаточно, мне, для того чтобы жить с человеком, нужно еще и уважение, а его нет.

Тут Лазарь тихо спросил:

— Ты меня больше не любишь? У тебя кто-то другой?

— Не люблю, — отрезала Фира, — а есть другой или нету — в этом случае какая разница? Твоя приспособленческая позиция мне не подходит. Я считаю: кто не хочет ехать домой, тот пусть идет работать в ГБ!

— Можно утром? А то сейчас ГБ, наверное, закрыто, — спросил Лазарь, машинально откусывая от куриной ноги.

— Вытри подбородок, он у тебя в жиру, — с отвращением сказала Фира. — Я ухажу. Возьму пока самое необходимое.

Она вышла из-за стола, и через пять минут Лазарь услышал, как хлопнула дверь, — видно, самое необходимое было собрано заблаговременно.

Лазарь подвинул к себе фужер с недопитым шампанским, налил туда водки и медленно, не чувствуя вкуса, выпил. Выпил, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на часы.

«Полвторого. Куда она? Впрочем, транспорт работает всю ночь».

VI

Бодрова Тоня Новый год, почитай, и не встретила: забежала в одиннадцать часов к Семеновым, посидела, поздравила всех с наступающим, оставила Валерку, как договаривались, до второго, — и домой. Дуся: останься да останься, а Антонина — ну, ей-богу, неохота, не почему-либо, а такое настроение, решила спать лечь не поздно, чтобы утром выглядеть как человек. Потому что Анатолий точно сказал: зайду первого днем. Ему вообще-то верить не больно можно, бывало и раньше, обещает: жди, а сам не явится, но в этот раз другое дело, в этот раз чего ему врать, как ушел тогда, еще в августе, она за ним не бегала, не звала, хотя и знала: с Полиной живут плохо — пьянка каждый день, а после пьянки — драка.

Тридцатого вечером встретились в булочной, Антонина сделала вид, будто не признала, берет «городскую», а руки, как не свои, уронила булку на пол, пришлось платить — кассирша там вредная, разорется, а булка вся в грязи. Только вышла на улицу, Анатолий тут как тут, за ней.

— Гражданочка, извиняюсь, не знаете, сколько время?

Больше четырех месяцев Антонина каждый день, да не по одному разу, все представляла, как это будет, как они увидятся, и решила вести себя не грубо, но так, чтоб он понял — гордость и у нее есть. И если она тогда выла, как ненормальная, и чуть не за ноги его хватала, только чтоб не уходил, то теперь с этим уже всё, и перед ним, как говорят, другой человек. Пусть подозревает, что у нее кто-то есть, пусть не думает.

Но получилось по-другому. Про гордость она забыла, стала болтать какие-то глупости, мол, как живешь, а он: нерегулярно, — говорит. Что же нерегулярно? У тебя жена молодая. А он: во-первых, она мне жена только для прописки, а во-вторых, ты на ее рожу погляди, одно слово: сзади — пионерка, спереди — пенсионерка. Антонине бы сказать, что некрасиво так — о жене, а она наоборот: лицо, говорит, можно и полотенцем прикрыть, а дальше такое сказала, что и вспомнить неудобно. Главное, говорит, сама чувствует — не то, не так надо с ним разговаривать, а остановиться не может, вот и верно, что язык без костей. А Анатолию, кобелю, нравится, доволен, боялся небось, что Антонина будет

скандалить, а чего ей скандалить, хотела бы, еще летом морду бы Полине на-чистила, далеко ходить не надо, в одном дворе живут.

Что-то еще говорил Анатолий — хорошо, дескать, выглядеть стала, поправи-лась, Антонина вроде бы отвечала что надо, а сама только думала: сейчас ведь уйдет, вот сейчас — попросается и всё, и опять только жди да гляди в окно — не идет ли мимо, и опять жди, и ночи эти проклятые, когда такое, бывает, приснит-ся, что утром вспомнишь — и в жар кидает.

А он вдруг: чего же на Новый год не приглашаешь?

— Так ведь, Толя, Новый год — семейный праздник, в кругу семьи. Как тебя Полина отпустит? Или ты с ней вместе ко мне собираешься?

«И что это я говорю? Вот теперь-то он и скажет — шутка, мол, привет семье, до новых встреч, чао, бомбина!»

— Нет, конечно, смотри сам. Если хочешь, заходи. Хоть в Новый год, хоть первого.

— Первого? Порядок. Если не прогонишь, приду в два часа, готовь полбанки.

Вот, так и договорились. Придет. Чего ему врать, сам предложил, не напра-шивалась. Придет.

Комнату свою Антонина, конечно, вылизала, себе купила новое платье цвета морской волны и приталенное. Это ведь еще надо найти — пятьдесят второй размер и по фигуре, у нас на полных шьют, как на старух, мешки, а не платья, даже обидно.

Тридцать первого сбежала к знакомой парикмахерше, уложила и сделала маникюр. И легла спать, как наметила, сразу после гимна. Зато первого к часу дня была уже готова — платье, как влитое, на груди кулон, колготки, правда, порвала, когда патягивала, потому что импортные. У заграничных баб не ноги, а палки, а у нас ноги фигуральные, вот и тесно. Ну да ничего, подняла петлю, сойдет.

Потом накрыла на стол. Скромненько, не очень чтобы очень, потому что не покупать она мужика собирается за какую-то ветчину или икру. Поставила огурчики соленные, шпроты, «еврейский салат» (Роза Львовна научила: творог, чеснок мелко порубить, зелень — можно укроп, можно петрушку), ну и там сыр, колбасы твердокопченной триста граммов, у себя в магазине выпросила. Сволочи все же Катька с Валентиной, как падо что из бакалеи, так «Тося» да «Тося», и она им, конечно, всё оставляет, а у них вечно по сто раз проси, унижайся...

Короче говоря, стол получился не то что богатый, но приличный. А водки, как просил, купила пол-литра. И хватит. Это с Полиной они пускай пьянствуют, Тоня не Полина, что раньше было, то прошло, и вспоминать печего.

В холодильнике, конечно, была еще «маленькая» и две бутылки пива на запас, но это — как получится.

Анатолий пришел точно в два. Снял в передней пальто, и Антонина даже обалдела, никогда таким его не видела. Костюм цвета беж, галстук весь перелива-ется, волосы курчавые, а она уж забыть, оказывается, успела, какие у него красивые волосы.

Прошли в комнату. Антонина говорит:

— Ну, ты даешь. Прямо как из загранки.

А он хохочет:

— Это ты в точку, костюм у меня импортный, маде ин Поланд. Ну что, видела костюмчик? Больше не увидишь.

Снимает пиджак, вешает на стул, галстук туда же, и — за брюки. Антонина села на оттоманку и молчит, что говорить, не знает. Он брюки снял, хохочет, как чокнутый:

— Чего рот раззявила, деревня? Надо быть современной женщиной, к тебе не кто-нибудь, а любовник пришел. Раздевайся.

Антонина встала и опять стоит, молчит. С одной стороны, конечно, приятно, что он считает ее за современную женщину и не просто выпить пришел, но с дру-гой стороны, у них, может, это и принято, а у нас не привыкли еще.

А он стоит в чем мать родила, одни носки оставил с полуботинками, и ухмы-ляется.

— Ну чего? Раздевайся, да побыстрее!
Антонина смотрит — он берет со стола бутылку, наливает ей стопку, себе стопку и говорит:

— Пей давай, тогда, может, смелее станешь, а то как все равно — дурочка. Французские кинофильмы смотрела?

Не ругаться же с ним, не для того полгода ждала. Антонина взяла стопку, выпила. Ладно. Французская жизнь так французская, хорошо хоть сорочку новую надела, нейлоновую. Сняла свое платье морской волны, а он: всё снимай, тут тебе не ателье мод и не поликлиника. А сам еще наливает. Антонина хотела опустить штору, а он: еще чего? Дикость, говорит, или, может, ты у нас с браком? Не помню, чего у тебя там не хватает, вроде всего полно и всё на месте. Ну, что с ним поделаешь, — шутник!

В общем, она разделась, стоит, а что дальше — не знает. Но Анатолий на кровать даже не посмотрел, сел к столу, пу, и она напротив, живот скатертью прикрыла. Холодно всё же. А Толька:

— Чего прячешься? Тело женщины — это, во-первых, красиво. В Русском музее была? И ты интересная, как Венера. А я, — смеется, — как этот... Ганнибал.

Может, со стыда или от волнения, а может, потому, что со вчерашнего дня крошки во рту не было, Антонина сразу онянела. И стало ей плевать, что сидит тут, как дура, голая, и что тело-то, конечно, уж не то, и что от окна так и свищет. Весело ей сделалось и хорошо, потому что вот он, Анатолий, пришел все-таки, сам пришел, сидит, точно фон-барон, а на плечах веснушки, как у маленького...

— Толька, тебе не холодно? Я платок принесу.

— Иди ты с платком! Налей лучше! А потом погреемся.

...а плечи-то широкие, красивый до чего! Ну прямо в точности Ганнибал или какой-нибудь... Юлий Цезарь.

По-французски — так уж пускай на всю катушку! Антонина встала, прошла на каблучках через всю комнату и включила телевизор. Как раз показывали концерт артистов эстрады. И черт с ним! Достала из холодильника «маленькую» и пиво.

Еще выпили, за любовь. Антонина чувствует — онянела, закусить надо, а не лезет кусок в горло, да и все. А тут еще Майя Кристаллинская как запоет: «Я давно уж не катаюсь, только саночки вожу», ничего вроде особенного, а у Антонины слезы.

— Толечка, миленький, я для тебя что хочешь сделаю! Что скажешь, то и сделаю!

— Да не могу я с тобой расписаться, Тонька, пойми ты это, чудачка!

— Не надо мне. Зачем? Я и так для тебя — что хочешь... Я бы и стирала, и обшила, а денег — на что мне деньги, я сама зарабатываю, я бы у тебя зарплату не брала... и какой хочешь можешь приходить, хоть пьяный, хоть какой...

— Кончай реветь. Ты — баба хорошая, лучше Польки. Но расписаться — это нет.

— Толька, я когда мимо ресторана «Чайка» прохожу, где мы с тобой тогда, так всегда плачу, как ненормальная...

— Я — мужчина... Поняла? Ты — баба, а я — мужчина... И всё... Еще керосин есть, нет?

— Меня все тут за последнюю, за не знаю кого считают, что я тогда с Валериком... ты пойми, я же мать! Я ребенка своего люблю, ребенок не виноват... Но тебя я больше своей всей жизни!.. Если бы ты заболел, я бы кровь дала...

— Это лимонад? Лимонад, да?! Не могла две поллитры взять, говорил ведь: жди!.. Я мужчина... бля... с-сука! И — всё!.. Поняла?! Не распишусь. И — всё!

— Толька, ты кушай, вон огурчики солененькие...

— Отстань! Сказал — от-стань!.. И всё... Одну бутылку... Пожалела... сука... Я мужчина! Титки развесила, корова... Я — мужчина, а ты — сука... И всё... И всё...

— Толька, если что, я сбегая, ты успокойся, миленький! Толенька!..

— Убери руки! Руки убери! Не трогай, б....! Убью суку! Убью!!!

— Толька! Не надо! Не надо! Прошу! Вот — на коленях прошу... Толечка! О-ой! Ногами — не надо! Толечка! Толечка-а!..

— Молчи, курва! Получила?.. Вставай! Разлеглась тут... сука! На тебе! На! Заткнись, убью! Заткнись!!!

Хорошо еще — в квартире никого не было, жиличка в гости ушла.

VII

А Роза Львовна собирается на свидание.

Лазаря зачем волновать, ни слова вчера ему не сказала, хватит парню и своей беды. Матери — всё парень, а ему сорок лет, возраст, кстати, для мужчины самый опасный, если уж в этом возрасте случится инфаркт, то это очень и очень плохо. Говорят, беречь надо мужчин именно сейчас, следить, чтобы укрепляли сердечную мышцу, спортом занимались, легкой атлетикой, только судьба не спрашивает, сколько кому лет.

Каждому когда-нибудь достается настоящее страдание, вот и Лелику пришла очередь. В Горьком, в эвакуации, в самые страшные годы, был счастливым — маленький, ничего не понимал, мать рядом, а отцов тогда ни у кого не было. Голодать Роза Львовна ему не давала, не допустила, устроилась на макаронную фабрику, дали рабочую карточку, а по вечерам — шила. Ведь смешно сказать: до войны ничего не умела, а заставила нужда, научилась и кроить, и шить, и вязать, даже подметки ставить.

А потом пошло легче: учился Лазарь хорошо, товарищи его любили, очень способный был мальчик и общительный. Не приняли в университет — это, конечно, был удар, но он не растерялся, поступил в технический вуз, хотя мечтал стать журналистом. Способный человек — всегда и везде способный, вот и в технике всего добился, кандидат наук, физик! Такая сама и так воспитала: не пыть, не жаловаться, что есть — есть, а чего нет — и не надо.

Любой пример: разве кто-нибудь в семье, она или Лелик, сказал одно слово, что нет у Фиры детей? Вообще никогда Лазарь не пожаловался на жену, молодец, но и Роза Львовна ни разу себе не позволила; они друг друга нашли, им и жить...

...Как она могла бросить Лазаря, чем он ей не угодил? Не рахмонес, просто выдержанный и тактичный. Не слишком красивый? В мужчине не красота главное, и пятнадцать лет назад Фира это понимала.

Любовь... Сердцу не прикажешь, и хоть этот Петухов ничем не лучше Лелика, а гораздо хуже, что тут поделаешь, когда любовь? А что у Фиры — любовь, это давно заметила Роза Львовна, видела, вся обмирая, как та ничего не ест за обедом, отвечает невпопад и точно прислушивается к чему-то, что одна она только слышит. То ни с того ни с сего вся вспыхнет, то улыбнется. А глаза! Какие у нее были глаза, боже ты мой! Роза Львовна даже подумала, что Фирочка в положении, но тогда она была бы мягче, ласковее с мужем...

Лазарь ничего не рассказал матери о том вечере, когда Фира оставила их дом. Сама Роза Львовна ушла тогда в начале разговора, не хотела мешать, может быть, неумно поступила. А потом Лелик только и сказал: «Мы с Фирой решили разойтись». «Мы». И — больше ни звука об этом, а в душу лезть — не в характере Розы Львовны, не умеет.

А другие умеют. В доме всегда все известно, сперва смотрели *такими* глазами; Антонина, на что уж распущенная женщина, и та: Розочка Львовна, Розочка Львовна, как же у вас, а? А потом зашла Наталья Ивановна Копейкина да все и выложила — про Петухова, про Израиль, про несчастную Танечку.

Фира просто сумасшедшая, что решила ехать, но можно и понять — кто решил разрушать, идет до конца, а где жить с любимым человеком, это не имеет значения, ничто не имеет значения, лишь бы вместе. Разве сама Роза Львовна после известия о гибели мужа все годы тысячу тысяч раз бессонными ночами не думала: а вдруг ошибка? Вдруг живой? Пусть калека, пусть контуженный, душевнобольной, пусть — что хочешь, только бы вернулся! Даже если попал в плен и наказан — все равно счастье, они с Леликом поедут к отцу в любую даль, хоть на Сахалин. Только вряд ли. Немцы не оставили бы в живых пленного еврея, да

и не сдался бы Моисей — такой человек, в этом Роза Львовна была уверена, тем более письмо фронтового друга... Но бывают же и ошибки!

И вот вам парадокс: теперь, через столько лет, Роза Львовна вдруг узнает, что Моисей жив, и это для нее удар! И горе, и боль, и обида. Ты его любишь, так радоваться должна, кто это молил Бога: «Пусть какой угодно, только живой»? Вот — он живой, и что же? И оказывается: лучше калека, лучше преступник, лучше... страшно сказать... мертвый. Но — мой.

Ничего не объяснишь, ничего не поймешь, так не тебе и судить других за любовь к Петухову. Хотя, наверняка, будут еще у Фиры большие страдания — такой Петухов, чего доброго, и пьяница, и антисемит. Ни в чем не нуждался, занимал большой пост, и вдруг — Израиль! Предательство, если разобраться. Он же русский человек.

...А Лелик на руках ее носил...

Обо всем этом думает Роза Львовна, рассуждает сама с собой, хочет быть справедливой, а сама между тем собирается.

Главное свидание в жизни женщины бывает иногда и в шестьдесят лет. Конечно, что там прическа или наряды, но новое демисезонное пальто, купленное в декабре, сегодня оказалось очень кстати. Март на дворе.

Роза Львовна аккуратно укладывает в сумку фотографии: Лелика принимают в пионеры, Лелик с классом в день окончания школы, а это — она сама, с Доски почета, 1950 год, молодая, с медалью... Свадебные снимки, Фира, как ангел, это — в сторону, вообще надо спрятать подальше. А его кандидатский диплом возьми, и все авторские свидетельства, восемь штук. Восемь изобретений — нешуточное дело, один даже есть заграничный патент. Вот какого сына вырастила Роза. Одна вырастила, выучила и вывела в люди.

Роза Львовна защелкивает сумку, раздувшуюся от бумаг, и все-таки идет к зеркалу. Губы надо подмазать, платок — к черту! Надену вязаную шапочку. И никто этой женщине больше пятидесяти пяти не даст! Потому что не расплылась, не опустилась. А седые волосы — это благородно, сейчас модно, даже девочки носят седые парики.

...Почему она выбрала местом встречи Юсуповский сад? Наверное, можно догадаться: потому что последний раз в жизни они гуляли там все троим — она, четырехлетний Лазарь и Моисей. Было это в субботу вечером, двадцать первого июня. А жили тогда рядом, на Екатерингофском. Но, конечно, когда Моисей вчера позвонил, она ничего в виду не имела, сказала первое, что в голову пришло, а пришел в голову Юсупов сад.

— Здравствуйте, Роза Львовна, говорит Кац, по вашей открытке, — начал свой телефонный разговор Моисей, — я получил открытку и решил сразу позвонить.

Голос его оказался удивительно похожим на голос сына, только акцент, а Лелик говорит чисто, как диктор.

Старалась разговаривать достойно, без волнения:

— Здравствуй, Моисей. Так как теперь выяснилось, что все эти годы ты был жив, моему сыну необходимо уточнить свои анкетные данные. На случай заграничной командировки.

Никакой командировки не предвиделось, особенно теперь, после истории с Фирой, но Роза Львовна продолжала:

— Раньше он писал: отец погиб на фронте, теперь же необходимо указать место жительства и работы.

— Я на пенсии, — грустно сказал Моисей.

— Тогда последнее место и должность.

— Если надо, я могу сейчас приехать, — предложил он, — адрес я знаю, выяснил в справочном...

— Поздно тебе понадобился адрес сына, — сказала Роза Львовна заранее приготовленную фразу, — приезжать незачем, у тебя своя жизнь, у нас — своя. Если ты очень хочешь, можно встретиться. Завтра. Часа в четыре. В Юсуповском саду у входа.

— Хорошо. Я приду в четыре, — покорно согласился Моисей.

На двадцать минут раньше он явился, а возможно, и больше. Роза Львовна сама почему-то оказалась около сада без четверти четыре и издали, с противополо-

ложной стороны Садовой, сразу увидела: уже стоит. С Лазарем, кроме голоса, у этого гопника ничего общего не оказалось, разве что цвет глаз, но выражения совсем другое, как у старой клячи. Какой-то маленький, худенький... Эх, Моисей, Моисей, разве так выглядел бы ты сейчас, если бы не совершил предательства к жене и сыну!

— А ты, Роза, совсем не изменилась, — сказал Моисей, когда она подошла, — все такая же, я просто поражен.

Ну что, сказать ему всё, что думаешь, что он заслуживает услышать?.. За-чем?

— Пойдем, сядем, — предложила Роза Львовна, внимательно оглядев ношенные-переносные ботинки Моисея и его куцее пальтишко без двух пуговиц, первой и четвертой, — или, может быть, ты замерз? Так я могу пригласить тебя в кафе.

Не ответив, он по грязной, раскисшей дорожке потащился к лавочке и сел, подпернув на коленях брюки, на которых, кроме пузырей, ничего не было. Роза Львовна не торопясь достала из сумки газету, постелила и аккуратно села, чтобы не запачкать новое пальто.

— Ну, говори, — сказала она.

— Что я могу сказать? Когда я решил... я встретил ту женщину... ну, когда мы написали тебе то письмо... я подумал: так будет лучше, ты гордая, и тебе будет легче оплакать мертвого, чем узнать... — забормотал Моисей.

— Это меня не интересует: женщина, твоя ложь, — перебила его Роза Львовна, — сообщи последнее место работы и с какого года на пенсии. Адрес я знаю. Тоже нашла в справочном.

— На пенсии я с 1965 года, а работал в торговой сети.

— Должность?

— Продавцом.

— Ты же имел образование?! Специальность техника!

— Ну, так получилось. Семья...

— Можно содержать семью и при этом работать честно. Да... Значит — продавец... А я вот еще не на пенсии. Старший библиотекарь. А Лазарь — кандидат. Скоро поедет в Москву, вызвали в министерство.

Моисей молчал. Она ждала, что сейчас он начнет рассказывать о сыне, но он молчал. И в это время вдруг начался дождь. Сразу стемнело; мелкие-мелкие капли сыпались на скамейку.

— Пойду, — угрюмо сказал Моисей и поднялся, — поезд у меня в шестнадцать пятьдесят, а еще купить надо, в Шапках с продуктами плохо.

И тут Роза Львовна не выдержала:

— Поезд у тебя? — закричала она, вскакивая. — А совесть у тебя есть? Как у сына дела, чего он добился в жизни — это тебя не интересует?

— Интересует, — буркнул Моисей, переступая своими дырявыми ботинками в луже, — ты же сказала — кандидат. И соседей спрашивал. Квартира у вас и машина. Кандидаты. В министерство! Библиотекари! «Имел специальность техника»! А — когда трое детей и жена больная?! Когда жрать нечего?! «Содержать семью и работать честно»! Спасибо за науку, гражданин начальник! Конечно, тогда я пришел нетрезвый, это безусловно. Но зачем он от меня, как от заразного? Он же сын... Вот... — грязными, негнущимися пальцами он шарил по карманам, полез в пальто, потом в пиджак, — вот, отдай, скажи: спасибо от родного отца! Он мне тогда дал, так это я долг возвращаю! Я брал в долг! — Он совал в руки изумленной Розы Львовны смятый рубль и какую-то мелочь.

— Да что ты... — говорила она, отступая, — зачем? У нас есть, мы ни в чем не нуждаемся...

— Есть — и на здоровье! — кричал Моисей. — Не нуждаетесь, и прекрасно! Мне вашего не надо, я пенсию имею, за работу! Всем, чем обеспечен!

Внезапно он выхватил у Розы Львовны сумочку, открыл ее, высыпал туда деньги, повернулся и чуть ли не бегом направился к воротам. Роза Львовна, вконец растерянная, нерешительно пошла за ним. У ворот он замедлил шаг, видно, запыхался, но продолжал уходить, не оборачиваясь.

Так они и двигались к Сенной площади друг за другом. Роза Львовна в каких-нибудь десяти шагах видела впереди старческую спину, сутулые узкие плечи,

обтянутые старым пальто, желтую сетку с какими-то кульками — откуда он ее вытащил? В кармане была, наверное, так.

Моисей не оглядывался.

Они миновали рыбный магазин, перешли Московский проспект, теперь Роза Львовна почти догнала его. Куда он? К метро, конечно. На вокзал лучше всего — на метро.

Вот и состоялось их последнее свидание...

— Моисей! — крикнула Роза Львовна, — Моисей, стой!

Крик ее неожиданно пресекся, густой зеленоватый туман застал глаза, ноги ослабели...

— Что с вами, мамаша? — участливо спросил молодой голос, и Роза Львовна почувствовала, что ее крепко взяли под руку. — Вам плохо?

— Ничего... остановите его... гражданина, — еле выдохнула она, пытаясь поднять руку, — вон тот, пожилой, с сеткой...

— Нету там никого, мамаша, вам почудилось. Вы не нервничайте. Можете стоять?

— Я стою. Все уже проходит. Прошло. Спасибо.

Зеленая мгла рассеялась, и Роза Львовна увидела рядом встревоженное лицо в очках. Совсем мальчик, студент, наверное.

— Все прошло, вы идите, молодой человек, спасибо вам, я сама.

Она освободила руку и шагнула вперед. Моисей исчез. Народу поблизости было немного, она внимательно вгляделась — нету. У входа в метро нет, и на трамвайной остановке, и у магазина. У Розы Львовны зоркие глаза, очков не носит, не могла она ошибиться. Моисей Кац пропал, как провалился.

В последний раз Роза Львовна медленно и тщательно оглядела Сенную площадь. Что ж... Нет так нет. Сорок лет не было — и опять нету. Значит, так оно и правильно, что ни делается — всё к лучшему. Роза Львовна крепко прижала к себе сумочку и пошла на остановку.

VIII

Наконец-то подошла очередь поговорить о Семеновых. А то уж так, по правде сказать, надоели все эти драмы и трагедии, пьяная Антонина с распухшим глазом и синяками по всему телу, заплаканная Роза Львовна, молчаливый и похулевший Лазарь. Да что их всех перечислять, бумаги не хватит, а мы с вами — тоже люди, у нас и дома хватает неприятностей, и на работе, а тут еще — видали? — сел человек раз в жизни в свободное от дел, хозяйства и телевизора время почитать книжку — и опять ужасы, разводы, слезы, треугольники какие-то... И все герои, как один, или сволочи, или вовсе — моральные уроды. Как будто нет вокруг здоровых, веселых, румяных людей, спортсменов, как будто никто не едет на БАМ и КАМАЗ, будто не ходит по нашему городу умная интеллигенция с портфелями, мольбертами и творческими замыслами... И погода — всегда плохая. И в магазинах — очереди.

Всё. Передых. Расслабились.

Мы у Семеновых. Семья у них крепкая, дружная, здоровье отличное, и это не случайное везение, просто никто не пьет и не валяется по диванам с книгами, а все работают, так что болеть и ныть тут некогда. В комнате тепло и чисто, всё блестит — от пола, покрытого лаком, до мебели и окон. Сын — отличник английской школы, председатель совета отряда; глава семьи Семенов — передовик производства, портрет его висит во дворе завода. Не фотокарточка какая-нибудь, а настоящий портрет, нарисованный настоящим художником. И характеры у всех спокойные и уживчивые, с соседями никогда никаких ссор. Вот, Тютин, старики уже, Марья Сидоровна, когда ее уборка, бывает, и пыль в коридоре в углу оставит, и плитку плохо моет. Но разве ей когда слово сказали? Ни разу. Наоборот, всегда: Марья Сидоровна, я — в молочный, вам кефиру взять?

Счастливые люди редко бывают злыми, это известный, проверенный факт, а Семеновы со всех точек зрения имеют право называться счастливыми людьми.

Вот только что такое счастье?

Один не очень уважаемый человек говорил, что счастье, мол, это максималь-

ное соответствие действительного желаемому. Если отбросить наши с ним личные счеты, то, может быть, он и прав? Все дело в том, что для кого — желаемое. Какая цель? А если не дубленка, а Коммунизм?

Но, с другой стороны, есть мнение, что цель — ничто, а движение — всё, и это уже не кто попало придумал, а какой-то классик, чуть ли не теоретик перманентной революции.

Есть еще люди, которые утверждают, что счастье — это когда нет неприятностей. Что-то в этом есть, и как-то, лежа бесплатно в больнице «25 Октября»... Ладно. А вот счастье Семеновых как раз заключается в том, что они не ищут этому состоянию никаких определений или — себе оправданий: почему, дескать, нам хорошо, когда другому, той же Розе Львовне, плохо. Вообще они не занимаются решением проблем, а просто живут. На вопросы знают ответы, знают, чего хотят и что надо сделать, чтобы их мечты стали явью. И делают дело, а не ждут, когда придет дядя или детский волшебник Хоттабыч. Поэтому я считаю, что если уж где и отдохнуть нам с вами, так только у Семеновых, где в настоящее время хозяин, сидя за столом, ест борщ. Восемь часов утра. Семенов пришел с ночной смены, сын уже в школе — сегодня сбор металлолома, а Дуся на больничном. Вот тоже повезло, всего день была температура, а врач уже неделю не выписывает, но платят сто процентов.

Чистая клеенка. Тарелка с золотым ободком. Борщ украинский с чесноком и сметаной. Свет еще горит — темно на улице.

— На Пасху буду две смены работать, в ночь и в день, — говорит Семенов, откусывая хлеб.

— Чего?

— Мастер сказал: двойной средний и к майским премию выпишет. А может, и живыми деньгами. Четвертной. Никто не хочет выходить, все верующими заделались.

— Еще не скоро Пасха...

— Доживем. Парню, если перейдет с пятерками, велосипед надо покупать, обещались... Ты небось тоже пойдешь куличи святить?

— Пойду. А что мы, не люди?

— Верующая, значит?

— Ладно тебе.

— Если богомольная, то где твоя икона?

— Сума сошел! Сын же у нас. Пионер! Ребята из класса придут, потом Майе Сергеевне скажут — у ихнего председателя дома религиозная пропаганда.

— Ишь ты, «пропаганда»! Пошутил я. И куда их нам, эти иконы, всю комнату портить. Только тогда скажи другое: как вам Христос велел? «Не воруй»?

— Не укради.

— А из чего ты пододеяльник вчера строчила?

— Ой, да отвяжись ты с глупостями!

— Нет, а все же: купила бязь на свои или все-таки с завода приволокла?

— Это не воровство. Воровство — это если у людей, а я со склада. Там этой бязи знаешь сколько валяется? Девятый год работаю, все валяется, скоро в утиль спишут. Не я возьму, другие в два раза больше утащат. Не обеднеет твое государство, все берут — ничего. Хоть ваш начальник цеха, а хоть и замдиректора.

— По-твоему, честно?

— А на улице если нашел, поднять — честно? Да хватит тебе болтать лишь бы что! Не на собрании. Доедай и ложись, я уж постелилась. Разговорился тут, депутат!

— Дуська, не нервничай, я так. Тебя дразню. Борщ вкусный, будь здоров! Хорошо, когда жена дома.

— Ясное дело, гулять — не работать! Ой, чуть не забыла! Эти-то в Израиль собрались.

— Кто?!

— Лазаря жена с Петуховым, ну, с начальником-то. Чего делаешь квадратные глаза? К Петухову она ушла, уезжают в Израиль.

— Ну?!

— Вот и «ну». Татьяна в нервную больницу попала.

— Ну, дают. Не ожидал от Петухова. Все было: машина казенная, по заграм бесплатно ездил. У кого все есть, всегда мало.

— Я вот думаю, а может, он еврей? Похож.

— Ладно, Евдокия, я спать пошел. Хрен с ними со всеми, нас, слава богу, не касается, я с этим Петуховым и знаком, считай, не был — «здрасьте — до свиданья».

И верно, прав Семенов, не касается. И пусть он спит, слесарь шестого разряда, золотые руки, ударник труда. Он не после гулянки спит, а после смены.

А мы посидим еще немного около батареи парового отопления, неделю назад выкрашенной масляной краской в голубой цвет. Молча посидим, чтоб не мешать, только отодвинем жесткую, накрахмаленную занавеску и увидим, что за окном среди темного осевшего снега раскинули ветки мокрые деревья.

Таает, со вчерашнего дня таает, с крыш вода течет и капли стучат по железному карнизу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Праздник

I

Если в первомайский день посмотреть с вертолета, праздничная площадь похожа на лохань, в которой стирают белье. Колышется, плывет многоцветная пена, лопаются в воздухе пузыри воздушных шаров, ручьями стекает в улицы толпа, устало опустив свернутые, отслужившие знамена и тяжелые портреты.

Если же посмотреть с вертолета на Марсово поле — это тоже очень внушительное зрелище: точно факелы, поднялись над ним обернутые красными полотнищами фонари, расставленные какими-то особыми геометрическими фигурами, только с высоты различимыми и понятными. А в самом центре днем и ночью вечным пламенем полыхает желтый костер.

Красные флаги хлопочут на ветру вдоль решетки Кировского моста, красные флаги свисают со стен домов, красные флаги в руках тысяч людей, заполнивших в это праздничное утро улицы, набережные, переулки и скверы. Красные улицы, красные набережные, красные переулки и скверы. Красный город, если смотреть с вертолета.

И красные повязки на рукавах румяных дружинников, спорящих с женщиной в несвежем белом халате около белой машины с красным крестом во лбу.

— Проезд закрыт. Прохода нет, нельзя здесь, — устало повторяет и повторяет один из дружинников, главный; не в первый раз произносит он эти слова, и давно бы надо гаркнуть, но он говорит так тихо только потому, что — воспитанный человек, не может грубить пожилой женщине, да и неохота портить настроение в такой день. Но, наверное, тоже не в первый, похоже, в десятый раз твердит свое бестолковая и настырная докторша, талдычит охрипшим сломанным голосом:

— Там возможен инфаркт, вы что, не слышите?! Там инфаркт, понимаете, нет?

— Проезд закрыт, — из последних сил говорит дружинник, даже и теперь не повышая голоса. — Видите, грузовики? Ваша машина просто не пройдет, что я могу сделать?

Грузовики стоят сомкнутым жестоким строем, перегородив улицу. Врачи замолкают — дошло наконец. Секунду она бессмысленно топчется, уставившись на широкий неумолимый зад грузовика, потом мрачно лезет в свою машину и громко хлопает дверцей. Взревает мотор, и, медленно развернувшись, «скорая» уезжает искать объезд.

А на Марсовом поле уже толпа — флаги, портреты, шары, — хлынула демонстрация.

II

Приглашение на трибуну Петру Васильевичу Тютину прислал Совет ветеранов. Помнят черти, ценят, уважают старого солдата, опять, смотрите, — солдата, не мастера, тем более не пенсионера, а именно солдата!

Получив пригласительный билет, старик долго ходил с ним по квартире, показал жене и Дусе Семеновой, потом пошел во двор, тоже показал кое-кому, а еще позвонил на работу Анне и торжественно объявил, что берет с собой на площадь обоих внуков, Тимофея и Даниила. Дочь, однако, сказала, что долгосрочный прогноз обещал холодную погоду и осадки, а мальчики оба кашляют, пусть лучше посидят дома. Ну что ты скажешь! Обычная женская глупость, как будто не ясно — для любого мальчишки пойти с дедом-фронтовиком на трибуну в сто раз полезнее любых горчичников с микстурами! Петр Васильевич крикнул, выгреб из кармана грудку двухкопеечных и принялся названивать друзьям: поздравлял с наступающим, спрашивал, как в части здоровья, встретимся ли на День Победы, а в конце между прочим сообщал, что вот, хочешь — не хочешь, а Первого мая придется идти на трибуну. Совет ветеранов требует, билет на дом принесли, так что болен — здоров, никого не касается, будь любезен явиться в 10.00 и принимать парад трудящихся, товарищ Тютин.

В день праздника с утра хлестал дождь, ползли по небу мордастые и злобные тучи, похожие на армии Антанты со старого плаката, и в груди жало, в силу чего Петр Васильевич тайком от жены принял нитроглицерин.

Марья Сидоровна несколько раз с тревогой поглядывала на мужа, но сказать ему, чтоб остался дома, не смела, да и правильно: что без толку раздражать старика?

До Дворцовой Тютин добрался быстро и хорошо, дождь как раз поприших, по звенящим от репродукторов улицам бежали опаздывающие на демонстрацию, многие, конечно, уже хвативши, нехорошо вообще-то — с утра, да у кого язык повернется осудить — такой день! Еще во дворе Петр Васильевич столкнулся с Анатолием. Тот был в сбитой на затылок кожаной шляпе, в расстегнутой нейлоновой куртке, с распахнутым воротом белой рубахи.

— С праздничком, Петр Васильч! — рявкнул Анатолий, и на Тютину понесло сивухой.

— Тебя также, — сдержанно отозвался Петр Васильевич. Анатолий ему не понравился.

— Демонстрировать идете? — не отставал тот. — А и я тоже. Знамя до Дворцовой понесу, у нас за знамя два отгула обещали.

— Постеснялся бы ты, Анатолий! — все же не выдержал Тютин. — Кто это у вас придумал такой цинизм? Вот напишу в райком. И ты — хорош! Это же честь — нести заводское знамя!

— Не смей человека в нерабочий день, папуля! «Честь»! Это все словечки из до нашей эры. Вы уж их забирайте с собой на заслуженный отдых, а нам давай деньгами.

Тютин больше не стал разговаривать с дураком, ушел, но настроение все-таки подпортил паршивец, и сердце опять засосало. Как у них все просто, черт его знает! Такой за целый будень будет тебе крест вокруг церкви на Пасху таскать, ничем не побрезгует, лишь бы платили, беспринципность полная. Это поколение такое — горя не знали. Черт с ним, паршивая овца, хороших людей у нас намного больше.

...Что там ни говори, а приятно стоять на трибуне среди заслуженных людей, почти рядом с руководителями города, приветствовать — руку к шляпе — проходящие мимо мокрые, но все равно веселые, гулкие колонны. Демонстрация только еще вступила на площадь.

— Слава советским женщинам!

— Ур-р-а-а!

Это уж верно, слава, сколько они на своих плечах вытащили, наши бабенки,

и до сих пор тащат. А вон идут — нарядные, красивые, точно не они — и у станков, и на машинах, и в поле. Нету в мире красивей наших женщин, знаю, Европу прошел, повидал. Нету!

— Слава советской науке!

...и в космосе мы первые, Саяно-Шушенскую, вон, сдаем...

— Ур-а-а-а! — ревет площадь.

Что-то в груди как будто стало тесно, как будто сердце там не помещается, жмет на ребра, подпирает под горло. Петр Васильевич вынул нитроглицерин, пальцы плохо слушались, и уже чувствовал — надо уходить, быстрее уходить, не хватало еще грохнуть тут в обморок, чтобы сказали: приглашают на трибуну старья, а они и стоять уже не могут... И в глазах смутно... наверное, упало атмосферное давление, для гипертоников — последнее дело. Торопясь, стараясь не думать про тупую боль в груди, не думать про нее и не бояться, Тютин спустился с трибуны и пошел к выходу, к улице Халтурина.

Боль в груди, однако, не утихала, она была другой, не такой, как обычно, была незнакомой и грозной, росла. Но сейчас-то не страшно, вон уже и Марсово поле, добраться бы как-нибудь до Литейного, а там автобусы, да и машину какую-нибудь можно остановить... только бы домой, скорее бы домой... темнеет, дождь, что ли, опять собирается, воздух, как мокрая вата, дышишь, дышишь, а все без толку...

Боль сделалась громадной, ослепительной. И захлестнула весь город.

На Марсовом поле веселье. Докатилась сюда исторгнутая площадью людская масса, повсюду — на скамейках, на дорожках, на газонах — обрывки расчлененной толпы. Прямо на мокрой земле, на только что продавленной траве расстелен кумачовый плакат. Вдоль белой надписи «Мир и социализм неразделимы» — батарея пивных бутылок, две «маленькие», груды пирожков, бутерброды с сыром.

— С праздником, старики!

— Будьте здоровы!

Подняты бумажные стаканчики и сдвинуты.

— Ура, ребята. Вздогнули.

— Глядите, дед-то как накирлялся. Вон, на скамейке. Лежит как труп. Когда успел?

— Долго ли умеючи.

— Умеючи-то долго!

— Ну ты, Валера, даешь! Специалист... Не шевелится. А вдруг ему плохо?

— Ага. Сейчас. Ему-то как раз хорошо.

— Пойти поглядеть...

— Иди, иди, Галочка, протрясись, человек человеку друг, товарищ и волк.

— Гражданин! Гражданин!.. Пальто расстегнул, как будто лето. А медалей сколько, и ордена... Гражданин! Эй!.. Колька! Колька! Валерка! Ребята, надо «скорую»! Валерка!..

III

...Совсем уже синее, пронзительно яркое небо над Марсовым полем. Из кустов, из-за голых веток сумрачно и с обидой глядит розовощекий, нарисованный на фанере портретный лик. Косой пробор в гладких волосах, темный пиджак, звездочка на груди. И у Петра Васильевича на груди — тоже звездочка, орден Красной Звезды, приколот по случаю праздника.

Смотрит из кустов брошенный кем-то приколоченный к палке портрет. Смотрят в празднично-синее небо застывшие глаза ветерана Тютин. И уже не видят, как далеко в космической вышине пролетают над городом и лопаются радужные пузыри детских воздушных шаров.

IV

Наталья Ивановна Копейкина на демонстрацию не ходила. В семь часов утра сорвался с цепи будильник, долго радостно трещал, но иссяк. За окном лило,

кричали мокрые репродукторы, и она подумала, что в праздник человеку должно быть хорошо, а это — когда живешь как хочешь. И, виновато посмотрев на поджавший губы будильник, она повернулась к стене и с головой залезла под одеяло.

Оттого, что все должны вставать и тащиться куда-то по дождю, а она лежит себе в теплой постели, как королева, Наталья Ивановна сделалось совсем уютно, и она заснула под марши, несущиеся из-за окна.

В пол-одиннадцатого, открыв глаза, подумала, что — хорошо, чисто, вчера полы натерла, в серванте посуда блестит. И пирог. А впереди целый день, который можно провести как хочешь. Потом вспомнила, что позавчера было письмо от сына, он здоров, работает механиком. Может, и станет еще человеком? Правда, Людмила последнее время стала редко заходить, как бы не любовь у нее, как же тогда Олег?

Не спеша, Наталья Ивановна попила чаю с пирогом, оделась и пошла гулять. Потому что, сколько она себя помнила взрослой, никогда не ходила просто так, без дела, по улицам. Гуляла в садике с маленьким сыном, а как вырос, только: купить, отнести, к врачу, на родительское собрание, на работу, с работы, на работу, с работы... Эту зиму, правда, грех жаловаться, Людмила где не таскала — и в музей, и в Музкомедию, и в Пушкин, в лицей. Но это все равно были дела для повышения культуры, тоже заботы: прийти, что положено — увидеть и запомнить, сколько положено — отбыть. Нет. Сегодня она пойдет одна, куда захочет.

— С праздником, Марья Сидоровна! Здоровья и долгих лет жизни! Петру Васильевичу тоже.

— Спасибо, Наташенька, тебя также. А Петр Васильевич на трибуну пошел, рукой махать. Не слышала по радио: кончилась демонстрация?

— Еще идет. Рано ведь.

...Наверное, сегодня весь город на улицах, идут, взявшись под руки, по трое, а то и по пятеро... Почему так: человеку хорошо, когда можно делать что хочешь, а делать что хочешь можно только, если ты один?.. Много все же у нас одиноких женщин, и сразу их узнаешь — семейная идет и по сторонам не смотрит, а вот те, три, здоровые, на всех мужчин заглядывают, улыбки, как настоящие, и лица незамужние... Смешные бабы, вцепились друг в друга, как три богатыря с той картины, самая полная — Илья Муромец... Нет, все-таки обязательно надо иногда походить одной...

Мимо старухи, торгующей «раскидаями», мимо пьяненького инвалида со связкой дряблых воздушных шаров Наталья Ивановна подошла к лотку и купила себе шоколадный батончик за тридцать три копейки, с коричневой начинкой. Давно она не ела шоколада, ну как это — ни с того ни с сего взять да и купить себе шоколад?.. А народу на улице все больше, наверное, кончилась уже демонстрация.

...Господи, что это? Крик. Да страшный какой, точно кого убивают.

У входа в гастроном толпа. И, ударяясь о стены, о лица, мечется ржавый, хриплый, отчаянный женский крик. Драка.

— Чего они?

— А пьяные...

— Милицию надо, вечно их нет, когда что...

— Побежали за милицией.

Наклонив вспотевшие лбы, набывчив шеи, они наступают друг на друга. Медленно, как в кино. Наталья Ивановна, конечно уж, протиснулась в первый ряд. В руках — это ж с ума сойти! — знамена. Наперевес, как ружья. Блестят на солнце медные острые наконечники, похожие на школьные перышки № 86, теперь такими не пишут, теперь авторучками...

— Стойте! Ребята, стойте!

Наталья Ивановна вцепилась в рукав одному из дерущихся, тащит:

— Брось! Слышишь? Брось! С ума сошел?

— Отойди... с-сука... сука... убью! Уй-ди!

...Батюшки! Только! Зверюга пьяная...

— Сука!

Здорово бы Наталья Ивановна расшиблась об асфальт, да воткнулась в толпу, подхватили.

— Ах ты, гад! Ну, погоди же...

— Куда вы, женщина, обалдели?! Такой зарежет и не охнет!

— Две собаки дерутся, третья не приставай!

Вот идиот какой, еще в очках! Вцепился в рукав и не выпускает.

— Пусти! Твое какое дело? Пусти, говорю! Чего пристал, очкарик, тоже мне еще!..

— Женщина, вы что, выпили?

— А ты чего лезешь?! Сам пьяный, дурак чертов! Пусти, сволочь, как дам вот по очкам...

А Анатолий и тот, второй, поменьше, точно сигнал получили, кинулись, матерятся, целят друг в друга своими копиями.

И опять кричит от страха, визжит в толпе какая-то женщина.

Два наконецника — перышки. Два дrevка. Две пары побелевших от напряжения рук. Да где же эта милиция?!

А из серебристого репродуктора над головами толпы вдруг посыпался вальс. Точно летний, грибной, солнечный дождь. Зазвенел, заглушая крики, а дерущиеся всё ближе друг к другу, лица всё темнее, уже глаза...

— Гражданка, прекратите хулиганить! Хотите, чтобы и вас укокошили?

— Пусти, идиот!!!

— Совсем одурела, чего руки распускаешь? По очкам?! Дружинников надо! Тут баба пьяная дерется!

...Вырвавшись, выставив вперед руки с растопыренными пальцами, раздирая толпу, вслепую, по чьим-то ногам Наталья Ивановна уходит прочь. Скорее отсюда, скорее домой... домой!

А сзади музыка, рояль... И — вопль! Это уже не женщина кричит. Скорее, скорее, наступая на бумажные цветы, на мертвые комочки лопнувших шариков... скорее... только подальше от этой толпы, от того места, где, наверное, стекает на шершавый асфальт густая красная кровь.

Вечер. Зажглись над накрытыми столами, над белыми скатертями праздничные теплые огни, свет во всех окнах. С праздником!

— С праздником!

— С праздником!

— С праздником!

— Ах, дед у нас. Вот дед, безобразник! Все собрались давно, все его ждут: и дочь, и внуки Тимофей и Даниил. А он... Отправился, не иначе, к своему дружку Самохину, встретил небось на трибуне. Ну, я ему...

— Да ладно тебе, мама, придет. Не трогай старика, пусть гуляет, ветеран.

...Ярко горят разноцветные фонарики, высвечивают контуры военных кораблей.

— Линкор. Вот, самый большой — это линкор. Видишь, Славик?

— Да ты чего, папа! Не линкор, а ракетносец, линкоров сейчас не строят.

— Дожили: яйца курицу... Слышишь, Дуся?

— Ну, это надо же, какие дети стали, больше нас разбираются!

— Лелик, ну что ты — как пришибленный? «Плечи вниз, дугою ноги и как будто стоя спит». Никакой выправки. Пошел бы куда-нибудь, к товарищам. Ведь ты же совсем еще молодой человек, а киснешь в праздник около телевизора. Надо быть мужественнее, мальчик, я вот — одна тебя растила, сколько перенесла, а духом никогда не падала. Ты, наоборот, докажи, что ты сильный...

— Хорошо, мама, сейчас я докажу. Хочешь, подниму тебя вместе со стулом?

— Все твои хохмы! Лучше подойди к окну, посмотри, какая красота.

...И верно: красота. Багровое зарево огней полыхает над городом, разливается по светлому весеннему небу.

Грохочет салют, рассыпаются над Невой ракеты.

— Ой, как здорово! Раньше я внимания не обращала. Саш, я не знаю, мы там с ума сойдем, такого второго города нет!

— Лирика, Фирочка. Салют — зрелище довольно варварское, особенно в сочетании с пьяной толпой приматов. Уверю тебя: карнавал в Венеции ничуть не хуже.

— Я понимаю... но все же, если знаешь, что ни-ко-гда...

— ...Ур-ра-а!!! — кричит набережная.

— Вот сейчас они кричат «ура», а завтра им велят кричать «бей жидов», и они, все как один...

— Саша, ты прав! Ты всегда прав, а я сентиментальная, глупая дура.

— А то еще не поздно, можешь вернуться к своему патриоту Лелику, к его маме и «Жигулям»...

— Не надо, Саша. Давай лучше посидим, вон скамеечка. Как тут мрачно, фонари в каких-то красных саванах.

— В саванах — это точно. А что же, Марсово поле — это ведь, если разобьются, кладбище.

— Ой!

— Ну что «ой»? Обыкновенный портрет. Кому-то из трудящихся было лень нести — и бросил.

Еще залп. И ракеты. И — снова залп.

— Ур-а-а-а! — песется над домами.

— Ура-а-а-а! — со звоном встречаются над столами, ударяются друг о друга рюмки, бокалы, стаканы, жестяные кружки.

Праздник. Хорошо, когда праздник. Весело людям — и слава Богу. Ура.

ЭПИЛОГ

Что ждет нас там, куда мы попадем, когда все наши дела здесь кончатся? Никто ни разу не дал окончательного ответа на этот вечный вопрос. Мог бы теперь, в качестве очевидца, ответить на него Петр Васильевич Тютин, но молчит. Не потому ли молчит, что знает такое, чего живым знать раньше времени не положено? И не потому ли, не затем ли, чтоб поставить на место тех, кому постоянно не терпится, всегда так надменно-загадочны отрешенные лица мертвых?

Чужой и строгий лежит, сложив на груди руки, Петр Васильевич. Одет он в старый свой синий костюм — все-таки по его получилось, серый оказался весь в масляной краске.

Пахнут новогодним праздником венки из еловых веток, пахнут летом, сырым тенистым оврагом букетики ландышей. Похоронный автобус движется сквозь дождливый полдень, капли стекают по запотевшим изнутри стеклам, молча сидят провожающие — родственники и близкие соседи.

Фронтвики поехали в другом, обычном автобусе, и правильно поступили. Старые все люди, для каждого похороны друга — репетиция, пусть себе едут отдельно и даже разговаривают на посторонние темы, пускай, успеют еще...

Марья Сидоровна молчит, вздрагивая от толчков, на переднем сиденье. Дочь, распухшая от плача так, что и не узнать, обнимает ее за плечи, вдоль стен неудобно выпрямились Роза Львовна, Лазарь Моисеевич, Семенов — вот кто помог с организацией похорон, золотой мужик! — Дуся, Наталья Ивановна. Антонины нет, сама не своя с того дня, как забрали Анатолия, ничего не понимает, никого не слушает, бегает где-то целыми днями, говорят, нашла ему какого-то особенно-го адвоката. Роза Львовна ее уговаривала: таких бандитов, Тоня, надо, извините, расстреливать на месте, он же человека инвалидом сделал, а мог и убить.

Куда! Наберет продуктов — и в «Кресты», а подследственным передачи не положены, вот и тащит со слезами обратно, а назавтра — опять. Похудела, глаза, как фонари, живот уже торчит — на пятом месяце, о чем только такие бабы

думают! Второго хочет рожать, и снова без отца, а самой сорок с лишком. Подумала бы лучше о Валерке, мальчишка хилый, слабенький, как картофельный росток, а она убивается по этому бандюге, сына от него, видите ли, ждет.

Зато Полине, той хоть бы что. Так, говорит, паразиту и надо. Осудят, возьму развод, отмечу заразу на хрен к такой-то матери! Пьяная всегда, ему, Анатолию, самая пара.

Ехать еще далеко — по Садовой, по Стачкам, к Красненькому кладбищу, где с большим трудом — фронтовые друзья в больших чинах хлопотали — удалось добиться разрешения похоронить. В могилу к отцу, скончавшемуся сорок с лишним лет назад, положат теперь Петра Тютинина, это называется «подхоранивать», но пока выколотить нужные бумаги, все ноги сносишь.

Марья Сидоровна не плачет, отплакалась. Да еще утром дочка дала выпить какую-то таблетку, от которой все внутри задеревенело, и руки как чужие, и мысли в голове как не свои. Что-то силится вспомнить вдова Тютинина, а никак не может, что-то важное, неотложное, долг будто какой.

Мелькают за дождем дома, трамваи, чужие люди едут в них, небось многие еще недовольны: что за черт, приходится в такую погоду куда-то тащиться. Не понимают, какие они счастливые, раз не пришел пока к ним день, когда и они поедут в таком вот автобусе — провожать...

Не отстают, мучает Марью Сидоровну тень какой-то мысли, треть пути проехали, а она все не вспомнит, что же это такое. Вот и Сенная площадь, автобусный вокзал, отсюда они с Петром прошлое лето ездили в Волосово... А метро, а была когда-то церковь... Церковь Успения Богородицы... И вдруг поплыло в глазах, разъехалось, стало мутным, грязно-зеленым, черным...

...Да где ж это она? Так спокойно, тихо, не хочу просыпаться, не трогайте, что они будят, трясут за плечо?..

Не хотелось Марье Сидоровне возвращаться, остаться бы там — в темноте и покое, где нет похоронного автобуса, нет тяжелого запаха вянущих ландышей, нет гроба... а это ведь вовсе не он лежит, не он, вчера кричала, звала, по всякому упрашивала — не отзывался.

...Но пришлось ей вернуться, заставили. Лили в рот какое-то лекарство, плакала дочь, говорила что-то про внуков, Наталья Ивановна растирала руки.

...Автобус остановился перед светофором.

И тут зеленая мгла совсем рассеялась, ясно стало в памяти, и Марья Сидоровна строго и громко сказала:

— Надо петь. Он велел: у гроба — чтоб песня была.

— Мамочка, успокойся, мамочка, не надо... — запричитала дочь и полезла с каким-то пузырьком.

— Молчи, — Марья Сидоровна отвела ее руку, — я не с ума сошла, я тебе говорю — он велел. И надо выполнить. Больше никогда ни о чем не попросит, сказал, чтоб была песня, военная, потому что — солдат.

— Мамочка, — опять попробовала дочь, — как же, на похоронах — и петь?!

— Дикость! — ужаснулась Дуся Семенова.

— А когда живой человек умирает — не дикость?! — закричала Марья Сидоровна.

— Ладно, — решил Семенов, — чего спорить, когда покойный сам распоряжился. Какую петь?

— Солдатскую, — стояла на своем Марья Сидоровна.

Все молчали. Роза Львовна смотрела в окно, точно происходящее ее не касается, да и не знала она подходящих песен. Лазарь во время войны был маленьким, а на действительной не служил, тоже не знал. Наталья Ивановна, поглядывая на вдову, вытирала слезы — пожилой человек, а до чего додумалась... Дуся только покачала головой, пожала плечами и отодвинулась к спинке сиденья.

— «Землянку», что ли? — предложил Семенов, но жена гневно взглянула на него, и он замолчал. Замолчал и виновато посмотрел на Марью Сидоровну, сперва виновато, а потом даже испуганно, потому что она опять побледнела, глаза громадные, губы трясутся.

— Марья Сидоровна, вы не волнуйтесь... а ты, Евдокия, помолчи, — решается Семенов. — Сейчас, Марья Сидоровна. Сообразим.

Письма добрые очень мне нужны,
я их выучу наизусть,
через две зимы, через две весны
отслужу, как надо, и вернусь...

Молодец Семенов, хорошо поет, ему бы в театре выступать!

...Через две, через две зимы,
через две, через две весны,
отслужу, отслужу, как надо, и вернусь...

Ох, если бы так! Пусть — не через две, пусть через пять, хоть через десять зим, только бы вернулся живой! Пусть раненый, больной, виноватый, пусть старый и беспомощный, а — живой!

Вы ведь тоже это понимаете, правда, Роза Львовна? И вы, Наталья Ивановна, потому что сын ваш сейчас далеко, кто знает, как он там, и ничего вам не надо — пусть плохой сын, згойст, пусть грубый, пусть даже хулиган и бездельник, а пусть вернется, пусть вернется!

Ну а вы, вы-то что сцепили зубы, Лазарь Моисеевич? Песня наша не нравится или переживаете? Чего вам переживать? Отца вы знать не знали, а ее, глупую, разлюбившую, ту, что даже сына вам родить не удосужилась, стоит ли жалеть? Да, не стоит. Да, глупая. Разлюбила, променяла на подонка, карьериста, на беспринципную сволочь, потеряла рассудок, не видит, что не она вовсе нужна Петухову, а виза в Израиль, а остался он тут, на своем руководящем посту, он на нее, на еврейку, и плюнуть бы побрезговал. Дура сумасшедшая, но... пусть вернется!

Пусть они все вернуться, все, кого мы потеряли по собственной вине, по легкомыслию, слепоте, трусости или равнодушию, кого не захотели вовремя понять, не сумели защитить, простить, не смогли удержать, и вот уже подхватила их и, крутя, всосала черная воронка — прошлое.

Сколько таких «черных дыр» на пути, пройденном каждым из нас? Они не зарастают травой, их не заносит песком, не засыпает снегом, они не заживают, становясь рубцами. А между тем и старость недалеко. Все быстрее проходят долгие зимы и мелькают короткие весны, все чаще и длиннее бессонные ночи. Скоро будет поздно.

Пусть они вернутся, мы ждем, мы не забыли и уже никогда не сумеем забыть их. Пусть вернутся!

Анна плачет, ревет в голос, Дуся скупо и вороватенько крестится, с опаской поглядывая на мужа, а Семенов — тот всю разошелся. Голос у него громкий, он везде хорошо поет, хоть на сцене, хоть в строю. И Наталья Ивановна подпевает, выводит тоненько и чисто, с переливами.

Застыла с сухими глазами вдова Марья Сидоровна Тютинина. Нет, не может быть того, чтобы так все и кончилось — этим гробом и дождем за окнами. Ведь не для холодного глухого мертвеца, чужого и молчаливо-враждебного, поют сейчас Семенов с Натальей. Он их не слышит. А Петр Васильевич Тютин обязательно слышит.

Марья Сидоровна не плакала. Теперь она наверняка знала: в этом страшном ящике Петра нет.

Проехали Сенную площадь.

...Сколько жить-то осталось? Ну, год еще, ну — два... Через две зимы... Ничего, она подождет, потерпит, в войну больше ждали. Ничего... А пока все правильно. Так он хотел. Так велел. Все сделала. Выполнила.

«...через две, через две весны...»

МОЙ ОТЕЦ

Мой отец собирался жить долго.
Мой отец собирался жить счастливо.
Он завел троих детей (третий — мальчик)
И над красною рекой дом построил.
Он был врач и всю жизнь горожанин.
Но хотел, чтобы мы любили землю.
Потому он решил купить корову,
Чтоб ходила за ней теща-казачка.

Как дышала та корова боками!
Как звенело молоко о ведро!
Всю войну потом, в голодные годы
Вспоминали мы веселые струйки
И под ними пузыристую пену.

А в роду отца все были врачами.
Он хотел, чтобы я росла хирургом,
И водил меня с собою в больницу:
Пусть привыкнет к операционной.
И когда бабка резала куриц,
Я следила за ножом с интересом.

А потом пришла война, сорок первый.
Я запомнила отца в синей форме
И фуражке с серебряным «краном».
Он уехал на остров Осмуссаару,
На чужое Балтийское море,
И прислал фотографию маме:
«Клавочке от усаха-мужа».

Вот он: врач на морской батарее.
Рядом с ним лихие вояки.
За плечами у них винтовки,
А глаза озорно смеются,
Точно все игра, а не вправду.
Не стреляли еще фашисты,
Не пришел декабрь, месяц смерти.

А потом — началось, помчалось,
Загрело, загрохотало.

Батарея ушла на Ханко,
Но и там пробыла недолго.
...Раненых грузили под вечер
Под обстрелом, с мокрого пирса,
На буксирный маленький кораблик,
А с него на военный транспорт,
На корабль ВТ-508
Под названием «Иосиф Сталин».
И командовал той погрузкой
Мой отец, хирург Осмуссаары.
А еще грузили солдаты
Под обстрелом в черные трюмы
Всю муку из военных складов.

Поздней ночью, декабрьской ночью
В минном поле, в открытом море
Взрыв раздался около борта,—
Первый взрыв, а за ним другие.
И корабль слегка накренился,
А потом повалился набок.
И помчал его течение

В минном поле, в открытом море...
В темноте подошел к ним катер.
Покачался, с трудом причалив
К накренившейся гряде металла,
И ушел к родному Кронштадту,
Не забрав и трети «ходячих».
И кричали вслед ему люди,
Обезумев, прыгали с борта
И тонули в черной пучине.
А кругом грохотали взрывы.

Выносили раненых сестры
С поля боя, с покатых палуб,
И спускали раненых сестры
По отвесным трапам в каюты.
И врачи надели халаты.
И хватало у них работы
В накренившихся операционных.

Мой отец вынимал осколки
И накладывал швы на раны
При свечах. А вода в каюты
Между тем быстрее прибывала,
И уже леденила ноги,
И уже дошла до коленей.

Через месяц мы получили
В ярославской деревне Поповка
Извещение, что смертью храбрых
Пал отец на Балтийском море.
Много раз за сорок лет мира
Собирались защитники Ханко.
По-военному, как команды,

Говорили с трибуны речи,
И читал стихи о погибших
Михаил Александрович Дудин.
Поднимали в буфете тосты
За погибших и за живущих
И отца порой поминали
Как героя и коммуниста.

Но однажды после победы
Нам пришло письмо-треугольник
В ленинградскую коммуналку.
Адрес был написан коряво,
Карандашными кривулями:
«Ошкадеров Валерьяну Ивановичу».
«Здравствуй, друг Валерьян Иванович!
Пишет Гриша, твой бывший фельдшер.
Помнишь, как мы с тобой бежали,
Помнишь, как глушили спиртягу,
Помнишь, как мы с тобой растерялись
Возле Кракова, после боя?»

Мать моя не искала Гришу.
Мать моя сожгла треугольник.
Не положено было пенсий
Детям воинов, в плен попавших,
А детей у нее было трое,
И кормить нас ей было нечем.
Двое выросли, третий умер...
Было ей, вдове, двадцать восемь,
И она не верила в чудо.

Было так: ВТ-508
Не погиб декабрьскою ночью.

До рассвета его качало
На волнах Балтийского моря,
Но мешки с мукой в черном трюме,
Намокая и тяжелея,
Утонуть ему не давали.
И сносило его течение
Прямо к немцам, к городу Таллинн.

Двое суток с мертвого борта
По врагам стреляли живые,
Прижимая ко льду винтовки
Обмороженными руками.
А потом они оказались
На земле, в фашистском застенке,—
Моряки, солдаты, балтийцы,
Расстрелявшие все патроны.

Вот об этих людях отважных
На собраниях не говорили.
Их фамилий не называли.
Им ни памяти, и ни славы,
И ни почести, и ни чести,—
Потому что знали мы с детства:
Коммунисты в плен не сдаются.
У России нет военнопленных,
В плен идут изменники и трусы.

Мой отец никогда не был трусом.
Был врачом. И был коммунистом.
Военврач третьего ранга,
Он сошел с корабля на берег
За последним раненым лежачим,
А носилки выносили немцы.

Октябрь 1975 г.

Нина Валериановна Королева — поэт и литературовед. Публикуется с 1948 года. Первая книга стихов — «Хвойный дождь» — увидела свет в 1960 году. В настоящее время в качестве ведущего научного сотрудника Института мировой литературы АН СССР руководит подготовкой академического издания А. А. Ахматовой. Живет в Москве.

Март семнадцатого

Роман

603

Разгоралась по Петербургу буржуазная травля «Правды» — что большевики все прослоены провокаторами и ещё неизвестно чьими агентами. А в самой «Правде», между тем, сильно поменялось, Шляпников и разобрать не успел: он радушно просил приезжих сибирцев писать в «Правду» — они и написали. Вклинили в газету каждый по статье — и сразу нарушили её установку: потребовали поставить свои подписи. До сих пор всё печаталось без фамилий — разве важно, кто именно пишет? — без фамилий статьи и вся «Правда» приобретала грозную беспрекословность, как будто катится беспощадный каток революции: только так! и разбегайся, раздавим! А подписи — сразу делали газету трибуной частных мнений, которые и оспаривать не запрещено. Олимпийский как старый газетчик — ставь и его фамилию. И Бонч полез за сибирцами — ставь и его.

Ну, Сталин ничего вздорного не написал и никаких претензий не выпячивал, вся статья его была — укреплять Советы. (Хотя: почему Советы, а не свою отдельную партию?)

И Муранов, в позиции защитника «Правды» от травли, говорил в общем правильные вещи: не вернуть подобранным фабрикантам, не верить генералам, служившим трону. Но вся статья была не для этого, а: пролетариат знает, под чьим контролем «Правда» издавалась, издаётся и будет издаваться, — правдистов, членов Государственной Думы, и всех пятерых по именам, себя тоже. Позвали гостем — а он уже и ноги на стол. И дальше совсем с потолка: хотя все помнили, что большевистская думская фракция была сослана за антивоенную позицию, Муранов писал теперь вполне бессовестно: «они пошли в ссылку за то, что в самом начале войны провозгласили революционную борьбу за свержение старого строя и за демократическую республику». После совершившейся революции это, конечно, неплохо звучало.

И этого Муранова фотографию в арестантском халате сам же Шляпников и распространял по Петербургу.

Такого напроломного манёвра, без прямого товарищеского объяснения или предложения, таких приёмов Шляпников не ожидал. Не знал, что и возразить. Он таких методов не знал: как же можно не допустить их до газеты? С чего бы вдруг — с ними и бороться? Но если «издавали и будут издавать» — значит, они хотят «Правдой» руководить сами? (Муранов и больше захотел: чтобы Шляпников уступил ему место в Исполкоме. Ну что ж, может и уступить.)

Однако в сегодняшнем номере приезжие начали и теоретическую борьбу. В статье, уже не подписанной (Каменева, что ли?), они начали и принципиальный подкуп под линию Бюро ЦК: «Было бы политической ошибкой ставить сейчас вопрос о смене Временного правительства».

Даже не сказано, что это — новое для газеты мнение, что вот мы спорим, — а просто вот так, как ни в чём не бывало! Распоряжались — не спросясь.

Этот удар — приходился по главной политической линии, которой Шляпников гордился как лучшей революционной догадкой, и которую он с таким усилием пробивал через ЦК. Не вышибать Временное правительство, а только контролировать его? — так думали и меньшевики, и эсеры. Значит, прощай настоящая большевистская линия? Чему

ж научили нас все французские революции XIX века, если не тому, что буржуазные правительства надо сметать, а не подталкивать? Чему же учит Ленин?

Нет, в этом уступать нельзя!

И само же собой шла в газете статья и нашей линии: о том, как несутся события, подтверждая любые «самые крайние» требования большевиков.

Получился в газете винегрет.

Не занимался Шляпников «Правдой» сам, но знал, что она — как крылья у него за спиной. И вдруг — начали подшибать.

Очень дурное стало состояние. Будто испакостили и раздавили всё, что он тут два года строил.

А тут ещё — передал ему сегодня Каменев свой «контрпроект» Манифеста к народам мира. И в нём так откровенно и писалось, что наша революционная армия даст отпор немцам — до полной победы у нас демократии!

И это — большевистский «контрпроект»? Да это хуже, чем гиммеровский проект! Такого соглашательского текста Шляпников, конечно, дальше не пустит. (Но он у них вырвется теперь в «Правде»?)

А у самого Шляпникова не был свой текст готов, понадеялся! А с этим разделением — как было и выступать на пленуме Совета? А сибирцы выступят открыто против? Раздвигалась линия партии на глазах у всех врагов!

Раскола внутри партии Шляпников на себя взять не мог. И оставалось сегодня — не вмешиваться, чтоб только и каменевская группа не полезла.

Ещё и подумать же было некогда: среди дня спешил на большевистскую фракцию Совета в кинематограф «Аза» на Васильевском. А оттуда пошёл с товарищами в толкучку Морского корпуса — с крутыми-крутыми сомнениями. Митинг был, конечно, полезный, но не в те руки попал, а к празднику оборонства. Вот досада: революционные массы свободно метались, а всё равно не аагребались к большевикам. И ещё теперь допустить раскол? Ни за что!

Вошёл Шляпников и стоял с товарищами в толпе, не пытаясь подняться в преамбулу. Но хорах устроен был оркестр, подбадривать голосование. И после каждого выступления играли марсельезу.

Стеклов выступал революционно. Всё ж он не меньшевик, скорее наш. И даже больше наш, чем Каменев, Муранов.

Потом раскатисто читал текст Манифеста, все его оппортунистические выверты.

Вообще ничего хорошего в этом манифесте нет. Много громких слов, почти Циммервальд, а простой формулы — без аннексий и контрибуций — в нём нет. И после всех громких слов — русская революция не отступит перед штыками завоевателей. И чем это отличается от непрошенной телеграммы дружка Вандервельде? Так манифест создаст общедемократическую формулу патриотизма, оборончество получит штемпель революционной демократии, — и теперь все вместе будут нападать на большевиков за нарушение национального единства и ставить в пример революционного солдата, готового умереть за родину. Выступать с прямыми антивоенными лозунгами теперь будет значить — выступать против Совета?

О-хо-хо, плохо поворачивается.

Но это всё смечал только острый партийный глаз. А большинство радовалось. А в ораторы ещё полезли патриоты: как бы нам этим манифестом — да не ослабить Россию, противник примет за слабость?

Чхеидзе стал отвечать — как будто и ничего — и тут же всё испортил: не выпустим винтовки и будем защищать свободу до последней капли крови!..

Типичная меньшевистская лазейка: под видом борьбы с войной — продолжать войну. Оборонческим оборотом он отнял у воззвания ту небольшую долю интернационализма, которая в нём была.

Но на Чхеидзе ещё не кончилось: на помосте вдруг появился Муранов с выпученными глазами, как весь надутый. Не хватило у него партийного такта воздержаться от выступления! Ну как же: задолбил, что он — член Думы, и нельзя ему отстать ни на полплеча от Чхеидзе, ни в чём. Да после Сибири ему особенно поговорить хотелось, а сказать-то нечего:

— Поздравляю вас, дорогие товарищи, с рухнувшим произволом. Пали оковы, вы дали нам вернуться с каторги и ссылки. Я предлагаю не пугаться тех громких фраз, будто немец своим бронированным кулаком раздавит нас. Не верьте этому. Если было бы опасно — мы бы сказали вам об этом!

Вот зачем он вылезал: мы бы! Всем напомнить, кто он такой, и что он всё знает, за всем следит. А путёвого — ничего не сказал. И только тем выявил позицию, что пригрозил:

— Есть ещё гады, попрятавшиеся в норы.

Явное дезорганизаторство, выпад против единства партии. Переглянулся Шляпников с Каюровым, с Шутко, — нет, решили зубы стиснуть и молчать, а потом поговорим у себя внутри.

Тут стали спорить, прекращать прения или продолжать. Поднялся шум. Одни крича-

ли: манифест не готов, отложить, дайте ещё обдумать. Другие кричали: «А что скажут союзники?» — «А нам никакого наследства не надо!» — «Обсуждали меньше двух часов!» — «Вопрос не освещён!»

Но уж если столько тысяч собралось — как не принять? Чхеидзе объявил принятие — и грянул оркестр, сперва интернационал, потом марсельезу, кричали и ура, но оркестр заглошал.

Но и на том не кончилось, а вылез зачем-то тщедушный Чхенкели и дребезжащим голосом объявил:

— Рабочие и солдаты! Я чуть не умер.

Можно было подумать: чуть не умер от радости манифеста. А это он объявил, что тяжело болел, может не все знали.

— Сейчас я свободен, и это достигнуто вами. Я благодарю вас, что я — свободный гражданин. Мы присутствуем сейчас в один из великих моментов истории. Мы утвердили великий документ: это призыв к революции! Он не повредит фронту, но поможет. Он будет понят нашими товарищами за границей. Вас будут помнить наши внуки...

А ему с места:

— Не кричи «гоп», пока не перепрыгнешь!

604

От того вечера 6-го марта, как налетела на Цюрих буря и всю ночь толкалась на старый город, а на рассвете повалила густым снегом, и вскоре дождём, а днём крупой, и снова снегом, и опять дождём, а к вечеру снегом, и только за следующую ночь весь город убелил, успокоилась, — от той бурной ночи и того дня, исшагивая и избегая скучное камерное пространство своей комнатёнки от обеденного стола до полутёмного окна, не выпускаемый из клетки Швейцарии, непогодой запертый в комнате и не удерживаемый клеткой грудной, как выпрыгивала страсть вмешаться в действие, — Ленин не сам решил, но за него решилось: раз он задерживается, то отсюда, не мешкая, писать и посылать питерским большевикам программу действий, писать и посылать, и посылать, не окончивши писать, а значит как бы вроде писем, и едва кончивши, сколько есть за сутки, скорей нести кому-нибудь по почте, а самому бросаться в газеты (теперь уже их покупая все подряд, ася комната завалена) и аыскивать, аыскивать по кусочкам из того, что схватили и разглядели близорукие западные корреспонденты и отобрали как достойное для своей газеты убогие буржуазные умники, — аыскивать и аыхаывать, и понимать а разящем саете партийного проникновения — и развораживать, разяснять перед непонимающими, растерянными или глупенькими. «Защита новой русской республики?» — обман и надувательство рабочих! Лозунг «а теперь аы саргайте саоего Вильгельма!» — ложный, асе силы на сарерженне буржуазного праантельстаа а Россни! Временное праантельстао — правительство реставрации монархии, агент английского капитала! И — лучше раскол с кем угодно из нашей партии, чем сотрудничество с Керенским или Чхеидзе, чем доля уступки им!

А а этом развораживании и разяснении сам для себя находя, тут же и для партии встраивал недостающие звенья и планы организации: в ответ на аеликолепный манифест большевистского ЦК (и чья это голова там вытянула?), объявленный в Питере ещё 28 февраля, а сюда дошедший через 10 дней отрывком в случайной газете, — предложить им и объяснить, как же организовать (не так, как он советовал в 905-м, а теперь): вооружение народных масс целиком! *народная милиция изю всего поголовно населения от 65 до 15 лет (втягивать подростков в политическую жизнь!)* и обоого пола (вырвать женщин из одуряющей кухонной обстановки!), — и чтоб эта милиция стала *основным органом государственного управления!* Только так: *оружием в руках у каждого* будет обеспечен абсолютный порядок, быстрая развёрстка хлеба, а затем вскоре — мир и социализм!

И от вторника 7-го до воскресенья 12-го вырвались четыре таких «письма из далека» и тут же сдавались на почту экспрессами (когда уже написано — тем более жжёт, нельзя задержать, нельзя удержать) — кому же? — Ганецкому, умному, славному расторопному Кубе, а он будет отправлять, налаживать туда дальше, в Петербург! (А копии — сразу Инессе, а та — Усиевичу, а тот — Карпинским, а те — назад, и всё экспрессами, это всё крайне важно для спевки о тактике.) Почти всё время кто-нибудь спотыкается — на почту, а ещё же искать по киоскам и читальням непрочтённые газеты и снова анализировать, угадывать — и светом луча выбрасывать вперёд новые пункты программы! А тут Луначарский увиливает выступить против Чхеидзе, — предупредительную холодность ему. Там Горький, недоумок, суётся в политику: приветствие Временному правительству да басенки «почётного мира», архивредное выступление, придётся ударить по рукам! (Не можешь выдержать партийной линии, так и не суйся, пиши свои картинки.) А там неприязни с Черномазовым в Питере, мало им Малиновского, хотят и вовсе залить нашу партию помоями. (Но Черномазов интриговал против сестры Ани, его безусловно убрать и забыть.) А там Коллонтай уезжает в Россию, счастливая! А тут, пока застряли, успеть бы на машинке перепечатать 500 страниц «Аграрной программы», кто бы взялся? А ещё:

как не написать листовки к русским военнопленным, их 2 миллиона: заявите громко, что вы вернётесь в Россию как армия революции, а не армия царя (вполне бы их могли использовать и против); а мы, социал-демократы, поспешим уехать и будем посылать вам из России деньги и хлеб... А ещё: как же при отъезде не написать прощального письма к швейцарскому пролетариату, ещё раз заклеить шовинистов, ещё раз указать им путь (только это опасно, может помешать отъезду. А вот как: написать, оставить здесь, а уже из России телеграммой взорвать, пусть печатают). А тем временем...

...а тем временем совсем плохо с Инессой. Обижена. Сердится. Сидит в Кларане (а может уже и не в Кларане? вот письма прервались, может уже и не там). Сердится, но, как всегда у женщин, это выворачивается во что-то другое, стороннее: будто бы «теоретические разногласия», возражает и капризничает, где ребёнку ясно. Как бы нужна была тут, рядом! Какое время! — неужели время для женских обид? Некому собрать, систематизировать все телеграммы из России, ведь что-нибудь пропустишь наиважное! Но не только не захотела испытать английский путь возврата, а даже в Цюрих не хочет приехать на денёк! В Четырнадцатом году ехала для него с Адриатики в Брюссель, бросив детей, а сейчас без детей и из Кларана — ни разу не приехала на денёк.

И нельзя понять: вообще ли поедет с нами?..

Но всё это, всё это кружилось как внешние воронки на воде, даже с Инессой, — а главные события большими толстыми тёмными рыбами беззвучно проходили близ дна.

Ганецкий коротко отозвался: *будет!* Но попытка была — дожидаться. По расчёту дней уже мог быть приготовлен в Берлине паспорт и прислап сюда — а не было.

И молчал всеильный Парвус.

Да он справедливо мог быть и в обиде. А не исключено: испытывал Ленипа нервы, усилял свою позицию выжиданием.

Но некуда было деться им друг от друга: события соединяли их.

Если платили ему миллионы ради призрака, — то сейчас то есть для чего платить.

И — будет, куда принимать. И теперь-то и нужно, не как тогда.

А тем временем в шумных «комитетах возвращения», хотя и с перевесом циммервальдистов, льнули все к *законности*, ждали разрешения от продажного гучковского правительства, а оно уже слало 180 тысяч франков от частных сборов — на возврат дорогим соотечественникам, только конечно через союзников (где и германские подводные лодки топят транспорты дураков), — и уже вокруг этих денег начинались интриги, могли обделить большеанков, собрания шли чуть не до драки.

Ильич на те заседания конечно не ходил, но ему подробно рассказывали. И чем больше асе эти споры накалялись — а швейцарско-эмигрантское настроение было только отблеск того, что в России подымается, — понял Ленин, что он поспешил, сораался: никакого отдельного паспорта получать нельзя, ехать одному невозможно.

И 10-го, ровно через неделю после фотографин, послал Ганецкому отменную телеграмму: «Официальный путь для отдельных лиц непримлем.»

Всё, отказались.

Зато Цианн ходил и ходил к послу Ромбергу. Тот уверял, что ндёт усиленная переписка с Берлином, даже курьерами. И постепенно — из темноты, из будущего, из никогда не бывалого, проступали контуры крупного замысла — как большой паровоз из тумана — да только медленно-медленно проворачивал он свои красные колёса или асе ещё стоял.

А за ним — вагон.

Проступал из тьмы — вагон.

Неплохо. Приемлемо.

Но там пока для этих болтунов, для комитета по возвращению, надеюсь...? эти условия не открыты?..

Нет, нет. Нет-нет. То — официально, здесь — конфиденциально.

Хорошо, хорошо. Так постепенно, несколькими головами, общими усилиями — что-то выявляем, выявляем, находим. Стало потвёрже. (Но — как тянулось! Но — непохоже на немцев как! Да ведь их ещё больше должно припекать, когда объявило Временное, что продолжает войну.)

Стали готовить список, кто поедет. Запрашивали своих по всей Швейцарии, но — тайно, это важно, никого чужих не примешивать. Одновременно (тоже важно!) вслух говорили всем обратное: и Англия яас не пустит, и через Германию ничего не выйдет. И шумно обсуждали анекдотические попытки: Сафарова просилась в английском консульстве, кто-то слал телеграфный протест Милюкову, а Равич придумала фиктивно выйти замуж за швейцарского гражданина — и так получить право прямого проезда. Смеялся Ленин и советовал ей «подходящего старичка» — старого Аксельрода, ничем другим уже не годного революции.

У немцев с одной стороны тянулось, с другой — крутилось и чересчур проворно, верней — одна машина крутила независимо от другой. Сегодня вечером, воротясь из Народного дома, где два с половиной часа делал швейцарцам доклад о ходе русской революции — что истинная, вторая, революция ещё впереди, и есть для неё хорошая форма — Советов депутатов, и уже сегодня надо готовить против буржуазии восстание, — хорошо

отвлёкся докладом, освежился от этих изжигających безвыходных планов отъезда, охотно возвращался пешком по приятному вечеру, поднялся к себе — и ахнул: маленький, сухой, седовыющийся, с уголком платочка из кармана, сидел и улыбался, как ожидая радостной встречи, и от своей важности не торопясь подняться для рукопожатия,—

Скларц!!!

Не укорня, но и не похвалив, не сказав ни «плохо» ни «хорошо», — Ленин пошёл на Скларца с пронзающим косым взглядом (такой взгляд всегда пугал), — тот поднялся, теряя уверенность, и Ленин пожал ему руку, как хотел оторвать:

— Да? Что привезли?

Без путевых впечатлений, без вводных, без сентиментальностей: что привезли?

Коммерсант, всё более входящий в большую полноту большой Германии, почтено принимаемый заметными генералами и в министерствах, и при щедрости своей сегодняшней миссии, — опешил перед этим режущим взглядом щёлок глаз и недобрый изгибом бровей, усов, а всё остальное — как мяч футбольный, накативший ему в самое лицо, — опешил, потерял улыбку и то приятное многословие с предисловием, которыми думал развлечь, и даже приготовленные шуточки, — а сразу высказал главное и выложил на стол.

И не сажился.

И Ленин не сажился.

А Зиновьев сидел и сопел.

Вот что было. Скларц приехал уже не только от Парвуса, хотя Бегемотская голова всё и начал (начал сам, ещё до ленинской просьбы, она пришла потом, начал по первым известиям о петербургской революции, рассудив, что не хуже Ленина знает, что нужно), Скларц приехал со всеми полномочиями от Генерального штаба на проезд через Германию и с обеспеченным выездным содействием здесь германского консула в Цюрихе, а если нужно, то и посла в Берне, — Скларц привёз готовые документы, — и вот они лежали, чудо, хотя чудес не бывает, — лежали на блеклой клеёнке в жёлтом круге керосинового света.

Вот. Господин Ульянов. Госпожа Ульянова. Всё в порядке.

А — Зиновьев?..

Пожалуйста. И госпожа Лилия. Всё в порядке.

Да, но... А...?

И ещё один, пятый, да, вот: госпожа Арманд.

Всё знал, всё сам предусмотрел гениальный Парвус!

И — Инесса...

И всё! И все проблемы решены! И ни часа больше не ждать, не маневрировать, не дипломатничать, не раздражаться, не посылать посыльных, не ждать известий, ни от кого не зависеть — собрать вещи — а их нет у революционера! — и ехать хоть завтра утром! Двенадцать дней назад отрёкся царь — а мы через три дня будем в Питере — повернём всю российскую революцию, куда надо! Может ли быть быстрее во время мировой войны? Ещё никто ничего не успеет испортить — а уже вырваться первым на петербургскую трибуну, опережая даже сибирских ссыльных, — и отворачивать Совет депутатов от гучковского подлого правительства, и создавать всенародную милицию от 15 до 65 лет обоёго пола, да что угодно!

Документы — лежали. С немецкими готическими вывертами, немецкими орластыми печатями и с пригидившейся, уже приклеенной, вот вернувшейся ленинской фотографией, — в керосиновом свете, драгоценные документы на дешёвой клеёнке, местами протёртой до переплёта нитей.

Таким документам сам канцлер должен был сказать: «да», чтоб их изготовили.

Парвус отплачивал долг, что перескакал когда-то.

И мешок Зиновьев — расплылся, руки протянул к бумагам.

Ленин вскинулся как на врага — тот замер.

Увы, уже понятно было: так просто сунуть руку в пламя революции — обжигалось.

И потеряв, и нервно потеряв над документами уже чуть обожжённые ладони, Ленин резко взял их назад, сведя за спиной вместе.

Т а к а я сделка не могла бы потом укрыться. Невозможно будет прилично объяснить. И разматается, и разматается до самого Парвуса — и не прикроешься славным революционным прошлым, — а влепят тебя в ту же мразь, и руль революции вырвут из рук.

Да вот что: не потому ли Парвус так и старается, чтоб именно — Ленина замарать с собою вместе? Вот такой индивидуально-семейной поездкой накинуть петлю — а потом и в руки взять? а потом и условия диктовать — как революцию вести?

Но — вовремя разгадал Ленин ловушку!

— Так вы же сами заказывали, господи Ульянов! — Нет коммерсанту оскорбления хуже, чем когда на хороший товар говорят: плохой.

— Заказывал. Но это была ошибка. Обстановка исправляет, — мрачно говорил Ленин, всё так же не садясь, всем напряжением не в речи, а там, внутри, в мысли, и оттуда чрево-

вещательно диктуя: — Надо — большую группу. Человек сорок. Вагон. Изолированный, акстерриториальный вагон.

Поднял глаза, посмотрел на Скларца внимательней, внимательней — и уже сочувственной, и даже аеселей. (Сообразил: да этот человек за сутки может доехать до германского правительства! Да это великолепно, что он приехал. Спасибо, Парвус! Ну, немножко изменим вариант, ну — несколько дней.)

И почувствовав, что Ленин к нему подобрел, — расслабился, улыбнулся Скларц: он и в высоких сферах не привык к такому обращению, он ничем его не заслужил.

— Израиль Лазаревич просил торопиться, — напомнил он. — А то — как бы это «правительство народного доверия» не заключило бы мира!

— Не заключит, не заключит, — развеселились глазные щёлки Ленина.

Усадил его, сел сам через угол стола — и не только словами, но всеми глазами внушал, гипнотизировал, чтобы тот запомнил и точно исполнил:

— Поезжайте и договоритесь прямо. Другие линии очень долго работают. Пусть хорошо поймут, что мы не можем себя скомпрометировать, — и не ставят нас в такое положение. Пусть не ставят нам ограничений — кого там нельзя, годных к военной службе и так далее.

(Как раз сам Ленин и был годен, да перешагнул 44. Но никогда не призывался, как старший сын в семье, — казнь брата дала ему эту льготу.)

— Или — отношение к войне и миру, не надо, и так ясно. И не устанавливали бы проверки паспортов, личного контроля. Как въехали — так и выехали, как неразбитое яйцо, понимаете? И чтобы — ни слова в печати.

Всё — внезапно. Вагон пропустить — как снаряд. Не дать публике времени узнать, обсуждать.

— Да! — вспомнил Скларц, порадовать ещё приятным. — Стоимость проезда германское правительство берёт на свой счёт.

— Ещё чего! — темно вспыхнули, и по-разному, два глаза Ленина. — Странно бы выглядел такой проезд. Какие ж там глупые у вас. За проезд обязательно платим мы! — Смячился: — Но — по тарифу третьего класса.

И ещё отдельно:

— Идёте ко мне — и не можете одеться скромно. Вас могли заметить товарищи. Из-за этого завтра ещё перебудете здесь, сидите в отеле, а ко мне пусть придёт Дора. Разумеется, без документов, а что-нибудь мямлить, а я ей буду отказывать. И только после этого завтра уедете. А как только будет согласие правительства — чтобы нам дали анань немедленно!

Когда Скларц всё понял и документы собрал, пожал руку очень почтительно, благодарственно, и ушёл, —

— Как ещё можно им ставить условия? — удивился размякший Зиновьев, колыша вялыми плечами.

Ленин остро шурился:

— Никуда не денутся. Заинтересованы больше нас.

— Про Скларца — скроем.

— Нет, Платтену скажем. Хуже, если узнает сам. Платтена, Мюнценберга — нам терять нельзя.

А ещё, для страховки, — немедленно письмо Ганецкому (может, кому и покажет): «Пользоваться услугами людей, имеющих касательство к издателю «Колокола», я конечно не могу...»

И даже:

«...Ваш план поездки через Англию...»

Чем больше прыжков и ложных ходов, тем безопасней нора.

Вот — предложенный Ромбергом вагон. Вагон. Надо проговорить его словами, надо помочь этому вагону, как цыплёнку, вылупиться в общественное сознание. Говорить, писать, бросать фразы:

— А может быть, *швейцарское* правительство получит вагон?..

— А не согласится ли *английское* правительство пропустить вагон?..

— Как это?

— А... от порта до порта. Отчего бы Англии не пропустить *запираемый* вагон? Например, с товарищем Платтеном и любым числом лиц, независимо от их взглядов на войну и мир?

— Но как же: Англия — остров, а — вагон?

— А... дальше — нейтральным пароходом. С правом известить все-все-все страны о времени его отхода. (Чтобы германская подводная сдуру не потопила.)

После вчерашнего пленума Совета в Морском корпусе создалась в голове и груди Гиммера сумасшедшая неразбериха: он сам не мог понять, одержал ли блистательную победу или сокрушительное поражение. Хотя самый текст Манифеста, который он так изощрённо сбалансировал, был принят без поправок, и это надо было понимать как победу, — но от разных расстройств, от своего опоздания, оттого что не сам он это читал, и что нагородил постороннего Нахамкис, и от самовольных комментариев Чхеидзе, извращавших смысл Манифеста, было ощущение кошмарного поражения, ааплёваяности, гибели лучшего своего творения. И это разыгрывалось в Гиммере весь поздний вечер и ночь, так что он почти и не спал в своей квартире на Карповке, — и как только, ещё в темноте, донёсся первый грём самого раннего трамвая на набережной — он накинул свою дохлую шубёнку, нахлобучил шапку, надел галоши, подламывая края, — и побежал догонять трамвай.

Он как будто просвистывал внутри от пустоты и тоски и нуждался в новом наполнении, а наполнение такое мог ему дать только Таврический.

Конечно, по-настоящему понять значение объявленного Манифеста можно будет ие раньше как недели через две: когда он уже провернётся по Европе и услышим, как отозвалась Европа. Но Гиммер не мог легко дожидаться того срока: он нуждался чем-то жить и в чём-то сгорать — сегодня.

Совсем ещё были пусты коридоры и залы Таврического. Ещё не пришли служащие Совета, новый аппарат его, не пришли и служащие думской половины, а служители лениво подметали Екатерининский зал после вчерашнего тут митинга. Ни яа какую пищу ума как будто нельзя было и надеяться — но фанатически несло Гиммера в комнату Исполнительного комитета, будто он уверен был, что Комитет заседает там и в виде ночных призраков.

Открыл дверь — и в ещё не разошедшемся сумраке комнаты действительно увидел: яа большом столе заседаний, меж бумаг, лежала человеческая фигура, со стопкой же бумаг под головой. Могло причудиться, что это — подброшен труп или залез вор, — но Гиммер не успел так подумать и испугаться, как фигура подняла голову, а на турецком диване зашевелилась другая, — и не только это не оказались воры или враги — но лучшие из лучших друзей, но давно желанные, жданные товарищи из-за границы, первые вернувшиеся революционные эмигранты! — товарищи Лурье-Ларни (длинный, на столе) и Урицкий (толстенький, на диване). Лурье особенно легко узнавался, как только вывалилось, что обе руки у него — сухие, с трудом владеемые, и весь вид болезненный.

О, сколько же радости! прямо хоть кидайся-обнимайся (впрочем, такие сентименты не были приняты меж революционером). И Лурье, едва проснувшись, даже со стола не слез, лишь ноги спустил, и не спрашивал, где бы умыться, — а Гиммер подсел на ближайший стул, и заились они во взаимном живительном переклёбе. Ещё сон не стерся с лица — а чувства Лурье клокотали. (Урицкий же оказался ленив и глуповат: подымался медлленно, от разговора отставал, лицо было всем недовольное и глаза совиные, когда рассвело вполне.)

Оказывается, они приехали только сегодня, среди ночи. На филиалидско-шведской границе по неисправности въездных документов — не оформлены у нашего посла в Стокгольме — просидели полсуток в жандармской комнате. И главное возмущение их сейчас было — эта задержка, саботаж посла, а значит и Милюкова, в возврате революционных эмигрантов, — и как надо ударить за это Милюкова. И Гиммер страстно поддержал их.

Естественно, они ничего не знали о вчерашнем грандиозном пленуме Совета, ни о Манифесте. Но Лурье был весь переполнен своими новостями, суждениями и предположениями, так и сыпал ими, так и лил. А Гиммер навстречу — своё. И всё это было захватывающе до дрожи, так они и просидели пару ранних утренних часов, полные симпатии друг ко другу.

Лурье не знал подробностей ни о чём здешнем, с приезде ему всё казалось легко, — и тем более непримиримо он был настроен против Временного правительства: оно явно саботировало посылку русских газет в Европу, и там неоткуда было узнать истинных сведений о происходящем тут. Да хуже того! — из встречных перебивов Гиммера ещё утверждался Лурье, что Петроградское телеграфное агентство подаёт в Европу новости в искажённой пропорции: всю революцию старается представить как дело рук либеральной буржуазии: революция как бы не от того, что народ вообще возмущён войной, а лишь плохим ведением её. Пригашает значение Совета, а будто русская армия и рабочий класс стремятся к войне. И оттого немецкие социал-демократы стали нашу революцию называть в кавычках, мол она попала в руки воинствующего либерализма. Обо всём этом Лурье

рвался скорей, сейчас же печатать в «Известиях», ударить по наглости Временного правительства!

Лурье не знал здешних взаимоотношений, трудностей — но даже и не спешил заглотить всё, что встречно выпаливал ему Гиммер, — ему как будто было вполне довольно привезённого в груди из Европы. Зато оттуда он привёз полную бескомпромиссность в борьбе за мир, за интернационализм, за переворот во внешней политике России, — Лурье оказывался просто-таки радикальнее и динамичнее самого Гиммера — и склонен был действовать ещё троекратно решительнее! Да он просто предложил, чтобы Совет, беа всякого стеснения, немедленно сам послал бы по телеграфу мирные предложения германскому правительству — как будто русского Временного правительства и не существует! Нечего и дней терять! Революции — всё доступно!

Могучие огни Европы, Интернационала! Это увлекало Гиммера! Он-то — готов был действовать так. Но — другие? но — Чхеидзе? Умрёт от робости! Да может ли Лурье представить, что вчера сотворил Чхеидзе? Он испортил всю революционную силу Манифеста, выступив от себя с непрошенными, самозванными пояснениями, будто бы мы будем с оружием в руках защищать Россию!.. Пошёл в болото капитуляции перед империалистической буржуазией. По сути — предал Циммервальд! Он повернул дело так, будто наши мирные усилия возможны только при революции в Германии, — но этого в Манифесте не было!!!

Ну конечно, ну конечно! — было ясно им обоим, и они ещё друг друга уверяли. Наша революция победит или погибнет, всё в зависимости от того, удержит ли она знамя Циммервальда!

Ну, подождите, обыватели Невского и патриоты биржи! Вам кажется — попутный ветер? — так он разведрт вам хорошую бурю!

Лурье хотел пояснить, Лурье настаивал: получилось так, что русская революция пока укрепила союзный шовинизм! И германских интернационалистов душит их милитаристский режим, они думают, что мы капитулировали перед «защитой отечества», они теряют надежду освободиться от военного кошмара, им неоткуда узнать о нас, русских интернационалистах, — потому они и не отзываются, потому и не бросаются в решительную схватку! Лишь затаённо бьются братские наши сердца — а не дают революционного эффекта!

Воодушевление Лурье заражало тем сильнее, что, при сухорукости, ему даже писать пером составляло труд.

Урицкий тоже к ним подсел. Хотя он и сова — но вполне крайних убеждений.

У всякой революции есть своя логика, она не может стоять на месте! Нам надо не упускать из вида самую общую конъюнктуру революции.

Вот что, совершенно понятно: сегодня же Лурье и Урицкий начинают организовывать и издавать циммервальдский журнал «Итернационал». Мировая буржуазия мобилизует силы — и мы будем тоже! Можно ли для этого получить в Таврическом комнату? Да конечно, да вот например № 10.

Но ещё важнее и быстрее: надо дать сегодня же бой на Исполкоме. А отчего бы нет? Гиммер не мог представить, почему бы Исполнительный Комитет не зачислил бы в свой состав таких двух славных революционеров. Это — просто формальность, а пока оба товарища могут сегодня же прийти на заседание — и включиться в обсуждение. Да! Выдвиением сегодня на ИК: необходимо побудить правительство немедленно публично выразить своё согласие с Манифестом! (Добить Милюкова!) И в Контактной комиссии не понастаться, как бы правительством их не перехитрило. Вчерашний Манифест (да Лурье ещё не читал его как следует, Гиммер совал ему свой чериовик) просто обязывает советскую демократию к борьбе с правительством цензуровиков! (В дальнейшем плане — отбросить пиетет и к интересам всякой частной собственности.) Ясно, что откладывать нельзя ни минуты! Надо смело развёртывать программу советской внешней политики. Теперь прибыло наших циммервальдских сил — надо атаковать. Сегодня есть своя повестка, может не удастся, — но требовать назначить специальное заседание ИК по вопросу войны и мира!

А не надо ли прежде отдельно собрать циммервальдское крыло ИК? Да, пожалуй, это верно, сперва сговориться самим циммервальдцам. Теперь нас прибыло!

Да ведь отношение ИК к войне ещё не разработано, просто жуть как запущено! Объединяющей платформы нет никакой. Вопрос о войне — это и борьба за армию! Если Совет примет обороническую позицию — он легко завоеует армию, но это обречёт революцию на бесславное будущее, на коалицию с буржуазией — а там дальше и на капитуляцию. Нет, бороться за армию надо с циммервальдской платформы, надо преодолеть мужицкую косность, эту толщу атавизма, этот примитив национализма, носимого в сердце с колыбели, и сразу шовинизма, привитую либеральными газетами.

Да, задача трудна. Надо разработать тактику, как выиграть бой на классовой платформе Манифеста. (Уже прочёл Лурье Манифест.)

Проговорили вот так, друг к другу прилипив, со стола на стул, потом и на трёх стульях, — что-то много времени прошло, уже с исполкомской кухнинесли хороший завтрак, в одобренной каше мяса кусок и чай сладкий с булочкой. Дружно поели — про-

светилось Гиммеру, что надо же прессу смотреть сегодняшнюю, что же пишут о Манифесте?

Сбежал в канцелярию, принёс охапку газет, с густым типографским запахом. Расхватали, уселись читать. В «Известиях» замечательно выглядел гиммеровский Манифест — обширный великий Документ, которым будет отмечен XX век, у Гиммера даже сердце сжалось, не ожидал такого впечатления. И стал совать Лурье и Урицкому — пусть сперва прочтут Манифест как следует ещё раз. И сам ещё покашивался — но ему надо было читать, как отзывается буржуазная пресса.

И он-таки расстроился. Ещё несколько дней назад проглядывал он номера буржуазных газет с усмешкой победителя: такая в них была растерянность перед Советом и даже услужливость. Но что это, они как будто набирали свою силу — в вязкости, по плетению вязких нетель они были специалисты, буржуазные перья! Ловко же обработали они Манифест! Бесстыжая «Биржёвка» подала его как продолжение традиционной патриотической политики, а? А «Речь» холодно обошла 1-ю часть — как истраты на доктринёрство крайне-левых социалистов, а зато возвысила 2-ю часть как оборонческую, вот мол и революционная демократия поддерживает защиту родины! Ну, и особенно, конечно, хвалили комментарий Чхеидзе: что вся слочённая победившая демократия таким образом выступает против режима бронированного германского кулака.

Ну, Чхеидзе сам виноват, — но и как же они Манифест препариовали, негодяи! Никто не приводил его полностью, а только в обрывках и невинностях. Со стыдом и отчаянием Гиммер схватился за голову! Что же осталось от его виртуозного балансирования между левым и правым крыльями ИК? А может быть, он сам виноват: в этом балансировании не заметил, как перевесил чашку оборончества и не догрузил Циммервальд?.. Кошмар, если так!

(А между прочим зацепил в газете, что сенатора Крашенинникова, его собственного гиммеровского пленника, вчера освободили из Петропавловки. Жаль-жаль, ну ладно, и две недели посидел — будет помнить.)

И — где же было Гиммеру ответить громово? На заседании исполкома — это был не ответ. Надо было отвечать — а прессе. Но где? В «Известиях» — не принято выражение личных мнений. А в меньшевницкой газете Гиммер всё-таки писать не мог, ибо был определённо левее их. А свой независимый орган собирались с Горьким создавать — но за революционной колотёбой некогда было. И получалось — хоть печатайся у большеанкоа. Позавчера он и сказал а полушутку Шляпникову: «Мне не остается нигде писать, как а „Правде“». Шляпников отнёсся серьёзно (у них-то совсем литературная пустыня, на Демьяне Бедном едут): «Что ж, а своим предложу. Но только придётся публично заявить, что аы стоите на позиции большеанкоа».

По сути — по политической сути — это недалеко и было. Но заявить так публично — была пошлость, которая затмевала бы многогранную, многоскристую, всю а метаниях личность Гиммера — а тупую партийную колодку.

А сейчас, покинув товарищей читать, Гиммер аыскочил пробежаться — и вдруг а Купольном зале встретил — Розенфельда-Каменева —

— Ба! Леа Борисыч! А а уже читал, что аы приехали, да что же не показываетесь а советских сферах? Что, у себя а партии порядок наводите?

Интеллигентный, мягкий, умный, Лев Борисович не скрыл подтверждающей усмешки между усами и бородкой.

— Да, ваши ребята уж такие грубые, правда, и такие неловкие, не дипломаты.

Лев Борисыч посасывал мундштучок, прищурил один глаз. Он как будто стыдился своих большевиков. И вид его и манера говорить были барские:

— Читайте сегодняшнюю «Правду», её нельзя узнать. Это теперь — солидная, настоящая газета. Действительно, у неё был совсем неприличный тон, и репутация... Хоть закрывай совсем. Но а решил её перестроить.

— Ах, так вот и кстати! А мне негде печататься как раз. Я хотел бы, может быть, у вас — но Шляпников говорит: надо объявить себя большевиком?

— Ну, ерунда какая, мало ли что Шляпников. Пишите, пожалуйста, охотно напечатаем.

Так, так, — с поворотом ещё этой новой комбинации спешил Гиммер к Лурье и Урицкому. А что ж? Такая перепрыжка произведёт сенсационное впечатление в советских кругах. Уж во всяком случае, большевики — верные циммервальдисты. И резко оторваться от Нахамкиса, с которым рядом им невозможно быть, тот мешает развороту гиммеровского таланта.

А тем временем в комнате Исполкома набирались члены. Лурье и Урицкий эдоровались со многими знакомыми — все петербургские социалисты, в общем, знали друг друга, хоть и отлучаясь порой в эмиграцию или в ссылку, — и уж теперь никому не могла прийти такая неловкость: попросить их покинуть заседание. Лурье уже многим оживлённо сообщил свой проект журнала «Интернационал».

Кончали завтракать, Шляпников пришёл с Мурановым, тоже рыло.

Собралось десять, пятнадцать, восемнадцать человек, и утомлённый, ото всех дней

невывспавшийся, да и старше их тут всех, Чхеидзе, в потёртом порывевшем пиджаке, открыл заседание, зовя к тишине.

Против включения Муранова, не вместо Шляпникова, а лишним, сразу же стал ершиться Чхеидзе: лишний большевик? — тогда и нашего лишнего меньшевика! Ничего не могли решить, отложили вопрос на бюро.

Да, придётся Гиммеру ещё придумать манёвр, как вставить Лурье. А уж Урицкого, о наперво, не удастся. Да он какой-то мешок.

Дальше упёрлись в финансы. Когда разрешали две недели назад создание Временного правительства, не догадались — никто не догадался! — связать их ещё и финансовым обязательством в пользу Совета: революция тогда пылала, и все умы были аанты одной политикой. Но постепенно остыли, куда ни кинься — нужны деньги, и вот рассчитал Брамсон потребности Исполкома — а денег-то у Совета нет! а деньги-то оказались в министерстве финансов.

А презренное лицезерное цензурное правительство так до сих пор ничего не ответило на требование о 10 миллионах.

Так подошёл момент потребовать этих денег окончательно. Поручили Нахамкису и Эрлиху: сегодня же срочно сформулировать повторный категорический текст требования на 10 миллионов. И за подписью Чхеидзе и Скобелева — послать с курьером в Маринский дворец.

Тут выступил Громан (он был член с совещательным голосом), очень ваволнованный, крупнокалиберный, тучный, и говорил (постоянно гулко гундоса, как будто с неизлечимым насморком), что продовольственный кризис катастрофически обострился, а договориться с министром Шингарёвым невозможно... Громан уже тискался к столу со своими многими бумажками, собирався тут же и доклад начинать. Но на Исполкоме стали очень не любить внеочередные вопросы, каждый метил свой вопрос провести, или может быть раньше уйти, — и так закричали на Громана, что вопрос не подготовлен, что надо пригласить специалистов, — отложили на завтра. (Да просто никто Громану не поверил, зная его манеру пугать, что за три дня продовольственный вопрос вдруг стал катастрофичен. Честно говоря, открылось, что он ни перед революцией таким не был, ни сейчас.)

А Лурье — цвёл, через болезненный свой вид, что он первый, самый первый аестник из-за границы. И не упустил, уже осаваясь с обстановкой, взять слово, хотя и не был членом Исполкома, и докладывал о своих собственных переговорах а Германии с комитетом профсоюзам, и что они ему говорили, на каких условиях германские социал-демократы согласились бы на мир. Ещё дальше осаваясь, как будто он тут звсёдал уже не пераую неделю, не он сегодняшней ночью спл тут на столе, Лурье предложил образоваать при Исполнительном Комитете Международный отдел (куда, очевидно, он бы и пераый попал как аанок тех дел). И ещё — послать комиссара Совета а Петроградское телеграфное агентство, чтобы контролировать, как они освещают русские события на Западе. И ещё предлагал: аыписывать немецкие газеты, и послать агентов Совета а Стокгольм, и послать делегатов Совета по асей Европе...

Всё дельно! И ещё неизвестно, что б он напредлагал, у него-таки был *корф* на плечах, и говорил он уалекательно, и уже очевидно было предрешено его участие а Исполкоме, — но давлением приехавших делегаций его пока остановили.

А делегаций пёрла — чёртова вереница. Какие-то жалобы на самовольно захваченные партиями помещения в Петрограде, и стали решать вопрос о захвате помещений.

А делегаты какой-то маршевой (но остановившейся в своём марше) роты из Ельца приехали жаловаться, что генерал Эверт издал приказ солдатам не заниматься политикой, — и смеялись тут за столом, что уже и Эверта того давно сняли, и приказа такого не было, — а елецкие делегаты радовались, что с ними разговаривают, и просили ещё, ещё объяснять.

А делегаты казанского Совета депутатов пришли доложить, почему и как они сместили и арестовали своего командующего Округом, — и искали поддержки петроградского Совета, чтоб не уступать перед военным министром.

(А какой-то очередной полк или батальон и сию минуту входил в Таврический, отдавалась тряска и гул по полу, если не по стенам. Началось по второму разу это круговое сумасшествие — паломничество всех полков гарнизона зачем-то в Таврический дворец. Понятен был энтузиазм первых дней революции, но зачем сейчас — опять мусор, грязь, нигде не протиснуться, и ещё уборные надо оберегать от наплыва нечистоплотных гостей.)

И: собрать съезд Исполнительных Комитетов Советов сорока городов России, — надо укреплять свою всероссийскую власть.

И опять же с похоронами жертв: план похоронной процессии для послезавтра всё недостаточно разработан. И могилы не готовы. Так отложить похороны до 23 марта, благо трупы по морозу терпят и месяц.

Но после того как Лурье уже утвердился, Гиммер не очень внимательно следил за происходящим. Он развернул на столе перед собою «Известия» на асю широту окрылённого Манифеста — и озираал его, и впитывал, и перечитывал, и снова любовался. Ему,

с его слабым горлом не могшему прокричать речь с крыльца Таврического, — удалось-таки крикнуть на весь мир. И теперь наступят неисчислимы исторические последствия. До пролетариата всех европейских стран донесётся его чарующее революционное слово — и преобразится сознание всех, и преобразится вся война, и западные рабочие крикнут помимо своих правительств, и революционное эхо докатится обратным гулом к потрясённым стенам Таврического дворца.

На столе лежало колечко из красной резины. Гиммер возбуждённо-рассеянно раскручивал, раскручивал его на карандаше. Оно кружилось, как пропеллер аэроплана.

Вытягивалось, расширялось, — откуда брался такой охват?

И мелькало как сплошное, красное.

ДОКУМЕНТЫ — 29

15 марта

ГЕНЕРАЛ ПАЛИЦЫН (русский военный представитель во Франции) —
ГЕНЕРАЛУ АЛЕКСЕЕВУ

Ответ французского Главнокомандующего:

«В настоящее время невозможно внести какие-либо изменения в операции и подготовку к атаке, она уже в ходу. Я прошу поэтому, чтобы русская армия, согласно постановлениям конференции в Шантильи... В интересах операции коалиции и принимая во внимание общее духовное состояние русской армии, лучшим решением был бы возможно скорый переход этой армии к наступательным действиям»...

Генераль Нивель верит в содействие нашей армии, как бы трудны ни были условия исполнения.

606

Союзники считают, что наша армия возродится, если мы перейдём в наступление?.. Пусть не видят своими глазами, но удивительно, как военные люди могут такого не понимать.

Или уж только: выложись и отдай, а с вами — что будет, то будет?..

Англичане сегодня же настойчиво запросили: английские планы действий в Месопотамии и Сирии опираются на раннее и решительное наступление всех русских войск в Азиатской Турции, — так как будет с ним?

Хотя генералу Алексееву уже всё стало ясно, но не хотел взять на себя бремя окончательного отказа. А — переспросить всех своих главнокомандующих. Разослал.

Из главнокомандующих кто уже отчётливо осознал положение, это Рузский: в сплину Северному фронту развал ударил быстрее и сильнее всего. Но Рузский перешагнул сразу и в панику, прося четырёх добавочных корпусов. От кого же их взять? Алексеев был возмущён, и сам подсчитал всё до батальона. И теперь писал Рузскому: «Только ваш единственный фронт имеет двойное превосходство над противником — 505 батальонов против 250.» И к тому же — никаких данных, чтоб удар противника был направлен против Петрограда.

Вчера Алексеев отправил и правительству секретную сводку настроений Действующей армии. В Петрограде правительство хотело получить в нескольких абзацах впечатление обо всём Фронте. Где-то со штабов корпусов начался сбор мнений, и штабные офицеры записывали то, что случайно было у них в памяти, упуская 99 неизвестных им долей, — а затем эти докладные сводились в следующих по старшинству штабах, что-то опускалось, а что-то подчёркивалось, — и так потом явилось целое. Оказались в сводке фразы и бодрые, но больше проступало из всего собранного, что множество солдат в разных частях всего великого Фронта восприняло отречение царя с удивлением, недоумением, огорчением, сожалением, хотя и не сделало попытки сопротивиться. В иных местах толковали солдаты и так, что долго без царя оставаться нельзя, надо скорей выбрать нового. В общем, Действующая армия поначалу просто ничего не поняла в событиях — это было Алексееву ясно, но не было ясно в Петрограде, судя по газетам.

Да он и сам до сих пор не понимал. Что такое Совет и как он может власти распоряжаться наряду с правительством — невозможно понять военному человеку. Две власти могут означать только развал.

А между тем и сам Алексеев в самом Могилёве не мог помешать Советам, в Могилёве стало даже два Совета-комитета: гаризонный и солдатско-офицерский комитет самой Ставки, — Алексеев разрешил своим офицерам примкнуть, надеясь таким образом сдерживать и направлять.

Что вообще было можно придумать против расходящейся волны Советов? Если

правительство ни в чём не мешало им — как могло сопротивляться командование. И Алексеев собственными руками направлял Советы в свою армию: дал указание главнокомандующим создавать центральные комитеты при всех фронтах, и дальше в армиях, и дальше в корпусах, дивизиях, повсюду в смешанном составе, а где уже возникли солдатские комитеты — стараться включать туда офицеров.

В разум не вмещалось: как это, при неотменённых военных уставах и государственных законах, — самозванные Советы присылали на фронт никем не разрешённые депутации, которые сразу же, миновав командиров, обращались к солдатам? В разум не могло вместиться, — но это уже происходило, и не было сил запретить, — и ничего не мог Алексеев придумать, кроме как тоже пытаться канализировать.

Временное правительство плохо понимало, что происходит в армии, но армия, но Алексеев ещё хуже понимал, что происходит во Временном правительстве и вообще в Петрограде. Прямые аппаратные переговоры давно прекратились. Присылаемые документы — были специальные. И Алексеев и все штабные стали как никогда со рвением читать газеты — но быстро почувствовали, что и во всех газетах изложение как бы специальное: слишком горячо, а затуманено розовым и не доглядеться до дела. И потому особенно набрасывались на живых приезжающих.

Так, сегодня вернулся из Петрограда начальник военных сообщений Кисляков, ездивший на доклад к Некрасову. У Алексеева с 28 февраля остался недоразуменный камень, чувство обиды к Кислякову, что тот солгал тогда, не объяснил как следует, — а то ведь не отдал бы им железные дороги и могло быть иначе многое. Но — и удержаться не мог от расспроса и вызвал Кислякова тотчас же, хотя этот хитрый рыжий чиновник заведомо не возьмётся передать правду. Он охотно делал доклад по железным дорогам, а выше и дальше будто сам не понимал. Вот, выяснилось, что всякая охрана железных дорог прекратилась повсюду — жандармерия вся распушена, а на замену никто. Ещё кое-где охранялись большие мосты, но уже и тут уверенности нет. Дичь! Во время войны?

Ну, а как Бубликов? (Ещё один, самый неловкий камень.)

Бубликов? Никто, ничего, его и бланко нет в министерстве.

Короткие часы гремел на всю Россию как Робеспьер — и вовсе нет?

А Родзянко?

Родзянко — не у дел, никакого влияния не имеет. Сидит себе в Таврическом дворце. Это исчезновение гремющих имён трудней всего уразумевалось. Вот, недавно, всё сосредоточивалось только в них — Родзянко, Бубликов, — и вдруг рассеялись как дым?

Но оставались реальные — министры, и, как уже звал Алексеев, они собирались ехать в Ставку, несколько сразу. Вот и предстояло во всём разобраться в прямой беседе наконец.

По-деловому он должен был бы радоваться этой разъяснительной встрече, — а испытывал тяжесть, тянуло его.

Ещё недавно именно он и дал этому правительству власть — а вот обернулось, и они ехали контролировать его, упрекать, а может быть увольнять.

Если бы 1-2 марта в грозе своей силы (как никогда не бывал) вернулся бы в Ставку император — должен был бы генерал Алексеев складывать объяснения о своих упущениях в государственной службе за последние перед тем дни. Но вот ехали министры Временного правительства — и тех же самых дней те же самые поступки Алексеев должен был истолковывать обратно: как упущения признать свою верную службу, и как верную службу — упущения.

Теперь ему предстояло объяснить, почему он всё-таки осмелился собирать войска против Петрограда. А дело, мол, в том, что генерал Алексеев был введен в заблуждение относительно действительного смысла петроградских событий. Сообщения Беляева всё извращали. Из Ставки в те дни нельзя было понять, что это — великое народное движение. По отрывочным и неверным сведениям можно было представить, что это — волнение кучки людей смутянского характера и, значит, подлежит, так сказать, успокоению. Теперь-то ясно видно, что двинуть войска на Петроград была лишь отчаянная попытка бывшего царя снасти свою корону. Но в те часы ещё не существовало Временного правительства, чтобы дать генералу Алексееву прямые указания как поступать, — и всё, что генерал Алексеев мог сделать, это отговаривать царя от репрессивных мер, уговаривать его дать ответственное министерство, вплоть до слёз и даже угроз, — да, он даже нашёл форму ему угрожать. В те дни генерал Алексеев не был властен удерживать царя от его поездки, от его попыток, — но в решающий день 2-го марта генерал сыграл перевесную роль в том, чтобы подтолкнуть царя к отречению, это теперь всем известно. А когда отречённый царь почему-то приехал снова в Могилёв, — он не был допущен до дел нисколько. И по первому требованию Временного правительства был ему выдан. Не мог генерал Алексеев послужить Временному правительству вернее и лучше!

Изрядно гадко было давать такое объяснение — да ещё будет ли оно и принято?

Как стеснённо, как обидно, как жаль было генералу Алексееву всей своей долготейшей честной службой, своего неоценимого умения, старания, — вот и всё никому не

нужно, вот, теперь смахнут как муху. Если ещё не вадумают отдать под суд за нерасторопность в перевороте.

Ещё не сегодня министры приезжали, где-то в конце недели, ещё несколько дней оставалось запаса до неприятного разговора.

И не ждал Алексеев, что удар по нему придётся ещё куда быстрее — и опять в форме «Известий Совета», пришедших с сегодняшним поездом.

Дежурный полковник читал газету за столом. При проходе генерала сделал неловкое движение спрятать её, генерал заметил — и сердце его сжалось. Уж от этой газеты он не привык ожидать себе доброго. Хотел пройти, да он может выавать себе полную пришедшую почту, но понял, что уже не найдёт покоя, и спросил дежурного:

— Там что-то есть?

Дежурный вытянулся:

— Так точно, ваше высокопревосходительство. Мераейшие статьи.

— Дайте, — протянул руку Алексеев. Взял эту, неровно сложившуюся, полускомканную гадость. И забыв, куда и зачем шёл, вернулся к себе в кабинет. С опалённой, не то охолодавшей грудью стал читать.

Заголовок: «Ставка — центр контрреволюции».

И — всё оборвалось внутри. Уже не читал с полным смыслом, а жалко тащился по строкам.

Ах, это от георгиевского батальона пошло, от них... «Офицеры-мятежники... обещают восстановление Николая II, угрожая несогласным солдатам — пулю в лоб.» Какая ложь, какая чушь... «безотлагательно назначить Чрезвычайную следственную комиссию для раскрытия монархического заговора...» И каков язык — военно-полевого суда, а не газеты! «...Действовать беспощадно к шайке черносотенных заговорщиков.»

Кровь била в вялые старые щёки. Ничтожная чушь — а страшно. Именно по полной бессмыслице и страшно, ибо тут и оправданий не будут слушать.

Но это — было не всё! Сразу дальше — крупней, жирней: «Генералы-мятежники вне закона... Среди нашего высшего командного состава... Мрозовский, Иванов... Но таких генералов немало и среди тех, которые ещё пока гуляют на свободе... Неотложно издать декрет, объявляющий генералов-мятежников вне закона... После издания декрета солдаты... смогут безнаказанно убить таких господ, которые посмеют повести их на усмирение народа... Временное правительство обещало такой декрет.»

Пол наклонился — и скользил генерал по полу куда-то в пасть, в отсечение головы. Ноги плавали, он опустился на стул. Но не расплавились его глаза, и он читал ещё следующую, третью статью, точно вослед, вплотную. Это всё было не о каких-то вообще изменниках, то могло его минуть, но это было прямо о нём.

«...Генералы-реакционеры. ...Справедливое негодование на распоряжение генерала Алексеева насчёт революционных разнузданных шайк... Генерал Алексеев и многие другие, надевшие на себя личину друзей народа, прямо опасны и вредны для свободной России...»

Вот вцепились! Вот не простили! В тот грозный момент, когда банды ехали арестовывать всех по пути, — начальник штаба Верховного не должен был защищать свою армию, но должен был предвидеть, что не угодит революционному Совету, — и за это вот теперь расплатится!

Всё стреляло в Алексеева. Очевидно, мишенью был избран — он. И такой тройкой прицел грозил, что с мушки они его уже не спустят.

«...Этот царский приспешник исподтишка старался взять за горло Земский и Городской Союзы...»

Ну да, это помнят, оттуда и пошло...

«...Как может во главе нашей армии стоять лицо, которое для сохранения старого порядка готово...»

В саеой прежней службе — честной, ясной, прямой военной службе, генерал Алексеев не потерпел бы десятой доли таких оскорблений — тотчас потребовал бы снять с себя обвинения, либо подал в отставку.

Но — не было теперь над ним такого прямого, ответственного и понимающего лица, кому можно было такую отставку подать. Какое-то расплывчатое, многоликое и подмигивающее было перед ним мурло — и подавать в отставку звучало смехотворно, его обещали обезглавить или резать или потрошить, они легко могли прислать вооружённую шайку и сюда, в Могилёв, — а оставалось бездеятельно ждать. Это была опасность непредставимая, неохватимая, неотразимая, — и отказывали ноги, соображение и язык.

И всё сходилась как нельзя хуже: печатали, что монархически настроен штаб Бориса Владимировича, — так это заговор в Ставке?

А великий князь Сергей Михалыч, хоть и подал прошение об отставке, хоть и снял свитские аксельбанты — но расхаживал по Ставке в генеральской форме, — вот и связь Алексеева с павшей династией.

А Николай Николаевич так и застрял в Ставке, всё не уезжал (его не пускали без сопровождения) — так и сидел в своём поезде на станции, пленник в собственной бывшей

Ставке, это стесняло и мучило Алексеева, опасно и неприлично было бы его посещать, и неудобно совсем не оказывать знаков внимания, — и вот опять связь с династией. (Кажется, уедет сегодня вечером.)

Наконец — тут же рядом печатали крупно об аресте генерала Иванова в Киеве, — а Иванов совсем недавно свободно жил в Ставке, — и уже понимал Алексеев, что его обвинят: зачем не арестовал Иванова после похода на Петроград?

607

Окончательный отказ Крымова лёг на гучковское сердце обидой. Совсем не на многих, совсем на редких боевых генералов он рассчитывал опереться — и вот главный из них отрёкся. А верные и живые, кто были с Гучковым, — а военная молодёжь, не годная для расстановки на крупные посты. Но — уже он начал, и не могло быть у него другого пути. Обновление всего генеральского состава русской армии могло бы стать делом его жизни. Ладно, он переворошит и с молодыми! Выгнать генералов сотню — другая будет армия! Наполеоновского духа.

Как раз в эти дни Гучков дал санкцию на арест окружения великого князя Бориса Владимировича. Это было и неизбежно: притёк донос из Ставки, и нельзя было не дать ему хода, особенно в дни, когда Совет гремел, что Ставка — гнездо контрреволюции. Такой арест, пятка офицеров, прозвучит сейчас в Ставке как звенящее предупреждение. Что военный министр шутить не будет. Предварительно напугать всех тех, кто думал бы сопротивляться.

Красиво бы — и самого Бориса! Совет бы ликовал. И это было бы даже как бы продолжением давней борьбы Гучкова с великими князьями. Но чтобы быть честным — материала не хватало. Борис — щенок, и безответственный, — но не вредный.

Тем более необходима какая-то суровая мера в дни, когда расслабляется вся военная система. Вчера Гучков упразднил военные трибуналы всюду вне театра военных действий. Полевые суды на фронте решено оставить, но без права смертной казни. То есть глядя вперёд: теперь ни измена, ни бегство с поля сражения уже не будут караться серьёзно. Очень может быть, что не избежать в армии института присяжных — то есть судьями посадить солдат же. От военно-полевой юстиции не оставалось ничего.

Парадоксальность положения была в том, что двигаться к укреплению армии Гучков мог лишь через частичное её ослабление.

Ещё появилась от Совета довольно безумная «Декларация прав солдата», — по безобразию уже опубликованная в газетах — ещё прежде чем поливановская комиссия её рассмотрела, а и рассматривая — пасовала. Но уж эту — Гучков имел решимость не утверждать, или во всяком случае потянуть подольше.

А ещё присяга. Правительство назначило армии присягать (вероятно зря), а вот все петроградские батальоны отказываются. (Один штаб Корнилова присягнул.) И — что делать?

И с отдачей чести Гучков уклонялся день за днём, надеясь, что просветится что-нибудь к лучшему. Однако не просвечивало. В Петрограде никто не отдавал, кроме юнкеров. На всех просторах железных дорог, этапных перевозок — чести не отдавали. Армия уже перестала выглядеть армией. Так стояло ли военному министру ещё упираться?

А тут — кажется, неизбежность, под напором общественного мнения революции, отменять все боевые ордена, из-за их царского или церковного звучания, — и только георгиевский крест, конечно надо отстоять.

А тут накладывали прошения и запросов от интеллигентов, которые раньше скрывались от военной службы: надо дать им право, не подвергаясь каре, явиться к исполнению службы ныне, наряду с новопризываемыми. И — неужели же им а этом можно отказать при торжестве революции?

А на возврат дезертиров-солдат придётся положить долгий срок, месяца два, иначе и не вернутся, кто уехал далеко в деревню.

А заводы и мастерские Главного Артиллерийского управления требовали себе теперь тоже 8-часового рабочего дня — и как же в сегодняшней обстановке стать поперек рабочего прогресса?

22 депутата Государственной Думы, крестьяне, обращались к Гучкову с просьбой — увеличить выплаты солдатским семьям: 3 рубля 20 копеек в месяц по сегодняшней дороговизне ничто. И не отпускают казённых дров.

И придётся добавлять.

А тут подкладывали подписать увольнение великого князя Михаила Александровича с генерал-инспектора кавалерии и председателя георгиевского комитета.

Телеграмму от суматошного истеричного Пуришкевича, уже не знающего, как выслужаться перед новым строем, как заказаться своим: что он лично раздал на фронте полмиллиона воззваний Временного правительства и 20 тысяч «приказов № 3» (совмест-

ных Гучкова с Советом). Заверял, что настроение в армии внушает уверенность. Зато писал, накопления немцев — лихорадочны, и зловещий признак — молчание их артиллерии. Старый шут, позабывший вовремя сойти со сцены. После убийства Распутина мог бы уже и перестать трястись на виду у всех.

А тут — ожидал самим Гучковым вызванный из далёкого Карса комендант его, а прежде — комендант Ивангородской крепости, талантливый военный инженер Шварц, которого, несмотря на его немецкую фамилию, рисковал теперь Гучков назначить начальником своего Военно-технического управления.

Так минутами — Карс! Ивангород! — толкало сознание огромности, обширности всей этой трёхлетней войны, этой Армии, навалившейся теперь на Гучкова и ожидающей от него — всего.

Но уже докладывали, что прибыла и дожидается депутация Черноморского флота. Фроятовых депутатов разных, уж он привык, приезжало теперь каждый день по две-по три. Однако сегодняшняя делегация была исключительная — и Гучков, глотнув кофе и подтянувшись, вышел к ней в залик.

Чернело от формы. Стояло 30 молодцов — больше матросы, но и солдаты и штатских немного (выяснилось: рабочие). Среди моряков был капитан 1-го ранга, но Гучков благо-разумно удержался подойти пожать ему руку: невозможно было теперь отличить его и возвысить, а жать руки всем подряд — Гучков брезговал, это выверт Керенского. И действительно, главным в депутации оказался не каперанг, а солдат молодой, кажется нестроевой части, Зорохович, — с живыми глазами, ещё гражданскими манерами (так и показался ряженым) и очень свободным языком. Нисколько не робел от обстоятельств, от министра, от солдат (он назвался председателем Центрального комитета Черноморского флота), чуть шагнул вперёд и залпом произнёс речь. И — целиком положительную. Он заверял, что боевая мощь флота не понизилась ни на йоту (так и сказал), флот и гарнизоны объединены желанием войны до победного конца, достойного великой нации (так и сказал). А поэтому они, черноморцы, приехали *требовать* от тыла неослабной работы на оборону, а Временному правительству окажут всемерную поддержку вплоть до Учредительного Собрания. А министра просил прислушиваться ко мнению севастопольцев.

Как посвежело. Гучков воодушевился:

— Старая аласть по своей неспособности и раанодушию вела Россию к гибели. Теперь великая помеха убрана с народного пути. Жалкий сор, оставшийся на месте бывшего асличия, Временное правительство выметет начисто. Не скрою: каждому из нас предстоит тяжёлая работа, но её нам облегчит глубокий государственный инстинкт, аложенный а душу народа.

Только — есть ли он а народе? Смотрел, смотрел по глазам. И простодушные, и старательные, и любопытные. Больше — на Зороховаича, с надеждой.

— Вы знаете, как наш прошлый режим был связан с немцем. — (Уж так прямо не думал Гучкова, но так было доступнее народу.) — На наш переаорот араг отозвался сосредоточением дивизий, угрозой столице...

И дальше — о свободе, о победе, о единстве, — уже привыкал язык перемалывать.

— Я стал министром — и а моих руках большая лопата, которой я выгребу всё, что себя запятало. Но помните, господа... — может быть, надо было «товарищи» сказать? не выговаривалось, — что ошибки возможны везде. Может быть, допущу ошибку и я, — но я задумаюсь над её исправлением.

Вернулся к своим занятиям приподнятый. Корреспондентам отвечать: никаких оснований для пессимизма, настроение в войсках благоприятное, и вера в победу окрепла.

А всего-то, после великих обещаний, подкладывал ему заместитель проект демократической реорганизации военно-учебных заведений: не могли ж они остаться прежними для новой русской армии! Во-первых, принимаются в них евреи. Во-вторых, менять воспитательный состав. Но уже и не хватало толковых чинов для возглавления, — и не оставалось назначить сюда никого другого как директора военно-педагогического музея.

И: остановить трудовую мобилизацию среднеазиатских инородцев, чтобы не возникли новые волнения.

А затем пришёл Ободовский. Гучков любил этого неопенимого инженера, постоянную живость его сочувствия к военным делам, принимал его вне очереди среди военных и даже своих сотрудников.

Но вот — и он хлопотал: для технических артиллерийских заведений подписать 8-часовой день при прежнем заработке и возможности сверхурочных. И — выплатить за все революционные дни. И заводские комитеты.

Встретились молча глазами.

— Но разве это будет работа? — сказал Гучков.

— Ничего не поделает, — вздохнул Ободовский. — Всюду так. А иначе будет хуже. Вздохнул и Гучков. Перешёл поприятнее.

— Ну как в поливановской комиссии?

Ободовский был там вне всех личных натяжений, напряжений и соперничества, наиболее беспристрастен.

— Да может, вы меня оттуда исключите? — хмурился. — Нелепо я там выгляжу, единственный штатский.

— Да за это я больше всего вас там и ценю. Пётр Акимович.

Брови Ободовского под русо-седающим бобриком головы иронически передёрнулись. Он не улыбнулся, но искринка юмора прошла в глазах:

— Я думаю, им недостаёт военной косточки.

— Ах вот как! — засмеялся Гучков. Повисилось у него настроение после черноморцев. — И в чём же?

— Перед Советом. Уж очень занскивают. Уж очень спрашивают разрешения и выкладывают им все материалы. И каждое только мнение, высказанное на комиссии, попадает в газеты и разносится во все казармы и окопы. И солдатами воспринимается как уже реальность. Что ж это будет?

— Да, это чёрт знает что! Подкрутите их.

Тут Гучков вдруг решил: ни у одного генерала не спрашивал, а у Ободовского первого и спросить.

— Скажите мне, Пётр Акимович, совершенно *entre nous*: а что вы думаете о генерале Алексееве? Можно его назначить Верховным?

Брови Ободовского застыли асимметрично. Сжатые губы прокачались в раздумьи.

— Вот, — решил Гучков, достал ему из стола папку с последним унылым письмом Алексеева о развале и слабости армии. Ни от одной фронтовой делегации не веяло подобным. — Прочтите.

Ободовский не удивился. Отсел в комнате тут же, быстро прочёл, вернул.

— Ну что?

Пожал первыми плечами. Но ответил без всякого колебания:

— В настоящее время — не годится он в Главкомандующие.

Гучков мысленно поставил в графе Алексеева второй минус, первый был свой.

Ободовский ни минуты не задерживался дольше дел. Вот уже всё кончил, и:

— Некоторый неловкий случай. Сегодня Керенский просил меня привезти к нему на встречу нескольких полковников из Военной комиссии.

Что такое?..

— Зачем?

— Как говорит: хотел бы немного познакомиться с военными делами.

— А зачем ему?

Ободовский пожал плечами.

Бестактно. Как и всё бестактно, что делает Керенский. Само по себе бестактно — да ещё почему же не спросить Гучкова прямо?

Мальчишка! Приказчик реалюции.

Но запрещать — смешно. Чустаю юмора.

— Ну что ж, свозите.

Пока Гучков готовил аведомость на генералов — кто-то уже готовил и на него.

608"

(по свободным газетам, 13—15 марта)

АМЕРИКА НАКАНУНЕ ВОЙНЫ.

ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКИЙ КОНФЛИКТ. Великая заатлантическая республика а случае открытия военных действий... Праантельстао Соединённых штатов будет а избылиа снабжать держааы Согласно деньгами и снарядами.

...Великая Заатлантическая республика не могла примириться с лишнем прав целой категории русских граждан на том основании, что они исповедуют другую религию. Соединённые Штаты отказались от заключения торговых договоров с Россией. Во время войны американские банкиры охотно финансировали Англию и Францию, но Россия не могла пользоваться американским кредитом. Теперь всё это разительно изменилось. Из телеграммы банкира Якова Шиффа мы видим... Приветствие американского посла носило интимно-сердечный характер. Америка становится из преданнейших наших друзей. Вонистаенное настроение американских политических и финансовых кругов... «Самая молодая» демократия уаляется за собой «самую старую»...

(«Биржевые ведомости»)

Речь сэра Бьюкенена произвела на многих тягостное впечатление. Она заключала такие указания, от которых представлялось Великобритании при Временном правительстве мог бы удержаться. Если при господстве старого режима сэра Бьюкенен выходил из рамок дипломатического представительства, то это объяснялось понятным недоверием британского народа. Заподозрить же русскую демократию а возможности нарушении международных обязательств... С правительством русской демократии издо говорить иным языком, чем с германофильским правительством Николая II.

НЕМЕЦКИЙ НАТИСК. Почему именно на Петроград? Значения Петрограда для России ярко выявила революция: достаточно было совершиться желанному перевороту в столице, как сейчас же и уже легло стала под знамя свободы вся провинция.

Телеграмма генералу Корнилову. Редакция «Утра России», отражая патристическую тревогу, горит жаждой отдать все силы достижению саятой цели победы и просит вас, любимого армией вожда, дать нам возможность обратиться вашим именем к миллионм читателей с призывом: Отечество в опасности! арг у ворот!

У ЕПИСКОПА АНДРЕЯ УХТОМСКОГО. «Сейчас выезжаю на Саарный фронт, меня вызывает Гучков телеграммой. Надо спасти родину, озаренную ярким светом свободы. Я ехал три дня по России. Русь саята сайчас великолепия а саом величии. Она зиват, что грозный арг при даерях, и молитси. А на улацах Петрограда многое мне не понравилось. Нат, на таи нужно праздновать великие дни свободы.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ НА ФРОНТ. Прибытия из поездки по Рижскому фронту депутаты Ефремов а Маиогои... Настроение армии на осталяет желать лучшего. Офицеры и солдаты клянутся а дальнейшам проливать саю ирова. Каюа адумчиваа понавание момента! Какое спокойное сознание своего достоинства. На защиту интереса дисциплины стали сами солдаты. Как они теперь подходят с рапортом, как стоят на часах! — гвардейцы! Праздничньй энтузиазм слился с будничньм вистазом.

...член ГД Дзюбинский заявил: Я только что вернулся с фронта. Поасюду мы авдали полное единение офицера с солдатами. Только теперь, говорили солдаты, мы поняли, за что мы боремся. Напрасно из Петрограда нас тревожат разными листками. Мы умрем все до единого, но на допустим исмца.

...При старом режиме между офицерами и солдатами была пропасть... Офицер, избавленный от полицейской роли, станет вождем на поле битвы. Если подати совершали прежде рабы — то что же теперь совершат свободны люди!

(«Новое время»)

ХЛЕБ ВЕЗУТ! Известия с мест ась болаа отрадны...

Норма реквизиции хлеба у землевладельцев с посевной площадью болаа 70 дес. На продовольствие до нового урожая осталяется по 1,25 пуда на душу в месец... Для ярового посева... Для рабочих лошадей...

Речи к народу... Но, согласитесь, правительстаю на с улицы пришло и ис ачера познакомилось с государстанными вопросами... Бросается а глаза их длинная заслуженность на общестанной работа. О таланта подождам говорить, пока на аяснятся успахи. Пражда чрезвычайнйо трудно было сочувствовать власти, при смрадном происхождении правительстаа... В нашей несчастной страия, доасденной самодержавием до политической одичалости...

...Господа рабочие и господа солдаты! Ради аашаго жа спасения на откажита поддержать авдвинутую аласть. Народ тоже обязаи саязать себя клятой аерности правительству. Образованные народы удиляются спокойствию и порядку, с каким у нас совершена револуция.

(«Новое время»)

БУНТ ИЕРАРХОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Они протянули свои белые руки к аласти. Они не хотят, чтобы царковавна преобразования проаьл бы представлять Враманного правительстаа. Шасть епископа ишло из состава Синода, осталось три члана. Они ташат себя надеждой, что образуется клерикальная гвардия для борьбы с Временным правительстаом.

Но правительстаю несомннйо полиай выражат голос мирской церкви, чам иерархическая срада, — и назначить петроградского митрополита предпочтительнай правительстаю, чам на собора архирааа. Царковное пераустройстаю можно осуществлять только путам авустравного переворота, подобного револуции...

(«Русская воля»)

РЕЗОЛЮЦИЯ ЛИТЕРАТОРОВ. Высоко оцанная огромную роль Совета Рабочих Депутатов, глубоко сожалеем о аго попытках огривичить саободу слова и пачати. На должны паравшаги освобождения страны направиться на путь угнатарелей саободного слова.

...В. Л. Бурцаа, поставивший саом даавизом борьбу за саободное слово, скорбит, что а настоящее время авнуждению замолкли так называемыа черносотинныа газеты.

...Саобода печати может быть скверно использовава злыми дамагогами. Свобода печати для них — механическая саобода писать и авивать умы читатели дребеденью.

(«День»)

СВОБОДА СЛОВА. Временный суд разбирал обвинения солдата в критика вслух а трамваа Совета Рабочих Депутатов за запрет «Нового арамия». Допрошаны свидетели обвинения. Обвиняемый на агитировал, а лишь иритиковал поставления СРД а спокойном разговора с сосадами... Обвиняемый в последнем слова заявил, что асацело признает новый строй. Найдаю, что он неавиовен.

ОТМЕНА СМЕРТНОЙ КАЗНИ ... В военно-судном управлении министерством юстиции было представлено два проекта: абсолютной отмены и с сохранением казни за шпионство а измену. Утверждена — абсолютная отмена.

...Военно-прокурорский надзор 5 армии с беспредельной радостью принимает весть об отмене смертной казни.

ПРЕТЕНЗИИ АРЕСТАНТОВ. Многие лица, обвиняемые по чисто-уголовным статьям, првчисляють себе к политическим — и требуют полной амнистии. Рассмотрения дел затруднено там, что аса документы многих арестантов уничтожены ао арами пожара а Бутырской тюрьма.

...По роковой случайности из кроаштадтских тюрем при освобождении политический были освобождены в аса уголовныа...

АРЕСТ БАДМАЕВА. По приказанию следственной комиссии произведен обыск... Вадь должны поинимать люди, что а Тибета на знают ни хамии, ни физики, ни физиологии. Нат и на может быть никакой «тибетской мадицины».

К аресту Марии Павловны... Стояла ао главе заговора. Много компрометирующих документов...

Постановление об аресте Кшесинской... Прокурорскому надзору поручаю ознакомиться с корреспондентией, забраиной на квартира баларины... Кроме того, предстоит арест двух сослужацев её по сцаа.

БЕСЕДА С КНЯЗЕМ ЮСУПОВЫМ, ГРАФОМ СУМАРКОВЫМ-ЭЛЬСТОНОМ.

...Юсуповский дворец на Мойка, особняк одного из богатейших людей России... Хозяин уже прибыл из ссылки. Прислуга дворца алюблана в молодого князя. «Вы, конечно, приехали узнать о Распутана? Но стоит ли говорить об этой грязной личности? При дворе знали, каюого я мнания, я открыто возмущался. Узнаа о пераорота, я ис был удиальи. Я дааво предаидел, что Двор катится по ваклонной плоскости. Государыня авобразила, что она — аторая Екатерина Великая. Они не авняли голосу саих близких. Николай Александрович за последний год оковчательно потерял аюлю и асещело попал под влияния Алаисандры. За последнее аремя государя довали почти до полного сумасшастии, аго поили тибетскими зальями. Я бы сказал многоа, но на хочу в такое травожное аремя авливать грязью тах, которые для России уже не мграют никакой роли. Одно скажу: при дворе царил каюой-то кошмар.»

...Трезво и насмашливо смотрит русское общество на запоздалый либерализм Кириллова, Михайлова и т. д., не очаровано новоявленными Филиппами Эгалите с их голштиискими дамами. Первой крысой оказался Кирилл Владимирович, любимец преслаутой Марии Павловны, которую надо поставать ао главе нематского шпионства. Его испсыа интервью... Достаточно нам сказать: «мой дворник и я» — чтобы мы растаяли?..

ОТМЕНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. Временное правительстаю поставило снять с акционерных компаний ограничения относительно лиц иудейского авероисповедания и иностранцаа.

Одесса. Прибыла депутация жителей города Ольвиополя и сообщила, что темные силы угрожают еврейским погромом. Генерал-губернатор предписал херсонскому губернатору послать комиссара в сопровождении войск. Туда же из Одессы послаи латучий отряд.

Письмо в редакцию. Гвардейский экипаж сим заявляет, что слухи о том, будто бы на колокольные морского Николаевского Богоявленского собора а великие дни револуции были поставлены пуламты, производящие обстрел австаашаго народа, лишаны аякого основания. Подтверждено осмотрами.

...Великое событие, единственноа в истории всех револуций по скоротачности в бескровию, когда в несколько часов одна шестая часть саета руками петроградцев скинула с себя окоаы. Петроград, которому особанно надоел старый строй, ажил да и бросил его а татарары. Сделал это самый нарусский город в России, — и ася России сразу прииила аесть из Петрограда как благоавст. И наша умная Россия взяла да и стала саободной.

(«Новое время»)

Необходимо срыть чудовищно-мрачныа мозолящия стаи Петропавловки, а на открывшейся площади авзданиять памятник Свободы, на ниже шпица Петропавловского собора... И строить памятник Свободы не из простых камиаи, но из казематса со всей России.

...Лавонид Авдрааа боится развала. По аго мнению, необходима дисциплина. Смешно! У нас о развала иат и помину. Вместо развала — спокойныа ряды. Говорили, что усиливается поражение. Но я не авдел ни одиого знамения «долгой войны». Наше настоящее прекрасно.

Срочные меры на охрану заводов спирта...

ТОВАРИЩИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! Парад нами — идовитый соблазв. Уже вспыхнули горяча споры, кого из иачальства авбросить, страстно заговорили о прадьявлении аяких требований, возможны забастовки, — и все это захватит а плес нашу душу. Сколько же сдл остаиется у нас для

выполнения служебного долга? Жалкий остаток. Нет, товарищи! Прочь все шкурные интересы, а святой долг перед родикой пусть наполнит пламенем нашу душу...

К населению Петрограда. Комиссар Петрограда и Таарического дворца обращается к населению с призывом аозарачать аойскам оружие, как-то: пулемёты, аинтоаки, револьверы, штыки, ручные гранаты, пулемётные ленты...

...В радикальности устройства милиции мы уже обогнали Англию. Не надо жертвовать интересами охраны нового строя ради ложно понятых принципов демократизма.

ПРАЗДНИК РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В МОСКВЕ. Демонстрация 12 марта в Москве... Около часа дня показалась группа асадников. Гремит «ура». Это едет командующий войсками подполковник А. Е. Грузинов во главе своего штаба. «Ура» переводится из конца в конец, с колоколен раздаётся звон. Праздников праздник!

Собрание духовных певцов г. Москвы. Наиболее желательной формой правления признали демократическая республика. Затем собрание перешло к обсуждению, как псацам свергнуть его хозяев.

МИТИНГ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ в Михайловском театре... К сожалению, немало времени было потрачено на патриотические заявления общего характера, ставившиеся уже общим местом. Были также выпады чисто личного характера. Страстное и сбивчивое отношение к речам постепенно повышалось. Немало выступало ораторов, совершивших немалое для мира. Ряд выпадов против Горького... Выбрать комитет не смогли: не прошёл ни один список.

...В воскресенье 12-го я председательствовал на митинге искусства. У меня лично осталось несколько кошмарное впечатление от того, что происходило, и от принятых резолюций... Мейерхольд совершал оскорбительные личные нападки против Николая Бенуа, чья критика его спектаклей... Ограниченный фанатизм, требующий, чтобы прекратилась всякая свободная инициатива в вопросах искусства...

Вл. Набоков

УСПОКОЕНИЕ. Харьков. Жизнь протекает в образцовом порядке. Всякие легкомысленные выступления и грабежи локализованы в их начатках. После освобождения политических из заточной тюрьмы аозаикли переговоры уголовных с окружающей толпой, причем арестанты стали пилить наручники и рсчётки. Толпа грозила арестовать начальника тюрьмы. После убеждения толпы словом, а арестантов военной силой, волнения улеглись. Было предположено выпустить 50 аосинных арестантов, но вместе с ними двинулись к воротам 700 уголовных, которые сдержаны подоспевшим конвоем. Двое убиты.

Киев. В исправительном арестантском отделении неспокойно. Военный комиссар посетил все камеры и разъяснил происходящее в стране события. Заключение возбудило ходатайство о снятии с них позорных кандалов и поклялись, что не воспользуются этим для нарушения порядка. Кандалы сняты. Заключение передали комиссару 1300 рублей на национальный памятник свободы.

Винница. Из местной тюрьмы сбежало 300 уголовных преступников. Часть их направилась в Киев.

Одесса. Родственники арестованных уголовных собирали толпы вокруг полицейских участков якобы для освобождения политических.

Баку. Торжество омрачилось бегством из центральной тюрьмы свыше 600 арестантов: уже несколько дней в тюрьме аолновались, требуя участия в торжествах.

Астрахань. В связи с происшедшим 9 марта побегом трёхсот арестантов местной тюрьмы Исполнительный комитет постановил арестовать всю тюремную администрацию.

Тифлис. На митинге казаки заявили, что преисполнены готовности снять с себя пятно позорного 1905 года. ... Казак заявил от имени своего полка: «Долгие годы мучила нас совесть, что в 1905 пошли мы против народа. Прости нас, Русь,— поклонился на 4 стороны,— мы постараемся смыть с себя старый позор.»

Одесса. Многолюдное собрание купечества решило обратиться с аозваанием к фабрикантам и купцам отказаться от аысоких прибылей, чтобы доказать чуждость спекулятивным намерениям.

Омск. Брешко-Брешковская встречена командующим войсками Округа и аосторженной толпой. С митинга вынесена на руках, объезжала казармы. Остановилась в бывшем дворце генерал-губернатора.

Екатеринослав. Мало работников, особенно в уездах. Теперешним грозит переутомление.

В Харьковской губернии состоялись крестьянские сходки. Крестьяне относятся к событиям адумчано и а огромном большинстве высказываются за республику. Авторитет царизма совершенно пал.

...Деревенские женщины по большей части плачут, что нет на престоле царя: пусть хоть плохонький, а должен быть.

В Бендерском уезде крестьяне доставляют комиссару золотые монеты. **В Мензелинском уезде** пограбили мануфактурных торговцев.

...Готовятся под Москвой и в Крыму санатории для освобождённых политических.

...В Таврическом дворце получено известие, что Плеханов в Россию не приедет...

...Среди арестованных за последнее время — много бесприютных детей, по подозрению в краже.

...Всемирный пансоциалистический союз пяти угнетённых — рабочего, женщины, интерриториальная, учащегося и личности — зовёт всех угнетённых на собрание в столовой вегетарианского общества. Учащиеся! Если желаете освобождения из школы-казармы... Разные личности, тяготящиеся прикудительными нормами,— приходите!.. Придите все обиженные, оскорблённые и ведавольные!

Общее собрание евреев-учащихся средних учебных заведений переносится на...

ИСТОРИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ НИКОЛАЯ II. Художественное издание. Открыта подписка... Темные силы, эпоха Распутина, интимная сторона царствования — будут широко и полно освещены.

ИНДЕЙКИ И ГУСИ откормленные, из Воронежской губ., по сходным ценам.

ДОХИ ИЗ СИБИРИ.

Требуется хорошая кухарка, знающая еврейскую кухню, умеющая хорошо готовить в пасхальную неделю, на хорошее жалование.

МАЦА 1-го сорта с гешпером Раввина продается по выгодным ценам.

ПОДВОДНАЯ ВОЙНА. БЛОКАДА СЕВЕРО-ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО СРАЖЕНИЯ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ.

Голодаые беспорядки в Германии. Уменьшение рациона вызвало тревогу...

РЕФОРМЫ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ. Отставка генерала Эсрета встречена с большим удовлетворением. Началась чистка армии от престарелых военачальников и различных протезов. Устраняются командующие армиями генералы Горбатовский и Смирнов. Омоложение командного состава вызывает одобрение армии.

Впечатление депутатов от поездки на фронт. Боевая сила армии увеличилась по крайней мере в 5 раз. Если бы теперь пришлось перейти в наступление, то никакая сила не остановила бы солдат, воодушевлённых переворотом. Пораженческие газеты раутся солдатами.

...Явление самовольных отлучек солдат является позорным и недопустимым. Воины свободной России должны знать и твёрдо помнить...

...Всё очарование революции в этом лозунге: «Победить или умереть». Когда был «нижний чин» — тогда нужнее был и «устав анутренней службы». Но когда солдат — свободный гражданин, то нужны сознание долга и любовь к родине. Пусть дым фабрик сольётся с дымом орудий — и тогда мы победим врага.

(«Новое время»)

... Не умер ещё, к несчастью, лозунг «долгой аойву», на митингах к нему прислушиваются. Но удельный вес его падает. ...Большевики почему-то предполагают, что их обращение прекратить войну будет ааажено немецкими рабочими.

...Трон Вильгельма будет опрокинут штыками вот этих депутатов, которые составили Воззвание к народам. Ибо ово несёт не мир, во меч.

Учредительное собрание будет в Петрограде. Вопрос решён бесповоротно. Совет Рабочих Депутатов находит...

В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ. НАСТРОЕНИЕ ДЕПУТАТОВ. Одни утверждают, что с созывом Учредительного Собрания следует ждать конца войны... Другие: нельзя откладывать, око само будет работать более года. Раздаются иронические аозгласы: «с каких пор кадеты стали выдавать лозунг демократической республики?»

СКОЛЬКО ВЛАСТЕЙ? Совет Рабочих Депутатов не представляет собой правительств. Но как орган тех классов населения, которые дали России свободу, должен стоять на страже интересов революции — и а тех случаях, когда им угрожает опасность со стороны Временного Правительства, — демонстрировать силу.

...Страна должна знать, кто говорит именем Рабочих и Солдатских Депутатов. Совету необходимо опубликовать полный список всех его членов — притом подлинные, настоящие фамилии и имена. Общее собрание Совета не знает, кто выступает в завуалированном под старым псевдонимом виде. О какой политической ответственности может быть речь, когда деятели скрывают свои подлинные имена и фамилии? Мы не стесняемся разбираться в мотивах, почему считают нужным прибегать к маскировке. Она была понятна в самодержавное время. Теперь, в изменившихся условиях, нелепо продолжать старые приемы, в сущности оскорбительные для революционной свободы. Такая же анонимность принята и при подписании резолюций митингов. «Правда» публикует резолюцию Бюро ЦК РСДРП против войны и общается с германскими солдатами — и никем не подписано. Какие деятели выпускают на свет такие ответственные лозунги?

(«Русская воля», 15 марта)

ИНТЕРВЬЮ КНЯЗЯ ЮСУПОВА. ...Я считаю, что новое правительство спасло Россию и русский народ от гибели и выведет его на путь прогресса. Новая Россия уже куется. Сейчас у власти стоят сильные люди. Родники и Гучков пользуются огромной популярностью, также и среди крестьян... Деревня? — еще не осилила совершившегося и с трудом разбирается в том, что произошло.

О ХЛЕБНОЙ МОНОПОЛИИ. Старое продовольственное ведомство обратилось к хлебной повинности, — но отсутствовал широкий государственный масштаб. Теперь при известном крутом повороте руля возможно поднять результативность. Нужно вызвать отток хлеба от крестьянских амбаров и умело направить в потребительские центры. Это — вопрос успеха русской революции. Нужны решительные действия... Хлебная монополия — героическое мероприятие. Она неизбежна для России, но нельзя проводить ее карьерой без общественной призмы, которая даст преломление основных линий мероприятия.

...С большой неосновательностью поднимается вопрос о свободной торговле хлебом. «Революция должна расковать хлебную торговлю» — вот погудка крупных аграриев. Но у русской торговли еще мало развит государственный инстинкт.

(«Биржевые ведомости»)

...После введения таксы исчезли из продажи мясо, колбасы, масло... Эти влиятельные грабители ставят нам преграды... Свести с ними быстрые и решительные счёты. Трёхмесячное заключение для них ничто, нужны самые суровые кары!

(«Русская воля»)

8-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Не столь простой вопрос. Реформа совершилась с лёгкостью, не соответствующей моменту. Сокращение рабочего дня не должно уменьшать производительность предприятий, связанных с обороной, накануне может быть генеральный бой с немцами. Разумеется, если на рабочих лежит долг отдавать силы, то владельцы предприятий должны забыть о невероятных прибылях, которые извлекали они из работ на оборону. Мы надеемся, что компромиссы будут найдены, чтоб Россия не пострадала от успеха петроградских рабочих.

Утеч золота русского за границу принял опасные размеры. Перекупщики, китайцы и корейцы, платят стравительные больше, чем предлагает русская казна. Вдоль всей нашей китайской границы германские агенты устроили скупочные конторы. Ежегодно с приисков исчезает не менее 1600 пудов золота...

Звем Свободы должен стать делом всего народа. Создать комитеты пропаганды... Привлечь к агитации...

Когда же отмена смертной казни? ...Чем радостней было принято известие об отмене смертной казни, тем тише проходили последующие дни, не принося официального акта. Каждый день промедления ложится пятном на русскую демократию.

...Трепетания красного флага над Петропавловской крепостью и не забуду до моего смертного часа. Д. Минаев писал много лет назад:

Есть у нас одна нелепость:
От Петра до наших дней
В Петропавловскую крепость
Возят мёртвых лишь царей.
Но когда же дни встанут,
С нетерпением ждём мы их,
Что возить в ту крепость станут
Императоров живых?

Почему бы не свезти туда Николай Романова?

...Временное правительство распорядится с бывшим царём по-своему, и пусть никто не смеет требовать правосудия.

(«Русская воля»)

АМНИСТИЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПНИКАМ. В министерстве юстиции идёт срочная разработка проекта. По отдельным видам преступлений амнистия будет полная.

Арест ген. Н. И. Иванова в Киеве... Очень взволновался. Заявил, что уже присягнул новому правительству и готов ему верно служить.

Арестован редактор газеты «Земщина» Глинка-Янчевский.

БОРЬБА СО ШПИОНАМИ... Контрразведывательные органы обслуживаются верными людьми. Этих людей нельзя смешивать с агентами прежнего полицейского сыска.

ЕСТЬ ЛЮДИ! Предстоит организационная работа громадной важности — и она будет сделана блестяще. Все охвачены энтузиазмом, опрыснуты сказочной водою жемчужины свободы. Людям больших дарований старое деспотическое правительство не давало простора, подбирало низких угодников, бесстыдных опричников. В общественное сознание вбывалась клевета, что нет людей. И посмотрите, сколько оказалось людей, способных мудро творить государственные дела! Первые шаги, самые трудные и опасные, сделаны художественно-мастерски! А уж вести Россию дальше — тем более люди найдутся, страна может быть спокойна.

(из письма военного летчика) ...Энтузиазм и подъём духа такие, что если не подгадите там, в тылу, то границы между возможным и невозможным падают. Дойти до Вены, до Берлина? — кажется совершенно правдоподобным. Революция произошла на фронте как дивный святой молоток.

...Получен ряд телеграмм от различных еврейских общин и кооперативных объединений из Нью-Йорка, Гааги, Лондона с приветствиями по поводу совершившегося переворота.

...Еврейский и немецкий вопрос требуют в крестьянстве правильного освещения.

О портретах Александра II. ...он не запятнал себя ничем позорным, подобно своим потомкам, — и присяжные просят повесить портрет в зале окружного суда.

...За все унижения и притеснения латышского народа — латыши ответили верностью русскому государству: стали стальной щетиной на Двине.

Телеграмма из Ниццы. «Всецело ставлюсь на сторону Временного Правительства. Свинков.»

ПЛЕХАНОВ ПРИЕЗЖАЕТ! — слух был неверен.

Уход Г. Г. Перетца. Ввиду сильного нервного переутомления комендант Таврического дворца полковник Перетц подал рапорт об уходе. Это вызвало всеобщее сожаление. Пожелали уйти и все вдовые, состоявшие при нём, и преобразенцы, несшие караульную службу.

8-часовой рабочий день начинают осуществлять явочным порядком. Извозпромышленники и ломовики постановили не выезжать на работу после установленного часа — и останавливается разгрузка продовольственных продуктов на станциях, а есть подверженные порче.

...На всех столичных рынках происходят собрания прислуги.

На телефонной станции. Из 19 тысяч испорченных во время революции телефонов приедено в исправное...

ПРОИСШЕСТВИЯ. 14 марта на Николаевском вокзале задержана группа милиционеров в студенческой форме, вооружённых с головы до ног. Оказались самозванцами, выслеживали удобный момент для производства кражи серебра, прибывшего в двух вагонах.

Молебны на московском почтамте в честь совершившегося переворота.

В КРЕМЛЕ. Специальная комиссия по распоряжению комиссара Москвы приступила к приёму дворцов и соборов. Для приёма икон будут приглашены специалисты и опытные оценщики картин.

В Гельсингфорсе скончалась жена убитого адмирала Непенина.

Владикавказ. Гривидозная встреча депутата Караулова.

Киев. Клуб националистов переименовался в клуб прогрессивных националистов.

Елизаветград. Из тюрьмы бежало 500 уголовных. Говорят, имели в виду устроить погром. К вечеру 200 беглецов возвратились.

Николаев. Уголовные местной тюрьмы сообщили депутату Государственной Думы, что решили получить свободу хотя бы через тела надзирателей.

Одесса. В Одесском тюремном замке — «конституционное управление». Стража устроена. Власти ввели в тюрьму строго ограничена, управление тюрьмой — в руках комитета из 10 заключённых, в нём — экзотический бессарабский «рыцарь больших дорог» Григорий Котовский, смертник, помилованный ген. Брусиловым. Охрану тюрьмы несут сами заключённые, давшие честное слово. Митинг арестантов отправил приветственную телеграмму правительству. Выборные ходят в город за покупками.

Харьков. Специальная комиссия работает над архивом охранного отделения. Найдены списки агентов, среди которых оказались видные деятели рабочих организаций, представители интеллигенции, кооперативов и учащиеся высших учебных заведений.

Сызрань. Бежавший из Симбирска под видом извозчика исправник арестован. Пытался повеситься, вынут из петли.

Понужение цен на продукты. Обильный привоз на базары... В Нижнем-Новгороде отпечатано четверть миллиона воззваний Родзянко с призывом подвозить продукты.

Голос земли. В Исполнительный Комитет продолжают поступать приговоры волостных сходов. Вот выдержки:

«...желателен республиканский образ правления с избранием президента по образцу Америки и Франции. Конституционный образ теперь является запоздалым...»

«...Учитесь терпению у крестьян. Берите всех нас на войну. Отберите зерно, скот и всё имущество, но пусть русское „ура“ докатится до Берлина.»

...В деревнях настроение у всех праздничное. Об отречении Николая II говорят: «Так и надо, давно пора!» Крестьяне восприняли духом и ждут разгрома немцев.

Устюжия. В уезде — лесные порубки.

Кое-где отбирают у помещиков землю, избивают агрономов. В с. Конюхове Рязанской губ. крестьяне разгромили квартиру присяжного поверенного, ронял разрубили на дрова, а бархатную обивку мебели разделили на штапы.

В Нижегородской губернии крестьяне радостно встретили весть о свободе. Преобладают республиканские тенденции. Были случаи разгрома помещичьих усадеб и вырубки частных лесов.

Отменить постоянные абонементы в Мариинском театре, наследственное право кучки феодалов...

ПОКУПАЮ ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ Бриллианты, Жемчуг, Золото, Серебро, Ломбардные квитанции.

СЧАСТЬЕ ЖЕНЩИНЫ В ЕЕ РУКАХ. Особый японский крем для лица.

Нужна прислуга без мужских знакомств.

КУЧЕР НУЖЕН, хорошо знающий езду на молодых кровных лошадях.

Добрые люди, укажите отцу, где находится пропавшая 5-летняя дочь, ушла к Николаевскому вокзалу, одета в...

609

В мирном домашнем Тамбове все дела во всех учреждениях всегда успевали сделаться до двух часов дня. По всем бумагам принимали решения, успевали отписать, куда надо, убрать а столы и шкафы и разойтись по домам, кроме разве уж самых мелких служащих. И после того, в разумно просторное оставшееся время суток, отдавали себя удовольствиям: обильным медлительным трапезам (аикто никогда в Тамбове голодным не сидел); карточным играм; катанью по Большой улице в экипажах; гулянию в городском саду, где играл военный оркестр; летом — катанью на лодках по Цне и её рукавам — от самого городского берега и в дальние прибрежные леса на пикники, с раздольными песнями на пойме; зимой — ёлки, балы, маскарады, взаимные визиты и опять же катанье на рысаках (губерния изобиловала конными заводами). А ещё ж любительские спектакли и в них соревнования дам!

С войны стало потемней: и в учреждениях больше работы, и треноги о своих, ушедших на фронт.

А уж с революционных дней и вовсе стало напряжённо: пришли в движение неожиданные, до сих пор не известные горожане и вопросы.

В центре стал председатель губернской земской управы — а теперь внове губернский комиссар — дворянин Юрий Васильевич Давыдов. При нём создался и губернский комитет — как новая революционная власть, и губпродсовещание, а заместителем к комиссару стал присяжный поверенный Шатов, убежденный весьма левых (впрочем, и Давыдов тоже). И тамбовский губернатор Салтыков и гарнизонный генерал признали комитет и подчинились ему без сопротивления. Распахнули двери тюрьмы, и оттуда освободились семеро задержанных по политическим мотивам. И так уже 3 марта в Тамбове бескровно совершилась революция. 8 марта догадались снимать государственные гербы. Давыдов одним приказом устранил от должности всех классных и низших членов полиции и приказал сдать дела. Только начальник губернского жандармского управления с помощником не подчинились тому честно, а вырывали из дел страницы, из папок вынимали листы

и уничтожали их, якобы «по нравственным соображениям», — и Давыдов распорядился арестовать их обоих и сам арха. Поступали и свежие политические доносы, но большей частью анонимные, Давыдов не желал не рассматривать их. Рядовых полицейских, кто помоложе, направляли в армию, а старших возрастом охотно приняли в новую революционную милицию (возглавленную нотариусом), ибо оказалось, что некому нести службу порядка: никто новый не соглашался идти за 52 рубля в месяц. Да что там — домовладельцы и дворяники стали тротуары плохо чистить.

Теперь выдавали полноправные документы административно-сылным — Тамбовская губерния всегда была разрешена для проживания их, да и собственного славного революционера когда-то выдвинул Тамбов — Балмашова, убийцу Сипягина, не говоря уже о несколько смутной, но ярко излетевшей Марии Спиридоновой.

Открывались светлые просторы, омрачённые, однако, конкуренцией власти. Хотя в городской думе, только что избранной, была сильная интеллигентская группа «прогрессистов», да и противники их, «деловая группа», тоже не консервативны, — в Тамбове возник и стал собираться в лучшем зале города, в Нарышкинской читальне, — Совет рабочих депутатов и требовал признать себя высшей властью в городе. Но лица — совсем неизвестные, а собственно рабочих в Тамбове почти не было. Собирался Совет — не густо, и в читальном зале находились дни для собраний то торговых приказчиков, то еврейских ремесленников, то гимназистов, а то было устроено молебствие трёх тысяч магометан за спасение России.

Ещё одна была видная фигура в Тамбове — губернский предводитель дворянства владетельный князь Челокан, гофмейстер и член Государственного Совета. Ещё 10 лет назад он был довольно прогрессивен и против губернатора. Но в 1907 крестьяне сожгли его имение — и он стал сторонник жёстких консервативных мер. Однако сегодня у него не было опорных сил для оппозиции, и шёл ему 77-й год, и наконец он приходился Юрию Васильевичу — родным дядей.

Положение губернского комиссара равнялось прежнему губернатору, и Давыдов должен был бы занять губернаторскую канцелярию. Но он больше держался своего привычного кабинета на 2-м этаже земской управы — массивного каменного здания на углу Большой и Араповской, откуда и видна была ему вся центральная городская площадь перед собором и монастырём. Продолжая и дела земской управы, там принимал он большую часть посетителей — и туда же к нему пришёл сегодня и его шури Александр Львович Вышеславцев, москвич.

— Саша! Откуда? Сейчас приехал? с поздравом?

В другое время, поспокойней и поинтересней, заметил бы Давыдов, что шури его что-то слишком рассеян, даже расстроен. Но сейчас он сам был так возбуждён и переполнен деятельностью, да и не виделся от дня революции:

— Ну, каково, а? Каково, голубчик, мы отмочили? — встретил его на середине кабинета, обнимал и тряс. — Дождались, а? Ещё при нашей жизни вдруг дождались!

Вышеславцев виновато улыбнулся. По мягкому лицу его — со лба, через глаза и а щеки, как бы постоянно стекало тихое облачко осаятлённости, как это нередко бывает на русских образованных лицах.

А Давыдов, усадив его и рискуя оказаться неучтывым, расхаживал по ковру и с размахом рук рассказывал о себе, о своём — да потому что это было не своё, а Тамбова, а губерния, а вся Россия! Ослепительная была общественная победа, и каждое событие и известие пело об этом, и безграничны, бездонны разрававшиеся перспективы, и может быть самое затаённое, да, вот что чувствовала всякая душа болевца за народ, и конечно изгнанника брата Васи бы сейчас: происходит искупление столетней дворянской неправоты! — нашим участием в революции, и как доверчиво революция приняла нас и свой поток!

— Но что в Москве? А в Москве как? Ты рассказывай!

Нет, Вышеславцев не вскидывался из кресла, не разбегался размахивать руками, хотя был моложе зятя почти на десять лет. Он всё так же смотрел мягко-рассеянно, светло-растерянно.

Да он, оказывается, и не прямо из Москвы: он сейчас на обратном пути, из Волоховщины. Туда ехал по борисоглебской ветке, через Жердёнку. (Кстати, мужики стали драть за пару лошадей по рублю с версты.) А оттуда сейчас, своими лошадьми, через Каменку и Ржаксу.

— В Каменке, Юра, за что Владимира Мефодьяча арестовали? Как это может быть?

— Да этот дегенерат, учительшка Скобенников! Объявил себя илостным комиссаром, таких и не бывает. Вместе с акушеркой вытребовали милиционеров, что, мол, попечитель — враг нового режима и сеет семена. А просто акушерка мстила ему, он увольнял её. А Скобенников раньше перед попечителем просто лакейничал, и в согласатаи лез, а теперь, видишь, выиграло, распрямился. Но пока туда-сюда, пока в Сампуре приняли мой распоряжение — а старик две ночи отсидел ни за что, и клоповник. Безобразие! И сейчас я его пока просил в Каменку не ездить, не дразнить. Но и тоже иаш народ! Князю больному, какую школу старик им поставил, лечил, научил, — а выводили под саблями — стояла толпа, смотрела бараньими глазами, и никто в защиту.

— А Плужников?
— Плужников был тут, в Тамбове. И ко мне приходил. — Усмехнулся Даныдов. — Ещё не хватало нам этих деревенских полтиков. Плужников измущается, что у Родзянки лучшего слова не нашлось, зачем и новое правительство с того ж нвчало: «везите хлеб!». Мол, сперва пусть город нам товары везёт. Сейчас если все вот так за политику изымутся... Ну, а что в Волохонщине? Что ты ездил? Проведать? Как Людмила Христофоровна?

— Мама? — вздохнул. — Мама — пока ничего...
Спинка кресла за Вышеславцевым была не ровная, а откинута назад — и так он сам как бы падал назад. И с тем же растеряннo-озабоченным выражением:

— Да не просто проводить, а знаешь... Сердце не на месте. Поехал... как бы чего...
— Ну-у-у, куда! Ничего такого не будет! Посмотри, каквя суетлая дружелюбная общая атмосфера! Крестьяне всё понимают — и ничего не тронут. Во всяком случае тех, кто был к ним хорош. У меня в Каменке — усадьба, лес, и я ни за что не беспокоюсь. И ва-ша Волохонщина в Пятom году тоже не бунтовала, чего ты вдруг?

— А у меня — сразу встала тревога... И я поехал. И у мамы, оказалось, тоже. Даже, знаешь, такое настроение: если б можно было всё продать как попало да перевезти своих в Тамбов или в Москву...

— Ну — что ты придумал?!
— Три женщины, что они там могут? Да и кому теперь продать? Да и не поднимется рука... Разрушить родной угол?..

Медлил. (Подъезжал — краснели почки на берёзовом молодняке, дальше сизой стеной стояли дубы, потом липы, и широко дымлились трубы села...)

— Что я издумал? Всё по-старому? А нет, Юра, сердце не обманывает. Вот собрал я перед домом всех мужиков. Знакомые те же самые мужики. Но вместо прежних глаз — и просительных, и дружелюбных, и догадаться, лукавых, — новые, любопытные, жёсткие. И шапки сняли не все.

— Так я не надо!
— Так и не падо, я понимаю. А — знак. Столетняя наша неправота — это я понимаю. Нельзя было так широко и роскошно жить на глазах народа. Но когда видишь на лицах новую неприязненную решимость... И несколько сонсем чужих, какие-то подбиватели из города появились...

Медлил.
— Я — сильно иолновался. Всё же постарался изложить им твёрдо: отдаю им в аренду, пониже цены, почти всю мою пахотную землю, несколько десятин себе оставил — прокормить лошадей, птицу. Отдаю им луговой покос — исполу. Избыток теперь лошадей рабочих — отдаю в долг безлошадным. А что ж? — и в минувшем году не все помещики убрались, хлеб так и остался в рядах, рабочих рук не найти...

— А что? Я и говорю: правильно! правильно! — энергично одобрял Даныдов.
— Другие соседи — жестоко порицают меня, за сдачу. Ну, остались мои мужики как будто довольны. Сочувственно приняли. Сговорились. И видя эту благорасположенность — я после того сам шапку снял, поклонился миру. И просил: в моё отсутствие не обижать родных. Загадали, что не обидят.

— Да конечно! Да соисем не та атмосфера, я тебе говорю!
— Как знать? А страшно — лишиться всего сразу, под корень.
— Да нет, Пятый год не повторится!
— А начали распределять лошадей — где там прежнее благочиние в барской усадьбе! — такое торжище подняли с криками и руганью — страшно их. Нет, они за эти недели стали не те...

Вышеславцев, полуоткинутый в кресле:
— Да хоть бы не землю, но усадьбу сохранить. Разрушится — вся наша жизнь, от младых ногтей? И всего нашего рода?.. Знаешь... просто никогда я так не любил нашей Волохонщины, как сейчас. Обходил как прощаясь, так сердце ноет. Как прощаясь... Обе веранды, крытая и открытая. Сколько чаепитничали там... В зной. И в луиные ночи. А снизу, из сада, неслись деревенские хоры... Ничего этого больше не будет.

Безусый, открытыми губами, хотел улыбнуться — а боль одна.
— Во дворе дряхлеют конюшни, амбары. В парке дубы — каждый знакомец. Несколько лип — такие уже старые, скованы железными обручами, чтоб не развалились. Сколько труда, теперь уже непосильного, потрачено — полоть дорожки, аллеи, поддерживать ветхие беседки. Сад. Мירוновка, грушенка, наливные, китайские, апорт, анис. Летняя почурка из кирпича, под два варенных таза. Тёмный прудок. Ореховая аллея — и калитка в конце. За ней — закат солнца смотреть и как изиращается стадо с поля. И этот высотный вид — на Журалиное Вершинское. На Синие Кусты... Боже мой...

Взялся за лоб, а верней — прикрыть глаза.
Он ещё многое мог бы перевспомнить, даже из этих угасающих десятилетий. А — библиотека? Сколько собрано, сколько читано... А дальний колокольный звон над полями? А летом на рессорной коляске из имения в имение? — остывающий сухой полевой воздух, стрекочут кузнечики, рояный звук бегущих лошадей, спокойное пофыркивание, мягкий

постук по просёлку. Среди ржи. Вальки упряжки задевают за дорожную траву. Или от речки — запах мяты: там, на костре, у шалаша, гонят её...

— Да если мы потеряем даже этот дряхлеющий быт, эту зелёную заглушь — куда привезём мы детей летом? И в знойный день — никогда не уныдем, как находит туча без дождя — и перепела опадают в рожь?

Но к губерискому комиссару ждали посетителя, просители, предлагатели.
Ну да он же теперь — к сестре, домой? И расскажет ей.
Она — поймёт. Она всё это — вместе помнит.

610

Опять, опять ожил Таврический! Безошибочное сердце вело народ к своей водительнице Государственной Думе! Военный оркестр (уж пусть марсельеза) гремел на улице, потом замолк — но тысячный топот ног отдавался гулом по самому зданию. Пришёл опять лейб-гвардии Семёновский батальон! И как же переменялась жизнь Таврического!

Волны радости так и вздымались Родзянко, он чувствовал себя невесомым. Пусть неблагодарные министры забыли материнское думское лоно, откуда они все вышли, пусть неблагодарные журналисты пренебрегли этим истинным центром русской жизни, — но русский народ знал, где его духовный центр, знал, кого он любит, знал, чему он верит, — и тянулся сюда!

Этот изврат солдатских масс в Таврический был мало сказать торжественный, — эпохальный. И Родзянко ощутил, что надо выйти к нему более чем достойно: не просто единолично, но в окружении свиты из членов Думы — собрать их вокруг себя как можно больше, всех, кто сейчас в Таврическом, чтобы явить символически весь облик Думы.

Собирали спешно из разных комнат — собрали человек двадцать, неплохо, обычно их стало тут меньше. Застёгивались, подтягивали галстуки.

Пошли. Прошли не через Екатерининский зал, а на хоры другой лестницей — чтобы к площадке над собранием спуститься сверху, величественнее.

Весь зал был полон, и сверху это могуче выглядело. Несколько тысяч солдатских голов, без строя, — а над ними растянутые двухпалочные плакаты: «Война до победы», «Берегите завоёванную свободу!», но и — «Да здравствует демократическая республика», но и — «Земля и воля».

Однако же, Родзянко не мог привыкнуть, это не помещалось в его голове: он не был единственный присутственный хозяин в Таврическом дворце! Здесь же был ещё Совет рабочих депутатов, здесь же был ещё Чхеидзе. И уже на выступательной площадке, ниже его, Чхеидзе стоял и вещал — сразу обо всех народах мира и как они объединятся.

И явление Родзянки со свитой не было достойно замечено, ни отдельно принетствона-но.

Впрочем, Чхеидзе в этот раз не так уж глупо выбрызгивал:
— Пока немцы не свергнут Вильгельма — наши штыки будут обращены против Германии. Докажите, семёновцы, что вы — лвы революции. Да здравствует армия, в которой есть дисциплина, основанная на взаимном понимании солдат и офицеров. Учредительному Собранию и демократической республике — у-ра!

Это «ура» у него звучало так комично-козлино, сорванным голосом, как в водениле. Но солдаты приняли и кричали «ура». Что ж. Ладно.

Но и тут не успел Родзянко занять главного места — как выступил полковник, вы-борный (других теперь не было) командир батальона. Он заговорил зяонко, молодецки, голосом, привыкшим к тысячам, — а главное, сказал верные, золотые слова:

— Мы приветствуем Государственную Думу, — и обернулся назад и выше себя, и все теперь заметили думцев, — аа то, что она изыла в свои руки борьбу с проклятым старым режимом!

Удивительно легко некоторые видные офицеры выговаривали теперь «старый прокля-тый режим». Но это было — так, он был проклятый и сметен именно Государственной Думой, и за это ей спасибо.

Ещё поговорил полковник, самого себя укрепляя, что семёновцы теперь — организо-вались, и являют силу, которая сумеет защитить свободу и счастье России, — и ему отчаянно горлачили «ура». А он — деликатно и с пониманием уступил место опускающе-муся Родзянке.

Всё внимание тысяч собралось сюда. Безмолиная внушительная свита высилась на ступеньках за плечами Председателя.

Шумно хлопали в ладоши уже заранее. Теперь простодушные семёновцы поняли, что наступает главный момент. Родзянко могуче вобрал кубическую сажень воздуха — и про-гремел:

— Благодарю вас, храбрые товарищи... — уже без этого слова было неудобно, — семёновцы, что вы пришли показать свою готовность стоять на страже счастья и свободы нашей матушки Руси!

До «матушки Руси» он, как всегда, выговорил уверенно — но неожиданно быстро она появилась, когда должна была быть в заключение речи. А уже после матушки Руси что можно было добавить? Он понадеялся, что всегда найдётся на речь, — а вот скособоилось и нечего было говорить.

Добавил о борьбе со страшным врагом немцем.

Но и этого было достаточно. Во всём зале наступил энтузиазм.

И ответил, ответы поклонами на приветствия, Родзянко счёл удобным теперь продолжить спуск по лестнице со своей ситой.

Так до низу они и спустились под аплодисменты, и Родзянко подумывал, не подхватит ли его солдаты на руки.

Но — стихли, а наверху опять задребезжал голос Чхеидзе (упустил Родзянко: покв он там, надо было и самому останаться там):

— А спросите, товарищи семёновцы, председателя Государственной Думы, — исходя ехидством тона, предлагал Чхеидзе, — что он думает насчёт созыва Учредительного Собрания? И — что он думает насчёт демократической республики? А главное, спросите господина Родзянко, что он думает насчёт земли? А спросите, сколько у него самого десятин земли и думает ли он свою землю отдать народу? Отдаст ли он землю, из которой сам не обрабатывает ни клочка? Я отвечу за него: не отдаст ни десятины! И другие помещики тоже не отдадут!

Как полыхнуло в лицо и грудь Родзянко — то ли горячим, то ли холодным, то ли красным, то ли белым, как ослепило, — он остановился, внутри загорчало, упало сердце, — такого оскорбления никто ему никогда не наносил, и он не знал, что делать. Он мог рвануться вверх назад по лестнице — но ещё не был готов, не знал, что говорить.

Какой отвратительный выпад, какая бестактность и грубость! В своё время Родзянко сколько щадил этого гнусавца, допускал говорить с думской трибуны совсем неповазительное, — и вот благодарности. Утеряно было торжественное настроение, солдаты насторожились, — а что мог ответить Родзянко? Революционеры распускали про него слух, что у него 200 тысяч десятин, — но то было у дальнего предка, а у него только четыре с половиной тысячи.

А тем временем какой-то развязный, сполошный солдат-охлалиник взобрался и захватил слово — и нёс свинский бред, поток оскорблений всем достойным людям России, какую-то уличную похабищу, — и уже начинались одобрительные отголоски из толпы. А солдат всё разгонялся — и прямо предложил семёновцам: не верить ни помещику Родзянке, ни всей Государственной Думе!

Родзянко пылал. Родзянко дышал запыханно. Он понимал, что на него обвалился один из важнейших моментов жизни, хотели изничтожить и его и Россию. Он не должен был промолчать! Он не мог уже теперь пробираться через зал как побитый. Он должен был ответить! Но — что? И ехидная подача Чхеидзе и развязность солдата обнажили в нём какую-то новую, непривычную уязвимость.

Плохо понимая, он стал топтать по лестнице на площадку наверх опять. Солдат ещё нёс своё, но Родзянко отодвинул его властной рукой. И с новым большим залпом воздуха выкинул в зал:

— Господа! — Уж про «товарищей» он и забыл совсем, язык гонорил, как привык. — И я, и Государственная Дума приложим все усилия, чтобы Учредительное Собрание было собрано как можно скорей. — Да он так искренне и намеревался, только от него это уже не зависело. — Мы не позволим никому воспрепятствовать! И Оно будет выразителем воли свободного народа — и все мы подчинимся этому безропотно, и будем защищать тот строй, который будет установлен.

Таким образом, эту гадкую «демократическую республику» он, кажется, обошёл. Но ещё же надо было ответить о земле. Ему вообразились в совокупности свои любимые екатеринославские просторы — чернозёмная ширь, моря пшеницы, и приречные ленады, лошажки табуны. Он и все просторы южнорусские любил, а к своему-то имению особенно нежное чувство. И почему же и момент торжества России — он должен был пожертвовать всем лично своим? Но хорошо, пусть, его сердце готово было и на самую широкую жертву, — однако спрашивали его о большем: готовы ли и все помещики отдать свою землю крестьянам? И что об этом думает не он один, но вся Государственная Дума.

Момент был велик, но велик и Председатель, он привык знать мнение своей Думы и души России — и мог теперь взяться ответить:

— Что касается земли, то я от имени Государственной Думы заявляю вам, что если Учредительное Собрание постановит, чтобы земля отошла ко всему народу, — то это и будет выполнено безо всякого сопротивления.

Сказал — и только потом сообразил, что Учредительное Собрание и не может заниматься землёй, оно занимается государственным устройством. Ну, уж сказал. Ещё горячий теперь и уверенней:

— Не верьте, товарищи семёновцы, тем, кто нащёптывает вам, что я или Государственная Дума будем мешать счастью и свободе России! Это неправда, мы сделаем всё! — и да живёт народ русский так, как он сам хочет!

Он вызвучил это всё — превосходно, чувствовал. Благодарное рыдание жертвы, любви и самоумаления подступило к его горлу. Это — передалось залу, и зал заревел неузнаваемо. Забыт был и мелкий Чхеидзе, и тот дерзкий солдат, — и уже так ревели, так хлопали, что когда Родзянко спустился с лестницы — до последних ступенек ему не удалось дойти, солдаты подхватили его на руки — и понесли через зал, протискиваясь, и потом передавали другим, — хотя весил он 7 пудов, но не обронили.

А зал — ревел и ревел несравнимое «ура».

Родзянко — победил. Родзянко снова был со своим народом.

Кто-то там опять лез на лестницу, кто-то пытался выкатить, — это уже было бесполезно, Родзянко победил.

Через весь зал его так пронесли, около коридора спустили на пол, и он пошёл в свои комнаты.

А уже стояли в приёмной какие-то моряки. Оказалось: депутация Черноморского Флота. Родзянко отпил воды, приосанился и, неутомимый, вышел к ним.

Потом переходил к каким-то письменным занятиям, но обнаружил, что заниматься чем-либо ему невозможно: так он был обожжён, и что-то вынуто из него большое безвозвратно — там, в речи перед семёновцами. Он потерял душевное равновесие, он не мог найти себя, он сделал что-то не то, изменил кому-то, — и ему надо было время для осознания и успокоения.

Жизнь не на земле, живя в Петербурге, — он, оказывается, вот как был слит со всею ширью своей земли, вот как! Без неё — всё опустело, посерело.

А тут надо было распределять Фонд Освобождения России, решать что-то с Красным Крестом, с посылкой делегатов на фронты, — он отвечал и распоряжался, плохо понимая. Вынули из него душу.

А пожалуй: как же это его угорадило обещать всю землю, да не только свою, а всех помещиков России? И от имени всей Думы?

И почему-то там это легко сказалось, а теперь отдавалось неуклюжей тяжестью.

Не имущества было жалко. А той души, которая есть земля.

Всё не ладилось — а доложили ему, что опять делегация. А, будь ты неладен, да какая же?

Крестьянская. Новгородской губернии.

Крестьянская? Это была первая такая. Ну что ж, надо выйтн.

В приёмной комнате, где этих депутатов проходила череда, теперь стояло два — всего-то два? — чудесных бородача — в посконных азиях, в лаптях и оборах, со светлыми струистыми бородами, а — в силе, крутоплечие, крепки, стройны. И один держал в руках неизвестно как дозвезенные в такой целости — блюдо, на нём ржаную буханку и солонку с солью и с красной десяткой. А другой держал — развёрнутую бумагу. Они стояли уже в полной такой готовности, может уже не одну минуту и не пять, — стояли как в театре, или как у дороги, ожидая проезда высокого лица, надёжно достоверные, земные, деревенские.

А едва кошёл Родзянко — тотчас ещё приосанились, ещё выпрямились — узнали сразу, глаза их заблестели. Миг один как будто думалн — потом первый ступнул раз, ступнул два навстречу Председателю и — поясно истоно поклонился, а блюдо держа ещё передёй себя, прежде головы — и несколько не перекосив при поклоне.

— Прими, батюшка, — сказал он только. А голос его звучал церковно.

Родзянко принял, конечно. Миг подержал — кто-то сзади подскокил, перенил.

Первый мужик ничего больше не нашёлся, а всё так же блистал глазами на Председателя, сам не веря такому чуду.

А второй, помоложе, развернул бумагу поприёмистей, каплянул, и, от себя ни слова, стал читать с бумаги. Грамотен был хорошо. Лилось у него:

— Многоуважаемый и дорогой Михаил Владимирович! Мы, крестьяне трёх деревень, Рахлиц, Старой Пересы и Горок Ловатских, Старорусского уезда, собрались вкупе обсудить совершившийся государственный переворот. И через своих выборных — Якова Соколова и Павла Соколова...

Братья? Нет, не столько были похожи, — но и похожи, общим типом северорусским, крупностью, русостью, открытостью. Может быть — дальние.

— Как вам, главе Государственной Думы, так и через вас всеми любимому князю Львову, которого видим из далёкого уголка необъятной матушки-России, решили преподнести по старому русскому обычаю — хлеб-соль и деньги. Пускай этот дар от чистого мужицкого сердца скажет вам, борцам за нашу свободу, землю и волю, — спасибо! Пускай он окрылит вас.

Давно-давно, все эти круговоротные революционные недели, и произнося неренницу пламенных патриотических речей, — не был Родзянко тронут так, как вот получил назад свою матушку-Русь из непритязательных уст. Он почувствовал себя пронятым — ещё больше, чем когда солдаты несли его на руках и он читал лозунги поперх голом.

— Верьте и надейтесь, — ровно, звучно и с достоинством читал один из Соколовых. — Вы всегда найдёте у нас силу и средства. Мы вам ни в чём не откажем. Как некогда

Минину, мы принесём вам последние наши сбережения и благословим, как с Пожарским, наших любимых сынов, мужей и отцов на ратное дело.

Они — это а н л и всё? Так это не выдумка была столичных гостиних?

Вот они, ясноглазо смотрели на Председателя с благодарностью за аемлю и волю!

И почувствовал Председатель, что подступают слёзы. Короткой этой грамотой, своим святищимся видом — как очистили его эти два мужика ото всей досады иа ехидство Чхеидзе и на свою опустошённость от опрометчивого бряка с трибуны про землю.

А — кто ж нв этой земле и работал, разве он? А кому ж она и отповедана Богом?

Теперь — он к ним шагнул и — первую депутацию, не услышавшую от него ответного слова, — поцеловал в бороду одного Соколова и поцеловал другого Соколова.

Да размахнуться — и отдать.

На тот сие всё равно ничего не возьмём.

А уже тянули его за локоть: и Таврический и ходили царскосельские стрелки, и слышалась музыка опять на весь дворец.

— Пойдёте выступать, Михаил Владимирович?

Но — первый раз он не пошёл. Был — полон всклонь.

611

От штаба дивизии к своему полку поплыли Ярику санки с каким-то чужим солдатом: иёз неполные, можно было и чемодан вскинуть и даже сесть. Но курносый солдат предупредил:

— Вашбродь, я не прямо. Тут — митин будет, я к нему заверну.

— Какого Мити? — не понял Ярослав.

— Ну как? — удивлялся и тот бестолковому поручику. — Митин, не знаете? Послушать, о чём гуторят.

Ах, митинг! Этого слова и образованные-то люди не знали, кто не бегал по левым сходкам, — а вот солдат уже знал, и на круглом лице его отображалась важность прикосновения.

— Чей же митинг?

— Епутатов! — так же важно заявлял картофельный нос. — С полков.

После того, что произошло и поездном тамбуре, ещё каждая жилка болела и теле, ещё не расслабла. Ведь — какой случайностью спасся? Уж не был бы жив, он бы кончил с собой от позора. Или выбросили бы его из поезда на ходу. Но и — уходить ото всего этого нового — тоже слабость.

— Ну давай завернём.

Дорога уже была раскатанная скользкая, чуть подтаивало. Снег везде уминался, а ещё не подсохился водой и не рыхлел. Стоял пасмурный тёплый денёк.

Проехали меньше версты — солдат свернул отвилком в огиб леска. Там дальше было открытое, никакой частью не занятое полще у опушки — и толпились солдат, да сотни как бы не с три, — конечно, больше свободный дивизионный народ, из полковых лний не могло столько придти.

И повозок и санок несколько, составленных тут, у края.

А посреди солдатского сгущения тоже стоял запряжённый парю возок — повыше и с решётчатым бортом, как возят сено или навоз, и в том возке стояло трое — один высокий статный унтер с далеко разложенными стоячими усами, другой — подпрапорщик, тонкий, петушистого вида и с красным лоскутом на шинели, третий — солдат в папаше набекрень, гололицый, литоголовый, так и распирающий щеками и через шинель грудью (ои чем-то Качкина напомнил Ярославу, тот же тип, кольнуло). Этот солдат, — он речь и держал, — хоть и маленький, но подбородком был всё же выше повозной вязки, и двумя руками за вязку держась, — всё чуть поднимался и всё как будто хотел наружу вылезти. И сколько вылезти не мог — столько голосом додавал, кричал, гакал по-над толпой:

— ...Был я с пороку приехавши узнать, как у них там идут дела, и Петрограде. И передать им привет от нижних чинов... от самых последних животных прежних, которых раньше н за людей не признавали... Ну, идут дела ничего, хорошо. Промеж себя идут у них разговоры. А у тёмных людей — напротив. А вы, говорю, старайтесь силою их сломить! Вы, говорю, боритесь унутри — с теми, кто настаивает на прежнем дворянстве! А мы тут, на фронте, всю усиль приложим, чтобы сломить врага. Правильно я говорю?

— Правильно! — загудели охотно.

У кого за спинами торчали винтовки, — а многие были без оружия, налегке, — то ли по близости своего расположения, то ли распущенности второго зшелона. Стояли с важностью события, даже рты приразинув, — и глядели на тех, и в возке.

У Ярослава всё забилося: кем эти солдаты собраны, почему и как? Знает ли начальство? И — теперь это всё можно говорить? И в их дивизии это уже всё принято так?

— Ну н, однако, крути так, как следует, концы равняй! Не соблюдается очередь и постановке на позицию. Эт-та нвдо отрегулировать да направить. Или посылают людей на гибель для захвата единого пленного. Это тоже-ть не война, мы так не одобряем. Нас как мишеньку под пули ставят. В такую содому суют!.. Так ведь он, гляди, прапорщик, а призвести его — только бумажки в отхожее место носить. Правильно я говорю? — это он каждый раз с наседаньем на вязку и толстую морду свою высовывал да потрясывая.

— Пра-авильно! — гудело.

— Потому что, — аж рвалось из литомордого солдата, на язык он был поспешен и оборотлив, а папаша всё больше сползала набок, — потому что ахвицера — они все желают восстановления прежнего режима! Они, значит, — кон-ле-норюцинеры! Вы, братва, офицерам — не слишком-то верьте, не слишком. А от кого к нам забота дурная, полускотня? А от кого к нам вытяжка и все несправедливые издевательства?

Ярослава оглушивало. Говорили против офицеров, значит и против него самого. И уже он испытал, чего это стоит и чем кончиться может. Но и с уважением исматривался в соседей, какая же неведомая сила проявлена в солдатах, когда они собраны вот так, вне строя, рассвободнённою толпой.

— А наши товарищи в окопах молят, что н они хотят пользоваться жизнью при свободе, а не только умирать медленной смертью в окопах! На что же нам тая свобода — да без мира? Это же глумлж один! — подхватил, пристукнул на голову падающую папашу. — Зачем тебе свобода, если тебе убьют? Так ещё, может, немцы нас послушают — да и своего Вильгельма погонят? Да и замирился, а?

— А-а-а! — отозвалось изумлённым вздохом.

Ободренный, солдат в кулаком уже помахивал:

— Война как хотит — так пусть себе и остаётся! Не мы её начинали, не нам кончать! А Германия нам никакого зла не причинит. Какой бы ни вышел конец — а подкатило кончать войну! Народ не хочет молодые головы отдавать!

И молодые и немолодые головы двигались, покачивались или были неподвижны, — а головы-то все человеческие, а лица все индивидуальные — никак не менее офицерских, хоть суровые, угрюмые, тупые, или светлые, юные, — и вот что: хотя и шёл гулок иёз время, а это не соседи друг с другом разговаривали — нет, все стояли в необычной обрядной завороженности, кто н в робости, в одну сторону лицами, как во храме, и если иырывались иполголоса, то — никому, сами с собой или вообще исем. А нетерпеливые и громко:

— Верно выговаривает! Чо-ож головы-то отдавать?

— Ну, ладно, размотал тряпку с языка! Дай и другим погуторить.

Мордोलитый и ещё бы хотел говорить, за петроградскую поездку иидно разлакомился, но уже шумели, убрали его, слезал он нехотя с возка, — а туда, ногу через вязку закинув, полез степенный, плотный, средних лет с жидковатыми усами и подбородным иолосьём. Унтер н подпрапорщик между собой поспорили — и не препятствовали этому говорить.

Стал он тоже, за вязку взявшись, и заговорил голосом скрипко-тёплым:

— Ты, парень, с кем это в Питере балаболит — больно они все бойки да много кричать. Им там, в Питере, жизнь сохраняя — а ещё им я иосемь часов день подай. А как мы тут дудим — двадцать четыре н под обстрелом? Им паёк выдают, под обстрел идти не надо, глотки здоровы, — отчего не пошуметь? Нет, пусть они сюды придуть, да в наши окопы сядут, где мы полторы годы сидим невылазно, а воюем все два с половиной. Пусть они нас тут заменять — а мы б на отдых подались бы, с нас довольно. Со всех бы тылой подсобить, кто мочен носить оружие, — да в армию их, вместо нас...

Это иызвало сильный одобрителный гул.

И оратор, с видом старого плотника, не крича, а глаза сощуривая:

— В мирное время — что за служба была? Хоть и два года восемь месяцев, а помаршировали молодцы-удальцы, да побегли на полигоне с винтовкой, вот н уся старания. С такой службы ворочаешься домой — вадница жиром заплась. А ноне служба — чо? Смертоубийство. Теперь если домой квлеченный воротится — дак уже счастье, обнимают!

Ярослав поглядынал, искал, кого видел в спину, кого сбоку, — своих ротных никого не нашёл, а полковые были.

— А всё ж дозвольте в постепенность дойти последственно, с разумением, — вёл свой непростецкий оратор. — Если нам своим офицерам не иерить, — нас н вовсе тогда пули посекут, мы тут будем кидаться как бараны в загоне. А что ж, офицеры — не с нами зараа погибают? Не так же кровь у них льётся? Только надоть им осознать неправоту того, что промеж нас состояло. Важная личность, бросившая презрение, не сознает, что под формой находится строевой солдат. Эт всё должно отступить на старый план, а дать место правде. Пусть заручаются любовью солдата, не отталкивают его, если хотят идти с нами рука в руку. И таких офицеров немало, братцы. И мы в обхватку примем все их добрые чувства к нам.

Боже мой, что за милый солдат! Что за голос у него приятный. Ведь вот же, вот он, нврод, только надо было уста ему разомкнуть — и видно теперь, как можем мы обняться дружески, всю эту ложную злобу отбросим. Как верно говорит: «дать место правде между нами!»! Защекотало, засжилось и горле у Ярика, — и благодарность к этому солдату, н к

Квачкину, и к другим хорошим — отвалила от его сердца пережитое оскорбление. Терпеливо, терпеливо надо искать открытого общения.

И из толпы не кричали тому солдату против — вот и с ним толпа была согласна, добрый знак.

Пока твк иолножался, пропустил Ярик у солдата дальше, в к концу услышал:

— Ежели англичанам да французам есть антирес — пусть они и наступают. А нам-то чего по чужим странам сохнуть, по чужой земле? Тая земля нам никогда не сгодится. Так что — обороняться будем, разумительно. А наступать — отказываем! Мы то ж носами не чмыхвем, не! Так и немецкий солдат, братцы, он тоже как мы, подневольный мужик.

Галдели одобрительно.

Этот солдат покончил и тихо слезал с возка. Ещё двое потянулись вместо него — но ствтный унтер с красивыми усами и победно презрительным видом оттолкнул их вниз и заговорил сам. Вязка была ему по пояс, руки на неё — свободно вниз, а стоял он в телеге — стройно, как на лошади б держался.

— Чмыхи вы чмыхи! — сильным голосом разиёс он. — Поджатый хвост и псу не помеха, правильно! Вы на фронт приехали галушки есть, да? Как это так возможно: обороняться, в не наступать? Где это вы такую войну видали? На месте топчась — вы и во сто лет иойны не кончите. На чьей земле воюем? На нашей! Так ежели нам горло сдавили — надо сбросить, чтоб можно дышать. Ежели иы хотите прага разбить — так надо на него идти прямо, а не останавливаться, задницу чесать! Стоять на месте — это уже и обороны нет, вас только толканут — вы и посыпаетесь. — Молодецки-властно он всё это толпе выговаривал, видно, что привык с солдатами, и видно, что — с правом, что сам — воин первой ствты. — Да не нужны нам ни пол-Германия ни даже-ть один германский город. Но мирв без победы тоже-ть не будет, это кто придумал — так дурацкая голова! Этакого русский солдат не мог придумать. Победа нам нужна, чтоб не немцы нам указывали, какой мир, в — мы бы им!

Тут звкричали ему истошно-ираждебно два-три голоса:

— Верхогляд ты с тонкой кишкой!

— Кати и отхожее, в то звпаскудишься!

— Почено залез, ахицерскую науку нвм вговаривать, мы её слышали!

Унтер не потерял ни осанки, не презрительной гордости, так и смотрел глазами суженными над своими красивыми усами, но перелаиваться не стал — и теперь дал себя отодвинуть тому молодому петушистому подпрапорщику с красным бантом. Этот был безусый — и из молодцов другого рода, заязистого. Одну руку он в боки взял, а другую потрёпывал неряно перед собою к толпе:

— То-ва-ри-щи! Только такие беспрепятственные собрания представителей и могут довести сынов России до конца кровавой расправы! Старый режим делал из солдата бессловесное животное, убивал в нём сознание человеческого достоинства! Но события революции показывают, что убить солдата не удалось. Самый надёжный оплот власти был — косность и невежество народных масс. Но теперь вы прозрели! Нет у нас больше цвря-предителя и нет его рзвращённого правительств! А его прислужники офицеры должны теперь сильно задуматься. Уже командующего нашей армии генерала Литвинова сняли — и так их и всех могут снимать.

Узнал его Ярик! — как раз из их полка он и был, взводный 4-й роты. С выражением зубастой самоуверенной находки звонко-дерзко кричал толпе, иногда добавляя к чувствам и обе руки:

— Но не в железном кулвке, не в отдании чести будет спасение. Надо крепить наши солдатские ротные организации, мы только и них сильны!

Слушали с большим напряжением прихмуренных лиц, половины слов и связи их не понимая — но ожидая, что это — к их пользе говорится, помогали им прозреть себя обманутыми, какими они себя и не медвли раньше.

До сих пор простоял Ярик в каком-то обомлении, в неразборе чувств, как на странном спектакле, в который, однако, не полагается вмешиваться. Но при вступлении этого язвительного подпрапорщика он одумался, что ведь заведут толпу куда угодно, её кудв угодно авведут. Что он, офицер и командир роты, раз сюда попав, не должен оставаться безучастен! Однако — что он мог сделать? Лезть вот так же отталкивать и выступать? Балаган недостойный. Да он и не умел, и слова не подготовлены. Окрикнуть командно, перебить? Не к тону всего сборища, и не послушают, ещё худшее унижение.

Он — не один тут был, видел по краям ещё трёх-четырёх офицеров, тоже мвдвших. И — никто не вмешивался. Положение их было общее — удавленное.

— Получшить питанию! — кричали меж тем, одобряя оратора.

— Даёшь скорейча замирение!

— Товарищи! — быстро улавливал и поворачивался молоденький подпрапорщик. —

Но и мирное разрешение так просто не предвидится. Соает рабочих депутатов должен требовать от Временного правительства, что оно не ставит целью никаких завоеваний и контрибуций.

— Чего эт — трибуций? — не выдержал один лохматый солдат.

— Эт значит, — обернулся подпрапорщик, — после войны не платить, ну... палогов не платить.

— Налогов не платить! — наконец-то поняли и подхватались сразу в нескольких местах. — Это — хорошо! Это верно! Та-ак!

Высокий лихой унтер с презрительным видом соскочил вниз.

— Мы, конечно, войны не хотим! — вился подбодренный подпрапорщик. — Но мы и не можем так просто бросить окопы. Пусть и в Германии и в Австрии власть перейдёт в руки народа! Тогда мы сразу, все страны, сгояоримся о мире. А пока этого не случится — всякий натиск наших врагов есть покушение на нашу свободу! И мы встретим врага грудью, под красным знаменем! И будем железной стеной стоять в окопах за нашу демократическую республику!

— Че-воо? Че-воо? — завыл голос, кажется уже слышанный, тот, что ссаживал патриотического унтера.

И быстро растолкав несколько спин, и легко взлетевши через вязку телеги, так что ноги взметнулись поверху, — рядом с подпрвпорщиком и отводя его сильной рукой, — тяжело стукнулся ногами какой-то бешеный ефрейтор, видв переполошенного и злого.

— Че-во это? — кричал он уже сверху. И описал одной рукой косую дугу, как отрезал: — ле-во-рюция — это значит делай, как народу надобно! А не как начальству! Эт аячит делай каждый — что хошь!

И — страшен был он, полубезумный, над толпой, — страшно подумать, что вот именно этому да дать делать, что хочешь. Пёрла из него сила и злость немерянные, а лицо у него было просто каторжанское.

— Что вы хилаетесь туды-суды, не знаете, кого слушать? Поднимают крик, что не хотят подчиняться Вильгельму, имеют в виду достичь, чтоб солдат погибал для буржуазии, как раньше для царя. Чтобы все мы, кто ещё тут уцелел, — голову сложили.

— Так что? — крикнул ему снизу тот унтер красавец, он и сейчас на полголовы ото всех выдавался: — Бросай оружие и пусть немец русскую землю захватывает?

— Та-аких чудаков нет, — по-бычиному этот бешеный с телеги головой поводил. И снова вперился и снова нагорячивая — даже трясся от гнева, и так должно было из него выхлпнуть: — А только эту русскую землю — прежде отдайте и а м! У помещиков заберите — нам отдайте. У монастырей заберите — да нам! У уделов! А то — нашими животами больно щедры! Мол — до победы! Вишь, проливы кому-то нужны! А в мирное время они и так для всех открыты — так и восвать зачем? До победы! А там, глядишь, с теми англичанами сцепятся, али с французами, — и где она будет, победа? На кой же мы чёрт царя свергали? На кой чёрт нам война, давайте её кончать! Разбирайся с офицерём, штык в землю, да айда домой!

Масса — так и захолонула! Не кричали ему «правильно», смотрели с разинутыми ртами: можно ли такое даже высказать? И что теперь случится?

А кто напугался — лошади! Или перекуснулись две соседних, или что-то им почудилось, — метнулись, лягнулись, — и там, где возки и санки стояли — раздалось ржание, треск и скрип разьезда.

А из солдатской толпы отозвалось матюгами и гоготом. И кто-то кинулся разбирать, распутывать, догонять, и сама телега с ораторами тоже поехала, — смеялся митинг, и не досталось тому оголтелому продолжать.

В толпе тем временем пооборачивались и разные стороны, и соседи заметили рядом поручика.

И какой-то один молодой вихлястый солдат, скорей, что из штабной obsługi, вдруг засиял как знакомому — а незнакомый, и — пошёл к поручику походкой гоголиной, ещё издали протягивая руку:

— А, господин поручик! Здравия желаю!

Ярик был тронут его улыбкой — и свою руку протянул охотно. И жал его совсем не солдатско-мужицкую руку, с опозданием отметив насмешку, какая была и в его походке и в выговоре.

Пожали, отпустили — тот ничего больше не имел сказать, но стоял, разглядывая и улыбаясь.

Тут другой солдат по соседству — смурной и с шишкой сбоку челюсти — увидал пожатие — и сам туда же, к праздничку, и свою сунул поручику жёсткую руку. И сквозь его бессмысленно глупый вид тоже засветилось удовольствие.

Что ж, Ярослав пожал охотно и эту — грубую, неухватную. Это ж и был наш русский воин и русский человек — и из какой чванной гордости Ярослав мог бы стыдиться рукопожатия с ним? Эта черта запрета всегдв была искусственная.

И третий — заметил, подбежал, подскочил, чтоб не упустить. Весёлый, лихо провёл рукавом шинели по носу, хоть и нос сухой, — и руку свою выложил наперёд:

— Господин поручик? Дозвольте.

И принимая пожатие, тряс, тряс радостно, — и в радости его не было насмешки, как у первого.

А уж за ним сразу и несколько тянулось. Один — с аинтоакою за спиной и торчащим наверх штыком, длинный аислоусый пожилой дядька, ничего не сказал.

И сразу за ним — цыгановаатого типа пройда.

И — с усами саешенными, хохлацкого аида, самознатный.

И — пряча асё же дымящуюся цыгарку а левый рукаа.

И — бородач проставаатый, со ртом незапахнутым.

И — ещё, и ещё. Уже иторой десяток.

Уже не аид, не выражения их различал Ярослаа — а только их ладони жёсткие, бугорчатые, плоские, да крепкие схваты, иные как клещи.

И — жали, и — жали. Больше — молча, а кто приговаривал «господин поручик», а кто бормотал «ааше благородие».

И — шли, и — шли, как а церкаи к кресту прикладывааются, асе по порядку.

И сам Ярослаа как шёл скаоэз эту череду жёстких притираний и схватов. Он шёл — не от растерянности, он шёл с добрым сердцем сперва — к этому нашему доброму мужику, которому так долго было отказываемо ао асём. И поначалу он улыбался, как обычно сопровождают рукопожатие.

Но — не было конца этому потоку, асё шли — и, кажется, некоторые по аторому разу. И больно наминаи ему кисть, асё подходили — но только ли из любопытства, но для того ли, чтоб ощутить себя не униженными? Или унизить его?

Со страхом представлял: да если так — каждый день придётся, и у себя а роте тоже?

Это пожатье а черёд он ощутил как новый аид беззащитности, хоть и обратный по-заавчерашнему. Не приложиться стояли к нему а рядок, а — приложить, как становитеа азад а очередь к насилуемой деаке.

612

В эти последние дни, а уже возобновившемся размеренном покое читальных залов Публичной (теперь переименованной а Национальную) библиотеки, появился веретениотонкий, скруток в талию, ботинки самой последней моды и иаблещены, умные глазки скаоэз пенсне, остро аскрученные усы, — один из самых известных кадетов Кокошкин. Не только каждый новый день, но если и в день даа раза — оа появлялся в новом саежейшем крахмальном воротничке, тот словно оковывал его маленькое личико. За суматошные дни революции многие стали разрешать себе разные недосмотры в одежде — тем язвительней была белизна и даже франтоватость Кокошкина, удивительная среди интеллигентов.

Друзья-кадеты срочно вызвали его из Москвы, но во Временном правительстве уже не нашлось места, а поручили ему вести Юридическое совещание при правительстве по вопросам, требующим предварительного правового изучения. Он был теоретик кадетской партии (но и модный успешный лектор), — ему вполне подходила порученная теперь работа. В саязи с нею он и приходил в библиотеку, требовал много разных томов и перелистывал их.

От одной из его собеседниц передалось по заповошной глубине библиотеки, что он сказал:

— Хотя мой род записан а Шестой Книге, но я ещё искал бы человека, кого бы революция сделала счастлиаее, чем меня.

(Впрочем, аа Выборгское аоззание Кокошкин был лишён дворянства. Впрочем, имение его близ станции Кокошкино от этого не пострадало.)

А другой сотруднице он, от аесёлости настроения, рассказал из саеой жизни анекдот. Когда он ещё только ухаживал за саеой Марьей Филипповной, нынешней женой, а тогда состояшей ещё в пераом браке, она как-то собиралась на скачки (любила играть, и они с мужем аообще промотали состояние) — но анезапно захворала. И а хандре и а нездоровьи поручила: «Фёдор Фёдорович, если вы действительно любите меня — то поезжайте сейчас на эти скачки и постаайте на коня Мистраль.» Фёдор Фёдорович любил её без ума и тотчас поехал на скачки, где никогда не бывал, и постаавил что-то рублей триста на указанную лошадь. Но и по дороге туда на извозчике и а зрительном ряду он читал захватывающую политическую брошюру, пришедшую из эмиграции, — и пропустил сабаенно картину скачек. Наконец общий шум саидетельствовал ему, что забег кончился. Он спросил, кто же победил, ему оаатели, что именно Мистраль, и притом очень крупно, должны платить двадцатикратно! Поражаясь чутью любимой женщины, Кокошкин последовал к оконцу тотализатора и предъявил саой билетик. И каково ж было его смятение, стыд, сокрушение, невозможность показаться Мапе на глаза, когда ему занавили, что он постаавил не на Мистраля, а на соседнего по списку Магика! (Это он рассказал а саязи с ходячим выражением «на какую лошадь стаавить», то есть на какую партию.)

А сегодня Вера Воротынцева подносила к прилааку заказанные Кокошкиным книги по церковному праву, и досталось им тоже разговариваться, по обе стороны прилаака, сниженным библиотечными голосами. О нынешнем слухе, что Владимир Львоа подаёт а отставку из-за конфликта с Синодом, сказал:

— Много им будет чести! Скорей аесь Синод а отставку пойдёт.

Он чуть шепелявил: «ш» аместо «с» и не аыговаривал «л». Ровный а спине, пронзительно уверенный, а тут ещё и презрительный:

— И какое же жалкое зрелище эта церкоа! Едаа их трянуло — и уже аоззание Синода: покоряйтесь, чада, революции, асякаи аласть от Бога. Но отчего ж они не проследили, а какой момент аласть Протопопова перестала быть от Бога? Сегодня они смекнули и потянулись к дарам саободы, дайте и им! А отчего же они раньше упустили отказаться от прислуживания царскому правительству, от саеого инквизиторски-клерикального духа, например а разводах? Синодальные архиереи не слишком ли долго поддерживали асё гнилое и растленное на Руси? Почему их голос никогда не поднимется а защиту невинных жертв? Или почему эти пастыри а былые годы не аыводили провожать гробы революционероа?

— Но, может быть, они молились за них? — осмелилась астаавить Вера.

— Шёпотом? — остро саеркнул Кокошкин через пенсне. Хотя он был юрист, но не юридическое проступало а нём пераое, а скорей астетическое, он сраавивал не с букваой закона, а с красотой: — А почему они не аышли на амаоны и не аозгласили: аечная память убитым за саободу?! Или крикнуть аласти: не смейте больше лить крови! На гонении и смерть шли безбожные интеллигентные юноши, а иерархи, обязанные носить а душиа Бога, — смиренно молчали? Нет уж, пришла пора кончать эту нечистую игру!

Новая саободная Россия не может принять а саоё лоно старых иерархов с довериём. Пусть прежде отрясут прах старого режима и докажут саю честность. Нет, они не могут понять и примириться, что церкоа перестала быть государственным аедомством православного вероисповедания, а становитеа независимым юридическим институтом.

Как асую и асегда, когда а общество заходил аопрос о церкаи, о религии, — Вера чувствовала саби принудительно стеснённой, а голоаю, наклонённой против аоли. Она любила ато общество, его смелые саободные разговары, но когда касалось религии — адруг аргументы казались ей грубыми, а аозражать асегда аыглядело неловакостью, отсталостью, чем-то стыдвым. Вот, от няни знала она: а иных петроградских церкаях плакали об отречении. В одной церкаи на Лигоаке священник произнёс скорбное слово об отречении царя. Запешие в церковь солдаты прераали проповедь и повели его вон. «Что ж, убивайте за правду», — сказал священник. Формально ато рассказ не относился сейчас к их разговору — а и очевь относился. Но неаозможно было его приаести. Очень выбирать приходилось выражения.

— Но вы навязываете Церкви язык гражданского мира, — возразительно улыбулась Вера.

— О нет, нисколько! — легко отклонился от упрёка Кокошкин. Уаость его сухенького лица выражала острую направленную мысль, свободнее многих свободных. Исклиный ум, отнюдь не выставляющий сабя, и по нему вдруг настилалась мечтательность: — Напротив, я могу выразиться ещё гораздо церковнее их: «Галилеянин ановь победил!» — в ато раз в виде нашей революции. Победа нашей революции — это и есть победа того, что не умела защитить церковь. Даано уже отмечено, что в формальном неаерии русской интеллигенции было больше истинного религиозного пафоса, больше, если хотите, литургической святости, чем во аеёй нашей казённой обезличенной церкоаности!

А эта казённая церковность и отталкивала от официальной церкви всех искренних людей.

— Хаатит! Церкоа — слишком долго не могла существовать беа полиции. Теперь упразднена полиция — будет упразднена и полицейская церкоаность.

Юридическое положение православной церкви будет решено беа всякого участия церковной иерархии — и лишь исходя из предпосылок правового государства. Ни одна государственная копейка не должна тратиться на церкоа. Никакая церкоа не должна иметь права преподавать саоё учение в школе. Ни одна школа не должна находиться в аедении какого-либо духовенства. И брак, и похороны станут гражданскими. Венчание не должно добаавлять никаких прав к гражданской регистрации. И наших покойникоа мы будем хоронить без участия духовенства.

Однако, это был уже рубеж, где нельзя не спросить:

— А вам не страшно, что так опрокинется весь русский образ существования?

— Нет, я хочу сказать, что религия перестанет быть казённым кошуном. Это право — как воздух: верить или не верить, во что хочешь. Все должны быть свободны и в неаерии!

В условиях асеобщей саободы и всеобщего равенства — какая же мыслима государственная церкоаность? Как может государство поддерживать или признавать какую-то одну из религий как истинную? Тогда эта церковь получит преимущественное право пропаганды, а асе остальные из снисхождения останутся только терпимыми?

— Да рассуждая а самом общем аиде: всякая религия есть мировоззрение иррациональное, а саовременное правовое государство — рационально. И — какая же между ними может быть кооперация?

— Однако, — осмелилась Вера, но ещё раз смягчая улыбкой, давая повод истолковать

и шутило: — У государств нет вечной души, а у каждого из нас есть. Поэтому каждый из нас, со своими духовными опорами, — выше государства.

— Ха-ха-ха-ха, великолепно! Парадоксально! — сверкающе засмеялся Кокошкин, превысив библиотечную тишину, закинул узкую схватчивую голову, а острия усов ещё кверху. — Даже ослепительно парадоксально!

Он брал под мышки полученные книги.

— Впрочем, о чём говорить? Разве Россия к сегодняшнему дню ещё была православным государством? Да со времён Петра Великого она уже переставала им быть в полном смысле. Например, в уставах уголовного судопроизводства с Петра допускалась замена религиозной присяги простым обещанием показывать правду. То есть втеизмом в скрытой форме. Конечно, мы пока не отделяем Церковь полностью, оказываем православию предпочтении перед другими религиями.

— Предпочтение? Нет, уж тогда — и отделяйте! дайте настоящую свободу! Зачем же сохраняете обер-прокурора?

— А это требуется для предупреждения всякой контрреволюции. Временно. Переходный период. Пока мы не достигли полной религиозной свободы — наш долг очистить церковь от негодных элементов. А если уж и нынешний переворот не обновит церкви — ну тогда, знаете, она безнадежна.

Вера иногда — вынуждала себя слушать, вбирать или возражать, чтобы только оторваться от собственных мыслей.

И что такое унылое, неподъёмное она вбила себе в голову, чего на самом деле и нет на земле?

Вот спорил с Кокошкиным, — а в самой-то в ней простреливало: Крест? Крест. Нести крест! Но — и не так же нести, чтобы, подламываясь под ним, ожесточаться? Это — не больший ли грех?

Она думала, думала, думала: неужели же вот так, самой, отказать Михаилу Дмитриевичу — навсегда?..

613

С каждым днём успеха революции уже не было у Половцова ни малейшего сомнения, что правильно он сделал, в первые же сутки толчком сердца к ней присоединясь, а свои служебные обязанности покинув.

Так-то так, но возврат в свою туземную дивизию стал ему как бы и невозможен: это солдатам прощали сейчас хоть и трёхнедельную отлучку, только бы вернулся в часть, — но не полковнику же генерального штаба. Ну, разумеется, с бумажкой от военного министра вернуться можно. Но просто в старую должность — ради чего тогда всё городилось? (Правда, он сумел из Петрограда оказать немалую услугу своему командиру дивизии князю Багратиону: команда связи дивизии прислала в Петроград донос, что князь — приверженец старого режима. Донос попал в Военную комиссию, Половцов его погасил — и дал знать князю о его недоброжелателях.)

Поездка с Гучковым на фронт была для Половцова очень успешна: всё время рядом с министром, всё время нужный ему — быстротой соображения, чёткостью, военным опытом, памятью, отличным письменным слогом (с тонкими переливами дерзости и лести, расположения или холодности — по заказу). Знанием английского, французского и способности в каждой ситуации понять её комористический наклон. Полковник Половцов за несколько дней стал для Гучкова важнее всех адъютантов и всех чинов министерства. Министр сказал: «Будете вести мою экстраординарную и щекотливую переписку. Послужите так месяцок?»

Половцов щёлкнул шпорами. Преотлично! Экстраординарная переписка военного министра! При гениальной памяти на все лица и все обстоятельства — да ещё такая доверенность, такая власть! Но почему — только на месяцок?

Во всю красу своей длинной фигуры, кавказского мундира, полковник Половцов двигался, играл бровями рядом с невысоким, рыхловатым министром в пенсне и придавал ему недостающий военный блеск.

(В поездке была только одна неприятная очень встреча: во Псков приехал генерал Абрам Драгомиров, у которого Половцов когда-то служил в дивизии, — приехал гордо-независимый от революционного министра, иронически рассматривая его окружение, а Половцова — укорно. Этого прямого генерала Половцов привык бояться и уважать — и тут, попавши в перекрест острых взглядов, чувствовал себя как переломленным. «Грустно видеть своего бывшего офицера революционером», — отвесил ему Драгомиров. При Гучкове Половцов не возразил, дотерпел до позднего вечера, а потом пришёл к Драгомирову в нагон с готовым монологом: почему нельзя было не вмешаться в события и насколько, конечно, легче отойти в сторону. «Нет, — сказал Драгомиров, — эти доводы и эта служба не для императорского офицера.»)

А при возврате в Петроград позавчера Гучков почувствовал себя опять неважно, уехал отдыхать домой. И вчера за целый день, уже в довмине, не вызвал Половцова ни разу. Из гордости Половцов не пошёл о себе напоминать. И вот, вдруг, сразу зашатался его превосходный пост, ни по каким штатам не обозначенный, и стал как бы ничто.

И пришлось Половцову внезапно снова задуматься: что ж он от революции получил? Только-то и всего, что членство в поливановской комиссии и в Военной? Правильно-то правильно сообразил он принять сторону революции, — но в то ли место угодил, которое было его достойно?

Поливановская комиссия всё увеличивалась в числе заседателей, уже перешли в готическую столовую довмина за длиннющий стол, определились и наращивались два конца его — генеральский и офицерский, — а между тем быстро падало значение каждого члена. Да мельчилась и сама работа комиссии — детальное рассмотрение параграфов уставов, уже ротное хозяйство. Трезвому человеку давно было понятно, что это — бюрократический тупик, отсюда не выдвигаются. Мельчал и сам Поливанов. День-два предполагалось, что пошлют его в Ставку с миссией смещать Николая Николаевича, — отпало и это.

И что ж оставалось — одна Военная комиссия? Но хотя полковничьи гении, вроде Туган-Бургановского и Туманова, ещё бодрились и составляли разные проекты высшего управления российской революционной армией — с каждым днём эта комиссия сдвигалась в сторону призрака. Да кто создал её? по какому плану и для чего? Это сейчас уже никто не мог установить. Она создавалась как-то сама, в революционные дни, — а потом существовала лишь потому, что никто не догадался её разогнать — по двусмысленности её положения, то ли органа Совета депутатов, то ли правительства. Существовала на задворках Таврического, в низеньких комнатах 2-го этажа, и никто значительный и серьёзный уже не приходил к ним туда, а пёрлись смурные фронтовые депутации, а то могла прийти и группа студентов какого-нибудь Электротехнического — и Туган-Бургановский давал им подробные объяснения о военной угрозе Петрограду.

А впрочем, как ни докучливы были эти визиты — на них-то и держалась Военная комиссия, в этом-то деятельности её и была?

Вообще — в чём была её деятельность? Надо было как-то объяснить это самим себе и публике — и тем утвердиться.

Сели три полковника генерального штаба за стол — и сочинили такое коммюнике для газет.

...Отыскала путь соединения с народом тех воинских частей, которые тёмные силы пытались направлять на защиту старого режима... Была военным штабом революции... (В полном согласии с Исполнительным Комитетом, добавь! А то получится вообще: не они, а мы?.. Самонадеянно.) ...Теперь же, до созыва Учредительного Собрания (всё в России сейчас существовало, действовало, делалось только до этого созыва, а после созыва всё должно сказочно обновиться)... не принимая участия в борьбе партий... но в единении с Советом Рабочих Депутатов... и в контакте с Временным Правительством... Каждый воинский чин может получать здесь разъяснения по вопросам общего характера... (А уж как надоело!)

Чёрт, какая мерзкая писанина! И — атим заниматься? Военную комиссию пока подкрепили, ничего не скажешь, — но тоска, но тоска, до ломоты в рёбрах.

Во что превратилась революция!

Половцов выходил и, отменяясь своєю кавказской формой с газырями и страшной папашой, с брезгливостью похаживал по огрызанным коридорам Таврического, униженным залам его, то встречая морды из Исполнительного Комитета, то революционный канцелярский аппарат из их жён и родственников, то, иногда, растопыстым мешком трусющего Родзянко, превратившегося в посмешище и ничто, или робких бывших депутатов этой гордой Думы, теперь переодетых попроще и жмующихся неслышно по задним комнатам в своих мертвецких заседаниях. В министерском павильоне ещё додерживали каких-то арестованных, уже 5-й сорт.

Деловая мысль могла быть одна только такая: переходить в штаб Военного округа. Это была прямая и настоящая военная служба. Там были все возможности стать в центре действий. Но кем бы туда перескочить? Пока бы всего естественней — адъютантом Корнилова. Однако невозможно предложить себя самого.

Половцов придумал — и уговорил двух офицеров порекомендовать его Корнилову по цепочке знакомых.

А каждый день после полудня нагнеталась во дворец и в Белый зал заседаний какая-нибудь солдатская или рабочая публика, и полный вечер кричала, выла, рыдала, курила под купол и набрасывала окурков. То притащили позавчера ещё и несчастных офицеров из Совета офицерских депутатов, и даже иностранных посадили в ложу, и заставили выслушивать солдатских ораторов, и пункт за пунктом одобрять «декларацию прав солдата», — как солдат будет членом любой партии, и ходить в штатском, — и вытягивали офицеров благодарить солдат за произведенную революцию и целоваться с ними на помосте.

Половцов иногда заходил туда, послушал: какое же мерзавство! И неужели вот это

и есть революция? И неужели вот это для неё он покинул свой пост, свою часть, свою честь — а дальше?

Дальше — нога обрывалась. Если не удастся уцепиться за Корнилова... — да что же Гучков, чёрт его раздери, где ж его экстраординарная переписка, неужели уплыла? Именно близ Гучкова в смутное время генеральских перетасовок можно и выскочить в генералы!

И, всё не вызываемый в домин, Половцов решил туда сегодня ехать.

Но явился Ободовский — и отзывая полковников по одному, объявлял, что просит их сегодня задержаться тут до позднего вечера, а он повезёт их к одному влиятельному лицу, для того чтобы осветить тому некоторые военные вопросы.

— Моё сердце, Пётр Акимович, лопнет от любопытства до вечера, я не доживу! Скажите мне хоть шёпотом — к кому именно?

И Ободовский тихо:

— К Керенскому.

О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Фью-фью-фью-ю-ю-ю! Гениально-комбинаторная голова Половцова сразу допонила и домыслила всё остальное: Керенский готовится стать военным министром!

Хо!-хо!-хо!-хо!-хо!-хо! Надо ему понравиться.

Будущее несколько переориентировалось.

— А Александр Иванович знает?.. И не возражает?..

Ну, так тогда это и беспротестно!

614

В минской газете прочитал Саня манифест «К народам всего мира». Нет, войны уже не будет. Прокликая такие слова, врид ли можно воевать. Читали ведь и солдаты.

Это звучало, действительно, фантастически и патетически: через железные фронты, или, как там писали, — через горы братских трупов, через реки невинной крови и слёз, через дымящиеся развалины городов и деревень, — вдруг звучал какой-то новый, не государственный, голос, — от рабочих к рабочим других стран, от солдат — к солдатам чужих армий, — и могла ли после этого голоса по-прежнему продолжаться война?

И — не Сане было ату войну жалеть. Он сам себе удивлялся теперь, что мог два года с таким старанием и интересом служить. Что мог — добровольно на эту войну пойти.

Он пошёл — потому что тогда Россия нуждалась в защите. А теперь она нуждалась: как благополучно армиям расцепиться да всем разойтись по прежним занятиям.

А Сане, значит, опит в Москву и кончать университет? Мог ли он ещё вписаться на студенческую скамью? Да пожалуй ещё мог.

Всякая мысль о Москве приходилась ему особенно сладка — и хотелось именно туда скорей.

Надоели газеты, столько дребедени и пошлости было в них, распухла голова. Бросил, пошёл пройтись. По задней опушке Дрягвца, мимо всех землянок, в сторону 2-й батареи.

Стоял податливый пасмурный денёк. Подтаивал снег, рыхлел повсюду — а на наезженной дороге веркали лужи. Близко кричали грачи, в перелётах и суете.

На берёзках набухали почки.

Тут Саня встретил прапорщика Фокина, идущего в штаб бригады, очень мрачного. Повернул с ним.

По пути Фокин рассказал о своих влключениях. Желая повеселить солдат — он поигрывал им на скрипке по вечерам. «А барыню можете?» «А комаринскую можете?» Подбирал, иногда и плясали. И быстро прошёл об этом слух — и стали его уже вызывать каждый вечер, — сперва своя батарея и на передки, потом уже и соседние в Дрягвце части: «Прийти, господин прапорщик, а то весь коленкор без музыки линяет.» Наконец, это ему надоело, уже не осталось ни одного вечера свободного, он стал отказывать. Стали обижаться и даже смотреть по-волчьи. Тут нашли какого-то пария со стороны: «Дай ему скрипку, раз сам не подыгрываешь!» — «Да как же я дам в неумелые руки?» — «А он по ярмаркам играл.» Отказал — ещё хуже стало. Вот: как с ними правильно себя вести? и — можно ли по-доброму?

Саня в душе уверен был, что — можно. Но и с Фокиным не видел: где тот ошибся?

Что его самого соединяло с солдатами — это то, что он знал мужичий труд и был из мужиков же. А без этого — легко было совсем потеряться. Выходило так, что всякий надевший погон со звёздочкой — уже был обречён на отъединение. Все офицеры до единого — и надменные гвардейские служаки, но и молодые недавние интеллигенты, — все своими погонами отъединились бесповоротно.

Вот, запрещены были всегда карточные игры солдатам. Но офицеры, напротив, всегда играли, — зачем? Неужели нельзя было воздержаться, отказаться? А теперь — из Петрограда разрешили и солдатам. И они в землянках сидели и резались в карты. И — что можно возражать? А при картах — уже не те солдаты.

Расстался с Фокиным — в расположении своей батареи уже слышал знакомый

рогоющий, как жеребчий, голос. Чернега! Саня обрадовался: неделю его не было, как уехал на противозащитные курсы в штаб грендерского корпуса.

Пошёл на голос.

Чернега с большим красным бантом на груди шутил с группой солдат, те вдвое перегибались-смеялись. Вот что в нём осталось — фельдфебельское, это да, Чернега был всегда с солдатами заедино, ещё гораздо свободней, чем Саня.

— А, Санюха! — прилопятил тяжелой рукой. — Ну, как ты тут? Ты, говорят, член батарейного комитета?

— Да выбрали вот, — улыбнулся Саня.

— И председатель батарейного суда? — уже всё выспросил Чернега.

— Да, — ещё улыбнулся, неуверенно.

Уже влёк его Чернега под локоть в землянку и спросил:

— А Бейнаровича — председателем выбрали? Как допустили?

— Да он выступал, кричал... Конечно б, Дубровина.

— Зря, зря, — уже в землянке отпыхивался Чернега, но не очень заботно. — А у нас в корпусном — тоже еврей, ефрейтор, но образованный, умный, зараза.

— В корпусном — что? — не понял Саня.

— Комитете! — хохотал Чернега. — Ты разве не знаешь? Я же теперь в корпусном комитете, ты не знаешь?

— Всего корпуса? — так и сел Саня на чурбак.

— Ну! А ты не знал?

Со своей купеческой койки ноги спустя, Устимович сиял, он уже знал.

— Да как же ты попал? — изумлялся Саня.

— А я ж там рядом был! Речь им двинул — и выбрали.

Смеялся, очень доволен.

— Тут ещё мою койку не заняли? Сейчас меня Цыж обещал кормить. За всю неделю, что я не добрал тут.

И руки тыкал под умывальник наскоро.

— Всего Грендерского корпуса? — продолжал изумляться Саня.

— Всего всего! — бодро хохотал Чернега, руками в полотенце. — А скоро будет армейский съезд — и туда уже выбран, поеду.

— Так ты у нас что? И в батаре не будешь? И служить не будешь?

— Вот, скажи, Санюха, и сам не знаю, — посерьёзней Чернега. Пошёл сел на санину койку. — Никто меня, конечно, с должности не высвободил, но и исполнять её мне никакой возможности нет. Вот, как теперь с комитетскими будет — никто не знает. Сегодня ж опять в корпус назад надо гнать. — Посмотрел: — Да вы тут с Устимовичем — неужели не справитесь?

Устимович улыбался — с надеждой ли на Чернегу или почтительно, как на героя. Устимович от всегдашней мрачности повернул последние дни к весёлости, то и дело улыбался. Шёл один тот конец, которого он и хотел.

— Ну и койка у тебя неудобная! Как тебе жердь в подколенку не давит? — пошёл, пересел к столу. И по столу хлопнул толстой ладонью, как прибил: — Всё, Санюха, начинается житуха — ещё такой солдат не видал. Долой баронов, фонов и шпионов! Стоять в окопах будем — а вперёд ни шагу!

И — попыхал, попыхал задыхательным смехом, пельзя понять: и сам так думает или это он про других.

Увидел санин недоверчивый взгляд, и:

— А что? Плохой привал лучше доброго похода. Не я придумал: вон, в газетах пишут: все уставы будем ломать! Наверно и правила стрельбы! Зря ты, Санюха, учил! — и смеялся, трясся.

Ещё заново подивовался Саня на своего неиссякаемого приятеля. На всё встречное в жизни был у него избыток силы и веселья. Так и теперь. Зная Чернегу, можно было предсказать, что его и революция с ног не сойдёт. Но ещё новой силы он за эти дни нахватался.

— Так ты же мне... Ты — что? Эти дни — где?..

Ещё колесей грудь выкатил Чернега, каплянул для приосанки:

— Я, Санюха, полки объезжал.

— Полки?

— Перновский, Несвижский, Киевский, Самогитский. Объезжал, знакомился, на передовкеезде бывал, комитет должен всех знать! Теперь, Санюха, эти звёздочки, — себя по погону пошлёпал, — ничего не стоят. А вся власть будет у комитетов, привыкай. Имей в виду: не верят солдаты, что офицеры революции рады. «Ещё куда господа потянут!» Закоренело, понятно. Офицер мол и хороший-хороший, а кровь чужая. И не без этого. Езжу, убеждаю: рады мы! вот, на рыло мне смотрите! В пехоте, знаешь, не как у нас, меж собой ворчат: везде начальство посямать, а чтоб свой брат стал. А другие уже домой бегут: бояться, без надела останутся. А на кой ляд эта война, правда? Фу-у-у!.. Да что ж Цыж не идёт, не несёт?

Всем своим чёрным долго-усталым лицом Устимович передавал согласие и восторг. Да и Саня смотрел на Чернегу едва ли не с восхищением — на эту жизненную силу прущую, безмерную.

— И думаешь, справишься, Терентий? В корпусном?

Важно провёл Чернега большим пальцем по натопыренным коротким усам:

— Мордой в грязь не ткнётся!

В который раз, подавленный его опытом, Саня спросил:

— И — что же ты думаешь, Терентий? Как же это пойдёт?..

— А что? — бесстрашно примеривался Терентий крепким шаром головы. — У народа мышцы затекли, надо и размяться. Туда их всех, Санюха, — Николашку, Алексашку. И Родзянке народ тоже не доверился. Не управили Россией, руки у них слабые. Да ею управлять, знаешь каки жилисты надо?

Как руки мыл — у самого по локоть закачаны остались — вот она, жила!

— А революцию — её тоже, как лошадь без возжей, пускать на произвол не надо. Надо её, Санька, поднаправлять! Потому я и в комитеты пошёл.

Не спросил уж Саня о батарее, но пошутил:

— А как же — Беата? Эт ты до неё теперь добираться не будешь?

Ещё подприосанился Чернега, надувом:

— Теперь, Санька, — не до баб! Всё! Перерыв! Теперь — надо революцию высматривать. Шоб не завалилась.

Толкнув дверь ногой, шёл за тем Цыж и нёс перед собой двумя руками духовитый чугунок.

— А, денщицья сила! — заорал Чернега. — Что носёшь?

— Так что — чебанскую кубанскую кашу, господин прапорщик! — весело отозвался и старый Цыж.

— А, молодец! А, угодил! А ну, — двумя руками, — стол расчистить! А ну, где моя ложка на четыре вершка!

И правда, с человеком этим всегда забывались горе, сомнения, а возвращалась здоровая охота к еде.

615

Превосходно всё шло и могло идти в министерстве иностранных дел, и Павел Николаевич с пониманием и тонкостью уже задумывал внутреннее целесообразное преобразование департаментов, и ещё новые послы — японский, испанский, португальский, бельгийский, сербский, норвежский, персидский, сиамский, посещали его с признанием Временного правительства, а уж с британским и французским он совещался через день, — и всё бы могло течь преприятнейшим и умнейшим образом — если бы не тяжеловесный, тупоумный и дерзкий Совет рабочих депутатов.

Как четырёхпудовую гирию навесили косо на ремне через плечо — и ходи так, действуй и управляй.

Вот, уже не насыщаясь своей фактической властью над Петроградом, над железными дорогами, над тыловыми частями, не насыщаясь своей «контактной комиссией», здоровенной и наглой фигурой Нахамкиса, нависшей над министрами (смесь отвращения, но и страха стал испытывать к Нахамкису Милюков), — Совет полез и в международные дела! Вчера было слышно об их возне в Морском корпусе, — а сегодня на разворотах не только советской газеты можно было прочесть их безответственное преступное воззвание «к народам всего мира» — и даже, что особенно встревожило Павла Николаевича, — одобрителные отзывы о нём на страницах вполне серьёзных газет.

А это был — типичный, откровенный и разрушительный циммервальдизм! Но наибольший взрыв состоял в том, что петроградский Совет уже присваивал себе международные функции, игнорировал правительство своей страны да и других стран. Он создавал грозную ситуацию, когда правительство должно было твёрдо заявить о себе либо перестать существовать.

Но — кто, кто? — в этом совете министров был тот твёрдый человек, который мог бы решиться на твёрдое проявление, особенно против Совета депутатов? Да никто, кроме Милюкова. Тем более, что вот уже и в его же коренную область Совет вторгся.

Рано утром за кофе, как только пришла вся охапка свежих газет, Павел Николаевич прочёл это воззвание *ex officio* один раз, тут же и другой раз. Нет, его не обманули эти декорации, что «русская революция не отступит перед штыками завоевателей», — может быть, не отступит, но и, во всяком случае, не наступит, так? А главная фраза была другая и даже дважды повторена: «решительная борьба с захватными стремлениями правительств всех стран», и тут же — «противодействовать захватной политике господствующих классов».

Как только начинают козырять «классами» — так тут же зияет и пропасть внутри каждой страны и всего человечества. (И «классы» воспринимаются как виноватое Временное правительство и ты сам посреди него.)

Совет депутатов не только вмешивался во внешнюю политику Временного правительства — но и прямо навязывал изменить её!

Как?! Да главный смысл всей революции и был — остаться верными союзникам вопреки измене царя! И теперь Совет депутатов хотел повернуть правительство на ту же измену?

И ведь: своей безответственной докламой только создают впечатление слабости России: так, чтоб нам перестали ворить союзники и перестали бояться враги.

За последние дни несколько раз публично, а в частных беседах бесчисленно, — заверял Милюков союзников а нашей верности союзным обязательствам, что Россия для этого принесёт безоглядно все необходимые жертвы. И — какая же теперь создавалась постыдная неловкость перед послами? И — какой куклой тряпичной выглядел он сам?

Да не только а этом, но вся логика нашей балканской многолетней политики, но вся логика борьбы этих лет, — разве они допускали так безответственно хлопнуть крыльями и отряхнуться ото всех национальных целей России и прежде всего от жизненной потребности в Босфоре-Дарданеллах? *Cui bono*?

Газетчики всего мира сейчас с сенсационными криками развоят этот «манифест» на позор русскому правительству — и кто же в правительстве способен не испугаться и сказать властно «нет» этой деструктивной стихии? Что ж, Милюков всегда славился своей способностью высказывать непринятые твёрдые вещи. Придётся продемонстрировать это ещё раз, уже при новом режиме. Придётся стать для всех — *bête noire*.

Какая ирония судьбы: свои главные дипломатические усилия направить не в лавировку меж держав — но: обойти этих сиводяпов?

Хорошо, он их замановрирует.

Безо всяких манифестов он твёрдо направит Россию по руслу верности союзникам и собственным российским интересам. Он — реально так проведёт, и не обойтись как-то и заявить об этом вскоре — против всего тысячеротого Союста.

Однако если бы — только одна эта дерзость! Но вчера же, на том же Совете, они успели принять и ещё одно воззвание — к полякам! Это уж во все забесило Павла Николаевича! За Польшу боролась все — и павший Николай со своим дядей Николаем, и Вильгольм с Францом-Иосифом, и левое крыло собственной кадетской партии, и все сыпали полякам заманчивые декларации и обещания, — и теперь, обогнав Временное правительство, с беспечностью пролали и Совет: Польша имеет право быть независимой, создавайте независимый демократический строй! Братский привет! А сегодняшние «Известия» писали так ещё чище: да поднимется восстание во всех трёх частях разделённой Польши! Не теряйте этих дней! (То есть — и против нас восставайте!)

Легко раздаривать, чего не собирали.

Да Милюков и сам уже начал переговоры с польскими кругами. Но польский вопрос такой сложный: поляки рассеяны по разным странам, мнения у них разные. А сама страна оккупирована, и немцы успели выступить инициаторами польского освобождения — там уже национальная школа, суд, самоуправление, набранные легионы. Но и великий размах русских событий открывает простор для польского вопроса. Однако, но давали ничего подготовить *omnium consensu*, но забивали крикливыми декларациями.

Нет, Павел Николаевич не принадлежал к тем горячим головам, как Родичов, кто страстно жаждал всегда независимости Польши. Павел Николаевич понимал, что для силы и крепости Российской империи удобное держать царство Польское в своём составе. При широкой автономии, конечно.

Однако, этого уже не скажешь так прямо вслух, тут своя филиация идей. Приходится действовать — и стремительно даже! Теперь никак не избежать публичного обращения правительства к полякам. И обращению этому неприлично отстать от советского более чем на сутки: эти сутки ещё можно объяснить технически, а готовили будто бы уже давно.

То есть: надо было буквально сейчас, за несколько часов — Павлу Николаевичу, конечно, кому ж ещё? — написать это воззвание, и сегодня же вечером принять его на заседании кабинета, и чтобы завтра оно уже было в газетах. Прямо вот сейчас, за утренним кофе, не отрываясь, тут же, набрасывать его — да не социал-демократическим шавканьем, а достойным государственным языком.

Но именно сейчас-то надо было ехать на дурацкую церемонию — церемонию принятия присяги Временным правительством в Сенате.

Тем более дурацкую, что вчера же, под давлением Совета, правительство должно было отменить присягу для армии, так торжественно установленную. Присяга для армии хоть имела смысл, потому что простые люди верят в этот акт, — но какой смысл имела присяга образованных министров? — только нежелательный оттенок легитимности к порядкам старой России.

Однако надо было спешить к 11 часам в Сенат — и надевать — что же? торжественный чёрный сюртук.

Глубоко в душе уложив своё намерение ответить Совету о войне, мире и верности союзникам, — Милюков по поворачивости памяти и души шарил, составлял воззвание к полякам. И по пути, в автомобиле, уже записывал некоторые фразы.

Ещё несколько дней назад должна была состояться церемония этой никчемной присяги, всё откладывали её — то из-за отъезда Гучкова, то из-за неприяда Владимира Львова, — да этот разниа и сегодня не доехал.

А Керенский! — Керенский явился на церемонию не в сюртуке, но в наглухо застёгнутой своей полурабочей куртке (из которой он, очевидно, хотел изобразить сюртук Наполеона). Оделся так, совершенно не считаясь с общей формой, и даже нарочито, чтобы выделяться демократичностью. И, ещё более нарочито, проходя помещения Сената, здоровался за руку со всеми швейцарами и курьерами.

Ах, поздно осознал Павел Николаевич, какого же он дал маху, сам позвав этого демагога в правительство.

Ещё он обратил внимание на уныло-усталое лицо сильно постаревшего Гучкова. Но не обменялись с ним ни словом. А князь Львов светился торжественной глупой радостью.

Тем временем министры пригласили войти в зал 1-го департамента. Здесь, как и во всех залах Сената, был снят портрет бывшего царя, светлел-заял прямоугольник на стене. Вот уже стояли буквою «П» в своей позолоченной форме 24 престарелых сенатора — и сгруженной кучкой в центре стали министры.

Всё это напоминало детскую игру, когда нужно делать как можно смешней, но не рассмеяться, а то проиграешь. Всех министров попросили поднять правые руки и в такой неудобной позе долго стоять, выслушивая и повторяя слова сенатора-председателя. И слова, конечно, самые банальные: ...перед всемогущим Богом и своею совестью... служить верой и правдой народу державы Российской... подавлять всякие попытки к восстановлению старого строя... — (как будто в этом состояла теперь борьба) — ...все меры к скорейшему созыву Учредительного... и преклониться перед его волей...

Прежде чем «преклониться перед его волей» — надо было поворачиваться побыстрей да действовать как мужчинам. А вот Гучков — что-то дремал, не оказывался союзник.

Дневные заседания правительства отменили, а до вечернего Павел Николаевич успел составить не только великолепное обращение к полякам, а ещё придумал и более ловкий ход: создание Ликвидационной Комиссии Царства Польского (с участием видных поляков)! Это уже, действительно, был настоящий ход действия, язык правительства, а не какого-то митинга в случайном помещении, — и показывал, что Временное Правительство не первый день и серьёзно готовится к освобождению Польши.

Ликвидационную комиссию министра сразу поняли и приняли. Выяснить местонахождение имущества Царства Польского и передавать их полякам, ликвидировать наши там учреждения. И председателем комиссии — поляка.

Но само воззвание? — министры вдруг закапризничали, стали критиковать. И никто не мог возразить по существу: какие же его мысли неверны? Освобождённая Россия в лице своего Временного Правительства спешит обратиться к вам с братским приветом? — так, в лице правительства, а не совета депутатов. Средины державы Европы воспользовались ошибками лицемерной старой русской власти? — верно. Они предлагают вам призрачные государственные права и этой ценой хотят купить кровь поляков, которые ещё никогда не боролись за деспотизм? — абсолютно правильно. Свободная Россия зовёт вас в ряды борцов за свободу народов? — но это оборот, которым Миллюков гордился: что мы — опередили их в свободе, пусть нас не задирают, и теперь зовём их. А дальше — главное программное заявление: что Временное Правительство считает создание независимого польского государства...

Ну да, — боязливо жался князь Львов. — чем считает? Тут очень нужно остороженько.

Залогом мира! — предложил кто-то. Прекрасно.

Да, но в каких границах независимая Польша?

Разумеется, за счёт всех трёх — России, Германии и Австрии.

— Но, — тяжело возразил Гучков, — если им самим дать определять, где кончается Польша, то они отхватят Минск и Киев, и всю Литву.

— Я думаю так, — искал Миллюков: — из земель, населённых в большинстве польским народом.

— А где пополам с малороссам?

— Нет, тут надо доработать, подумать, как бы не ошибиться. Поляки — слишком чувствительный народ.

— Но уже Совет брякнул, мы не можем откладывать, поймите! — сердился Павел Николаевич. Который раз он чувствовал, что ему не хватает в правительстве полноты власти. Совершенно зря он не рискнул взять премьерство в первый же день.

— Надо оговорить, — хмурился Гучков, — что, дескать, Россия надеется, что те народы, которые, ну... связаны с Польшей веками совместной жизни, тоже получают, и в Польше, обеспечение национального существования.

Миллюков и сам понимал, что поляков надо укоротить, но его формулировка была более тонка.

Дальше — про будущий братский союз с Польшей — правильно. И ссылка, что только Учредительное Собрание может дать согласие на территориальное изменение России —

юридически безупречна, этого не может сделать даже правительство, не то что совет депутатов. Светлый день истории, декъ воскресения Польши, союз наших чувств и сердец — это всё хорошо, но сошлись на том, что надо всё же дорабатывать. Тем более, что, по важности декларации, должны будут подписать все министры. Ну, к завтрашнему заседанию, Павел Николаич.

Теряем день. Уже и так всё отлично выражено. Какой набор нерешительностей! Павел Николаевич надулся. Завтра представит в том же виде — и всё примут.

И — потянулась, потянулась занудная череда мелких дел, это правительство не умело отбирать главное от неглавного. Что делать с комитетом по борьбе с немецким засилием? Ведь он был по сути орудием правых, — но сейчас неприлично бы выглядело ликвидировать его. Передать в министерство торговли и промышленности. А Коновалов, воодушевлённый своим успехом снятия национальных ограничений с покупки акций всех видов (еврейские круги приняли восторженно), теперь хотел бы иметь большую свободу с неограничением так называемого неприятельского, то есть австро-немецкого, капитала, зачем нам лишать себя лишних средств? И нужны средства на разработку горючих сланцев по южному берегу Финского залива. Хорошо, миллион двести тысяч. А междуведомственное совещание по устройству и развитию Русского Севера запрашивает: своевременно ли ему существовать или кому оно должно передать свои дела и денежные остатки? Совсем неожиданный вопрос, и никто в правительстве не знал, что тут решить. А Мануйлов тоже просил внимания: облегчить процедуру оставления теперь за штатами профессоров, назначенных прежним правительством без представления факультетов и советов. (Боже мой, неужели это нельзя проделать, самому? Да у Павла Николаевича своя есть тоже неотложная работа: быстрей использовать возможности свободы: готовить к изданию свои думские речи с восстановлением выпущенных мест — русская публика заслужила прочесть их полностью. Нет, сиди слушай эту ерунду.) А Набоков предлагал сокращения в составлении официальных бумаг. А вот была телеграмма от духовоборов из Канады: они, 10 тысяч, бежавшие от зверского царского правительства, теперь хотели бы вернуться на родину, рассчитывая, что новое правительство не будет же их привлекать к воинской повинности.

Казалось бы: мечта Льва Толстого, и князь Львов особенно рад выполнить?

Но это был бы совсем невозможный и нетактичный шаг сейчас! И как у них не хватает терпения посидеть тихо в этой Канаде? Но если мы их сейчас освободим от воинской повинности — то какие будут обиды в армии? во что превратится государство?

Однако прерывая череду и этих вопросов — подошли шепнули князю Львову, а он объявил, не благоугодию ли будет министрам прервать заседание и в полном составе выйти в круглый зал Государственного Совета — нельзя же выйти — для принятия депутации Черноморского флота.

Нечего делать. Покидали все бумаги и портфели на столах, и потянулись в ротонду. Эти депутации начинали уже вконец заматывать.

Министры стали недружной кучкой, не доходя до центрального паркетного круга, а со стороны розово-мраморного зала вошли под сень колончатой ротонды человек 30 черноморцев, многие молодцеватые.

Сразу выступил бойкий прапорщик, и завёл пышную речь: от имени гарнизона и флота какая высокая честь приветствовать в лице присутствующих министров... с чувством благоговения перед великим актом русского народа... с чувством восторга перед поборниками священных прав... (Этот прапорщик, несомненно, в армии был новичок, а на каких-нибудь студенческих сходках выступал не раз.)

И такой же смыслённый и речистый юный солдат вслед ему стал говорить от имени 40 тысяч солдат, матросов и рабочих, что они не положат оружия, пока враг не будет сломлен.

Старший среди них офицер стоял даже не в первом ряду, задвинутый.

Рядом с Миллюковым Гучков изнемогал от скуки. Ему бы, кажется, отвечать, но он не двинулся.

И досталось, конечно, масляно-благодарному, всегда в хорошем настроении князю Львову. Князь сообщил морякам, что Россия вступает в новую жизнь и для этого не должна быть сломлена врагом.

И вдруг как пробка из бутылки, как проталкиваясь через расслабленных министров, вьюном, затянутым в своей узкой куртке, вывинтился Керенский. Быстрые шаги — казалось даже перебежит всё пространство и сольётся с моряками! Нет — остановился в самом центре, под верхним купольным светом. И, отвечая на незаданный вопрос, звонко объявил депутации:

— Товарищи! Вы знаете: я — социалист и республиканец! Не верьте слухам, пытающимся подорвать связь между Временным правительством и народом! Я — ваш заложник среди Временного правительства! — и ручаюсь, что нам и народу бояться нечего!

Этой непрошенностью, непредугаданностью шагов Керенского Миллюков уже не первый раз был застигнут врасплох, обомлевал: старый боец либеральных диспутов, он не привык к таким повадкам, и не умел осадить. Кто Керенского вызывал? Кто этот вопрос

о доверии тут ставил? Какой такой заложник? Что это за «нам и народу»? За годы 4-й Думы Милюков привык к нервной дёргаемости Керенского, но тогда она ничего не значила — а за эти недели Керенский преобразился в победительного необузданного актёра, который всё время лез на авансцену и удивительно нетактично декламировал.

— Если бы была, — драматически звенел его голос, — хоть малейшая мысль, что Временное правительство не в состоянии выполнить свои обязательства, — я сам бы первый вышел к вам и объявил об этом! — (где б это он «вышел», в Севастополе?) — Поотряхайте: вам бояться нечего! — Освобождал он черноморцев от страха, которого и тени они не выражали.

Милюков чувствовал, как в середине груди у него сгущается к Керенскому комок ненависти. Этот дешёвый актёр превращал всё правительство в балаган, всех отеснил к полю — и ещё неизвестно, до чего дорвётся.

Вернулись к заседанию, сбитые уже с последнего настроения.

А теперь лез вперёд и настаивал выслушать его этот рослый чёрный горящий дегенерат Владимир Львов, уже нивившийся из поездки. (Недавно на закрытом заседании правительства Милюков знакомил министров с тайными договорами России, — Львов кричал ополоумело: «Ах разбойники! Ах мошенники! Немедленно отказаться от всех договоров!» С той ночи Милюков про себя не звал его иначе как дегенератом.)

Дали ему слово для отчёта. Но он не стал кипятиться меньше, а так же всё подпрыгивало его темя как крышка на кипящем чайнике. Он — возмущён Синодом! и митрополитом Владимиром! и митрополитом Макарием! И ещё более возмущён, что они самовольно отправились к Родзинке, не спросив обер-прокурора. И ещё более возмущён, что Синод за это время сносился прямо с правительством — и правительство это допустило, унизив своего обер-прокурора. И обер-прокурор узнаёт обо всём этом из газет. И как мог князь Георгий Евгеньевич без обер-прокурора дать заверение иерархам, что Синод не будет распущен до Учредительного Собрания? А между тем члены Синода проявляют полную неспособность ориентироваться в новой обстановке и никак не могут разучиться говорить старым языком!

И этого дегенерата — ведь тоже пригласил в правительство Милюков. Где были его глаза?..

Керенский безвыходно-нервно громко щёлкал замками портфеля.

Гучков обвис головой и плечами и ещё внутри самого себя как будто осел.

Тереженко сидел саженький, в бабочке, блистающий, — как будто отсюда спешил на ночной концерт или в кабаре.

А где-то за стенами паливался ненавистью тридцатиголовый Исполнительный Комитет и тысячеголовый Совет.

И в первый раз самоуверенный Милюков усумнился: что несмотря на всё доброжелательство Англии и Франции, несмотря на пачки приветственных телеграмм от межпарламентского союза, от парижского муниципалитета, — ни у него, ни у Временного правительства может не хватить силы ног — устоять.

Он уже не был так уверен, что проведёт российский корабль между всех рифов.

616

А в «Правде» со вчера на сегодня произошёл переворот.

Это случилось в отсутствие Шляпникова, у него ноги не успевали везде быть, да он и не ожидал от приезжих такой быстроты. А Молотова, который и сидел в «Правде» и должен был направлять дело, — поддался, струсил, уступил в один вечер. («Я протестовал!»)

И сегодня Шляпников развернул родимую «Правду» — на первой странице разлился вчерашний полуборонческий Манифест Совета, — уже ошибка, такого места не следовало ему давать. А на второй, в верхнем углу, жирно: о том, что все трое, имярек, вошли в редакцию и теперь поведут «Правду». Не спросили ни БЦК, ни ПК, — всё сами, как будто «Правда» отдельный остров, никому не подчиняется.

Руководство партии складывалось в подполье, а его устраняли, как муху сгоняют.

Обидно. Но эту обиду Шляпников бы сглотнул: в партийном деле не лица важны, не самолюбие, а — насколько дружно взялись. О, если бы дружно! Но нет, сразу же за Манифестом шла передовица, подписанная Каменевым, — оборонческий шовинистический плевок во всю политику большевиков как Шляпников её вёл, как понимал во всю войну. И такое — прочесть из «Правды»! Стинулось небо в овчинку, потемнело, — лучше бы Шляпникова подстрелили 27 февраля на улице! «Долой войну», — писал Каменев, — это не наш лозунг. На немецкую пулю ответим пулей, на снаряд снарядом.

Но что завертелось в Таврическом! Это был день оборонческого ликования! — «Правда» обрезала ногти, когти, если не руки и ноги! Уж не только в думском крыле ликовали, но на самом Исполнительном Комитете встретили Шляпникова ядовитыми улыбками.

А что началось на Выборгской, на заводах, среди низовых членов! — каково было им среди товарищей, хуже, чем Шляпникову на Исполкоме, они и вовсе не знали, как отве-

чать. Кто вызывал Шляпникова к телефону, от кого гнали нарочных узнать: что за поворот? как это случилось и как понимать? Без всякого предупреждения, за одну ночь сломалась «Правда» и показывала уже в другую сторону. Другую правду. Как переломит ветром ствол, и он свисает набок, не оторвавшись.

Уж не считай униженья, стыда — какой же ты руководитель? — но смутно, грозно: как же из этого спастись? как вывести партию?

В ПК тоже ничего не знали, были потрясены (а кто и рад).

Шляпников не в дни, но в часы должен был принять решение — исправить положение или сдаться.

Товарищи его и винули, что это он допустил. Да получалось и действительно, что он.

Более сокрушённого и запального дня не выдавалось ему за всю революцию. Без сна, без сил тянули — но было радостно, а тут повернулось тошно, разгромно — и всё внутри, от своих.

Один выход был: сегодня же устроить заседание всей головки партки и сокрушить приезжих голосованием и заставить их подчиниться партийной дисциплине! Созвать расширенное БЦК? Расширенный ПК?

Но даже не было уверенности, что приезжие явятся туда или сюда, так они себя самовластно поставили. Шляпников был для них — необразованный рабочий парень, неизвестно как оказавшийся во главе партии. И все они могли просто не придти туда, куда он назначит, — тогда уж совсем позор. Шляпников не имел привычки — властно приказывать, он голоса такого не имел.

И приходилось собираться на территории «Правды» же, на Мойке. Идти всем туда — это и были поддавки с самого начала. Но ничего не оставалось.

И весь день ушёл на то, чтобы сбить такое совещание в «Правде», хотя бы к позднему вечеру. Не ко всем доставали телефоны, надо было слать посыльных, не хватало кого и послать, — Шляпников и сам немало побегал по сборам, как и привык бегать все дни.

Теоретически — к бою он не готовился: ася теория у него залежала в груди, как хорошая простуда, прочно, уж там как выкашлянет. Новых цитат искать-листать ему было некогда, да не умел он. Но не было у него сомнений, что бой — надо дать. Просто отчаяние брало, что так легко предать и сломить коренную ленинскую линию, протянутую эти годы стальной паутинкой — через рыгающие фронты, через моря, через заполярные границы, из Швейцарии в Петербург.

Итак, собрались поздно вечером в «Правде» — а считалось, что это — совместное заседание БЦК, ПК, редакции «Правды» и приезжих товарищей. И ещё навязался сухорукый, тшедушно-длинный Лурье, сказывавший всячески большевиком.

Расселись в редакционном зале с зашторенными окнами на Мойку. Задымили.

Прямо из Выборгского райкома нужны были бы соратники, но их неудобно было сюда ввезти. Итак, надеялся Шляпников на горячих, верных, шумных Хахарева и Шутко из ПК. Хитрый Калинин сидел смирило. Молотов совсем раскис. А Залуцкий — как всегда печальный, но не от того, что происходило перед ним, а как от чего-то своего.

С приезжими чувствовалась напряжённость, но лицом к лицу куда было легче, чем Шляпников целый день метался подавленный. Собирая совещание он — ему и начинать. Он и начал. Никаких записанных тезисов у него не было (никогда не бывало), но в нём самом так уверенно всё было заострено, так изгорало второй день бесплодно, что он не боялся потерять мысль, только что не всё по порядку скажет.

Рабочие массы, заявил он, потрясены и в недоумении: что случилось с большевиками за двое суток? То, что напечатал товарищ Каменев, — это обычное оборончество, которого только и жаждет наша буржуазия. Это — союз с меньшевиками и эсерами. (Не добавил, но про себя: они в Сибири не знали настоящей партийной борьбы и по-обыкательски объединялись с меньшевиками.) И Петербургский комитет, присоединял к себе Шляпников, и Московский комитет (он надеялся, что так, а оттуда никого здесь не было), — мы ведём борьбу с такими взглядами.

— Товарищ Каменев предлагает: «народ имеет право знать цели войны». Так грабительские цели войны ясно нам определены в 47-м номере «Социал-демократа», у товарища Ленина есть там такой ответ: «если бы в России вдруг победили революционеры-шовинисты, — мы всё равно были бы против обороны их «отечества» в этой войне!» А сейчас — даже и не они победили, а сомнительные двухдневные республиканцы с монархическим подбоем. А наш лозунг: союз международного пролетариата для социалистической революции.

Каменев снисходительно слушал с интеллигентской усмешечкой превосходства, что с тобой, простым рабочим, спорить. Но, почувствовал Шляпников, ленинской цитатой хорошо он его по лбу утёр, сразу не найдётся, что ответить.

И Мураилов брови нахмурил, усы длинные расставил, выражение дурашливое.

До сих пор, нажимал Шляпников, «долой войну», дай землю и 8-часовой день были три кита нашей пропаганды. Да мы вот на днях издали, распустили брошюру «Кому нужна война» (сашенькину), 200 тысяч экземпляров. И что ж теперь — отказываться от самих себя? На чём же мы плывём? Не достойно революционного социал-демократа повто-

рять оборонческие кивки на немцев — мол, пусть они теперь делают революцию, а если у них нет мужества свергнуть Вильгельма — то мы пока законно обороняемся. «Давить на Временное правительство» — это не ахти какой выход, с этим и все соглашатели согласны, но это близоруко. Давите, давите, а правительству важно только, чтоб армия ему подчинялась и шла бы в бой. Для обмана простачков они какие угодно заявления сделают и от завоеваний откажутся, лишь бы каждый солдат оставался на своём посту, как и призывает товарищ Каменев. Значит, «долой войну» по Каменеу бессодержательно, а содержательно — подкреплять собой спину буржуазии?

До сих пор Шляпников нёс одним дыханием, сильно разгорячился. Но на этой «содержательности» Каменев ему сразу тихим голосом и подставил:

— А что же именно содержательного вы нам предлагаете? Как же содержательно понять вашу тактику?

— А то, что недостаточен переход власти в руки либерально-монархической буржуазии. Она должна переходить к пролетариату.

— Нет, по насчёт войны, — глаза Каменева сжимались, будто он готовился рассмеяться. — Бросай окопы, и пусть туда немец заходит? Бросай винтовку, и пусть он её подбирает?

— Нет, такой глупости мы не предлагаем! — обошёл Шляпников. — Это обывательские сплетни. Это так «Правду» поносят.

— А — что же? Содержательно — что же? — шурился Каменев.

Чёрт его знает, это действительно было ещё не продумано, не известно, что именно делать. Да ведь и обстановка небывалая. Постепенно нащупается. Не мог он сейчас точно сказать, но чутьём трезвого человека чувствовал, что лозунг — самый сильный, он будоражит солдатское сознание и облегчает агитацию. Что призывать не воевать — это сильней, чем призывать воевать.

— А — вступать с немецкими солдатами в беседы, разъяснять им мировую революционную обстановку. Чтоб они против войны повели борьбу снизу. В общем, объяснить, что мы братья.

— А на каком языке объяснить? — Каменев ехидно.

— Ну, найдётся кто-нибудь. У австрийцев — и славяне, по-нашему понимают.

— А если он в беседу не вступит? — спросил угрюмо бровастый Муранов. — А если он нашего штыком в живот?

Да уж кто из них в переделках бывал больше Шляпникова, вам бы так, господа думские лидеры.

— Так надо с умом. Сперва перекрикнуться. А как — вы предлагаете содержательно? Что вот Манифест опубликовали — так он по воздуху к немецким солдатам перелетит? На немецкую революцию надеяться — так надо ж и нам не воевать. А что вы предлагаете практического?

Теперь Каменеу что-то приходилось ответить:

— Переговоры социалистических верхов.

— Так это само собой, никто вам не мешает. А братание в траншеях — само. Тогда и верхушки будут переговариваться поживей.

Тут — и Хахарев и Шутко тоже голосов поддали. И Шмидт кривой помычал. (По Временному правительству в ПК колебались, но против войны — дружнее.)

А Сталин сидел в сторонке тихо, благоразумно, папирасы искуривал. Да он — не вредный, он даже может, — и не против. Из троих он меньше всех был замешан в правдивском перевороте, и у Шляпникова не было к нему упрека.

Каменев только что не смеялся открыто. Он понял, что Шляпников сам не понимает, что такое «долой войну», и не может предложить разумного способа поведения. А Шляпников горячился, асем чутьём ловя, что поведение такое есть, только не мог он его, действительно, назвать точными словами. Шутко и Хахарев вступили в обсуждение, какие могут быть на фронте случаи. Залуцкий высказывался как бы в рассеянности. Молотов ии мычал, ни телился.

Бурно было, покрикивали, призывали к порядку. Во всё обсуждение мешался ещё Лурье как свежий человек из Европы и всё может рассказать про обстановку в Германии. Слушали его, но не вытекало ясно: так будет в Германии революция или нет. И опять спорили: что делать нашему солдату на фронте?

Горничались, только не Каменев. Он выслушивал с запрокинутой головой, через пенсне, и всё как старое, ничего нового:

— Что мировую войну может кончить только мировая пролетарская революция — это большевизм всегда утверждал, это так. Но пока её нет — мы против дезорганизации военных сил революции.

— А так вы её никогда и не дождётесь! — кричал Шляпников.

Спорили с ним люди безо всякой практической хватки, безо всякого подпольного опыта. Он же — глубоко знал, что говорит — дело, он сам бы сейчас в окопе не растерялся, но доказать этому интеллигенту не мог. Конечно, в социалистических книгах такие случаи не предусматривались.

— Да, — в потеху кланялся он Каменеу, — мы не знатоки. Мы не знаем! Укажите нам такую форму борьбы, которая не дезорганизовала бы армию. А вы не указываете, не предлагаете — вообще не боретесь.

— От вашей борьбы, — указывал Каменев, — только травят «Правду».

— Ну и что ж?! Травля на «Правду» нам вполне годится. Мы эту травлю хорошо используем для укрепления нашей партии в рабочих кварталах. По сравнению с меньшевиками. Собираем резолюции в защиту «Правды»! А сейчас добрались от Исполкома, что и милиция будет защищать продажу «Правды». А ещё на «Русскую волю» в суд подадим, поручили Козловскому и Соколову. А свёртывать наше политическое знамя мы не можем! Буржуазия оправится от февральских дней и перейдёт к контриаступлению на пролетариат! А вы предлагаете их тем временем поддерживать!

Спор разгорался шумно, но и весело. Весело было Шляпникову, что ни в чём он не побит, а на всё находит ответ не худший.

В подобных случаях, при таком неразумном упорстве противника, Ленин всегда бесстрашно шёл на раскол! Но Шляпников не мог взять на себя раскола: не имел права допустить его в таком слабом положении партии.

И первый призвал:

— Где же, товарищи, наша большевистская дисциплина?

Напоминание подействовало. Что они знали все крепко: что именно дисциплиной они выделялись из всех партий. Не избежать было и сейчас, в этой комнате, найти общее решение.

Тем более, что Муранов что-то потерял спесь, почти уже и не спорил.

А Сталин — и с начала не спорил.

А Политикус и Кривобоков охотно кинулись заглаживать.

И Каменев, поняв, что остаётся в меньшинстве, согласился впредь на умеренно-революционную позицию.

Зато надо было и Шляпникову согласиться, что все трое они остаются в редакции. Уже к полуночи на том поладили — и тут допустили Лурье с его жалобой на Петроградское телеграфное агентство, что оно скрывает размах нашей революции от Европы.

Постановили дружно: написать разоблачительную статью и поддержать реквизицию агентства Советом депутатов.

Туда ему, так ему.

Уже и к полночи — а стояли ещё два предложения о слиянии: с межрайонщиками и с меньшевиками-интернационалистами.

Межрайонщики — ребята боевые, вполне лаши, и Шляпников был — за. Но теперь новоприбывшие своим правым курсом будут этому слиянию мешать. Межрайонщики и не захотят, пожалуй.

А насчёт меков-интернационалистов — так надо погодить. Угар объединенчества — тоже ии к чему. (Это ещё добавится двадцать таких Каменевых — все заумные, шаткие, небоевые.)

Но по позднему часу решили перенести обсуждение на пятницу или на субботу.

Вышли — трамваи давно не ходят, блудут свой 8-часовой день. А автомобили тоже нет ни одного. У Шляпникова, как у члена Исполкома и Выборгского комиссара, был — но он одолжил его вчера товарищам из ПК.

Так и расходились в разные стороны, под ясным, но уже и не морозным небом, по опустевшему пустынному городу. Пошёл Шляпников ночевать на Выборгскую.

Что изменилось в городе? Не то чтобы света меньше — да и меньше (часть фонарей разбита, часть окон плотно зашторена), но безлюдней. Автомобили если проносятся — то без прежнего шика, а по будним революционным делам. И шикарные санки не посятся, ни фазтоны не плывут с обеспеченной самоуверенной публикой — подпугнули буржуазию, подобралась. Да всех лишних прохожих раней с улицы сметает — бояться встреч, раздѣва, кражи.

Только члену ЦК, БЦК и ИК Саньке Шляпникову нечего беречь, нечего опасаться, а при случае так и двинуть нападчика прямо в физию. Пришла революция, свалили царя, победили, — а шёл Шляпников в том же неподбитом пальтишке, в тех же ботинках и галошах, в которых таскался прошлой осенью по ночным улицам и пустырям, только тогда он смекал, нет ли слежки, да сейчас не подъедешь за 8 копеек на трамвае, а надо шагать да шагать, опять отмерять наискосок по пустырям питерские волчьи тропы.

Да хоть в груди уляжется, разойдётся, а то ведь не заснёшь. Пекли его эти разговоры, непонятливость, несогласность или невозможность доказать. Да что ж от Ленни до сих пор ни строчки? Хоть бы он им доказал!

Весь вечер не мог Шляпников ещё понять: чем ему так неприятен был суетливый Лурье — ничего вредного он не говорил, а скорее в пользу. Но весь вечер мешал, как заноза, а мысли не собрались понять.

И только на пустыре, на бутре, где перед ним раскрылось небо, уже заходящая предполная багровая луна да крупные звёзды, отнимающие от её засвета, — тут он понял: Лурье приехал из Копенгагена, добрался, ничего.

А Сашенька была в Христиании, ближе. И не ехала.
И тоска-тоска потянула, хоть завой!
Как же могла не спешить?! Что же с ней?
Да уж хоть не на любовь, хоть на революцию, — как же не поспешить?

Поздно вечером, уже Таврический опустел, Ободовский усадил в автомобиль четверых полковников — Половцова, Якубовича, Туманова и Энгельгардта — и повёз их в министерство юстиции на Екатерининскую.

Энгельгардта можно было вполне не вести: мундир он надел во вторую революционную ночь, на минуту ему показалось, что он — во главе революции, издал несколько громких приказов и до сих пор жил ими, ещё не поняв, что отрёп в ничтожество. И какие ценные военные советы и соображения мог он произнести перед Керенским? Просто смех.

Якубович и Туманов были неплохие штабисты. Если бы Керенскому предстояло разрабатывать стратегическую операцию — что ж, они могли бы ему предложить совет (может быть и негодный).

Но ведь вопросы Керенского на верное будут касаться реального состояния сегодняшних войск, границ возможных настроений, чего-то живого, — а это всё знал и мог высказать только Половцов, единственный тут боевой офицер.

Но и он не мог угадать: какие же именно вопросы намеревается задавать Керенский? Вообще, вся поездка была исключительно пикаантной: группа ближайших сотрудников военного министра ехала под полночь к министру юстиции консультировать того по военным вопросам. Это могло означать подготовляемую смену военного министра? (Ну разве ещё: что министр юстиции готовит военный переворот.)

Так ли, не так, — при всех обстоятельствах эта поездка увеличивала значение тех, кто едет, и следовало использовать эту ночь. Половцов выпил крепкого кофе и привёл себя в состояние высшей догадки и проинициальности. От этой ночи могла зависеть вся его дальнейшая судьба.

Адъютант министра юстиции (он назывался именно так, не чиновником!), скромно одетый, но такой же ловкий и быстрый, как Керенский, пригласил их в кабинет.

Кабинет был отлично обставлен, достаточно просторен, но и не великолепен, не подавлял, — а большая удобная комната для разговора десятка человек.

Керенский в своём новоизлюбленном серо-чёрном австрийском френчике сидел за огромным столом как-то избоку, как заскочивший на минуту, не министр, — и будто бы писал.

Будто бы писал, но при входе их как бы отбросил ручку, рискуя забрызгать стол чернилами, и резко поднял голову. И — встал. И по резкости его движений можно было ждать, что он испуган, застигнут и сейчас убежит вон.

Но — ничего подобного. Он — вытянулся, опираясь недлинными руками еле-еле о стол, поклонился сразу всем, с оттенком церемонности, даже дважды, но одною своей бодрой быстрой головой, а не выскочил из-за стола триста им руки. (Всё-таки штаб-офицеры — слуги старого режима, а он — революционный министр?) Он был весь радостен и свеж, несмотря на поздний час, да оказывается, и спать не собирался ложиться:

— Я, господа, сегодня ночью выезжаю в Гельсингфорс.

Половцов уловил, что Керенский любит себя, каков он со стороны, как энергичен, как звучит эта фраза и как не может быть всем безразлично, что он выезжает на править дела Финляндии.

В важнейших встречах решают самые первые две минуты: надо понять собеседника ещё прежде, чем потечёт главный разговор. Половцов впитывал Керенского острыми глазами, острым слухом, но ещё более — своим гениальным шестым или седьмым чувством, познающим суть характеров.

Ободовский, замученный, несколько не польщённый, и ощущая себя тут совсем не к месту, с выдохом представил:

— Вот, Александр Фёдорович, по вашей просьбе, для вразумления по военным вопросам, по которым всему правительству приходится иметь суждение... — он маскировал неприличие визита, — ...полковник... полковник... полковник...

Половцов, когда был назван и Керенский взглянул на него, — послал министру из своего кавказского обрамления взгляд переливчато-находчиво-готовый. (Вообще, кавказская форма очень помогает выделяться.)

Сели. А Керенский, не выходя из-за своего стола, там за ним прошёлся, как за трибуной, потирая руки. Он был в бодрости пафотической, сильно повышенной, не ридовой.

И не маскируясь и не прикрывая своего интереса, сразу же резковатым голосом задал в аудиторию свой главный вопрос:

— Господа! Правительству (сразу ото всего правительства!) — необходимо знать. Знать ваше мнение: годится ли Алексеев в Верховные Главнокомандующие?

И пытким взором уже считывал ответы с их лиц или предупреждал их не ошибиться в ответе!

Ого! — Половцова даже отбросило. — Ого! дело шло очень о серьёзном! Военный министр, у которого он работал, не говорил ему, что решается такое! Ого! (Ещё раньше чем себя проверить — а что ты об этом думаешь, — уловить: а что хотят услышать?)

Но самый пожилой, солидный и седоватый, был Энгельгардт — и Керенский ждал ответа от него.

Керенский то присаживался, то вскакивал, переходил, — в общем, больше стоял. Тем более и полковники вынуждались отвечать стон.

Энгельгардт, со своей размазанной манерой рассуждать, сперва сказал несколько никуда не клонящихся фраз. Лишь потом стало из них выступать, что Алексеев опытен как никто другой, уже полтора года начальником штаба, а фактически Верховным, — всякому другому пришлось бы сейчас долго осваиваться, а время не ждёт, весенние бои на носу. Он — очень трудолюбив, очень знающий. Все его уважают. Нет, в короткое время не может быть никакой лучшей кандидатуры.

Собственно, полковники в Военной комиссии между собой от нечего делать и часто болтали на эту тему: кто достоин быть Верховным (про себя примерая, кем достоин и каждый из них). И как-то всегда, действительно, приходили к тому, что хотя Алексеев никакими полководческими талантами не блещет, и внове, со стороны, даже трудно было придумать — зачем бы его так высоко возвышать, как это могло царю втесаться? — вместе с тем соглашались, что и уверенно заменять Алексеева тоже нечем. Ибо тогда б: или Рузским? или Брусиловым? Но оба — тонкие штучки, честолюбивы, несправедливы, а Брусилов ещё и хитёр как муха, и ненадёжен. А — решительно-превосходящих качеств всё равно ни у того, ни у другого нет. Так что менять — не стоит.

Так что Энгельгардт выражал сейчас общее их мнение. И от Якубовича и от Туманова поступает примерно то же.

Но — корнями волос Половцов чувствовал над собой крыльный ветер (как крыши чувствуют над собой срывающий ураган)! Вот — перед ним самый сильный человек, выдвинутый революцией, и он как бы не уже имеет замысел, даже уже движение, — и надо помочь ему в том направлении, и дать увлечь себя туда же! (Правда, тут и такая опасность: что Керенский уже намечает Брусилова — очень неблагосклонного к Половцову, — но почти не может быть, чтобы всего лишь такое решение было у Керенского, — для этого зачем бы ему всё начинать? Такое могло быть решено и в военном министерстве, Гучков тоже относился к Алексею очень крепя, скрипи...)

И тут помогла любознательность Половцова: хоть и мерзовато, но он почитывал газетку Совета депутатов, а там сегодня была речь Стеклова, что Ставка — гнездо контрреволюции и неверные генералы подлежат аресту. И хотя Керенский явно сторонился Совета, из которого произошёл, — но не мог или не отозваться или не опередить событий.

Подошла очередь Половцова — он почти вскочил в свою длину (не подобострастно, а просто от избытка джигитской силы) и сказал так:

— Таланты честности, порядочности, работоспособности и знание техники дела — от генерала Алексеева не отнять. Работник — отличный. И к нему все привыкли. Но, — сверлил Керенского горяще, — работник — это не полководец. Революционная армия в грозные часы нуждается в великом полководце!

И видел, что — попал! Что — так!!

Из неуспокоенных перебирающих рук своих правую — Керенский вдруг всулу на груди под борт френчика между двумя пуговицами — но тут же сам заметил, что слишком под Наполеона, и отдёргнул. Он весь был — живчик, он искал разрядки рукам, ногам, ему тесно было позади стола.

Ободовский, который, кажется, и не собирался высказываться, однако покивал:

— Боюсь, боюсь, что Алексееву не справиться в новых условиях. Да он — и не принимает их всей душой. Он и переворот-то встретил как-то... с оговорками.

— Благодарю вас, господа! — стоя, с торжественностью объявил Керенский, и вырвал свою руку, снова уже вставленную под борт. — Теперь... ответьте, пожалуйста, мне... — тут в его бодром голосе проявилась первая заминка, но что он спросил! — Как вы думаете? — И сам думал. И во взгляде и в позе его отделилось пренебрежение. — Как вы думаете: может ли Александр Иванович Гучков с успехом совмещать должности и военного и морского министра?

Ого!!! Ураган-таки срывал крышу, взжигали скрепы, вылетали гвозди: министр юстиции спрашивал у полковников только что не прямо: годен ли на что-нибудь их министр?

И — в полсекунды полёта взвесивши весь риск (а без риска не бывает и успеха!) и радостно чувствуя в себе, летящем, слитие двух дуг — и того, что правда он думал, и того, что надо было, — Половцов, как лучший в классе ученик, вскочил, всех опережая:

— Совместить — невозможная задача! Слишком много работы, разнообразия вопросов, лиц.

Он же не сказал, не сказал о своём шефе, чью экстраординарную тайную переписку вёл, что тот в о о б щ е не годен, — а только не может неестественно совмещать.

Как, видно, и надо было Керенскому.

И тот — тряхнул своей плоскосдавленной с боков головой — и не стал ожидать ответов от остальных.

Встреча была выиграна! — Половца замечен, запомнен.

Но она ещё продолжалась, всё более непринуждённо. Ещё были минуты до отхода финляндского поезда — и министр спрашивал ещё. Но — не об артиллерийских накоплениях, не о группировке войск, не о дислокациях, — вообще, военные интересы его на этом закончились. А спрашивал он, уже выйдя ближе к ним и откидисто сидя посреди комнаты в кресле, то улыбаясь (неприятно обнажая верхний ряд зубов), то громко хохоча, — разные подробности о членах царской фамилии, кто что знает, — просто как весёлая лёгкая беседа. Спрашивал, и не дослушивал, сам перебивал.

Оказалось, министр юстиции поразительно мало знает о династии и даже трёх юных из шести Константиновичей считал опасными реакционерами. И о ком только он был самого наилучшего мнения — это о Михаиле Александровиче: как корректен! как благороден! не стал держаться за корону!

— Вот думаю, господа, на днях съездить посмотреть и самого царя.

ШЕСТНАДЦАТОЕ МАРТА ЧЕТВЕРГ

618

Это Саша все недели бескорыстно делал только революцию. Это он — мучился, к кому примкнуть, с кем соединиться, за кем идти, вот возвращался в социал-демократию, и теперь вместе с Рыссом носился с объединением её ветвей. А обыватели тем временем вернулись к своей обычной жизни, понимая и новую эпоху вполне по-старому, и опять у них вечерами играли граммофоны. И проходя по лестнице мимо двери второго этажа, чуть не каждый раз слышал Саша на площадке:

Что ты — одна всю жизнь.

Что ты — одна любовь,

Что нет любви другой.

И выберут же пластинку. Эта песенка прохватывала Сашу на прострел, и даже до обиды: точно как про него. С какой непоинтной уязвостью, с каким отчаянным постоянством, почему он так привязался к одной, к одной, которую и видел мало, и отдалась она, отчуждилась, — а Сашу растравило ткнуло всё только к ней, а не к каким другим, кто с пониманием, ясным взглядом, ясной речью. Сам Саша был ясен, прям, отчётлив, и всё замудро-запутанное его обычно отталкивало, — и только одна Еленька, с её смутностью, нечёткостью, привлекала необоримо. И Саша отсечь не мог, и хуже того — не хотел.

Врезалось, как она сказала ему последний раз, на своих именинах: «Я — плохая! так и знай: я могу изменять!» На что ещё надеяться, если девушка сама о себе так говорит?

А тянуло, тнуло, всё равно.

Минувшие дни он настойчиво звонил ей по телефону, требун встретиться: теперь спохватился и понимал, что за эти недели мог и совсем её упустить. Но знал он свою примоту и силу: как повилика, как горох не могут расти сами, но должны обвиваться на твёрдом стебле, — так и Еленька, сама того не понимая, нуждалась в нём, чтобы выжить, определиться, да ещё в такое шаткое революционное время. Пусть не понимала она, но Саша понимал за двоих, до чего они друг другу нужны!

Он телефоном искал её с воскресного вечера, как загляделся на покорность Вероники Матвею. Он хотел её видеть тогда же немедленно, — в понедельник? во вторник? — но два вечера подряд не заставал её звонком, потом застал днём, предлагал придти к ней в этот же вечер — она сказала, что занята. И, сколько можно по телефону угадать тон, — никакой обречённости не отозвалось в её голосе, не соскучилась.

Но Саша не дал движения гордости, не покинул трубку, а настаивал и даже просился на свидание: только увидеть её нужно, лицом к лицу, а там напорным убеждением он её оборет! Чего в ней нет — это стойкости постоянства.

А она всё отказывалась. Да неужели в с е вечера заняты? Все вечера. Но тогда днём, ведь курсов нет сейчас. (От Вероники знал, что Еленька не мелькает и на курсовых сходках.)

Нет, оттягивала. Нет. Потом. Неделькой позже.

А сегодня проснулся — и толкнуло: да просто пойти вот сейчас, утром, не звоня, не предупреждая! Врасплох только её и застать. Иначе он не добьётся.

Вскочив от постельной неги, завтракая, собираясь, волнуясь, — испытывал и решимость.

Все эти месяцы, с ноября, он ошибался, что видел её урывками, откладывал на течение времени. Так — её не удержать. Её надо брать штурмом.

И немудряще, просто — жениться на ней. А почему нет? Свобода личная ему не нужна ни для кого другой, свою свободу — сладко отдать Еленьке. И тогда остальная его свобода наилучше пойдёт на дело. Но — чтоб Елочку иметь под рукой. Бойцовских качеств она ему не придаст — но бойцовских качеств у него и своих отбавляй. Скорей, она будет его заволакивать, отволакивать — но этого и хотелось, как лучшей в мире игры. Как тёмной влаги к ясному дню. Нет, хорошо ему будет с ней, хорошо! Не зря он так пригляделся к ней, с первого же раза, хотя всегда казалось своим, что она ему не пара.

Шёл к ней — и зашёл в цветочный магазин. Этого вида торговли революция не прервала, и толпа не громила этих магазинов, и цветы откуда-то всё время поступали. Социал-демократу, да даже и офицеру-республиканцу сейчас идти с букетом цветов было смешно — но тут уже недалеко. А именно с цветами, он чувствовал, нужно сейчас. Насобрали ему каких-то в хороший букет, с перевесом красного.

Да, ему приятно было так: войти — и рассыпать эти цветы у её ног, если б, опять же, не смешно.

Преосходство силы, энергии давало ему такую возможность: быть с Еленькой нежным, и даже поклоняться.

Кроме ликониной матери и ещё какие-то родственники с ними жили, но приходящие молодые люди почти не видели взрослых. Сейчас — прислуга, уже введя Сашу а промежуточную комнату, при нём постучала к Ликоне в дверь.

И Еленька появилась на пороге — в платье, не по-утреннему праздничном, и сама — сияющая, даже воспалённая от сияния.

Саша — вздрогнул, не ожидая такой встречи.

И тут же понял: да это — не к нему?

Её взгляд был готово уставлен — но это пока она не осознала его появления.

А вот — поняла.

И шагнула вперёд. В этой просторной комнате она уже как-то принимала его — но как раз сейчас тут закатан был ковёр, мылся пол.

Ликони повела головой, как лошадка по несвободе, — и отступила. И головой пригласила войти в свою комнату. Ещё не сказала слова никакого — ни радости, ни упрёка, зачем же он так внезапно, и утром.

В ней так много было сейчас необычного, Саша не успевал асего охватить: что же? Изумлённая? — но и отсутствующая. Глаза — как воспалённые от бессонницы, но ничуть не утомлённый вид. А одета, хотя утро, в прекрасное вечернее платье — узкое, алое, но с синим пробрызгом или отливом. Почему? Примеряла?

Саша забирал её глазами, и не пытаясь скрывать восхищение. Это не только была — та, к кому он шёл, но и выше! и прекрасней! Как она изменилась за эти две недели! — вдвое? втрое? Покрасивела? — это мало сказать. Лицом её завладевало победное шествие красоты.

Не шествие — нашествие! Поселилось — и нескоро уйдёт.

Он подал ей букет — не галантно, не гостинию, а двумя руками, выбросив их вперёд — молододружески, восхищённо.

И — амыграл. Не могла ж она просто так бросить букет: надо обрезать, в вазу поставить, или прислуга сделает. Но — вышла.

А он — остался в её комнате один. Оглядывался во все стороны, стоя.

Ощущение было, как если б он обеими руками погрузился в саму Ликоню — под локти её, или под рукава, или под локони чёрные на плечах. Не только дразнящий запах этой комнаты — духи и ещё что-то, но разбросанные, разложенные, застигнутые как они есть предметы и приметы её жизни, на стене в овале силуэт чёрной тушью, ещё декорации театральных спектаклей — фу-у, голова закруживалась, пока он поворачивался в полный круг, — до чего ж этот мир явился ему необходим, желанен — и почему? Такой инородный — а захватил бы его и весь в один загреб вместе с Еленькой.

Хотя понимал он, понимал, что ему и всегда, а особенно в нынешней роли, — никак не шло бы таскаться с ней по каким-нибудь «Бродячим собакам», приютам, притонам взбредшей театральной труппы.

Вошла, неся букет уже в вазе. Как тяжёлое, как через усилие. Поставила на столик.

Она не только, кажется, не сказала ему ещё ни слова? но и голову несла как-то мимо, но и полными глазами не посмотрела прямо, кроме того первого взгляда на пороге, непонимающего. Бывала она равнодушной, полуинимательной, насмешливой, — но, кажется, никогда такой чужой.

А он — никогда ещё не был так остро прохвачен ею, пронят, окружён, никогда так не

желал её! И ещё будоражило это вечернее платье поутру. Шла она на дневной спектакль? — так будни.

— Ты куда-нибудь уходишь? Генеральная репетиция? — спросил он, имен в аиду как тогда с «Маскарадом».

Но этот вопрос и заставил её поднять полный взгляд к нему в глаза. Мгновение смотрела прямо-прямо, как он и хотел. Не только глаза её, тёмно-тёмно ореховые, без близкого понятного поверхностного выражения, сосредоточенные в себе, — а и ресницы как будто стугнулись, маленький рот не был детско-подушечным, как всегда, а будто развился.

Провела одним плечом беспонтиливо:

— Репетиция?

А поняв — удивлённо и как бы с гордостью:

— Нет.

Не понял тона. Разве это уже её не увлекает?

— Но не на курсы же? — почему-то возразил, бессмысленно.

— На курсы? — вовсе удивилась она. И верхняя губа её, вот чудо, удлинённая, — повелась как-то вбок, не с сожалением, но... — Так их же нет теперь.

— Ну как, — обиделся он за революцию, но механически. — Сходки. Общественная работа. Вероника, многие ходят.

Она колебнула бровями, как не веря. Колебнула плечом. И как о потерянном:

— Да нет, уж какие теперь курсы.

Трёх недель не прошло от вечера её именин — и как изменилась! Конечно, и Саша изменился, и все, исторически прошла эпоха, но...

— Ты — очень изменилась! — выговорил ей своё удивление, но и восхищение.

— Ты — тоже, — провела она взглядом.

А! Всё же — видит. Заметила. Хотел бы услышать, что — изменился к лучшему, боевому. Но Еленька какан-то невнятная была: посмотрела, сказала — внятно, а тут же — уколобнулась головой, ушла взглядом.

Они всё стояли.

Села на маленький стул без спинки, взяла от туалета. Ему указала на кресло:

— Садись.

В том тоне, что: раз уж пришёл.

Он сел и теперь уже не мог смотреть во все стороны, а определился его обзор так: сама Еленька (спиной к окну, уже в глаза её не взглядишь), проход к окну — а по другую сторону её кровать. Под оливковым покрывалом.

Когда он шёл сюда, он думал: для разговора будет ей рассказывать. Во сколько ярком, необычном он участвовал за эти две недели, она наверняка ничего такого не представляет. А этим рассказом и дать ей почувствовать, что он — герой наставшего времени, из тех, кто и дальше поведёт. Это — должна она ощутить.

Но так не в лад, в случайностях пошла сразу встреча, короткими недоумениями, так видимо он пришёл некстати.

Да Ликоня всё ещё казалась неменяемой, отсутствующей. Такого приёма он не ждал.

И это вечернее платье с раннего утра...

— Так ты, всё-таки, идёшь куда-нибудь?

— Нет, — тихо.

А он, не дождавшись «нет», ещё разогнался:

— Я тебя задерживаю?

— Н-нет, — не так уверенно.

Но уж как ни пришёл, а уйти он не мог без серьёзного. Надо было всё равно — говорить. А говорить — Саша умел только напрямую, не хитря.

— Почему ты ко мне так переменялась, Еленька? — Он сидел прямо против окна, и его-то она видела хорошо. Вместе с этим вопросом он запрокинул голову.

Она повела одно плечо немного вперёд, другое назад. И так же рассеянно:

— Я к тебе — не переменялась.

— Нет, соберись! Нет, ты меня даже не слышишь. Как же не переменялась? Ты такая не была никогда.

Да никакого б ему ответа, никакого объяснения, а — если б только можно было чуть притянуть её к себе, как было раза два зимой, — и никогда не хотелось этого так закружиться, затажно. Ещё из-за этого платья... Зря он дал себя усадить: усаженные — как привязанные к своим местам. А пока оба стояли — ещё естественно было бы подойти.

Вдруг она странным движением, как умываясь, наложила соединённые маленькие ладони на лоб и медленно, медленно провела по лицу вниз. И оттуда вышла уже как будто с вернувшимся смыслом:

— А что? И когда? — раздельно спрашивала, — ты знал когда-нибудь? о моей жизни? С тех пор, как катались на лодке в белую ночь?

Этой белой ночью — полоснуло его! не только вспомнил перламутровую воду и незапахившую заревую розовость за Петропавловкой, и саму Еленьку на носу — в белом, а затемнённую при убывом свете, вот как сейчас, — не только вспомнил, а понял: что сразу

тогда, в тот момент, в ту ночь — она была вся для него открыта, — а он не внял, не спешил, не принял, — ещё вольная долгость простиралась впереди, ещё каза-лось... А неполных три года с тех пор и даже последние месяцы в Петрограде, когда встречались, это уже не сближение было. После той лодочной прогулки — отдаление.

А сейчас, в тёмно-огненном платье, — она сидела насколько расцветнее, взрослей и красивее, чем тогда.

А сейчас, поняв, и со своим принесённым решением, и готовый гигантским шагом перешагнуть назад всё то, что упустил, испытывая горячее частое дыхание, от которого мог переломиться голос, — выклоняясь из кресла вперёд, сколько оно допускало:

— Еленька! Я, правда, знал о тебе мало. А ты сама никогда не раскрываешься. А я всегда был занят каким-то делом. И — война же! И на эти последние недели я совсем тебя не покинул, но был в таком вихре — могу тебе рассказать. На самом деле я о тебе никогда не забывал, ты во мне — сердцевина, косточка, в самой моей глубине и всегда со мной, — и я сегодня пришёл к тебе, чтобы...

Театрально, смешно, никогда б не подумал — а хотелось стать перед ней на колени — как раз бы шаг вперёд, а дальше — головой в её колени.

Но — не ссунулся так, конечно. Однако сидел на краешке кресла, весь подавшись к ней:

— Я пришёл к тебе — знаешь, как раньше говорили: моя шпага и рука! Я пришёл — твою жизнь охранить, а свою — предложить тебе! Я, честное слово... — (он торжественно хотел снять, чтобы не смешно) — я просто сам удивляюсь, до чего я, правда, без тебя не могу. И до чего я тебе предан.

Он не помнил себя, когда бы говорил так.

А в ней — ничего не проявилось. Не качнулась. Кажется — и не покраснела. Не переменяла положенья рук.

И вдруг догадка толкнула его. Он всё собирался выложить своё, а не подумал о ней как следует. Всмотрелся:

— Скажи: тебе плохо? У тебя горе?

И теперь естественно встал, переступил к ней, положил руку на любимые её волосы, чёрную гладь, спадающую по краям лба коротко, а дальше длинно.

Но она не усидела под его рукой, а тоже встала. И высвободилась.

— Спасибо. — Улыбнулась. — Но беды у меня нет. Спасибо.

Но это не был ответ на всё. Он сказал ей — больше. А что скажет она — на всё?

Теперь Ликоня стояла так, что оконный свет упал на её лицо — и Саша разглядел: да это — не горе было, не потеряность. А — вожжённость, ни к чему не внятное — это было на лице её — счастье???

Он — никогда такого не видел!!

И — ещё б не догадался, если б её не любил.

— Ты... ты... — взял он её за руки с упреком, срываясь дыханием вгоряче, — ты...

И вот теперь глаза её наполнились смыслом. Полноглубные, они говорили: да.

Как сожжённое дерево, недожжённый столб, Саша стоял, недоумевающий. Не принимая. Это было, значит, так — но этого не должно было быть.

Он никак этого не ожидал!

Но так и должно было случиться? Никогда она ему не давалась. Послана на мученья.

Вдруг она подняла свою маленькую руку и провела по лбу его, поправляя сбившийся волос. Ласково, сожалительно. Но почти как мать.

И в этом касании была её власть над ним.

А он стоял всё тем же недоумелым столбом.

Стоял неразумно, но образумивался. Но в трезвую его голову возвращался смысл, не замкнутый этой девичьей беззащитной комнатой.

Краснокрылый Смысл, который носился над улицами, над городами.

— Знаешь, — очуивался он. И голова его опять выходила в запрокид, но не такой гордый, как недавно. — Было бы время другое, но в такое... Ох, ещё я тебе понадобится. В тихий уголок тебя не уведут — потому что тихих уголков не будет скоро. Я — так предчувствую, что я тебе понадобится. Что ты ещё...

Её лицо так близко было — а не поцелуешь. И он только вбирал её глазами, несогласный отдать и неспособный уже никогда оторваться. Нет, это он был старше её, вот за этот месяц.

— Еленька, я предложил тебе, и это остаётся так. И когда тебе плохо будет — зови.

Петроград выглядел как пьяница наутро после попойки: те нахально-весёлые уличные лица первых революционных дней теперь сменились к хмурым и озлобленно вызывающим. А самому городу — ещё хуже: запущен, грязен, всё обнажается при оттепели, и даже на Каменноостровском можно набрать мокрого снега в ботинки.

Да не столько-то ходила Ольга Орестовна по улицам, сколько прочтёшь в газетах или услышишь из разговоров коллег.

Вострубили, что теперь завоеваны всеобщие права, ничьи не будут нарушены иначе, как по суду, — и держали в тюрьмах 4 тысячи случайно задержанных, а городских и жандармов административно высылали из столиц: «Но это в интересах свободы. Они — опасный контрреволюционный элемент, и мы должны их обезвредить.» Все газеты раздували какую-то несчастную перехваченную записку великой княгини Марии Павловны из Кисловодска к её отставленному сыну, — государственный заговор из Кисловодска! Записку взялся доставить командующий гвардией — и его шумно арестовали.

«Русская воля» Леонида Андреева кинулась напечатать, что в дни революции на броненосце «Слава» команда была выстроена на борту под наведенными пулемётами — и им приказали несколько часов безостановочно петь «Боже, царя храни», — и вот только почему в Саеборге возникли эксцессы. И редакторы профессорских газет перепечатывали эту чушь до тех пор, пока не дошло до малограмотных матросов, и судовой комитет возмутился: ничего подобного не было, оскорбление чести нашего корабля!

Вот это и был сегодняшний букет: нашатырное всеобщее ликование о наступивших безграничных свободах, захлёб о благородстве союзников (английские войска на подступах к турецкому Иерусалиму объявлялись «последними крестоносцами»), визг, что Вильгельм хочет восстановить на троне Николая, и безоглядная клевета на не имеющих права ответить, атмосфера оготления, в которой нельзя и предположительно заикнуться, что какой-нибудь царский министр был не прохвост. Превыше всего гремело и пугало сообщение Чрезвычайной Следственной Комиссии: уже идёт разборка материалов. «Но руководители Комиссии отнюдь не намерены придавать работам академический характер — и стремятся в самом непродолжительном времени дать удовлетворение взволнованной народной совести путём передачи на рассмотрение суда присяжных заседателей главнейших преступных деятелей старого режима.»

Это — грозно звучало трубами, ведущими на эшафот, повторяло громы Французской революции, и немели все возможные возражатели и защитники. Да что там, 16 крупных сановников, среди них Бурдуков, близкий к дворцовым кругам, князь Андроников, бывший начальник Охранного отделения Глобачев и недавний петроградский градоначальник Балк, подали заявление из-под ареста, что хотят принести присягу новому строю! (Лишь высмеянный и оклеветанный царь — через всю муть революции прошёл без единого неблагородного или нецарственного жеста.)

Газеты крупно печатали: «Чёрная сотня за работой, происки черносотенных волков: хотят использовать великое завоевание народа — свободное голосование — но голосовать за монархию предательство. Оказывается, кто-то распространяет листовки: используем Учредительное Собрание для всенародного утверждения монархии; при монархии наши крестьяне были наделены землёй лучше, чем западноевропейские, и у нас бесплатные — судопроизводство, лечение и начальное обучение. По сути этих доводов газетам возразить нечего, а только фыркали «смешно говорить» — и дальше городили на «союзников тех, кто прятался на крышах с пулемётами». Но мало того, что никто не прятался на крышах с пулемётами, — а в чём же тогда смысл Учредительного Собрания, и какой же оставлен ему выбор?

Хотя в чудо такое — поворот Учредительного Собрания к монархии, Ольга Орестовна уже верить не могла. Если даже простая смена царей, отца и сына, Александра III на Николая II, создала опустито новую эпоху, — то чего ждать, когда оборвалось в с ё? Когда очередной член династии неразумно выпустил трон — никому? в Никуда? И это — при неграмотном, политически невинном народе — и вот при таком потерявшемся государственном водительстве.

Да сама себе не хотела Андозерская все годы признаваться — но ведь и всё царствование Николая II монархическое чувство выветривалось в миллионах сознаний, от 1894 и всё вниз. Кто хотел полным чувством любить царя — обречён был на ежедневное умирание, и даже всякое его публичное появление скорее ранило и оскорбляло. А кто мог серьёзно праздновать — 4 дня рождения (Государя, наследника и двух императриц), 4 тезоименитства, день вступления на престол да день чудесного спасения, — 10 дней в году? При светлой душе Государя, при его чистых намерениях, — как будто изощрялся он вести государственную власть — только и только к ослаблению. Не потому пала монархия, что произошла революция, — а революция произошла потому, что бескрайне ослабла монархия.

И теперь мы можем брести — только в Погибель.

Но и к погибели можно идти по-разному. Образованное русское общество — толпилось к ней глупо, некрасиво и подло. Все как оглохли, как ослепли, перестали различать свободу и неволю. Ещё недавно какая была интеллигенция непримиримая, гневалась, выходила из себя по каждому промаху власти, просто звали, чтобы поскорей и пострашней грянула гроза, — и что ж вот все так сразу обаршились?

А между тем и надо было бы сейчас всего лишь несколько громких голосов вразрез

с улицей — но голосов, известных России, — и вся эта нетерпимость и оголтелость атмосферы могли быть смягчены мгновенно.

Всего несколько — четыре, три, даже два крупных голоса! — но не оказалось на Руси ни одного такого мыслителя, ни такого писателя, ни таких художников, ни таких профессоров, ни таких церковных иерархов. Каково гремели и разоблачали раньше! — а теперь замолкли все или тянули в унисон. Мусульмане из Государственной Думы имели смелость отбрызнуть: что законодательные учреждения не знакомы с основами мусульманской жизни — и не вмешивайтесь предлагать и преобразовывать. А православные на Руси не смели так ответить — да и где бы им ответить? — они были окружены насмешливым обществом.

Но Ольде ли Орестовне было кого-то упрекать, если она и в своём тесном учебном кругу не смела высказаться громко, а тем более перед слушательницами? Занятия возобновлялись на революционных основаниях — в зависимости от голосовании слушателей. И, например, в Совет Университета теперь будут входить и студенты и сторожа. (Впрочем, университет оказался занят комиссариатами, продовольственными пунктами, и посейчас не готов к занятиям.) Тот же революционный ажиотаж охватил и ведущих профессоров. Профессор Гримм стал товарищем министра просвещения и ведал делами высшей школы. Теперь огулом — и в трёхдневный срок — увольнялись все профессора, занявшие пост назначением, а не выборами, — хотя бы были и талантливые специалисты. Так уволили известного глазника профессора Филатова. (Андозерская в своё время прошла по выборам, но сейчас в министерстве просвещения спешили «упростить» систему оставления за штатами так называемых «реакционных» профессоров — и теперь в короткие месяцы она могла быть убрана от преподавания.) Профессор Булич уговаривал коллег искать новые формы общения со слушательницами, сам же с профессором Гревсом спешил отдать визит бывшему довольно вздорному, зато либеральному министру Игнатьеву. Карсавин и Берднєв уже записались составлять Историю Освобождения России — ещё и освобождения не видели, а уже составлять! Да бердяистаовали, скоропалительно, безответственно, едва не все светила кряду. По Достоевскому: «им сперва республика, а потом отечество». В библиотеке Академии Художеств открывалось общество памяти декабристов — и вместе с революционерами там заседали Репин, Беклемишев, Горький, начинали всенародную подписку на памятник и звали профессоров шире ознакомлять народные массы с идеями декабристов. До чего это всё было противно, и до чего не в ту сторону беспокойств кидались все!

Но что ещё отдельно пронизала Андозерская в иных своих коллегах-демократах: они на самом деле несли только тонкий налёт эгалитарных идей, — а а тайниках сознания сохранили девиз умственной гордости, интеллектуального аристократизма, и — на самом деле — презрение к черни. А вот — выслуживались.

В перерыве одного заседания Ольга Орестовна наденлась отвести душу с Кареевым. Знала она, как он всегда терпеть не мог эти студенческие политические забастовки, отмены занятий, неперечислимые революционные годовщины, и сейчас страдал, что Психоневрологический даже не собирался возобновить занятия этой весной, но весь отдавался революционному мотанию. Заговорила — и сразу же не нашла языка: не революцию Кареев винил, а, якобы извечную, русскую праздность, изобилие религиозных праздников прежде, которые всегда и мешали нам накопить культурные и материальные ценности. И вот эти навыки рабских времён России теперь мол механически переносятся в Россию новую.

Ольда Орестовна оледенела. И этот — был из лучших наших профессоров и лучших знатоков западных революций. Во всём Петербурге не оставалось у неё никого, с кем говорить откровенно, — ни из коллег, ни из студентов. Приходилось — с разломной измученной головой — даже плакать, уже и не думала, что умеет.

А вот это. Какое-то предчувствие поселилось в ней. И даже ясное. Что именно этот гибельный ход, передача, перестановка всего сущего, — именно этот ход и принесёт ей Георгия. Сами события в нарастающем хаосе — соединят их. Прочно, и без борьбы.

Вот — так почему-то.

Всё сползает к гибели — а жизни людей ведь продолжают?

И Россия: погибает, да. Но: и не может же вовсе погибнуть такая огромная страна с недрахным народом!

Значит: какой-то же будет путь развития?

Но — отказывал глаз различить его...

Ни в Англии, ни во Франции нет у женщин избирательного права — так тем более мы должны быть впереди! В это воскресенье начнётся с грандиозного митинга в городской думе, потом будет величественное шествие к Таврическому дворцу, сплошь женское, с требованием, чтобы женщины участвовали в выборах в Учредительное Собрание, и даже могли бы становиться министрами. Впереди — кортеж амазонок из сестёр милосердия,

Вера Фигнер в дворцовом экипаже, союзы конторщиц, продавщиц, перед каждым — свой духовой оркестр. Вероника, конечно, собиралась идти, и уговаривала тётей. У Таврического будут речи, а потом назад, к Казанскому собору, — на это уйдёт всё воскресенье, и на виду у всего города, это будет просто сказка. (Хотя, увы, сказка кончается, и с понедельника уже никак не миновать курсов.)

Тётя Агнесса кривила губы с папиросой:

— Не слишком надейтесь на Временное правительство, не намного оно лучше царского: сейчас, скажут, не такое время, чтоб уравнивать всех в правах, вот подождите, установится спокойствие. А когда установится спокойствие — так тем более, зачем его нарушать? Всякое государство всегда несправедливо к женщине. У нас только не отнимали права умирать за свободу наравне с лучшими мужчинами.

— Ах, — ни к ладу пригорюнилась тётя Адалия, — только тогда будет женщина равна, когда не будут мужчине всё прощать, а за внебрачного ребёнка клеймить одну женщину.

Тётя Агнесса сердито расхаживала:

— И на Учредительное Собрание тоже не слишком надейтесь. Ну, какой сейчас самый предельный лозунг? «Да здравствует демократическая республика». Мало! — отсекала тётя Агнесса огненной папиросой. — Слабый лозунг!

— Ой! — всплеснула Адалия. — Ну что ты говоришь? Демократическая республика — мало? Да ни о чём другом мечтать мы...

— А что же, тётя Неся?

Остановилась:

— Республика должна быть — трудовая. Весь выработанный продукт должен выдаваться тем, кто его выработал. Ну, за вычетом затрат на производство. Рабочий должен получать обратно всё, что он сделал. Вот это — равенство! Тут сходятся и максималисты, и анархисты.

Счастлива для двух её верностей. И на днях она с группой максималистов-пекарей ходила по Архиерейской и Каменноостровскому — «Да здравствует Трудовая республика», «Да здравствует Всемирная Федерация народов в трудовом братстве!»

— А всё ж, пойдём с нами Бабушку встречать, она великая подвижница.

Тётя Агнесса упиралась: что не столько уж Брешковская и мук вынесла, жила и на воле, и в эмиграции, а сейчас всего лишь с поселением. А вот прах Лаврова перенести бы с чужбины, это да. И почему Кропоткина не называют Дедушкой русской революции, это было бы более справедливо, — и пойдёт ли Адалия встречать Кропоткина?

Тётя Адалия обещала, что пойдёт. Согласилась и тётя Агнесса идти сегодня. Всё-таки: тех, кто побывал на каторге, она уважала всех.

И пошла Вероника с двумя тётями, обеих взяв под ручку.

Снова заполнены были дворы и залы Николаевского вокзала — впрочем, сегодня не так густо, как первый неудачный раз. Однако множество было учащейся смеющейся молодёжи. Были и цветы, но в этот раз тоже поменьше. Ждали Керейского — но он всё не ехал, вот так раз! Зато был оркестр, и он играл.

А поезд — опять задерживался! И ожидающие оживлённо топтались, переходили, обменивались всеми видами городских новостей, а среди них, конечно, и слухами и сплетнями, снижавшими общую торжественную возвышенность. Сплетни были — больше про царскую семью: что Вырубова, оказывается, вызывала у наследника искусственные кровотечения; что, по рассказу лейб-хирурга Фёдорова, императрица, выезжая в Ставку, именно с Вырубовой занималась там до поздней ночи государственными делами, и давали царю указания. А слухи — даже обескураживающие: что из Финляндии будут высылать всех русских, как уже не пускают евреев; что в Петрограде будут отбирать у граждан не только огнестрельное оружие, но и все ножи; что какие-то три полка потребовали возвращения Николая Николаевича в Верховные; что вовремя арестованный Гучковым штаб походного атамана замыслил поход казаков на Петроград с баллонами удушливых газов.

И хотя многие тут, передавая эти новости, сами же каждый раз оговаривались, что нужен к ним скептицизм, но и Вероника не находила в себе стойкости — удержаться и не передавать узнанное дальше, оно властно протекало через все уши, хотя и омрачая многих. Так и тётушки — выслушивали подоспевшие новости, отплёвывались, и хотели бы не размениваться настроением — и разменивались.

А самый пугающий слух был: что в поленищах, многосложенных на Марсовом поле, приготовлены пулемёты и будут обстреливать толпу по время похорон жертв. Просто руки опускались от такого слуха! — ужасно было представить это беззащитное побоище воодушевлённой толпы. И где же были власти? Неужели не было у них досмотра и силы, чтоб эти пулемёты искоренить заранее?

Где были власти и что они знали — действительно следовало изумляться. Повалили к поезду, залили перроны, вышел вперёд оркестр, поднялись цветы над головами, забились сердца, готовились выкрики в грудях — и вдруг — и вдруг! — никакой Бабушки в поезде опять не оказалось! Обыкновенные пассажиры выходили, а Бабушка нет!

Ещё не сразу это распространилось, ещё задние не хотели верить передним, — разочарование просто немыслимое! просто за границами всякого понимания! издевательство,

какого и царские чиновники не допускали! Да это и есть провокация тёмных сил, это и есть замысел каких-то злобных реакционеров! Как же так? если известно было — теперь стало и всем известно — что Бабушка ещё, оказывается, не доехала до Самары, что она везде там выступает по гарнизонам, — то каким же образом об этом не узнали и не известили всех заранее? как допустили встречу? как же можно так играть нервами и людьми, и второй уже раз?

Просто рвать и метать хотелось всем от досады. Тётя Агнесса прямо бешеная стала. Да такой массе публики и обидно было — просто так разойтись, потерянный день, кого-нибудь другого бы встретить, что ли!.. Но никого такого заметного в поезде не было.

И оркестр...

И тут кто-то придумал: так вот с оркестром теперь и пойдём все по Невскому!

Замечательная идея! Так — и все ходили, все эти дни и все войска. И — вывалила публика на Знаменскую площадь, кое-как разобралась в колонну — и пошла, пошла по середине Невского, уже кое-как отгребённого от расквашенного снега, но по несколотову неровному льду, а где и почвакивая.

И оркестр играл непрерывно. И трамваи останавливались с почтением.

И в этом торжественном шествии с цветами, и когда Невский глядел с тротуаров, — настроение у всех, а особенно неунывной молодёжи, снова поднялось: ужасно это приятно, шагать колонной под музыку, стараясь ногой попадать в такт, и ощущая себя боевыми силами революции. (Говорили: примкнул к колонне и известный эсер Камков, только что приехавший.)

Музыка революции! Мы идём! Мы победим! Будущее — в наших руках!

621"

(по западной прессе)

АНГЛИЯ

ПРИВЕТСТВИЕ ЛЛОЙД ДЖОРДЖА. «...Высоко ценя лояльное и решительное содействие, которое мы получали от бывшего императора и русской армии в течение двух с половиной лет, тем не менее верю, что революция... есть великая услуга, оказанная в принципе, из-за которого союзники борются...»

...Печать и общество с жгучим удовлетворением приветствуют государственную мудрость деятелей русской революции...

...Английские либералы осторожно приветствуют своих русских единомышленников... Ожидательная победа европейской демократии над отмершими авторитарными принципами... Перед войной либералы опасались, что англо-русское соглашение нанесёт вред делу свободы. Но теперь Россия бесповоротно вступила в семью свободных наций...

РУССКАЯ ПОБЕДА. Трудно представить себе более презренную фигуру, которая заслуживала бы меньше сочувствия, чем свергнутый царь... Равьше сложность была в том, что, побежден Германия, нельзя было допустить победы России. Теперь — иное дело. Иными словами, русская революция уже принесла вам половину тех плодов, которые мы наделись получить в результате победы... («Нью Стрейтсмен», 11 марта)

Английские социалисты глубоко обрадованы... Все демократические нации Европы с чувством глубокого удивления наблюдают за быстротой произошедшего переворота... Мы опасаемся лишь одного: чтоб не возникла разогласия между лагерями русской общности...

ПОЗИЦИЯ ЕВРЕЕВ. Министру иностранных дел был задан в палате общин вопрос, известно ли ему, какие несправедливости совершены в отношении евреев в России, и собирается ли он консультироваться с русским правительством относительно гарантий на будущее и возмещений за прошлое русским евреям, с тем чтобы поощрить их добровольное возвращение на родину...

(«Таймс», 10 марта)

ТЕЛЕГРАММА ГЕРБЕРТА УЭЛЛЕСА. «...Я всегда говорил: самодержавие — это слабость, которую Россия преодолевает. Вест о прыжке от самодержавия к демократической республике изумила Западную Европу. Это — знамение пламенной надежды, оно в самом деле звучит словом Божиим в ушах всех свободомыслящих людей по всему земному шару. Россия — предвестница мировой Федерации республик...»

ТЕЛЕГРАММА БЕРНАРДА ШОУ. «...Наш союз с царём в свободомыслящих кругах считался позором. Мы все знали, что правительство царя в десять раз хуже правительства кайзера, что мы соединились с самым варварским самодержавием, чтобы раздавить самую культурную державу в мире. Мы ничего не могли ответить, кроме того что русская армия нам нужна в качестве парового катка. Отращивание к русскому правительству делалось глубоким жизненным восторгом всех любящих свободу. ...Огромное чувство восторга, с которым встретили русскую революцию принята в Ан-

глин... — мы уже не соучастники работорговцев. Наконец мы воюем с чистыми руками! Германским войскам теперь придётся на опыте ощутить, что может сделать революционная армия свободной России...»

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗНАМЕНИТОГО ПЕВЦА. Г-н Шляппин, великий русский певец, который, как известно, вышел из ввердов и всё ещё привлекает к прогрессивным кругам, дал интересное интервью:

«Я призван, и дрожал во время первых дней революции: будет ли она снова подавлена или осуществится прекрасный мечтатель русского ввердова, за которую столько друзей было сослано в Сибирь? Можете себе представить мою радость, когда я узнал, что Волынский полк стал на сторону ввердова? Как великие победы! Как блестящая революция! Как хорошо она руководилась!»

(«Дейли Телеграф»)

...Русская революция приведет к энергичному и упорному продолжению войны. Единственный опасность состоит в выступлении ревкций...

(«Дейли Ньюс»)

...Генералы должны поддерживать министров, охраняющих конституцию. Надеемся, что никаких изменений в желании выиграть войну...

(«Дейли Кроникл»)

Лондон. Грандиозный митинг в Альберт-холле в честь обновлённой России... Призыв радикалов к новой России о помощи в борьбе с виглийской реакцией... Один из самых выдающихся моментов митинга — полнота горького свержения речь известного дентеля Звигвилля, играющего руководящую роль в кругах виглийских евреев...

...На митинге в Кингс-холле... приветствие князя Кропоткина... выступление эмигранта Зундлевича... Приглашено послание Комитета по защите иностранных евреев: «Евреи надеются, что русская демократия разделит приобретенные свободы со столь долго гонимой еврейской расой и даст ныне евреям возможность жить в России и пользоваться своей собственной национальной жизнью. Так как и сейчас ходят слухи о погромах, то мы надеемся, что вы посоветуете истинным друзьям России охранить жизнь евреев и навсегда разрешить трагические еврейские задачи в России.»

Вопстипу великое событие! Своя отвратительная тиранин, какую только знает современный мир, я которая столько лет противостояла любым попыткам просвещения и прогресса, повержена во прах... Наконец эта долгая-долгая ночь для русских евреев заканчивается... Последствия установления свободы в России невозможно охватить умом. Она дойдут до всех концов земли. Они будут влиять на историю будущих поколений. Мы стоим лишь у начала революции, всех последствий являясь я не вычислить, ни предугадать.

(«Джуиш Кроникл», 10 марта)

ФРАНЦИЯ

...В декларации нового французского правительства... Что учреждения новой России будут развиваться по принципам Великой Французской революции — встречаю бурными аплодисментами...

Между Великой Французской революцией и русской — поразительный параллелизм. Для Германии победа русской демократии страшней, чем крупное проигранное сражение. Это — величайшая из побед, одержанных союзниками.

...Россия является авангардом республик и демократий всего мира... Руководящее теперь Россией ответственное правительство должно быть охраняемо от крушения. Государственная Дума, вызывая безграничное восхищение всего мира, является истинным орудием воли русского народа.

Русское правительство прилагает все усилия, чтобы сгруппировать энергию революции против внешних врагов, — и оно должно быть поддержано.

(«Тан»)

Мы можем взирать на будущее России с надеждой и доверием. Опасности можно избежать компромиссами партий. Преобладающее стремление населения России — выиграть войну... Французам тем более сочувствуют стремлению России к свободе, что Россия берёт торжественное обязательство победить общего врага...

...Германия сильна только духом, только патриотизмом, но русская революция пробил брешь в её психологической твердыне. Немцы пританя дыхание и ждут, что будет дальше. Теперь немцев трудней убедить, что союзники угрожают естественным интересам немецкой нации. Все надежды немцев — на недисциплинированные элементы России...

...Надеемся, революция не создаст изменений в желании выиграть войну, напротив, поведёт к энергичному её продолжению. Революция может вызывать опасения только в том, что народу будет трудно принудить себя к дисциплине...

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Нью-Йорк, 16 марта. В честь приезда в Америку Швецкого русско-американского торговца палата двла обед. Швецкий прибыл в Америку со специальной миссией способствовать установлению дружеских сношений между обеими странами. Швецкий сказал, что приток иностранных капиталов является для России вопросом национальной важности. Заявление Швецкого, что еврейский вопрос разрешён русской демократией раз и навсегда, было встречено присутствующими с величайшим энтузиазмом.

Представитель федерального министерства торговли ответил: «Реформы, вошедшие в России, устраняют препятствия в сношениях между нашими странами. Успех американского капитала в России будет зависеть от духа, стоящего за американским долларом».

...Мы лучше других можем понять алчность той системы правления, которую русский народ стряхнул со своих плеч. В Америке проживают миллионы людей, которые в себе испытывали несправедливости и деспотизм дома Романовых...

(«Нью-Йорк Ининг Пост»)

Митинг в Нью-Йорке в ознаменование русской революции. В числе русских гостей входили Швецкий и Полков. Были получены приветствия от Рузвельта, Элли Рута, Якова Шиффа и ряда других... Возможность возобновления торгового договора с Россией встречена американским деловым миром с большим сочувствием...

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И АМЕРИКАНСКИЕ ФИНАНСИСТЫ.

В финансовых кругах Америки заявляют, что русская революция открыла американский денежный рынок. Массы влиятельных финансистов, в особенности из числа русских евреев, готовят большую авантюру...

В интервью петроградскому корреспонденту «Нью-Йорк Уорлд» премьер-министр князь Львов сказал: «Страна традиционная Россия ушла в прошлое как дурной сон. Демократический гений русского ввердова проявил себя... Мы знали, что мы были в состоянии это сделать. Мы это сделали, выдвигавшись во главу движения. Через неделю после начала революции вся страна в полном порядке. Будущее настолько ярко, что и едва смею всмотреться в него...»

Г-н Родзянко, отвечая на вопрос, какую окончательную форму примет государство: «Ни у кого в России пока не было времени надлежанием обрвать обдумать этот серьёзный вопрос.»

...В решимости Соединённых Штатов вступить в войну сыграл большую роль великий русский государственный переворот. Американским кругам претяло союз с русским самодержавием. Американцы не доверяли прежней России. Они находили, что германский монархизм менее несовместим со свободным духом Америки, чем русский царизм.

20 марта. Президент Вильсона предложил конгрессу объявить войну Германии для того, чтобы обеспечить условия для существования демократии в мире, и в то же время с восторгом говорил о замечательных радостных событиях последних недель в России... «Самодержавие свергнуто, и великий и великодушный русский народ во всей своей простоте и мощи присоединился к силам, борющимся за свободу, справедливость и мир.»

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЕРЖАВЫ

Великий Визирь Таалат-Паша: «В Турции, больше чем в других странах, мы относимся с сочувствием и удовлетворением к свержению деспотического царизма. Мы с большой симпатией приняли великую русскую революцию...»

Турецкие газеты пишут о гибели России: что Россия теперь не только не поддержит Согласия, но будет для него бвлвтом...

Австрийские газеты утешают своих читателей... что с Россией в данный момент как с фактором военным много считаться не приходится. Венские газеты высказывают уверенность, что Россия ствнот на время бездейственной в военном отношении.

...Благоразумие требует мер предосторожности, когда пожаром охвачен дом соседа...

(«Кельнше Цайтунг»)

...Германская печать выражает надежду, что борьба между крайними левыми элементами и умеренными поведёт в русской армии к дезорганизации. Уже какой день германская печать ни о чём другом не пишет, как о русской революции. Главный вопрос, волнующий Германию: что означает сотрудничество Керенского с Миллюковым?.. В германских кругах мечтают о крайностях русской революции, чтобы Керенский вёл на эшафот Миллюкова.

Берлинские газеты перестали печатать телеграммы, неприятные для нового русского строя.

Германские социалисты не разрешили основного вопроса: знаменует ли революция усиление русской мощи или ослабление?.. Немцы живейшим образом заинтересованы в удаче русской революции. Если на Востоке воцарится демократия, то и в Германии нынешний строй не продержится долго.

...Мы уверены, что Россия не ослабеет, если избавится от своих тиранов и пошлёт к чёрту свою продажную бюрократию... Русская революция — самый важный результат этой ужасной войны. До сих пор Россия была злым духом для Европы, позорным пятном, которое чувствовал каждый, и союз с Россией даже для верных союзников был позором.

(«Арбайтер-Цайтунг», Вена)

Берлин. В рейхстаге впервые за время войны аса фракция социал-демократов голосовала против военного бюджета.

Депутат-социалист Носке: «Немецкие социал-демократы полны решимости бороться против всякой попытки воскресить проклятый царизм... Германия должна официально заявить, что не будет способствовать восстановлению царской власти. Как только в России определится стремление к миру — германское правительство должно сделать шаги к его немедленному заключению. Германской социал-демократии предлагают из-за границы устроить революцию. Но тогда рабочий класс постигло бы величайшее несчастье...»

ЗАЯВЛЕНИЕ ИМПЕРСКОГО КАНЦЛЕРА Бетмана-Гольвега.

«...По отношению к событиям в России мы соблюдаем принцип неамешательства. Это ложь, что император Вильгельм хочет восстановить аласть царя... Через несколько недель мы увидим, желает ли русский народ мира или присоединится к войне до победного конца. Мы будем следить за событиями хладнокровно, с готовым для удара кулаком. Согласие готовиться поработить нас даже тогда, когда его постройки трещат по асем швам.»

...Русское правительство предоставило солдатам право стачки. Мы можем лишь желать, чтоб они воспользовались им возможно больше — тогда наши солдаты, связанные железной дисциплиной, могли бы убить возможно больше русских...

(«Берлинер Локальанцайгер»)

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Бельгийское королевское правительство... Самые сердечные пожелания... Довести войну до победного конца.

Рим. «...Революция в России увеличивает наши силы в этой войне. Русская армия, охваченная новой доблестью... От имени всей Италии я посылаю горячие пожелания Государственной Думе...» (Министры и депутаты поднимаются с кликами «Да здравствует Россия!»)

Вопреки германским ожиданиям, петроградский революционный кризис начинает выливаться в организованную волю народа к военным операциям...

(«Коррьера делла Сера»)

Берн. Проект резолюция социал-демократов: «Швейцарский бундесрат видит в русской революции грандиозный подъём свободлюбных идей, которые составляют фундамент Гельветской республики.»

Стойгольм. Профессор, член первой палаты: «Эта война частично является делом Миллюкова и кадетской партии». Другой: «Нельзя одновременно осуществлять большую революцию внутри и вести большую войну вне страны... Во всех революциях побеждают левые силы, это закономерное раскачивание маятника.»

Председатель португальского сената...

Японская печать... Что Россия проанит всю энергию для общей победы...

Из Шанхая от доктора Суи-ят-сена... «Наши товарищи в России одним ударом выкинули стиг демократии. Благодаря нашим двум республикам мир мира близок к осуществлению...»

АНГЛИЯ

...Не отдающие себе отчёта крайние левые элементы в Петрограде... Какой мир предлагает Германия — всем известно: Россия, пожалуй, может кое-что сохранить за собой, но свободная Бельгия, свободная Франция должны попасть под иго, а свободную Англию хотят уничтожить.

Усы императора. Николай всегда, вместо того чтобы принять решение и действовать, покручивал усы и смотрел в другую сторону.

(«Дейли Телеграф»)

Великий князь Николай Николаевич — узкий реакционер. Он отличался жестоким проведением программы изгнания с родных мест десятков тысяч еврейского населения.

Следует предостеречь от слишком жестокого отношения к представителям старого режима. В глубинах народных, столь мало затронутых просвещением, это может произаести крайне опасные потрясения...

ИМПЕРАТОРСКИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВЛАДЕНИЯ. Мы вправе ожидать от Временного правительства ответа на вопрос, который волнует огромное число крестьян: как будет с обширными земельными владениями царя? Многочисленные крестьяне из армии уже отправились в свои деревни, боясь опоздать к распределению земель. Нужно чётко разъяснить им ситуацию. И новое правительство не может допустить экспроприации частных владельцев.

(«Таймс»)

ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ. Мы искренне надеемся, что у британского правительства нет никакого намерения дать убежище в Англии Царю и его жене. Если Англия теперь даст убежище императорской семье, то это глубоко и совершенно справедливо заденет асех русских, которые аы-нуждены были устроить большую революцию, потому что их беспрестанно предавали... Нельзя забыть теперь про один факт: Царица стала в центре и даже была адохноаительницей прогерманских интриг... Она погубила династию Романовых, покушась изменить стране, ставшей ей родной после замужества. Английский народ не потерпит, чтобы этой даме дали убежище в Великобритании... У англичан ныне не может быть никакой жалости к нашей Императрице... Если наше предостережение не будет услышано и если царская семья прибудет в Англию, возникнет страшная опасность для королевского дома.

(«Дейли Телеграф»)

Среди русских эмигрантов в Англии 25 000 мужчин военнообязанных, не аступающих в ряды армии. Если морские сообщения будут неблагоприятны для их аозврата на родину, британское правительство должно изыскать меры поставить их под знамёна союзных армий.

(«Дейли Кроникл»)

ЭЛЕМЕНТЫ БЕСПОКОЙСТВА. К сожалению, не могу сообщить о духе умеренности со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов. Экспессы, которые были совершены под его эгидой, аеронтно можно объяснить недостатком организации. Надеемся, г-н Чхеидзе не будет продолжать методы, применяемые... Иначе в цивилизованном мире может возникнуть подозрение... Русские газеты посвящают слишком много места сенсационным разоблачениям пороков старого режима и мало внимания уделяют проблемам, стоящим перед Россией...

(Петроградский корреспондент «Таймс», 13 марта)

...К несчастью, в России существует крайняя партия, играющая врагу в руку. Хотя она представляет ничтожное меньшинство, но она деятельна, а в смутное время деятельное меньшинство обладает силой, не пропорциональной его действительному значению. Всё зависит от способности правительства твёрдой рукой удерживать это разрушительное движение.

(«Таймс», 13 марта)

Организация нового государства постоянно затрудняется амешательством социалистов... Бесконечные уступки ненасытным требованиям теоретиков и неажд...

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ. Сентиментальные прокламации социал-демократических лидеров... Как и Николай II, они прокламируют идею универсального мира... Г-н Чхеидзе, грузинский мечтатель, своим пылким красноречием пленяет необразованные умы... Русская социал-демократия представляет собой отпрыск германского марксизма. По своему существу это нерусское явление и большая часть её лидеров нерусского происхождения... Призывы к трудящимся всего мира будут читать прежде асего русские войска на фронте. Сомнительно, дойдёт ли он до немецкого пролетариата.

(«Таймс», 17 марта)

Лондон, 17 марта. Некоторые английские газеты с особой настойчивостью подчёркивают, что лидеры русской социал-демократии являются лицами, чуждыми по крови русскому народу, и играют в руку истинным врагам России. Обращение Совета Рабочих и Солдатских Депутатов приостановило эту кампанию, достойную сожаления. На деле эти газеты давно перестали отражать мнение Англии.

(«Биржевые ведомости»)

Сообщения с русского фронта пока не аызывают тревоги. Были приняты асоеаренно энергичные меры, чтоб избежать вредного заражения. Почки, которые и видел, производят чрезвычайно хорошее впечатление.

(Собственный корреспондент «Таймс»)

...Керенский в настоящее время самый сильный человек в России...

ФРАНЦИЯ

...Первое впечатление, что захвата аласти способными лицами достаточно, чтоб навести порядок, было слишком оптимистическим. Временное правительство оказалось перед огромной волной народного яедовольства... Поездка французских социалистических депутатов в Петербург... напомнить русским революционерам о военных обязанностях. ...Русские революционеры должны доказать, заслуживают ли они доверия союзников.

...Опасная сторона русской революции — в том влиянии, которое могут оказать некоторые русские социалисты, совершенно сбитые с толку германскими социалистическими теориями. Если

русские рабочие дадут себя увлечь плохим вождям, то у них не будет республики, ни свободы печати, ни свободы совести — но в Петроград придёт прусская армия...

(Эрве «Виктуар»)

...Не очень понятно, на каком основании совет рабочих и солдат диктует решения... Ввиду большого числа неграмотных русских, народ можно лишь осторожно направлять на путь прогресса.

(«Тан»)

Французское правительство запретило газетам напечатать манифест Совета рабочих депутатов.

Французский депутат-социалист заявил нашему корреспонденту, что, по его глубокому убеждению, идея сепаратного мира не могла возникнуть в руководящих русских рабочих кругах. Ввиду опасности, которой она угрожает Франции, и я мои единомышленники высказываются против не только с французской точки зрения, но и с социалистической...

...Опасно закрывать глаза на правду. На самом деле, русская опасность существует...

(«Виктуар»)

...Россия должна одержать военную победу. Только в таком случае Франция будет приветствовать русскую революцию...

(«Ле Франс»)

622

Присяжный поверенный Соколов мог бы сыграть в Великой революции гораздо большую роль, чем это ему до сих пор удавалось. Начать с того, что он ни разу не попал в Государственную Думу, хотя в 3-ю чуть-чуть не избрали. Политические процессы не кормили, но Соколов не жалел на них энергии и так утвердил свою революционную славу. (В прошлом у революционера могут быть и пятна, например отец был не просто священником, но написал известный учебник закона Божьего. Однако своей собственной жизнью революционер должен всё испрavit.) Широко знаменитый во всех левых кругах, с прочной репутацией пораженца и ненавистника патриотизма, его лично знали и уважали все крупные революционеры, — Николай Дмитриевич Соколов до самой революции устраивал им на своей квартире конспиративные встречи, сводил подпольщика Шляпникова с членами Думы Керенским и Чхеидзе, — и всё же эта популярность и дружественность не внесли Соколова достаточно достойно в дни революции, лишь только кооптированным членом Исполкома. И хотя с невероятной энергией он вращался едва ли не быстрее всех (пу даже уступая Керенскому) и выдвигался с большим значением (история сочла недоказанным, но это Соколов подтолкнул массы и первый день революции стигиваться к Таврическому дворцу), — всё же ни один важнейший шаг революции до сих пор не оказался скопан исключительно с именем присяжного поверенного Соколова. Хотя он и стоял у колыбели этого недоношенного Временного правительства, но не было терпения досидеть переговоры, и их докончили без него Гиммер и Нахамкис. На арест царя посылали Гюздева, Масловского — и никто не догадался послать Соколова. (И только компенсировался он докладом об аресте царя на Совете.) Манифест ко всем народам составили без него другие, и даже манифест к полякам, которыми он особенно и много занимался, — тоже другие. И даже гордость свою — Приказ № 1, выведенный его собственной рукой, он не мог приписать себе целиком одному, потому что были свидетели, что советовали и другие, а потом ещё кто-то, за спиной, правил в «Известиях». Да Приказ № 1 сильно поблек после того, как Исполком издал и Приказ № 2, и Приказ № 3, — и вообще стало неизвестно, какой из этих приказов действовал, а какой был отменён. И в самом Исполнительном Комитете, где Соколов был из начинающих и безусловно главных фигур, — оттого ли, что он всё катал по городу, встречался, собирал сведения, — в Исполнительном Комитете его отторгли и не избрали ни в бюро, ни в Контактную комиссию. Так значение Соколова оборвалось и стало падать.

Но и не могучи побороть потяготу в своих ногах, потяготу нося своего к новостям, ещё не опубликованным, Соколов и тут не приобрёл усидчивости к заседаниям, а всё так же катал по городу (на трамваях и пешком, автомобиль ему редко доставался), — а между тем ещё быстрее носился в мыслях: кем же бы ему стать? как же достойно связать своё имя с нашей Великой революцией? — так, чтобы во всех школьных учебниках непременно бы упоминался присяжный поверенный Н. Д. Соколов, и с каким-нибудь оттенком леденящим?

Ну, несомненно ему надо попасть в Учредительное Собрание, будущий Конвент, — но это-то ему почти обеспечено, однако ещё не настали выборы. А — пока? Обидно, что, столь близкий к Керенскому, столько услуг ему оказавший в своё время, — он теперь не мог от

него добиться назначения в товарищи министра юстиции: назначил Керенский присяжных поверенных, но — других.

Революционный нюх у Керенского есть, да! Он понял, что в дни революции министерство юстиции — это меч её, это — главная действующая сила. Но и Соколов же имел все права, все основания быть частью этого меча — или рукой, её держащей! И не попав в заместители министра, Соколов сметил наилучшее для себя место: Чрезвычайная Следственная Комиссия над бывшими высокими должностными лицами. Какие величайшие революционные права давало членство в этой Комиссии! — допрашивать всех тех, уи-жавших нас, презиравших нас, безмерно влиятельных вельмож — а теперь трисущихся пленников Трубецкого бастиона. Вся жизнь присяжный поверенный Соколов выступал в роли ходатая или защитника, — но наконец он чувствовал в себе мощь и жажду стать обвинителем! Какую грозную способность допрашивать он открывал в себе! воизвить острей мести морально — ещё раньше, чем оно войдёт в них физически. И какую обстановочность можно придать заседаниям Комиссии: то поехать всем составом в Петропавловскую крепость и там сгрудиться против подследственного в полутёмной, как бы пыточной комнате. Или — заседать в парадном зале Зимнего Дворца и вызывать их, трепещущих, на середину паркетного простора против судейского помоста.

И какое разнообразие захваченных: Протопопов ли, Макалов, Макаров, Хвостов, или сам надменный Щегловитов, а то — Штюмер с бородой-неником, древний Горемыкин или начальники Департамента полиции, Охранного отделения. На каждого был аппетит допрашивать, во все стороны рвался карающий меч, не хватил времени для допроса денежных, а хоть и почтовых!

Но: страшнее всего, жаднее всего Соколов хотел бы допрашивать самого царя! — поставить перед собою в струнку это ничтожное мнимое величество, когда на него уже нагрянут все неотклонимые обвинения, — и посверлить его своими огненными глазами. Какому-то счастливому следователю ведь судьба же — открыть и доказать измену царя! И какому-то судье высокое гордое счастье — отправить его на эшафот. Соколов хотел бы исполнить — и то и другое!

Крылатые параллели с Великой Французской Революцией носились в петроградском воздухе, были у всех на устах. Обжигающее состояние — зримо войти в великую эпоху, и видеть это уже сейчас, и сознавать.

(Правда, Соколов слышал и такое мнение, что аналогия на самом деле с революцией 1848 года: тоже февральская, тоже рухнула монархия за 3 дня, тоже сотрудничество крайних и умеренных элементов, и так же предстоит нам Учредительное Собрание, — а разве Совет рабочих депутатов — не «люксембургская комиссия»? а Керенский — не наш Луи Блан?.. Ах, может быть, всё может быть!)

Несколько раз Соколов то звонил Керенскому, то нагонял его лично — и горячо просил не забыть, что он Исполкомом включён в Чрезвычайную! А Керенский уклонялся, какие-то другие у него были планы (дурацкий идея отдать председательство Мураньёну по одной лишь фамилии), — он слишком вознёсся, он забыл старые услуги по революционному подполью. Соколов верно знал, что Комиссия уже зреет, составляется. В воскресенье 12-го опубликовали в газетах положение о Чрезвычайной Комиссии и её первый состав — а Соколова не было там! В понедельник она уже реально переехала в здание Сената и стала занимать комнаты в угловом отделении — а Соколов всё не имел права усаживаться с ними там (хотя ездил посмотреть). И только сегодня, в четверг, наконец последовало назначение Соколова, — увы, лишь как депутата от Исполнительного Комитета (а Родичев — от Думы). Ну что ж, ничего, дело поправимое: право задавать вопросы во всяком случае есть. И может быть удастся приподнять чугунную крышку, скрывающую гнусные царские тайны!

Уже сегодня с утра Соколов побывал в Чрезвычайной Комиссии и полизал над первыми папками, и узнал, что сегодня начали допрашивать заместителей Протопопова, а послезавтра начинаем допрашивать Хвостова.

Ну, хорошо хоть так. А пока, значит, — гнать в Исполнительный Комитет. Если послан от них — надо за них держаться. Да это — одна реальная власть сейчас в Петрограде.

Погнал в Таврический. Вошёл и заседание далеко не в начале под укоризненный взгляд и качок Чхеидзе. Сам Чхеидзе высидивал, иногда не снимая жёлтой шубы, все ежедневные заседания, от начала до конца, председателем. Он видел в этом свою обязанность как самого старшего из социалистов.

Быстрым взглядом приметил Соколов пустой уголок стола у самого Чхеидзе — потянул туда стул и присел там рядом, нога на ногу.

Кончали какой-то предыдущий вопрос — опять о невыводе войск из Петрограда, а фронты требовали пополнений. И допустили к докладу Громана с двумя советниками.

Хотя сидело чуть меньше половины Исполкома, кто вышел, предвидя скучный вопрос, — дерзкий сырой сморкатель Громан молновался, выдавая немалую подготовку и особое значение, которое он ожидал от доклада и решения.

Соколов остро поглядывал на председателя, как его правая рука. Лично Громану он сочувствовал: это был такой же одинокий инициативный революционный демократ,

открыто не примкнувший ни к одной партии, как и сам Соколов, — и тоже честный, настойчивый, талантливый в своей области.

А сегодня, как стало ясно с первых слов, он пришёл жаловаться на Шингарёва. В сложной, случайно составленной и до сегодня неуяснённой структуре продовольственных органов Громан был как бы второй министр продовольствия, представитель от Совета рабочих депутатов, но без всяких реальных прав в министерстве: он мог только стол поставить там, советовать, не одобрять, предлагать своё, а если его не слушали — то вот придти жаловаться сюда. А здесь тоже его неохотно выслушивали.

Громан начал издавать: что царское правительство поощряло интересы господствующих классов, и всю историю установления твёрдых цен на хлеб. (Соколов быстро стал позёвывать, как и другие за столом. Всё-таки и нуда порядочная этот Громан.) И какой доклад он, Громан, представил в конце октября Союзу городов. И как министр Риттих, вопреки советам общественности... И всю подробную историю своей Продовольственной комиссии, и какие реквизиции хлеба были объявлены вот уже в марте — но и они не помогают.

И вот тут Громан подошёл к главному, и голос его, прогундошенный, загрохотал негодованием — и засыпавший Чхеидзе и другие члены Исполкома прочнулись.

Громан обвинял, что министр Шингарёв начинает губить всё продовольственное дело: он не удерживается на жёсткой линии реквизиций, а государственную хлебную монополию, разработанную Громаном, готовит нерешительно и рассматривает мерой временной, когда она должна стать постоянной — ибо не может быть другого способа планомерно и полностью изъять весь нужный хлеб из деревни, сломить сопротивление миллионов противодействующих собственников. А затем государственная власть расширится и на область производства продуктов, будет руководить и посевами, и обработкой, — и это откроет огромные социальные перспективы экономического творчества государства!

А пока за хлеб будет выплачиваться вознаграждение, то надо — по понижающейся шкале: чем больше сдал, тем дешевле за каждый следующий десяток пудов. А министр Шингарёв как раз наоборот — зашатался и хочет идти по стопам Бобринского и Риттиха: снова повысить твёрдые цены на хлеб. Это — всё погубит! Это... — Громан не сказал «контрреволюция», но: это будет огромная опасность для демократии.

И Соколов живо согласился и поддержал Громана: мы не должны делать уступки цензовым буржуазным министрам! (Про себя додумал: что все цензовые министры — скотины, и Шингарёв такой же, и ещё Чрезвычайная Комиссия, переработав всех царских министров, может быть будет иметь повод и время заняться кадетскими.)

Соколов живо это выкрикнул, поддержали его голоса два от большевиков, да Александрович, да Кротовский, всегда крайний во всём, — но что-то большинство (большинство из сидящего меньшинства) являло глазами мутными и робело принять решение. Спросили сопровождающих экспертов, что думают они? Возьмут они на себя ответственность за такое решение Совета о хлебной монополии?

Эксперты что-то перепугались и высказались вразнобой, не слишком в поддержку Громана. Втемяшешься в эту монополию — ещё не вылезешь. Такая монополия только в Германии удалась.

А ещё ж много было вопросов на сегодняшней повестке.

Пока ничего не решили.

Затем Богданов доложил о своей лёгкой быстрой победе над Временным правительством: достаточно было ему представить министрам решение пленума Совета против присяги — и правительство сразу признало свою ошибку и обещало тотчас прекратить присягу в войсках — и до самого Учредительного Собрания никого к присяге не принимать.

На Исполкоме сложилось лёгкое весёлое настроение.

— Требуйте с них пятнадцать миллионов! — кричали Стеклову.

Но Стеков, всё на ногах, не садясь, серьёзно предложил: потребовать от Временного правительства издать декрет, что не подлежит исполнению никакой приказ воинского начальника, направленный против свободы народа или хотя бы имеющий какой-либо политический оттенок.

— Дальновидно! — шумно одобрили. Стеков протягивал реальную хятку яглубь армии. Постановили, записывали.

Вместо того чтобы солдаты были связаны присягой перед правительством — пусть правительство будет связано перед ИК. Неплохо!

В Союзе Инженеров выбрали Дмитриева, вместе с ещё двумя, депутатом к властям: о том, что работать на заводах стало совершенно невозможно. В эти недели инженеры попали так же, как офицеры в первые дни революции, — только не было у них револьверов и шашек, которые бы отбирать, а такая же вдруг подсекая немочь лишила их всего обычного образа поведения и прана: они не могли расставлять рабочих, направлять, указывать,

а каждый раз в виде ласковой просьбы: исполнит рабочие — хорошо, а не исполнит — ничего не поделаешь.

Пока в Петрограде ещё только готовились хоронить жертвы революции — а на петроградских заводах вот убили двух инженеров (и с десятком избили), — и чьи это будут теперь жертвы? Немало инженеров от угроз расплаты должны были скрыться и с заводом и даже со своих квартир при заводах, так что только доверенные знают их места.

А был в их депутатии и революционный идеалист Подгаель с Воздухоплавательного. Он всегда гордился, что участвовал в инженерной забастовке 1905 года в поддержку бастовавших рабочих, и теперь приободрил коллег, что не надо впадать в панику, но лишь смягчить анархические события, а по стержню — мы этому самому и служили, оно — совершилось, и надо видеть, как оно устанавливается в светлую сторону.

На Обуховском сохранился ещё сравнительный порядок.

Их выбрали — идти к властям, но: кто же были власти? Очевидно, заводами должно заниматься министерство промышленности и торговли. Но ещё очевиднее, что оно против рабочих волнений не решится действовать ни на вершок. Пошли советовать к своему же брату Ободовскому, нашли его в военном министерстве, через коридоры, где щёлкали шпоры, скрипели сапоги. Вышел Ободовский с ними в проходную комнату. Нервное лицо Петра Акимыча было опалено деятельностью, очевидно и бессонницей, прямые короткие волосы, из светлых всё явнее седые, дыбка колебались.

Они все были не на месте: заводские работники, вот, почему-то сидели в военном министерстве, а между тем заводское дело проглатывало к обрыву, как сорванная с тро-са вагонетка.

И Ободовский только и мог им подтвердить:

— Господа! Между нами, Временное правительство мало на что влияет и меньше всего на рабочие дела. Тут всё решает Исполнительный Комитет Совета. А там отделом труда заведует Гвозден, вы, Михаил Дмитрич, его знаете, — он разумный человек.

То есть искать управы на рабочих инженеры должны были у самих же рабочих?.. Новая свобода жала и потягивала, как неловкое платье.

Дмитриев позвонил Гвоздеву. Тот сразу обещал, что поставит их сообщение прямо на заседание Исполнительного Комитета. Но повестка дня перегруженная, когда удастся?

Пришлось звонить снова и снова. Не удалось ни в тот день, ни на следующий, и только сегодня обещали.

Переполненный Таврический дворец никак не ощутил входа троих инженеров. В большом зале стояло множество солдат, кричали временами «ура» и гремела марсельеза. Гвоздева нашли в маленькой комнате бокового крыла, где на стене от прошлого ещё не снят портрет чина в звездах, а бархатом обитые кресла перемежались с табуретками.

С осени не появилось в Гвоздеве никакой нажности, а перед визитёрами он держался даже заботливо-суетливо. Прегустые соломенные волосы его, недливно стриженные, колыхались на голове и были в перепуте, как пшеница в ветер.

Сидели и обсуждали довольно потерянню. Из соглашения Совета с заводчиками выполняется только 8-часовой рабочий день, да и то почти не работают. По соглашению, не было права заводским комитетам вмешиваться в управление заводами — а они являются в конторы и начинают указывать.

Гвозден в кручине упёрся на руку, свесил светлую косму — и поглядывал на инженеров детски-откровенно, как на самых своих.

— Ездил мы по заводам, — говорил, — и нас слушают не немного больше вас. Раскачали наших ребят как черти пьяные: что по теперешней поре за один день можно взять, чего, ино, и за десять лет не получишь. Да ведь и правда, — тут же и радовался изумлённо, — ведь о восьмичасовом дне двадцать лет билась зря — а тут в один день получили! Сколько из нас масла-то пожато, что скрывать!

И тут же издыхал:

— Так и дальше, мол, хватай. Экакое синство развели, ещё так никогда не распускались. Но должна совесть воротиться! Поиграют — должны же образумиться, что ж мы — нелюди?.. А солдатики — пропадай без снаряжения? Или — уж так поганю все люди устроены?

Лицо его, с бровками малыми, разнорылым носом, было застигнутое.

— А Исполнительный Комитет — он как будто и не понимает. Ну, попробуйте вы их расстристи.

Дмитриев предложил: в некоторых полках теперь бывают совместные комитеты солдат и офицеров. Нельзя ли так же и на заводах: комитеты из рабочих и инженеров? Когда рабочих не толпа, а всего несколько человек за стол сидят, — они доступны объяснению, уговору.

— Можно, можно попробовать. — Но что-то затуманились простодушные глаза Гвоздева. — Вон, ещё как бы трамвай обратно не остановился.

Посланный вернулся с заседания, что, кажись, можно идти.

Пошли. Вслед за Гвоздевым вошли в большую комнату с ещё более неподходящей обстановкой: объёмистый диван у стены, золочёное трюмо, а посредине вокруг большого

голового стола сидело человек тридцать штатских, ещё и стояли, среди них и несколько молодых солдат.

Депутацию инженеров ввели, но ещё не кончили другой вопрос: доспаривали, что хотя правительство и отменило присягу, но, как всегда, ограничивается полумерой. Что это — не полное признание ошибки. А где признание самой порочности идеи присяги? А как быть с частями, которые уже присягнули, — отменяется ли присяга? Нет! Правительство виновато — так пусть оно высечет само себя.

И штатский Дмитриев, кажется, понимал, что смысл говоримого был ужасен.

Если так расправлялись с армией, — кто поддержит заводскую дисциплину, несравненно слабейшую?

Но более чем Дмитриев слышал, он невольно смотрел. Успел обежать два-три раза все лица, кто был к нему не затылками, да и другие временами переходили. И кроме пятка тупых солдат, явственно в стороне, охватил, из кого же состоял Исполнительный Комитет. Что это собрание было никак не рабочее: уж рабочих-то Дмитриев видывал тысячи, он узнавал их на улице, отличая от городского обывательского потока. Но хотя в пиджаках, а некоторые и при галстуках, — не было и привычно интеллигентных лиц. А скорей тянулся тот тип бездельных агитаторов, которые шалались вдоль заводских стен и разламывали заводскую жизнь, — только эти одеты прилично.

Кончили с присягой — Гвоздев собрался напомнить о своей депутатии, но тут секретарь Исполкома, очень чистенький, с заострённостью лица вперёд, — заявил вне очереди о срочном важном вопросе, что к нему поступило чрезвычайное тревожное сообщение: на Васильевском острове распространяется погромная черносотенная литература.

Вот уж чего нельзя было и вообразить после трёх недель революции: чтобы кто-то кому-то решился сейчас передать или даже подержать в руке такую листовку. Но Исполнительный Комитет оживился, возмущённо загудел, заговорили сразу по несколько и друг ко другу. Никто, кажется, и не спросил: кто именно распространяет? в каких количествах? какую литературу? кому? Но все требовали решительных мер, а секретарь Капелюнский и сам ничего точнее не знал и ничего более не хотел, как записали бы в протокол, чтоб этот вопрос выяснить и пресечь погромщиков.

А тем временем в дверь вошли несколько живописных матросов, с той особой дерзостью, которую им придаёт лихая форма. И сопровождающий их юркий штатский громко торжественно объявил:

— Товарищи! Депутация из Гельсингфорса!

И все сразу повернулись и осветились как бы восхищением перед вошедшими и перед их матросской свежестью. И была забыта инженерская депутатия.

А матросы — тоже не простые, а те горланы, какие две недели назад своими руками бросали за борт капитанов, — теперь отрывисто, смесью языка натурального и воспитанного газетками, заявляли. Что весь гельсингфорсский гарнизон поклялся добиваться демократической республики. Что очень их волнует вопрос о войне и мире и все высказываются против принятия присяги. Что они верят в мощную силу петроградского Совета Депутатов и ждут от него указаний. А с Временным правительством будут считаться лишь постольку, поскольку оно идёт за Исполнительным Комитетом. А для предотвращения дальнейших убийств офицеров необходимо, чтоб Исполнительный Комитет направил работников и литературный материал.

И вообразил Дмитриев тот Гельсингфорс, где дальнейшая жизнь офицеров зависит от присылки «литературного» материала. И видел, с каким сочувствием здешние выползны следили за бодрой матросской речью. И потерял всякую надежду, что подробно выслушают его.

Но ошибся. Матросы кончили тем, что заговорили о 8-часовом рабочем дне — что он смущает матросско-солдатскую массу: почему рабочие добиваются себе одним только?

И так обсуждение как бы само собой обратилось к инженерской депутатии. Матросы ушли, а Гвоздев пригласил Дмитриева говорить.

Дмитриев встал, напрягся, чтоб овладеть вниманием собрания, успеть сказать им всё главное, прежде чем его начнут перебивать или раздёргивать. Он помнил, держал в сборе все эти пункты, случаи, названия заводов, фамилии пострадавших, он сейчас только что повторял их Гвоздеву, он не сбился, — но при напряжённом виде этих странно откопанных людей, при наслушанном об армии и флоте, — говорил с безнадёжностью. Он уже понял, что ни в чём не успеет, и заводов не спасти.

Однако его слушали, не прерывая, и даже как будто с застенчивостью, будто он о чём-то запретном говорил. Или будто их уши не были подготовлены слышать о дезорганизации промышленности.

И никто не спешил отозваться.

Помнил Дмитриев и предполагаемые совместные комитеты инженеров и рабочих, уже не веря.

Члены Исполнительного Комитета невыразительно молчали. Не выступал и Гвоздев, опустивши пшеничный клочок. Да ведь он с депутатией был как бы заодно.

Кто-то сказал: надо выпустить воззвание к рабочим. Во имя революции они должны порядок соблюдать.

Другой: а вот и надо было к работам приступать, пока не добились полного улучшения всех условий труда.

А крупный, рыжебородый, что всё стоял и ходил:

— И потребовать от разбежавшихся инженеров и мастеров немедленно приступить к работе.

Баритон его прозвучал беспощадно.

Тогда вступился Гвоздев тенорком: что стали с фронта всё чаще приезжать солдатские депутатии, и все они недовольны, что заводы не работают, а учетные на них причтутся, а снарядов не дают. Так может — начать носить эти делегации по заводам?

Но выпрыгнул маленький, острый, с нойлочными волосами:

— Но это беспринципно, товарищ Гвоздев! Мы не можем выдвигать против рабочего класса крестьянство и шинелях! Мы не можем использовать отсталость крестьянской массы!

624

(проантиния и деревня, фрагменты)

Министр Некрасов срочной телеграммой отменил всю охрану железных дорог, кроме больших мостов. Везде, где местные комитеты сочтут железнодорожную полицию излишней, — откомандировать её к воинскому начальнику, её обязанности без ущерба выполнят сами ж-д служащие в народной мундире, внесёте только больший порядок.

В Харькове при Управлении Южных дорог еоздался «Центральный революционный штаб» — коалиционный, от е-д, с-р, к-д, анархистов, председатель — рабочий паровозного депо анархист-индивидуалст Худяков. Штаб взял в свои руки всё ж-д движение, и воинские эшелоны, к передвижке снабжения. Паровозоремонтный завод угрожал забастовкой, если будут выселить левонархическое «Вольное братство» ка захваченного адакии.

На Ижорском заводе после переворота рабочие устранили 38 инженеров и мастеров. При том постановили: сдать их всех в солдаты, а семьи чтоб очистили городские квартиры. Жалованье уплатить лишь по 9 марта, ви дня вперёд. (Некоторые из них служат на заводе 25 лет и больше.)

В Озерах Коломенского уезда после переворота местные фабрикиты пожертвовали 200 тысяч рублей на устройство пенсиейной ксудии касс для рабочих. Но рабочие вместо такого устройства порешили: разделить все деньги между собою поровну.

В ставке Каменской, на Доице, толпа чернорабочих врестовала генерал-майора Макеева, хоти он и приветствовал революцию, и посадила его в одну камеру с уголовниками. Те кадевались над ним и били.

В Симбирске жена управляющего Крестьянским бавком Бирива, служа в лазарете, выражала равным солдатам порицание новому строю. Арестованна и привлечена к ответственности.

На второй неделе революции прокатились по всей провинции массовые празднества. Во многих городах они пришлись на 10 марта и фотографии их широко печатались.

Вот солдаты, сгрудившись, подхватила папаху вверх, крвчат, кто — просто со всеми, а кто и правда рад, что-й-то новое будет! На палках — крашенные флаги. В Архангельске ещё по-зимнему, в Пятигорске мужчины уже без верхнего, — сгрудились толпы на площадях, красивыми конусами торчат неподвижные флаги, мвльчишки на столбах, в раздвинутой середине держат речи. В Рузавке — квок больши деревенская сходка, заприженные телеги по краям толпы.

В Екатеринбургe выстроили особую арку, убранную, перевитую лентами, и несколько раз: «Свободна Россия». Размеры красных бантов на распорядителях — в зависимости от занимаемой должности в Комитете общественной безопасности, председатель Кроль, главный распорядитель праздника — Ипатьев. Во главе шествия шёл молодой присяжный поверенный эсер Кашеев. Шествие прошло от тюрьмы до соборной площади, где с трибуны, задрапированной кумачом, выкрикивались лозунги: «Да здравствует революционная армия!.. Учредительное Собрание!.. свободная гимназия!» Только колонна войск была тысяч до 60, впереди бригадный генерал на белом коне, а всего тысяч сто. Мимо трибуны двигались лица и безумно радостные, и невыразительные. Гимназистки даже не кричали, а ввзжали.

В Томске яродную демонстрацию и церемониальный марш проходящего гарнизона принимал на трибуне среди президкума — венгерский военнопленный Бела Кун.

Едва образовался в Екатеринбурге Комитет общественной безопасности, как туда повалили посетители с жалобами о совершённых кражах, о побоях мужа, с жалобами квартирантов на домохозяев и встречаемых, с просьбами о паспортах, о перенесении покойников в другую могилу. А врач Упоров пришёл с заявлением от проституток. Эти дни к екатеринбургским домам терпимости солдаты стояли в длинных веревках, как обыватели за сахаром, и, по сведениям комитета, на каждую проститутку приходилось в сутки до 60 посещений — но протест от них пришёл не о том, а что они как свободные гражданки не желают больше подвергать себя врачебному осмотру.

Вслед за уголовниками изъявляли желание освободиться из тюрьмы и идти на фронт также и воровки. Запросили Керейского — он распорядился отправить их сёстрами милосердия. Красный Крест пришёл в ужас, но первое время привнимал.

Главный принцип отбора в милицию — «незамеченность в контрреволюционности». В Пензе хлынули в милицию воспитанники частного реального училища Хайкина, эвакуированного из Миинска, — военным было невыносимо смотреть на их неумелые распорихивания.

Внутри городских милиций — свои советы депутатов, свои митинги и порывания начальству.

В Москве излюбили стигиваться на постоянный митинг к памятнику Пушкина и памятнику Скобелева. С утра и до вечера кипит, только люди меняются. Ораторы влезают по карнизам и выступам постаментов. Всех слушают жадно, а потом споры разбиваются по кучкам, кучки спорят внутри себя до крика, далеко выносятся неровные вспыхивающие голоса. В толпе — обыватели всех видов — и прилично одетые, и студёные, и простые мещане, бабы, и солдаты, и офицеры, кто с головой забинтованной, у кого рука в перевязи, солдат на двух костылях.

Ломовой извозчик:

— Нам хоша б и републику, только б царя хорошего!

В Мариуполе, как и во многих городах, без полиции по ночам стало неспокойно: выстрелы, ограбления. И стали жители устраивать несмеханную поквартальную самоохрану от босичей с окраин и от бродячих солдат: мужчины кто с ружьём, кто с палкой, а то только со свистками, ходили патрулями вокруг своего квартала. Гимназистки перестали появляться на вечерних улицах.

Но Мариупольцы радовали себя, что зато теперь война скоро кончится.

По железным дорогам — телеграф, и вблизи них было быстро всё известно — даже в Приморской области, за 8 000 вёрст от Петрограда. Но в глуши губерний, не то что Казанской, а даже во Псковской, почти весь март ничего не знали. В таких местах держалась и урядники, становые, а священники продолжали возглашать в службах царя.

В российских деревнях ещё неделями вависала темнота и непонятность. А там — уже раскисает, гризь, так что из дома в дом не пройти, не то что детям в школу.

Члены гурьевского исполнительного комитета (в Томской губ.) узнали, что на руднике в селе Салаирском переворот не обивлев в жизнь идёт по-старому. Послали делегатов. В волостном правлении священник указал: «Гоните их вон отсюда». На волостном сходе им кричали: «Долой! Вон!» И — с палками погнались, пока один из делегатов не выстрелил из револьвера. Тогда погоны остановились.

Под Барнаулом в селе Зайцеве священник отказался признать новое правительство. В селе Ново-Шульбинском священник отказался служить молебен о благоденствии Временного правительства.

Местами в деревнях собирают в складчину копейки и посылают мужика в город — за газетой. Такую б газетину купить, где всё как след прописано. А может — и орателя какого заманил к ним.

Свой селинин привёл с беспроезжей дороги какого-то городского.

— Где поймал?

— Ехадчи по большаку. Сказывается бы што товаришом.

— Кам-панин! Вешать бы этих сволочёв.

— Товариш! Всё скажи, ничего от нас не утайвай: как там, в Питере, порешили!

Првехал к барину в Новгород-Северский крестьянин с хутора Лоски. Просит объяснить, что

верного в слухах, какие ходят. А то — «царь помер, царевич видрился вид престолу. В Петербургу збрали на престол Леворуцию, але воиа ще малолитни, так ии бабушка правле. А та бабушка така погая баба: усз бурчить та бреше, так ии прозвали Брешко-Брешковска».

Но вот заездили кой-где по деревням городские. Мол, земли должна быть в одну неделю отита у помещиков и передана безземельным.

— А остатим шо ж? Шяш?

Приехали какие-то в солдатских шинелях:

— Громите, товарищи! Ничего вам не будет, мы — за народ!

Рвут телефонные провода из помещичьих имений.

А другие приезжают: собирайся, выбирай ка-ми-те-ты. В каждом селе, в каждой волости должен быть ка-ми-тет. А сельских старост, волостных старшин — по шапке, сельских урядников — в шею.

В Саратовской губернии помещик Борель произнёс к крестьянам речь: «Не верьте новому правительству! Его дела в конце концов зальются кровью!»

Арестовали его.

На волостном сходе в Велилах при питерском ораторе порешили: что никогда больше не будет нигде управлять дурак или изменник, а выберем умных и честных, и вот это будет рельс-публика. Кто сказал в так: теперь будет и без денег отдавать хлеб новому правительству.

В мелких деревнях Феодосийского уезда после переворота говорили крестьяне:

— Ото, мабуть, нас опять отдадут панам у неволю.

И этот слух, что восстановится крепостное право, широко раздался по Югу.

625

Ещё и сегодня смеялись московские адвокаты, как в мипувшее воскресенье на адвокатском собрании Корзнер предложил давать говорить ораторам только умным и толковым — за что получил от председателя предостережение. А разнервничался Корзнер не только от изобилия совещаний и прошлые две недели, но в то воскресенье оно и растянулось почти на целый день: назначили его в час дня, не учти, что и этот день Совет рабочих депутатов определил быть в Москве грандиозной демонстрации, празднику свободы. И демонстрация имела успех, особенно из-за весенней погоды, вся Москва была на улицах, и от сборных нунктов десятки тысяч стягивались к центру — молодёжь, женщины, штатские и солдаты без строя, то «отрешимся от старого мира», то «вихри враждебные», и масса красных плакатов и флагов, а с Арбатской площади и отдельная колонна евреев, — и всё это на Театральную площадь, море голов, не то что ехать, но пешком нигде не пройдёшь, с верхних этажей и с низко летищих аэропланов разбрасывали прокламации — «Свобода всему миру!», «Больше снарядов в окопы!», «Война до победного конца», нотом появился Грузинов со штабом на лошадях, под колокольный звон. И от того всего на адвокатском собрании долго не было кнорума: кто застрял на улицах, а кто и дома, не поучаствовали и в демонстрации, и на заседании просидели до позднего вечера.

Корзнер потому особенно нерничал, что эти дни нужно было повсюду успевать быть: и на службе, и с клиентами, и вот здесь, на профессиональных совещаниях, и не пропускал же он заседаний Комитета общественных организаций.

— Между прочим, знаете, господа, к нам туда стал ходить писатель Бунин. Думает несе увековечить в художественном произведении.

И заседания одолевали — и никак же нельзя без них: историческое время, оно несётся или крадётсь невозвратными шагами. Сейчас чего-то не увидишь, не отзонёшься, — потом не исправишь за тысячу лет. Конечно, время — не разглагольствований, а напряжённых дел, но и без совещаний не обойтись, и получается ежедневных. И сословие присяжных поверенных, острее других изнывавшее под гнётом старого режима (сейчас жутко вспомнить: да как же терпели это полицейское хулиганство?) и особенно ярко себя проявившее в защите лиц, гонимых за политические убеждения, — теперь должно возглавить процесс всеобщего разъяснения и даже всеобщей организации. Продолжая охранять эволюцию личной свободы, стать и авторитетными глашатаями гуманных начал среди взволнованного населения.

Адвокатское собрание потребовало изменить адвокатский значок, убрать из него эмблемы прежней власти. Ожидали и пополнения адвокатес в свои ряды. Постановили: стремиться не к созданию разнообразных партий, ибо теперь у нас единая партия — весь свободный русский народ, но — Союза Союзон, как в 1905, который опять бы объединил всю интеллигенцию. Выбрали редакционную комиссию, туда вошёл и Корзнер, составить обращение от адвокатов к народу и войскам.

Поддержка Временного правительства народом была из задач первоочередных. Надо

было организовать, наладить, чтобы из всех мест посылали выражения доверия правительству. Надо было всюду разъяснять: кто подрывает Временное правительство — тот идёт против народной свободы. Смотрите, новые министры буквально не спят и не едят по недостатку времени, своим примером призывая и нас к сверхчеловеческой энергии.

Но Игельзон посмеивался:

— Ещё самой главной опасности, господа, мы не учитываем! Сейчас для революции самая большая опасность — это обыватель. За переворотом не успевают души, ущемлённые обывательщиной. Человек стоит в стороне от всей сложной мучительной борьбы, но рассуждать о ней — его обывательское право. Читает газеты — и чувствует себя судьёй русской революции. Это он больше всех огорчён, зачем появился Совет рабочих депутатов, и почему милиция справляется хуже полиции. Что за мука, кому приходится в день встретить двух-трёх обывателей! Это существо, которое не может радоваться ничему возвышенному. Крылатой радости он противопоставляет свою крохотную обиду, голодающе-жаждущим завоеваниям — буланочный укол неустройства. Если ему в манифестации отдали мозоль — он кричит: вот какая она, ваша свобода! Как нам сделать, чтобы вместе с самодержавием исчез и обыватель? Сейчас, когда надо работать с удвоенной энергией, верить, бороться, агитировать, — нет оправдания тому, кто занят скептической рефлексией! Сейчас малое сомнение — хуже большого преступления! Не смеет сомневаться, чёрт возьми!

Крикнули ему в тон:

— Да стигнет обыватель, паразит революции! Он сосёт её кровь своей мизерной рассудочностью.

В шутку. Но и серьёзно.

В самой же Москве произошёл недопустимый и опасно знаменательный казус: курсистки медицинского женского института выразили недоверие новой власти! На каком же основании? На том, что она свергла старую власть слишком бесконфликтно, — так не будут ли и сами такими же? Оригинальный поворот мысли... Точно так же и крайне левая группа большевиков обвиняла сейчас «Утро России» и другие московские газеты, что они два лишних дня подчинялись запрету Мрозовского и соглашались печататься без всякого намёка на петроградские события — и только забастовка типографов не дала им выйти в таком прилизанном виде. Все такие выпады покрывались остро-опасным словечком «буржуазия». В Совете эти большевики кричали: «Не допустить буржуазную править городской думой!» На митинге в Лефортове один большевик заявил: «Буржуазия устроилась в Земгоре и уклоняется от воинской повинности!» Вот новый поворот — уже и Земгор им плох! Уже и лозунг республики их не устраивает! В уличном «Московском листке» «буржуа» зазвучало как ругательство, среднее между «подлец» и «скотина». «Буржун» — это буквально все, у кого белая манишка, интеллигентный вид.

Так внезапно возникла опасность молодой свободе со всем с неожиданной стороны. Пристально следили за этими симптомами. Симптомы входили и в их собственные дома. У Левашиной прислуга уже выставила требования: светлую комнату, два часа перерыва на обед, два свободных дня в месяц, удвоенное жалованье плюс беспрепятственный приход гостей. Вот так они поняли свободу! А уступил — требованиям конца не будет. Деньги, допустим, можно добавлять, — но разрушить собственную жизнь, распорядок и сделать из квартиры проходной двор? Выставляется харя.

Разделить ряды восставшей России — да это мечта клеветников старого режима, это и есть правая интрига. Вызвать междоусобицу — что может быть теперь желаннее для погромщика? И вот путь: бросать самые крайние левые лозунги — и так разделить демократию. А дурачки-большевики клюют. Ясно, что это — всё та же черносотенная опасность, но выплывающая с левой стороны. Удобно! — ведь сейчас идёт бешеная скачка левых позиций. Теперь, когда на улицах нет городовых, — отчего не кричать «да здравствует свобода!»? Теперь все стали левыми, левизна страшно подешевела. Да в России никогда и не было искренних консерваторов: как можно быть консерватором в стране, которой ничего хорошего хранить? что можно было отстаивать в этом насквозь прогнившем режиме? А сегодня — какую привлекательность для бывших монархистов может иметь монархизм, если он перестал им платить? Консерваторы у нас всегда были те, кому выгодно распутство и гниль, — а вот теперь они все хлынули в «левае». Кто воистину был левым при царском режиме — теперь не нуждается леветь, и выглядит как бы остальным. А безответственные выглядят «ещё левей», — и перед ними уже тускнеет левизна сознательная.

Ах, досадило было тратить аргументы и усилия против ещё этой мнимой левой опасности, когда не добыты были главные тёмные силы! Хотя реакционные гнёзда, могущие сейчас организовать контрреволюцию, не открывались явно, но они безусловно свои роют и только ждут благоприятного момента. Уже были слухи, что в Витебске, Кишенёве, ещё где-то, идут еврейские погромы, потом не подтвердились. Но защиту свобод надо спешить упрочить! (И когда же, наконец, будет издан акт о еврейском равноправии? чем объяснить такую медлительность, кто держит?) Пока что, говорят, полковник Мартынов из Охранного отделения даёт обильные показания на всех своих сотрудников. И надо доис-

каться и назвать всех, до последнего имени! И найти все корни убийства Иоллоса и Герцейштейна! А если оглядеться дальше: по провинциальным городкам что там сидят за общественные комитеты? Какие-нибудь совсем чужие революции люди, и если схлынет столичный революционный напор — они ещё откроют своё истинное лицо. Там сидят и купцы, которые и сегодня называют евреев спекулянтами.

Но и когда ионный строй установится — разве опасности минуют? А можно ли будет верить новому президенту и отдавать ему армию, как была отдана Луи Бонапарту? Все генералы должны быть под неусыпным контролем народа. Верно говорит: Россия сейчас напоминает человека, который долго жил в бедности и вдруг получил огромное состояние, и есть опасность, что он будет слишком щедро раздавать свободы и доверие.

И в обстановке этих опасностей — как досадило, что они возникали и с той стороны, откуда бы им не возникать. Вот — проблема Совета рабочих депутатов. В опьянении своей силой он уже зарывается, будто он уже чуть не законодательная, чуть не исполнительная власть. Левое неразумие: снова разогревать революционную лаву и снова её разливать. Начинают кричать о «диктатуре пролетариата», чуть не о втором правительстве, — и так сами же от себя отшатывают общественные симпатии. Захватный явочный порядок был допустим по отношению к царю — но дикость, когда большевики проповедуют «явочный порядок» по отношению к Временному правительству. Агрессивный тон при малосознательных массах — это очень опасно. Грустно за неразумие России. На нашем знамени должны сиять закон и право.

Старый Шрейдер качал головой:

— Нет, господа. Не так всё просто. У русского человека природная любовь к беспорядку, и тут ничего нельзя прогнозировать. Культурный ход революции в этой стране под большими опасностями. Охлос, анархия и максимализм могут всё погубить. И винить их не приходится. Народ, который жил в рабстве целые века, не может стать а три недели свободным и выдержанным. А тёмные силы будут везде подстрекать к насилиям. А крестьяне, как только коснётся земли, глупеют, — и них исчезает и наблюдательность, и справедливость, и уж не спрашивай сознания государственной сложности.

Так и возникла — совершенно против всякого разума — ещё одна специфическая опасность: демагогический лозунг «долгой войны!». Никакой логикой нельзя было предвидеть такое извращение идей нашей революции, такой идиотский лозунг — но он возник! Опаснейший лозунг для русской свободы! — и проталкивает его малая группа лиц, но он может вызвать расстройство всех наших рядов. Во время воскресной московской демонстрации, правда, ни одного такого плаката поднято не было (говорили: какая-то юнкерская часть грозила расстрелять такой лозунг, если поянется). Но около памятника Скобелеву такие ораторы высывались. И такие ж статейки о немедленном мире, всегда анонимные, в левой партийной печати. И листки — «долгой войны». Это очевидно большевики, юнкеры наездники от социализма, они безответственны, для них нет ни сложных, ни трудных вопросов. Но пренебречь этой опасностью тоже нельзя. На адвокатском собрании единогласно постановили: пропагандировать среди населения лозунг «война до победного конца!», а для этого подготовить ораторов, желающих выступить на собраниях и митингах, — молодых помощников присяжных поверенных с полемическим даром. И вот теперь собрали инициативную группу адвокатов у Игельзона, чтобы подготовить доводы для этих посылаемых ораторов.

Но что тут готовить? Достаточно сказать: предложения мира исходят от лиц, не учитывающих серьёзности момента. Младенческий лепет! — снять шапку перед полчищами Вильгельма?

Мы должны говорить прямо от имени Действующей армии. Действующая армия не сможет понять, какую цель преследуют те, кто стоит сейчас такой острый вопрос, пернируя и тыл, когда Учредительное Собрание уже не за горами! Действующая армия недоумевает, как можно перестать работать на заводах и прервать поток снаряжения.

Э, нет, господа, аргументы нужно пофактичнее. Ведь для неразвитых это очень соблазнительно выглядит: мол, русский пролетариат посылает германскому пролетариату письмо, а тот протянет руку. Вот тут и нужно: а если немецкий пролетариат не ответит? А если ответит только через три месяца — то как это дожидаться? А если мы так уверены в своём письме — почему вы его не написали раньше? Немецкая революция? — журавль в небе, никто её не видел. Интернационал? — никакого не существует. Германские социалисты уже и заявили, что считали бы революцию в своей стране величайшим бедствием. Помочь германскому пролетариату? — вот только мы и можем: энергичным ведением войны!

А спросить их, ненормальных: как это можно из войны мирно расцепиться? Только победить — или только сдаться. Одна неделя без снарядов и продовольствия — и наша армия будет расстреляна немцами. Это будет новая сухомлиновщина, нашими собственными руками! «Долой войну» приведёт только к гибели тех, кто в окопах. Нам не нужен захват чужого добра, но обезоружить разбойный народ. Нам нужен мир не временный, но вечный! Сейчас решаются судьбы всего человеческого рода!

— Да сердце сжимается, к чему бы приняло нас немецкое торжество! Что бы осталось от нашей завоеванной свободы?

— Да нам ещё два месяца постоять — и немцы подохнут с голоду!

— Господа, нельзя даже допускать постановки такого лозунга — «долой аойну». На наших знамёнах — «демократическая республика», и почему же можно обращать взоры к абсолютистской Германии? Те фашисты, которые хотят столкнуться с каким-то, им известным, немецким пролетариатом, подумали ли они о Сербии, залитой слезами?

— Господа, господа, сбросьте пар паиславизма. На Сербии не потянет.

— Хорошо, спросим так: имеет ли право русский рабочий не обратиться к призывам французских социалистов, известных всему миру? Ведь они зовут — продолжать аойну неослабно!

— Да если мы погубим дело союзников — то что ждёт Россию на много поколений? Германское иго! Слухи о революции в Германии для того и пускаются, чтоб ослабить наше сопротивление!

И реалистично говори: если мы прекратим войну сейчас — не к немцам же нам бросаться за деньгами. Мы окажемся в экономической пустыне и не сможем вести строительство новой жизни. Так уже задыхались младотурецкая, персидская и китайская демократии, которые базировались на одной идеологии.

В теперешнем фазисе аойны — не предмет спора, а необходимость. Кто бы каких азглагол ни держался, но должно признать: прекращение аойны — не в нашей власти. Можно быть убеждёнными пацифистами, как и многие из нас тут, но нельзя отрицать неизбежности недействительности аойны.

А Шрейдер своё:

— Господа! Не забывайте, что психология наших масс перевёрнута вверх дном. Надо истинно будировать любовь к родине, это понятнее простонародью, чем свобода. А через любовь к родине мы спасём и свободу.

Молодой белокудрый Филалкоаский, которому и предстояло идти одним из ораторов, изорвался:

— Я не понимаю! Да неужели же Свободная Россия поддастся провокации мира, перед которой устояло даже царское правительство? Мы — именно устранили тех, кто нам мешал побеждать, — и почему теперь «долой аойну»? Что случилось? Потому что исчезла сила принуждения? Начальство не смеет наказывать — так бросай всё? И это говорят кому? — республиканской армии?

— Нет, господа, ещё реалистичней, язык неумолимых фактов. Наши оппоненты — понимают ли истно, к чему ведёт их призыв? Ведь они объективно становятся друзьями и пособниками старого режима. Да Штурмеры, Фредериксы и все сидельцы Петропавловской крепости мысленно благославляют немецкие пушки. Если б это было в их силах — они помогали бы зрять германские орудия! Да будь сейчас полный мир — Вильгельм всё равно бы аторгся утвердить Николая! А если фронт будет сейчас прорван — то все притаившиеся контрреволюционеры так и попрут против наших завоеваний. Пораженчество — сегодня может оставаться только в тёмном подполье черносотенства! Среди революционеров — его не может быть!

Да. О да! Это опять она — правая черносотенная опасность, хитро замаскированная под леваку! Да, да, — несомненно становится связь царской реакции с этими криками «долой аойну»!

О, как же астаится, как запутан этот простой вопрос о войне!

Надо будет вот что: посылаемым ораторам давать защиту из студентон с хорошими кулаками. Потому что возможны аские столкновения.

626

Когда достиг слух, что везде по ротам, по батареям надо выбирать комитеты, хотя ещё и не известно, для чего, три старших фейерверкера а батарее — старший орудийный, старший разведчик и старший телефонист, сговорились, что они и составят батарейный комитет. Шли доложить о том капитану Клементьеву, по пути встретили подпоручика Гулая, сказали ему. Гулая уважали за суровость обращения и простоту происхождения, он был свой.

— Здорово придумано! — гулко отозвался подпоручик. Жёсткий азгляд его не сразу выдавал насмешку, бывает и задумавшись — что он? — Значит, комитет будет чисто фейерверкский? Правильно! Знание немалое. Сам император Пётр Великий дослужился только до бомбардир-ефрейтора.

— А что? — не понимали.

— А если каиониры — свой комитет захотят?

— Так зачем же?.. Лучше нас рази рассудят?

— Мы везде бегаем-хлопочем, а править другие будут?

— Правильно! — ещё гулче захохотал Гулай. — Так и вы лучше офицера не рассуди-

те, а вот же выбирают! Не-ет, братцы, не миионать аам теперь толковать с номерами, с ездовыми, с ними вместе составить списки, кого намечаете, — а потом на общем собрании голосовать, да ещё запротоколировать.

— Запрото...?

— Что-т шибко долго, господин поручик, асех обходить да со всеми говорить. А коли на собрании схотят совсем других, а не нас?

— Ну что ж, — посмеялся Гулай, — они и будут. Это вам — демократин, а как вы думали?

Что-то им потом и капитан сказал, не одобрил, дело захрясло. Никого они не обходили, и собрания не созывали.

А создались комитеты иначе: приехали чужие неизвестные люди и стали проводить собрания — в дивизии, а Солигаличском и Окском полках, в артиллерийской бригаде — иезде выбирали комитеты. А сегодня с утра приехал к ним а батарею какой-то молодой, белокожий, с рыхлой ряшкой, не нашего цвета сизая шинель новоадеянная, а на плечах отстеганные хлястики из серебряной рогожки с малиновым просаеом, вроде наших погоней, не разберёшь, кто ж он по чину, а по азрасту решили — прапорщик. Одно видать: по земле ему ползать не выпадало. А с ним — унтер из Окского полка, но тот в стороне держался, как проножатый. И вот на позиции близ орудий собрали всех комеров, всех разведчиков, асех ездовых, кроме диевальных при лошадях, и сколько-то из батарейного резерва. Помещения тут никакого нет, но стоял мягкий серый день без оттепели — и асе расположились прямо на позиции за пушками, подмостясь кто охапкой хвороста, кто колодой, кто на пейёк, а те на хоботах орудий, на отсошниках, как и подпоручик Гулай. А ещё был тут, из деревни, колченогий шаткий столик и три табуретки, поставили и их.

Приехавший сразу занял главное среднее место за столом, и грамотного телефониста посадил рядом записывать, — а третья табуретка так никому и не понадобилась, её потом переаесли капитану, который подошёл с опозданием.

Чудной прапорщик заложил руку за борт шинели и чудно поклонился аправо и влево. (Солдаты оглывались по за собой: кому это он поклоны бьёт?) Объявил, что сделает «внеочередной доклад по текущему моменту». (Вылупились.)

И — уверено понёс, с удонольствием, смачно аыговаривая и себя слушан. Чего-то мелькало: «аековой деспотизм... развратный проходимец Распутии вместе с царицей немкой правили Россией... Николай предупреждали, что народ ропщет, но он не слушался совета... на подавлях сотен борцов от декабристов до наших дней... звезда свободы... таорчество солдатских масс...»

А дальше Гулай стал замечать у этого земгусара в терминологии признаки социологии и даже чуть не философии — и догадался: этот — из публики, отрешённой а социал-демократических кружках, а то из тех провинциальных юных интеллигентон, какие читают гимназисткам лекции по философии, чтобы перней уложить по выбору а постель, в Харьконе знал Гулай такого Межлаука.

Солдаты слушали смирно, хотя с глазами стеклянными. Прапорщик понёс и дальше — «история всех революций показывает... миражи оптимизма... преодолеть негативность организации» — адруг кто-то из батарейцев сзади звучно приговорил:

— Зюньзя!

— и переаеся, переаеся смешок. Прапорщик не понял, не заметил, а солдаты стали шеаелиться, доставать кисеты, скручивать газетные махорочные цыгарки. И задумило по всему расположению, а кто от дыма отмахивался — казалось: от докладчика.

А Зюньзя не заметил бесповоротного — и ещё разгорчился, уже и с жестами, да аольно было речь держать — ни обстрелу, ни нетру, ни снегу, ни холоду, — то ли ждал сопротивления от здешних офицеров, косо поглядывал в их сторону. Но унизительно было бы Косте Гулаю тратить саю преаосходную философскую диалектику на этого морда-теиького поросёнка.

Секретарь сидел над чистым листом, не понимая, что ему писать.

Капитан Клементьева и не смотрел на Зюньзя, а куда-то поверх стволов, будто обдумывал стрельбу. Несмотря на то, что он молод, а привычках у него что-то немолодое. Командира же батареи не было.

Наконец Зюньзя заметил, что его аоисе не слушают, и покинул свою фразеологию, стал подделываться под лубочный стиль, ища сочувствия а солдатских лицах: «соасем невтерпёж, невоготу стало жить бедному люду... царские холопы... полиция грабила живого и мёртвого... начальство только и делало, что запрещало жить своим умом...»

Думали — все выборы будут двадцать минут, не рассчитали: время-то близилось к обеду. Народ забеспокоился, закашлялся, больше зашевелился. Наводчик 2-го орудия хозяйстаенный Прищенко не выдержал и аысоко поднял руку, будь что будет.

Зюньзя заметил:

— Вам, товарищ, что? Отойти? Пожалуйста, разрешения не надо.

Прищенко слез с лафета, переминаясь:

— Да нет, господин прапорщик. Чего ж впорожую аола гонять? Вот-вот куфия приедет.

Зюньзя обиделся на грубость:

— Как же так, товарищи? Я аам — момент объяснял, а теперь должен объяснить о взаимоотношениях с офицерами и о роли комитетов.

— Так вы, товарищ господин, и сказывали бы с конца, а то куфия придет.

— Чего тары-бары размалачивать! — резким дерзким голосом закричал сзади Евграфов. — Давайте выборы!

Высокий страшноватый Хомутов ахморгал на снег одну изюрю, другую, обтёр нос рукавом шинели и с пучка хвороста угрозил:

— Немец молчить-молчить, а как бухнет раз-другой, тут нас всех и потрафит.

Улыбка презрения прошла по мясистеньким губам приезжего прапорщика. Он посмотрел на них саслыми глазами:

— Так как же мне, товарищи, с вами говорить? — и на беду опёрся о стол, а тот шатиулся, и секретарь подхватил прапорщика под локоть. И ещё менее уверенно: — Я — не знаю.

— Ну а не знаешь -- не берись! — резко опять крикнул Евграфов сзади.

Кто-то застыдился, смягчил:

— Господин прапорщик, да ты нас не слушай. Среди нас такого насажут — из плечах не унесёшь и на возу не утнешь.

Загудели батарейцы: про что дело идёт? хотим знать.

У Зюньзи пояилась в руках какая-то бумажка.

Но уже не слушали его, а запросили своего капитана:

— Ваш айсбродь!.. То ись, господин капитан. Объяснить вы нам по-простому: о чём дело идёт?

Капитана Клементьева любили: имел он сочувствие к батарейцам, и никогда никого попусту не распекал.

Со своей манерой молча похаживать-посматривать, он и сейчас присмотрелся — встал — перешёл к столику ближе, но не касался его, и не искал положения рук, у привычного военного они всегда хорошо висят.

— Да что ж, ребята, — заговорил негромко, но асё было слышно. — Тут дело такое. Старый порядок — кончился. А нам — жить нужно.

И остановился. Да кажется, всё главное и сказал. Поняли.

Гулай подумал: и правда. Какой бы там космический аспект революция ни имела — а нам жить нужно.

— Вот и приходится новый порядок заводить, — так же сдержанно и печально объяснял капитан. — И новый порядок придумал, в помощь командиру и в нашу защиту, — батарейные комитеты. Вот нам и нужно в этот комитет выбрать трёх человек. И всё.

— Так это — ещё новое начальство будет? — закричали, смекнули сразу. — А фейерверкера на что?

Один телефонист громко крикнул за комитет. Ему:

— Заткнись, проволоочная катушка!

Переругивались.

Приезжий прапорщик бесполезно стучал карандашиком по столу.

Капитан надумал ещё сказать. Замолчал.

— Батарейный комитет будет заведывать всеми батарейными делами, кроме боевого и строевого. Дел таких немало. Например, кому идти в наряд, на кухню или к лошадям. Кому обмундирование дать, кому не дать, — комитет и решит.

— Ого-о-о! — закричали.

— Не-е-е! Лучше иехай фельдфебель! Он приобьчен, рука наторена.

— Не, вассескро... господин капитан! — кричали возмущенно. — Подпусти кого к обмундировке — так на себя напаялит и ещё в запас возьмёт.

— А выбирайте таких, что не возьмут, — пожал плечами Клементьев и ушёл на свою табуретку.

Дело перешло опять к Зюньзе. А бумажка в его руках оказалась списком кандидатов — кто, когда, где успел её написать и ему подсунуть?

Прочёл старшего оружейного фейерверкера.

— Ничаао, — отозался смиряющий голос. — Повертит тебя строго, но что требуется — отпустит.

— Да погрозится, что морду набьёт, коли чистым ходить не будешь.

Уж этот — раздался, ничего.

— Старший фейерверкер Теличенко.

— Эитот себе лучшенькое отложит!

— Возле аоды ходить, да не замочиться?

— Пушай, ничего, подходящий.

Так так и выходил фейерверкский комитет, удивился Гулай. Не мытьём так катаньём. Нет, третьим Зюньзя прочёл, не ведая, что это его обидчик:

— Бомбардир Прищенко.

Тот и сам не ожидал — вздрогнул.

Сразу несколько недовольных голосов:

— Ишь, гад, куда нацелил!

— У его штаны аль подштаники запроси, так он с тебя до пуза всё сымет, на солнце посветит, и ещё ругиёт — поноси.

— Так значит, не подходит? — спросил Зюньзя.

Но и спорить оказались ленивы — кого ещё искать? Да и досуга нет.

— Почему ие подходит? Пушай и ёи будет, как прыщ на ж...

Других мнений не было.

Прищенко сидел красный от нолнения.

Чёрный длинный Хомутов вскочил, прислушался:

— А никак, ребята, кухня ходу даёт? Как раз своечасно!

— Так позвольте, товарищи, — уже неуверенно и брезгливо заявил Зюньзя. — Надо голосовать, сколько за, сколько против, надо в протокол...

— Да пиши, пиши антих, что выкликнул!

С поворота дороги показалась и сама кухня с завёрнутым дымком.

Побежали за котелками.

627

Ушли в землянки офицеры. Разошлись по делам старшие фейерверкеры. Фельдфебеля и с утра на батарее не было. Ушли ездоные к себе на передки — а у номеров что-то ие улягалось: расчекотили их, задели — и теперь не могли они сразу к старому смириться, а разгулялись: чего бы такое поделать?

А погода — тучная, мерклая, «пузырей» немец не подымает.

— Хотя бы пострелять, что ли? — кто-то вздохнул.

— Тю на тебя! — цыкнули, — оглузденел? Нам чичас немца никак затрагивать нельзя. Перекрестись, что он не трогает! Что тебе я боку застряло?

Стали вспоминать, когда последний раз стреляли, — да уж назад тому недели три? Да погодите, братцы, это не когда наш ероплан пузырь немецкий поджёт? (Повалил дым бурноолчистый, и пожалели ребята наблюдателей, какие с пузыря в трубу глядели: люди они тож, а спалются как мухи в таком огне. Да пушай, мол, и жарятся как вьюны на скою-родке, на то война. Или винз сигають. А как сиганёшь? — по верёнке? так промеж ног усё сдерёшь, бабе удовольствия останется немного. Так у них зонты огромные сделаны, прыгать.)

Расхондись ребята, как праздник неоконченный, лишь затравленный, — нет, что бы поделать? А ни в чём карахтеру не разгуляться. И кто-то тут и догадайся:

— Так, братцы, теперь комитет у нас есть — а зачем? Пушай не зря подмётки дерут. Пушай составляют список всякому донольствию, какое нам требуется.

— А чего требуется? — Евграфов передразнил. Он за эту неделю уже наметался, напихался: — Нам требуется — по домам. И всё тут!

— Как это — по домам? — строго окликнул пожилой праильный, и шрам его под глазом надулся, покраснел. — А Россию — чего? — прос...?

— Усю не заберут! — отгукнули ему. — Нам чего-ни-то оставят!

— Это — так, братаа. Нам — замирение требуется. И тут батарейный комитет не пособит.

— Замирение — не за первым холмом. А вот насчёт яещичек. Ведь обносились.

У Хомутова и локоть куфайки протёрт.

— Дааай! Пусть комитет пишет, заготовляет. А на чо выбрали?

Однако и старший наводчик и старший телефонист ушли, да их потревожить нельзя, уаажают.

А попался Прищенко, рожа рябонатая. Потянули его, потолкали: пиши! Да де ж писать? Да всё за тот же столик колченогий, пока с неба ни дождя ни крупы не сыплет. А на чём же писать? А от собрания листик чистый остался, иде он?

Нашли на снегу. По толстоте никому на курево не сгодился, однако смят.

— Ничего, поразгладим.

Прищенко от комитетского звания не отказался. Сел на табуретку и выаел химическим карандашом, яслух поаторяя:

— Наши требования.

Номера обстали вокруг, обсели на табуретках и корточках, а кто стол ненароком качиёт — того в три глотки матом.

— Так, значит. Что пишем?

— Конечно, перво-наперво пиши обмундированию, верхнюю и споднюю, шобы всю сменили на новую.

— А старо, чиено, шоб не сдавать, а нам про запас оставить.

— И как же ты всё это потаскаешь? В мешок не влезет.

— Обозу добаавить.

— Не, ребята! Первое делу всему — обутка, без обутки инсколько не протопашь. Пиши первое: аыдать асем к несне ноеые сапоги.

— Не-к, во что, во что пиши: замест аатником — асем полушубки!

— Да иа кой тебе к лешему полушубки, коли весна?

— А зачем котелок за спиной носим, смекни!

— Пиши, пиши! Так тебе незамедля и пристааят по бумаге! Ещё хорошо, коли на другой год к Петру и Павлу отпустят.

— Так ты что, вошь гулящая, ещё к другому Петроу дню носеать хотишь?

— А что тебе здесь, так плохо?

— Чего хорошего: как начинёт садить с чижолой, так и подштанники для лёгкости скинешь.

Приценко постучал карандашом об стол, на маиер того прапорщика:

— Да иы исурьёз, а ие ласы молоты!

— Мы и асурьёз. На запас, чтобы промаху не было.

— Да стола не трожьте, дьяаолы.

— Что, правда, как пьяный шатается? Что на ём за писанье? А ну, неси молоток, подбьём.

— А его трогать не иадо, писать и всё.

— Так шо дальше писать?

— Смазку для обуви!

— Табаку!

— Заусайлоаской крупки, на день — осьмушку иа даоих.

— Не! Осьмушку — иа одного.

— Верю. Они всё равю урежут.

Приценко ждал, слушал, помусоливал карандаш языком. Губы и язык его олиловели.

А асе кругом стояли-сидели, зарясь, задумывая, и наперебой выталкиаали:

— Чтобы парикмахер стрить да брить приходил каждый день!

— Чтоб сапожник со струментом и тоааром заседал тут, у нас.

— Чтоб кажную субботу баня, а мыло бы отпускалось фирмы Жукова, фунт на даоих.

— А може тебе земляничного отписать, чтоб от тебя не так смердело?

— Так с чеченицы у кого дух не аыходит?

— Ну, помалкивай. Далеи, далеи, ребята.

— Курительной бумажки пачку на два дня! — только теперь про бумагу вспомнили, до того уж к газете приаыкли.

— А може тебе ще бумажки для ж... записать? — упёрся Приценко.

Засмеялись дружно:

— Такой не бывает!

— А что? В городах, в иных отхожих, специальная газетка резаная из гвоздик настручена, чтоб стейку пальцем не мазали. Небось, барышни её как следоаят берут, а наши дорнуты — так с гвоздиком и выхаатят, на цыгарки.

— Не, ие,— упёрся Приценко,— такого не подавайть, бумажки из запису. С таким лыстом совестино будэ куды сунуться.

— Так — а каку офицеры свёртынают?

— Так ахвицеры — и по зубам мажут, мало что!

— Во! И нам пиши: зубного матерьяла.

— Балуйся, балуйся.

— Так иои, у Приценки рот теперь весь синий, хоть песком шуруй, за неделю не ототрёшь. Пиши, пиши, Приценко, ротяного!

Гоготали.

— В комитет попал — теперь посинеешь.

Приценко достал из кармана серую тряпочку, стал тереть губы и рот.

— С вами, дьяаолами, саяжись.

А карандаш химический за ухо положил.

— А карандаш-то — тной? Чего присвоил?

— А чей?

— Теличенки. Дай, я ему отнесу.

— Не, ты карандашик аозьми — да под списочком и распишись. И Теличенко пусть распишется. Весь комитет. И тогда несите.

— А куды несите?

— Ну, куды положено.

— Капитану.

— Ни при чём тут капитан.

— А тому прапорщику, что приезжал. А он дальше нехай двигает.

— А иде он теперь? Он не наш бригадный.

— Не, ты поиди, поиди, с капитаном посонетуйся.

Только начали расходиться — налетел фельдфебель Никита Максимыч, борода смоль, глаз огонь:

— Это что? Почему мебель расставлена? Диенальные, туды вашу растуды, что смотрите?

На формировке окладиста была его смоляная борода, иа фронт ныезжали — подкоротил, чтобы иша не села.

— Так собрание было, Никита Максимыч!

— Какое тебе собрание? Тут — батарея! Разиоси мебель отсюдова, чтобы амиг!

Уж знал, небось, про комитет, и обидио ему, что не его выбрали.

Выступил Евграфон, иа городской маиер:

— Господии фельдфебелы! Пущай постоит. Если кому что потребуется записать.

— Ещё чего! — записать! А иу ж — обстрел? Сколько беды от щепья будет? Эй, диенальные, бери, говорят!

Подхватили диенальные стол, табуретки — и потафцили прочь подале. Ну, и не а де-реаню же назад аолокти.

Тем временем Приценко со списком своим аернулся от капитана:

— Сказал: иигде такую ие примут, дюже помятая.

А заиозила Гучкова эта хитрость Керенского астречаться с его полковаикиами. На каком основании, для чего? Уж он и жалел, что ачера сблагодородичал и разрешил. Сегодня хотелось ему узнать бы, как же эта встреча прошла? — но не у кого было: Ободова-ского он сегодня не видел, и полковники тоже асе как исчезли: иикто из них не появлялся доложить сам.

А тут среди дия Гучков узнал, что а предполагаемую прааительстаенную поездку а Станку, о которой уже столько разгоаоров, князь Львоа сам не едет, но едут, кроме Милюкова, Шингарёва, ещё и Некрасоа и — чуть ли не опять Керенский! Вот этим добавле-нием обожгло Гучкова как хлыстиком: ещё и в Станку соаался Керенский? Нет, это уже балаган! И ещё Некрасоа? набрали хлама!

Собственно, вся эта поездка имела смысл в одном Гучкове: аоенный министр ехал знакомиться со своей Станкой. Посмотреть их там сиюими глазами: насколько они искрен-но приняли перенорот и примут реформы? Посмотреть и я глаза Алексеу и, если удасться, установить единстао планов. Позже, для важности, добавили Львова и Милюко-аа,— а теперь вот как поаорачнаалось?

Перным даиженнем было — звонить князю Львоу и решительно протестоваать протни такой профанацни. Но уже изведаа князь Львова, Гучков знал, что это всё равно как бок-сиронать с мягкой подушкой: никакого сопротивления не будет — и результата не будет.

И вторым даижением, отталкиваясь ото исей этой пошлой компанни, Гучков приду-мал: ехать от них отдельно, не завтра, а сегодня же вечером, опередить. Отделиться, свою миссию выполнить отдельно, явстаенно для исей Армии и асей России, а не как развлека-тельную прогулку.

И уже в первой полонине дия отдал энергичные распоряжения: о подготовке поезда, и какие лица с ним поедут, от каких управлений и что готовить. Решил асех ичерашних наказать, остааить. Взять Туган-Бараноского. А брать ли Полиаанова? Желательно было бы взять как главного сотрудника по предстоящей великой реформе. Но с другой стороны, как быаший тоже аоенный министр, он рядом с Гучковым отчасти бы конкурировал, забирал бы слишком много значения себе. Да пожалуй и одиозно было бы среди ставочных появление этой слишком реформаторской фигуры. Не брать.

От быстрого изменения планов уплотнился и сегодняшний служебный день, на который и без того было намечено много — и ещё новое атискивалось.

Надо было съездить а заседание Адмиралтей-Совета и от этих дрыхлых адмиралоа принять присягу Временному праиительстау. Утвердить и морскую комиссию по ослабле-нию устааов — подобную полиааноской сухопутной. Затем совещание с комиссаром Кронштадта Пепеляным и подготовить, кого же назначить ноным комендантом крепости вместо убитого Вирена: назначать приходилось не столько по акусу министра, сколько по акусу матросов, ибо могли и не стерпеть.

Пришлось больно капитулироваать и перед Казанским Советом — не связываться из-за арестованного ими генерала Сандецкого, да аедь и известного реакционера, не шуметь, а выразить казанским советчикам благодарность за твёрдость, с какой они в Казани устра-нили старый порядок.

Не ощущая саоей реальной иласти, асё аремя делать аид, что ты ею обладаешь. Разру-шительно для себя самого.

Тут же и докладывали, что Исполнительным Комитетом Совета и Петрограде аресто-ван лучший гучковский агитатор полковник Плетнёа, объезжавший казармы с речами. Превозмутительно! — аоенный министр не мог послать сиюего оратора по казармам за-пасных полкоа! И — освободить его сам не мог?! Теперь нужно было просить у Исполни-

тельного Комитета? Протиано. Действовать через министерство юстиции? — опять же Керенский.

Тут — снова какая-то депутация автомобильно-технической части и кожаных куртках. А подошёл к кипе подложенных телеграмм и писем — и очень неприятное попало от 10 финляндского артиллерийского дивизиона. Спрашивали: раааа армии с согласия военного министра — ато что, глупость или измена? Какое глубокое непонимание! — да и как понять со стороны? Какое невежественное применение милуюкоаских слов! — к нам?

А что вот было делать с его собственными военно-промышленными комитетами, которыми он так гордился и раавивал их до последней натуги, до последнего дня, — а сейчас, с высокого министерского канитанского мостика, видел, что все эти налепленные добавления сильно крент пранительстаенный корабль. Е м у никак невозможно было зачеркнуть эту асю общественно-оборонную деятельность. Но теперь он испытывал желание крепко подчинить её министерству. (Как никогда б они не дались при царе.)

День клонился к аечеру, и надо было спешить кончать министерские дела и к поезду. (Подушке Львону сообщить в последний момент, не советуясь.) К счастью, состояние Гучкова было куда лучше, чем к рижской поездке, — и тоже в момент из последних он позвонил из домина Маше, что уезжает на пару дней. (Она замылась — и не сказала: «Возьми меня.»)

629

Кто когда-нибудь поработал с князем Георгием Евгеньевичем — называл его «разрядником электричества». Он не только не был никогда ни с кем резок — кроме царского пранительста и его последние месяцы, оно не заслуживало лучшего, — но он исключительно умел и сам примиряться с арагами и всех между собою примирять. Он знал это высокое доброе искусство, — с любым человеком поговорить, пошутить — и собеседник будет нашим. Он кого угодно мог обооружить и склонить на свою сторону. Он умел начальствовать обходительно, безо всякого начальстаенного тона, аносить мир и успокоение и сердца сотрудников. И в конечном счёте праавильно оказалось, что его избрали главой пранительста: он всех их возмёт и спаяет своим миролюбием. Даже было непоинтно ему: откуда именно в революционные дни взялось в людях ожесточение? что случилось со всеми? Ну, раньше враждовали с неговорчивой старой властью, но теперь она ушла — и почему же всем не договориться между собой по-хорошему? Даже худой мир всегда лучше доброй ссоры, практические соображения всегда выше. Зачем эта аечная по асём политика? зачем эти партийные страсти?

Особенно щемил князю сердце этот постоянный, почти грубый нажим со стороны Исполнительного Комитета. Так нужно было несколько тихих дней для тайных переговоров с Англией о судьбе царя, уже бы его и отправили, может быть, и всем легче, — но едина Временное правительство потянуло с разъяснением — как Совет стал стучать кулаком и даже издал свой отдельный приказ о задержании царя. Так же грубо и не слушая аозражений, Исполнительный Комитет настоял созывать Учредительное Собрание в Петрограде — хотя слитное чувство многих ясно подсказывало, что сердце России — Москва, некая собирательница духовных проявлений и чаяний народа, конечно должна быть и местом Учредительного Собрания. Но князь Львова, хотя и лично многим обязанный Москве, сразу уступил Совету, чтоб не создавать напряжённых отношений. Только провление вызывает зло.

Да и с Советом всё разрядится, надо лишь миролюбиво с ними разговаривать. Откуда они? — они тоже из народа, и не могут нас не понять. Почему князь Львова и одобрял Контактную комиссию: только лично астречаясь, мы их и сможем убедить, надо смотреть друг другу в глаза.

В такой ситуации князь Львова опасался, чтобы адруг не пораал с правительством, не ушёл единственый здесь представитель революционеров Керенский. С ним — князь был особенно ласков и уступчив. Да он и замечательный был человек: как никто из министров, он умел ярко действовать на воображение масс и скорее мог поднять их к чуду, чем Милуюкова своими скучными умственными выкладками. У Керенского обнаружил князь и созвучную себе веру в русский народ — и очень склонился к его замечательной, ещё пока тайной, одному князю открытой идее: дипломатическими уговорами убедить союзников, что России в теперешних обстоятельствах лучше бы айти из войны. Как бы это было замечательно, если бы мирно, по-хорошему всё уладить!

Да в Манифесте Совета Рабочих Депутатов и был этот нозаышенный порыв к мессианской роли России — всех примирить!

О, дожил князь до счастливых дней, когда можно творить светлую жизнь совместно с народом!

Не надо дёргаться, не надо всё время соваться с нашими надуманными интеллигентскими решениями, — надо дать свободно течь великой мудрости народной.

И таёрдо держаться и дальше принципа: мы не смеем алиять на население иначе как праивственно. Никаких приказов. Никакого насилия.

Среди множества народных приаветстай, асё притекающих в канцелярию правительства, уже появились радующие сердце приаветстайя холостных сходаа. Деревья подерживаала революцию, она уже всё поняла, какое счастье! Крайне изумляли князя приходящие от некоторых земских управ просьбы о присылке войск для поддержания порядка. По министерству инутренних дел князь велел ответить: не подлежит Петрограду, улаживайте сами на месте.

Да Боже, да в любое место такого крестьянского аолнения если б он мог поехать сам — он бы в пять минут асё уладил!

Удвляли князя и комиссары, разосланные по разным местам России: они запрашивали оттуда, а некоторые даже мчались назад а Петроград: как быть? невозможно организовать на местах аласть! губернаторы все сменены в один день, начальники земских управ не спрааляются, посюду множество комитетов, они друг друга не слушают!.. О, слабые неумелые неугонорные люди! Вы, комиссары, и не посланы для управления, а только и посланы для связи с центральной аластью. И зачем же вам непременно — казённое писываемое единообразие? Губернаторов? Если нужно — на местах и аьберут. Это замечательно, что так много создалось местных демократических комитетов. Везде мудрость народная сотворит наилучшие жизненные формы, всё уляжется. Только нигде не надо доводить до скандалов, надо сговариваться раньше.

Более того, князь готовил на днях ликвидацию и всех градоначальств по всей России: они состоят из людей старого режима, и уже нетерпимы. Пусть и полицию каждый город устраивает на свой ум. И земские начальники тоже естественно заменятся какими-нибудь ещё земскими комиссарами.

Да вот нельзя было далее тянуть и с отменой смертной казни — уже громко раздавались укоряющие голоса. (И Набокова жаждал тоже подписаться под отменой казни, поскольку он более других для этого сделал и прежние годы.)

И амнистию уголовным нельзя было откладывать далее, но асех тюрьмах волновались, и были мятежи.

А а самом Мариинском дворце сидел арестованный генерал Мрозовский — и не знали, что с ним делать. А из Киева срочно телеграфно запрашивали: как быть с арестованным генералом Иаановым? Ну что ж, доставьте его в Петроград, тут произаедётся всестороннее расследование.

Да не перечесть запросов и теребнищих телеграмм, какими осаждали князя Львова с утра до вечера. И беспрерывно заали к телефону. А ещё ж прорывались депутации, не асем откажешь, — а желала аыразить каждая асего лишь полную поддержку Временному правительству.

Возникали самые неожиданные проблемы. То общественные организации, которые до сей поры только и выволакивали на себе воющую Россию, как собственный князь Львова Земгор, теперь начинали аыглядеть как лишние дублирующие создания, мешающие деятельности министров. И Особых соаещаний по сырью, по топливу, по металлам, по переноскам существовало так уже много, что, находил Коновалов, надо добавит ещё два новых Особых соаещания, дабы координировать деятельность прежних. А асё равно: аозаание к рабочим Донецкого бассейна об ааселении работы (и ограничить Пасху тремя днями) должно было издавать правительство и комиссаров туда посылать — оно же. И металлургия была а тревожном состоянии. И подпирал вопрос о неизбежности государственной нефтяной монополии. И нельзя было до Учредительного Собрания откладывать рабочего законодательства, свободы профсоюзов, права стачек. Тем аременем бастовали в некоторых местах казённых железных дорог, сменяли начальника, а подажной состав не ремонтируется, — и надо было, настаивал Некрасов, скорее вводить 8-часовой день и увеличивать зарботки. Но зарботкон требовали все — и надо было аьявлять Заём Саободы, о чём опять-таки требовалось аозвание правительства. А Киев требовал преподавания на украинском языке. А Мануйлова заговаривал о реформе высшего образования а Империи и ликвидации системы народных училищ. А ещё переее асего надо было отменить национально-аероисповедные ограничения а Империи.

Да помилосердствуйте, господа! В каких головах это всё может поместиться — и в каком числе заседаний быть обсуждено, мирно и без скандалов?

А скандал едаа не получился а правительстве по неожиданному поводу: кто поедет и Ставку? Давно намечалась такая поездка: уж Ставка ли была для правительства не самым главным местом ао время ведения Великой аойны? Для личного знакомства с ходом дел натурально было ехать премьер-министру, военному министру и министру иностранных дел, поскольку там состояли представители союзников. Чтобы решить острейшие проблемы снабжения армии продовольствием — неизбежно было ехать и Шингарёву. В таком составе и решили ехать, — но тут Некрасов стал резко настаивать, что эта поездка не может состояться без него, иначе он не гарантирует работы прифронтовых железных дорог. Чтобы не было скандала — князь ему уступил. Но тут заявил и Керенский, что ему абсолютно необходимо ехать и Ставку для личного знакомства с Алексеевым и всем шта-

том, для составления общей политической картины, — и уж кому-кому, яо Керейскому Ляов икак не мог отказать! Но — и не могло же всё правительство а полиом составе ехать а Станку! Так пришлось отказаться от поездки князю Ляову самому. Страино будет выглядеть такая поездка без премьер-министра, но и неприлично же никому не остаться в Петрограде.

Сегодня, пока не разъехались, устроили два заседания правительства — раинее-чернее и позднее-чернее.

Ещё то огорчало князя, что заседаниями правительства иные министры стали маки-ровать: опаздывали или на самих заседаниях яано дремали, асю страсть приберегая к столкновениям на закрытых заседаниях, ночных. (А и закрытыми заседаниями не следовало злоупотреблять: уже раздавались упречные общественные голоса, что Временное правительство действует в обстановке тайны.)

И ещё одна особенность формальных заседаний: так много подсовывается бумаг с мелкими вопросами — что невольно их оглашаешь, и так мозги министров долго не доисходятся до главных вопросов, хотя все понимают, что надо решать именно главные.

Сам же князь и вынужден начать заседание с вопроса о воздвижении в Петрограде памятника павшим в борьбе за свободу. (Хотят сделать выше Александра столпа.) Постановили: немедленно объявить конкурс на памятник.

А Шингарёв, хотя необъятые вопросы иалегали, не мог не объявить о пожертвова-ниях, поступивших через него, в том числе золотая цепочка, которая будет сдана а банк. (Его голос дрогнул, когда он сообщил об этой наивной жертве.)

Эта цепочка подала повод правительству учредить Фонд Национальной Обороны.

А Миллюков возбудил вопрос о наградах по дипломатической службе, подписавших до дня революции: как будто нет оснований отменить их и не обнародовать? Зачем обижать ожидающих чиновников?

А может быть, правильнее награждать орденами только за боевые действия?

По министерству внутренних дел был вопрос: брать ли на себя утверждение выборов председателей дворянства. Обсудив, решили: правительству — уклониться, предоставить председателю выполнять обязанности, а там пусть разъяснится обстановка сама.

Ещё: приостановить всякое производство в чины по гражданскому ведомству. (До выяснения контуров нового строя.) Но этого — не следует обнародовать, лишь сообщить к руководству.

О процентной прибавке чинам почтово-телеграфного ведомства. Отпустить полмиллиона рублей.

Им же — на выдачу пасхальных подарков. Ещё полмиллиона.

Мануйлов: можно ли и всем министрам завести свои бюро для осадомления печати, как завёл Керенский?

Решили, что можно.

Управделами спрашивал: распечатывать ли все акты Временного правительства? А за счёт чего? Отпустить 100 тысяч.

Во асей этой мелкой череде первенствующе важно, как держит себя князь. Он-то не должен допустить скуку ни на лице, ни а голосе. Он-то должен с неизменной внимательной и свежей улыбкой осматривать и опрашивать желающих высказаться и видом своим передавать всем бодрость и надежду.

Прекратить празднование царских дней. Взамен того обсудить установление празднования событий государственного значения.

Ещё такой вопрос: петроградская городская дума, не получив разрешения занять Зимний дворец, теперь наставляет провадить свои общие заседания и Мариинском. Но хорошо ли их сюда пустить? — Нет, господа, тут от них жизни не будет. — Но в какой форме отказать, ведь неудобно?.. Придумали: ведь тут ещё возобновит заседания Государственный Совет!

Доктора римского права Давида Давидовича Гримма по совместительству с товарищем министра просвещения желательно бы поставить также и комиссаром над Государственной Канцелярией. Назначить.

Иногда бывает на заседаниях и так, что уже, кажется, решённый и отодвинутый вопрос снова возвращается и врезается: вот, несколько дней назад, решено помиловать всех киргизов, замешанных в прошлогодних иолнениях, и возместить им убытки. Теперь телеграмма туркестанского генерал-губернатора напоминала, что а тех волнениях понесли убытки также и русские. Как, и русские? Ну, так распространить.

Глубже и нечер и в ночь уже больше министров собралось, и внимание стягивается острее на вопросах главных.

Окончательно решено все удельные имущества признать национальной собственностью и не платить никаких компенсаций членам императорского дома.

Миллюков докладывает исправленный манифест о независимости Польши. Не заметили, что ж он там исправил, — приняли. С плеч.

Ещё Миллюков получает согласие правительства признать не подлежащими оглашению все сведения о конференции союзников в минувшем январе.

А теперь — вопрос... вопрос... К нему примерились уже на закрытых заседаниях и в частных беседах, но его неизбежно внести в протокол, — о казённых окладах самих министров.

Не осталось дремоты, несмотря на поздний час. Все внимательны, но сдержанны.

Так как а частных беседах этот вопрос достаточно выяснен, и министр финансов подготовил все нужные справки, то теперь, маювением доброго князя, решение проходит вполне тактично: сперва утааерждают товарищам министра — по 12 тысяч а год, а затем министрам, естественно, на ступеньку выше — по 15 тысяч плюс ещё по 4 тысячи квартирных, кто не занял казённых квартир.

А ещё вдобавок — издержки на представительство. У министра-председателя, но-иных дел и иностранных это составляет ещё по 12 тысяч а год. И остальным — по 6 тысяч.

Всё так, возражений не последовало.

Только вот замечание, небольшое замечание. Его делает сам князь, понимая деликатность. Протоколы наших заседаний все публикуются ияряду со всеми великодушными и даже великими актами нашего правительства.

— ...но именно это постановление разумней было бы не публиковать во асеобщее сведение. Оно может быть криво истолковано, ие к поре прийти...

Благоразумно. И постановили так.

Миновали неловкость, помогая друг другу.

И так бы на светлой ноте могло кончиться заседание, если бы Набоков не достал из своей папки ещё новую бумагу и не объявил: что Исполнительный Комитет Петроградского Совета Рабочих Депутатов аторично наставляет ассигновать из государственного казначейства на организационно-политическую работу — 10 миллионов рублей!

Знал, помнил князь, — но всё равно забыл, и теперь изумился, как бомбой по груди равнуло.

И — все. Шатнулись даже.

Десять миллионов?.. На политическую работу?

Вот это — иовые отношения. Вот это — только начини платить.

Да нет, не в десяти миллионах дело, а дело а обиде: зачем же так нехорошо и так даже дерзко?

— Скажите, господа, а кто их вообще в ы б р а л?

(А — нас?..)

Смолчали.

Значит, мало встречаемся. Мало в глаза друг другу смотрим. Упустил князь Георгий Евгеньевич.

И — что же делать? Начать данать? — невозможно.

— В наших с ними условиях насчёт выплаты денег — ничего не было, — твёрдо заявил Миллюков.

По нему — хоть бы и отказать, не его будет отказ.

Но — как можно отказать?..

Но — как можно дать?..

Ай, какая неприятность, какая?..

И — Керенский в отъезде, нельзя с ним посоветоваться.

— Вот что... Вот что, господа... Давайте запишем: передать на добавочное заключение министру финансов... И так выиграем время.

Гладкое молодое лицо Терещенки сильно сморщилось.

КРОЙ ДА ПЕСНИ ПОЙ — ШИТЬ СТАНЕШЬ, НАПЛАЧЕШЬСЯ

630

Поездкою в корпуса Воротынцев убедился, что время утекает невозвратно, всё разваливается от каждого упущенного дня.

И — что же намерен Лечицкий? Вот это хотел бы Воротынцев успеть узнать до его отъезда на Западный фронт?

Прошлой осенью в штабе Девятой при разборе одной операции Платон Алексеевич сказал: «Сражение потеряно только тогда, когда главный начальник придёт к этому убеждению. Не раньше.»

Но не застал Воротынцев в армейском штабе никакой суеты. Ни о каком отъезде генерала Лечицкого не говорилось. Странно.

Днём Воротынцев был у командующего с докладом о своей поездке. Тут-то он и надеялся обратиться с прямым вопросом. Но присутствовали другие. Лечицкий переходил к следующим делам. Не удалось.

Лечицкий был не из столичных лощёных генералов и никогда не пользовался никакими протекциями. Сын сельского священника, всю службу он прошёл на строевых должностях и с самых низов. Кончал даже не военное училище, а дореформенное юнкерское, выпускавшее подпрапорщиков, то есть старших унтеров, только через год они становились офицерами. И потом 22 года прослужил в захолустных сибирских линейных батальонах, у дальних границ, откуда никто никогда не возвысился. Дослужился до капитана, и на этом кончилась бы его карьера, если бы не японская война. В ней он получил один из сибирских полков, с тем полком — георгиевское знамя, и сам стал генерал-майором. Нет — генерал-солдатом. Все вокруг терпели поражения, а он побеждал. В то время Государь так полюбил его, что сразу после войны зачислил в свиту Его Величества и даже, — не гвардейца, не генштабиста, — назначил командовать в Петербурге 1-й гвардейской дивизией — знаменитыми Преображенским, Семёновским, Имайловским и Егерским полками. Гвардия восприняла как пощёчину, однако Лечицкий тактично вёл себя и за год передал гвардии военный опыт, которого у неё не было. В начале этой войны он формировал 9-ю армию, предназначенную для удара на Познань и Берлин, но от первых неудач был брошен вызывать Люблин, потом Ивангород, потом задвинут на крайний левый фланг. Тут, между Серетом и Стрыпом (как раз тогда и попал в 9-ю армию полк Воротынцева), при конце нашего великого общего отступления 1915 года, Лечицкий сумел единственный тогда наступать, взяли 35 тысяч пленных и могли ринуться в разваленные тылы противника, просил Лечицкий у Иванова миллион ружейных патронов — тот не дал, нету! А Государь как будто переменялся к Лечицкому, за весь этот прорыв дал ему, не в уровень заслуг, всего лишь Белого Орла, какого имели и начальники дивизий, пожалел Георгия 2-й степени, — или так докладывал Янушкевич? (Последовала другая необычная награда: отцу-священнику — орден Владимира за подвиги сына.) В том сентябре собирались дать Лечицкому Румынский фронт — да не владеет французским языком, а надо же разговаривать с румынским королём.

Воротынцев Лечицкий заметил ещё на Стрыпе, отмечал его и в зимних боях под Черновицами, и награждал за июньское наступление к Кымполунгу. Он вот как разбирается в подчинённых: в майский прорыв 1916 всю артиллерию армии, в обход нескольких артиллерийских генералов, поручил простому командиру батареи подполковнику Кирею, выгляденному им, — и тот обеспечил в несколько часов взятие трёх линий обороны, когда на остальном брусливском фронте грохотали сутки зря.

Для Воротынцева Лечицкий был генерал в высшем понимании — столько подлинного опыта скопилось в нём. У него есть дар и выше: не окружающим только штабным офицерам, не главным только начальникам, а всем своим войскам внушить волю к победе и уверенность в ней. Но никогда не требует выше солдатских возможностей. («Солдат без подосв — не солдат.»)

С каким же замыслом, с каким намерением он едет принимать Западный фронт? (И если бы взял с собой! Он бы не пожалел!)

А на приёме злополучной присяги при штабе армии держал речь, как все теперь: что старое правительство принесло много вреда России, и звал помолиться о силе и здравии Временного. Но — и куда ж ему деться? Хоть не даёт рекламных интервью, как Рузский (В утро приёма присяги Воротынцев кончил ночное дежурство — и, по праву, просто скрылся спать. С отвращением. Конечно, красивого нет. Но публично отказаться, как граф Келлер, — это уход из армии. Как ни унижительно — схитрил. Да надолго ли скрылся? — ещё приступят. А может не дочтут.)

Как раз и сегодня на ночь Воротынцев заступал дежурить по армейскому штабу. И искал и нашёл повод — не слишком пустую телеграмму — войти к старику в кабинет уже настолько поздно, что никого не будет, но чтоб он ещё не спал.

И доложил через адъютанта в половине первого.

Платон Алексеевич принял. Сидел в кабинете один.

Он был ослепительно белый — выседевший до яркого бела: длинные белые сверкающие усы, тем более рельефные, что остальное лицо гладко брито, и вся голова в мелком белоседом засеве, и брови тоже белые.

Усталое читал бумаги, но несмотря на поздний час, одиночество и усталость — стоячий воротник его кителя был застёгнут как среди дня. А китель был домашний — безо всех его многих орденов, и даже Георгиев, одни потемневшие аксельбанты.

Выражение его было устоявшееся печальное: совсем не ждал никакой радости, ни сейчас вот в подаваемом, ничто не могло его прорезать.

Прочёл телеграмму, выслушал пояснение, распорядился.

И опять, но без тяги живой, а как в понуре, наклонял голову в бумаги.

— Ваше высокопревосходительство, — поспешил вставить Воротынцев. — Днём я не

имел времени после доклада о поездке представить вам ещё некоторые соображения. Я понимаю, что Девятая армия в подробностях вас уже не касается. Но я думаю, что и на Западном фронте творится то же, если не хуже, — там ведь ближе к Петрограду.

Платон Алексеевич как медленно опускал голову — так медленно приподнял опять. Смотрел на Воротынцева нечально-опустевшими глазами. Соображал? Тихо высказал:

— Я... не приму Западный фронт.

— Как? — изумился Воротынцев. — Назначение отменено? Оно широко распечатано.

Смотрел на Воротынцева — а думал о другом:

— Я — отказался категорически.

Во-от что! Воротынцев не смел подробнее спрашивать, но всем видом так хотел знать!

И Лечицкий:

— Не время сейчас возвышаться.

Это надо было — на лету перехватить в высоте. Не время? Да, конечно, не время, когда разваливается, — но и по тому же самому — время!

— Но, ваше высокопревосходительство! Если вам дают фронт именно в этих днях — то, значит, относительно вас в Петрограде лучшие надежды...

Лечицкий чуть подвинул голову:

— Относительно меня — может быть. Но должен я охватывать всю обстановку. Если интендантско-думские генералы будут у меня снимать командиров корпусов и начальников дивизий... Какая от них может быть реформа? Если все преобразования проводятся, не спрося командующих и под давлением некомпетентных кругов. А Гучков — вообще отдался Совету депутатов?

Посмотрел ли он, напротив, чересчур внимательно — Воротынцеву почудилось, что командующий испытывает его. Ведь знал же он о его прошлой близости к этой компании.

И Воротынцев — за эти дни не первый раз — почувствовал краску, через шею к щекам. Тотчас он должен был объяснить, чтоб его не путали с ними? Но не находил формы и фразы.

На открытом круглом лбу Лечицкого, уходящем в белый посев седины, даже и морщина не вскапывалась, — но какая обременённость была в глазах, и в тоне, и в сути:

— Не они только. Всё равно, при этих обстоятельствах невозможно командовать.

Когда у меня под рукой будут арестовывать начальников и офицеров — а я не могу этого остановить. А все пачальники тем более подорваны нравственно и могут не справиться с непоспованием. И во всех частях бушуют или вот забушуют комитеты. А при штабе армии разврат идёт ещё быстрее, чем в корпусах. У нас пока ничего, а вон, генерал Рогоза передал, что ждёт — не арестуют ли его в самом штабе. Но главное: Ставка выпустила из рук всякое управление. Читать их беспросветные информирующие телеграммы — вы не представляете, одно отчаяние. И правительство — дезорганизовано и бессильно. Под кем же служить? Нет... нет... — Платон Алексеевич вздохнул над безрадостным столом. — Кто требует исполнения долга неуклонно — тот готовясь из армии уходить.

Вот так так!.. Сражение потеряно только тогда, когда главный начальник...

Метил Воротынцев шагнуть под сильную руку, в боевой ряд, — а ряда не оказалось. Если лучший командующий армией отказывается от борьбы... Обстановку он видел неясно, но вывод был чересчур беспощаден.

— Но, ваше высокопревосходительство! Но если и вы... То — кто же тогда?

Только вот теперь она и объяснилась, та печаль до пустоты, которая поразила Воротынцева при начале:

— А много мог сделать наш генерал Сахаров в решающий день отречения? Побрюзжал — и уступил. Ловко подгадали с переворотом: старых офицеров мало даже в гвардии, а в армии почти не осталось. У молодых — совсем иной дух. И вот разрушается всё, на чём армия стояла. Армия — погибает. И руководить событиями — уже нельзя.

Смотрел неподвижно. А стал он сух лицом и пробелён — как бы до святости. В нём как будто очищалось не полководческое его, а наследственное священское.

Но вот с этим, с этим — Воротынцев никак не хотел смириться! Если отказаться руководить событиями — то как быть офицером? Зачем?!

— А — война? Как же тогда пойдёт война?

Командующий медленно, сокрушённо кивнул, кивнул головой:

— Войны — скоро не будет, полковник.

Не будет? Да это бы отлично! Да как к этому дойти?!

— Война? — вы сами видите, из чего ж ей быть?.. Конечно, если б я был моложе — я должен бы искать путей. Но при моём возрасте — в з т о м всём я не могу участвовать. Не могу насмеяться над всей своей жизнью.

В его возрасте! (Да и не в таком уж возрасте.) Но как быть тем, кого э т о застигло в расцвете?

Заволновавшись, опасаясь не убедить, и забывши границы, командующий не спрашивал его, — Воротынцев, всё так же стоя навтыжку, лишь руки посвободней:

— Да, ваше высокопревосходительство! Может быть, ни одному поколению русских офицеров не приходилось ломать головы над такой задачей! Но она свалилась — и прихо-

дится ломать. Как можно, боя не начинать, признать положение безвыходным? Не может быть, чтоб не нашлось средство, — только как бы их увидеть? Эти настроения в армии могут переломиться, как и появились. Может быть, Ставка — одёрнет Совет депутатов? Ведь армия же вся за Ставку!

Пронеслось, в возражение себе самому: но Лечицкий — не Ставка и даже, вот, не Главнокомандующий фронтом. Значит — ещё один рапорт Сахарову, телеграмма в Яссы: исключите чужие вмешательства в военное управление? И пусть беспокоятся старшие по должности? Что, правда, делать?

Глубоко и слышно вздохнул генерал Лечицкий, ничуть не изменяя лицом на горячий всплеск Воротынцева:

— А я же — не уйду. Я остаюсь, пока меня не уволят. Хотя скоро уволят. Потому что ни я их не буду терпеть, ни они меня. Но вы понимаете военную жизнь: теперь всё будет только ссылаваться и падать. Ошибкой было бы думать, что с революцией можно повести игру и её перехитрить.

Не много было Воротынцеву отпущено тут беседовать, но вся неповторимость и вся неразрешимость жгуче поднялась к горлу. Погибала армия? Может быть. Погублена война? Может быть.

— Но, ваше высокопревосходительство, — с открытым волнением спросил: — Что же будет с Россией? Россия же! — не может погибнуть??

Лицо Лечицкого было неподвижно, а выдал, шевельнулся рельефный ус:

— Может быть... Может быть, и не сумею мы... Передать потомкам Россию, унаследованную от отцов.

В эту ночь, пользуясь своим дежурством, Воротынцев по незанятому аппарату юза послал через штаб фронта в Ставку личную телеграмму Свечину, в условных выражениях: возьми в Ставку теперь же на любую должность.

Сейчас, при массовых перемещениях, такая возможность у Свечина, может быть, есть.

СЕМНАДЦАТОЕ МАРТА

ПЯТНИЦА

631

«Милый мой, дорогой, милый самый!

Если Вы не остановите — я не могу теперь не писать Вам вослед. Меня, значит, нельзя допускать близко так: уже полученного — мало, хочу больше! Как далеко я зайду в своём счастье? Может и справедливо — наказать меня разлукой, так слишком много одной — не предполагается?

Я — осмелела от близости с Вами.

И как Вы называли меня — Зоренькой.

У меня глаза светятся — когда о Вас. У меня все мысли тёплые, когда о Вас. Я — добрая, когда о Вас.

Я — Ваша сегодня. Вчера. И позавчера. И прежде Вас — я тоже была Ваша.

Только — Вас, и никого никогда больше!

Я вчера утром вернулась — и долго не снимала платья, в котором была у Вас, синего, как Вы его называли. Вы меня обнимали в нём, мне хотелось его оставить дольше, дольше, — я будто тем удерживала Вас около.

Вы сказали — *будет* — так будет. Спасибо! И я — хочу! хочу теперь!

Что бы Вам ни было нужно от меня — я счастлива буду Вам дать. Может быть, когда-нибудь я понадобится Вам для чего-то большего, чем была в эти дни.

Вся Ваша

Зоренька

Но — не вечерняя же?..»

632

В мире выкопалась Новая Женщина — с новым психологическим складом, с новыми запросами, новыми эмоциями, самостоятельная, внутренне-свободная женщина, с самостоятельным внутренним миром, живущая интересами общечеловека. Это — самостоятельная

женщина, дающая тон жизни, определяющая образ, характерный для нашей эпохи. Она перестаёт быть простым отражением мужчины, и мужчина любит её за смелый полёт, за самобытность духа. Это уже не «чистые» девушки, роман которых обрывался с благополучным замужеством, это не жёны, страдающие от измены мужа, это — не прежние ревнивые самки, они сами уходят хоть от мужа, хоть от любовника, даже и став матерями. Они резко отмежевываются от женщин прошлого, по-иному воспринимают мир, по-иному реагируют. В их неллинейных переживаниях сокрыта этика более совершенная, чем пассивная добродетель пушкинской Татьяны, трусливая мораль тургеневской Лизы или, уж конечно, самок Натанши Ростовых.

А между тем большая литература всё ещё рисует нам женщину былого. С тугой повязкой на глазах шагают беллетристы мимо новой женщины, не в силах её вобрать. Они всё выводят — обманутых, покинутых, слабых созданий, мстительных жён, очаровательных хищниц или бесцветных милых девушек, — женщину прошлого с её ревностью — основой всех её трагедий, подозрительностью, нелепой бабьей местью, жизнью, сведённой к любовным переживаниям, даже материнством как суррогатом счастья. Много екое достоинства литературных героинь измерялись не гордыми душевными качествами, а запасом плоских женских половых добродетелей и особенно — сексуальной чистоты, воспитанной на почитании непорочной мадонны, — и за нею прятались все эмоции (хотя, в противовес лицемерно навязываемой морали, у женщины физиология играет несравненно большую роль, чем у мужчины). Всё описывают нам прежнюю женщину, воспитанную в пассивности, покорности, податливости, — она жалась к пылающему семейному очагу, незастылым семейным радостям, мирилась со снисходительностью мужчины к себе и искала его привычную ласку. Даже самые крупные писатели XIX века не ощутили надобности заменить чарующую женственность своих героинь свойствами грядущей женщины. Даже в собственной среде они не заметили такую яркую провозвестницу нового женского типа, как Жорж Занд — великодушную яркую, обаятельную индивидуальность, выпрямленную во весь рост своей личности, завоевавшую право уйти от «законного» мужа к свободно избранному любовнику. (Но Бебель справедливо спрашивает: почему такие требования могут выставлять только «великие» души? а — «не великие»?)

Бунт — вот типичное свойство новых героинь! Бунт против предписаний однобокой сексуальной морали! Бунт против любовного плена! Новая героиня постоянно борется со своей склонностью стать тенью мужа, его резонатором, отказаться от себя, раствориться в любви, ассимилироваться с человеком, которого судьба выбрала ей во «властелины». Новая женщина не испытывает банкротства, когда мужчина отнимает вносимую долю. Новая женщина не только не боится самостоятельности, но дорожит ею, по мере того как её интересы всё шире выходят за пределы. Так же и новая девушка, когда налетает любовь, когда женское естество предъявляет свои права, — без былого сентиментального ужаса переступает запретный порог. В поисках идеала она будет брести ощупью, терзая своё сердце об острые колья житейских разочарований.

На эту новую дорогу многие женщины вступают с трудом, нехотя, перебиваемые атавистическими чувствами женского долготерпения, самоотверженности, бредут даже с тоской, всё лелея мечту о примитивном семейном очаге. Однако своей переоценкой моральных и половых норм новые женщины колеблют незыблемость устоев в душе и тех женщин, которые ещё не вступили на тернистый путь. Новые героини своей критикой заражают и умы современниц.

Увы, эти новые героини выпархивают, вытекают лишь из-под еторостепенных перьев. Минувшие месяцы в Христиании Александра Михайлоена проглатывала многие-многие, если не все, новые западные романы на эту тему. Она сочувственно, сострастно брела вместе со всеми этими Йенни, Кристами, Майями, Йозефами, Рикардами, Ренатами, Матильдами по их обжигательно неизведанному пути, разделяя с их душами их колеблемое состояние *im Werden* — и обдумывая, и участь, и научась многому. (И сама стала писать сексуальные рассказы, переживая на себе эти многочисленные сюжеты, которые невозможно реально успеть пережить в жизни. Жаль только, что в мире, захваченном войной, сейчас эти рассказы не могли найти публики.)

Да кто из нас, женщин, не перестрадал тайне все эти проблемы? — но по введшемуся в нас лицемерию мы всё ещё поклоняемся мёртвому идолу обязательной морали. А она тем еременем ведёт человечество по пути неуклонного вырождения, со своим кодексом не-расторжимого моногамного брака и институтом проституции, ибо не выполняет двух главных целей: наилучшего воспроизведения потомства и психического утончения человека в любви. Начать с поздних браков: вынужденное воздержание в период, наиболее приспособленный для деторождения. Оттого происходит отщепление самых велико-лепных женских экземпляров, способных более всего вызвать эротические эмоции мужчин, — в бесплодную проституцию. Но проституция тушит любовь в сердцах, в ней нет места для требовательного хрупкого Эроса, он в страхе отлетает, боясь испачкать свои золотые крылышки о забрызганное грязью ложе. А в основе легального брака положен ложный принцип безраздельной собственности. Но если спутник жизни безраздельно прикован к тебе — то какая нужда открывать ему богатство твоей души? Величайшая

121

нелепость: двое людей, соприкасающихся только несколькими границами, — обязаны подойти друг другу всеми сторонами своего многогранного «я».

А главное: вступая в брак с завязанными глазами, они не знают даже: существует ли между ними то физиологическое сродство, то телесное созвучие, без которого брачное счастье вообще неосуществимо. Совсем не неприличны, но очень бы следовало возобновить «пробные ночи», широко практиковавшиеся в Средние Века. (А литература совсем не пишет, оставляет в полной темноте поразительную наивность мужчин: игнорировать переживания женщины в момент наиболее интимного акта. Неудовлетворённость женщин на этой почве известна лишь медикам — в беллетристика проходит молчаливым это явление, которое могло бы бросить сноп света на множество семейных драм.)

Это — не первый сексуальный кризис человечества, он уже был и в Возрождение, но тогда не затрагивал податного сословия, социальных низов, те дремали в неведении, — а теперь он грозно вступает и в лагерь рабочего. (Семью крестьянина так прочно скрепляет хозяйственный расчёт, что душевная жизнь играет второстепенную роль.) И какая уже существует реальная пестрота брачных отношений! — неразрывный брак с устойчивой семьёй; тайный адюльтер в браке; свобода в девицестве; проституция во всех разнообразиях; снохачество; брак втроём, брак вчетвером; — а лицемерное общество всё делает вид, что не замечает. Да неужели же не пришла пора ссориться с сексуальной моралью ореол «категорического императива»? привести её, наконец, в соответствие с практическими запросами прогрессивной части человечества? Индивидуальная воля каждого! — вот единственный законодатель в интимном вопросе. Пусть ещё не завтра наступит для всех новый сексуальный порядок — но дорога уже найдена, вдали уже заманчиво светлеет раскрытая запоедная дверь, — так поспешить распахнуть её — на вольный воздух радостных отношений между полами! Открытая смена любовных союзов на протяжении долгой человеческой жизни должна быть признана обществом как нормальная и неизбежная! Влюбление, страсть, любовь — это лишь полосы жизни, перебегающие под солнцем. Что преступного в том, что эротический экстаз бросает двух людей в объятия друг друга? при чём тут рай и ад?

Да, страшило для девушки начало пути, это одиночество в крикливо шумном городе, среди зазывающих разгульных громад, когда надо бороться сразу: и против внешнего мира и против собственной слабости, склонности прародительниц привлекать мужчин как вещь. Поиск близкой понятливой души — это опасная удочка. Приобрести мужа-собственника и властелина твоей души? — это как тюрьма. Пора научить женщину брать любовь не как основу жизни, а лишь как ступень, как способ выяснить своё истинное «я». Пусть и она научится, как мужчина, выходить из любовного конфликта не с помытыми крыльями, но с закалённой душой. Эмоциональность — украшение женщины, но и недостаток её. Вместо неё пусть будет самодисциплина. Нынешняя действительность требует от женщины побеждать свои эмоции, взнуздывать свой слабый дух. Она должна стать не слабей своего избранника, а то и сильней его. Она должна уметь сорвать со своей индивидуальности ржавые оковы пола, отвести любви подчинённое место, как у большинства мужчин.

Новая женщина, избавившись от любовного плена, изумлённо и радостно выпрямляется. В ней страсть более не туманит мозга, привычного к анализу. Для женщины прошлого высшим горем была измена или потеря любимого человека, для современной героини — потеря самой себя, отказ от самой себя в угоду любимому. Она дорожит своей свободой и независимостью и отстаивает её со стойкостью женщин древних сав. Она иногда начинает жалеть часое любви, отдавших волюбленному, особенно если он был ниже её. Ей жутко представить себе жизнь, полную только поцелуев, шёпота воли и гармонии звёзд. Она может простить многое, даже измену, она простит обиду, нанесённую самке, но никогда не простит небрежного отношения к своему духовному «я». (Веками притуплённая психология мужчин часто не даёт ему разглядеть это «я».)

Такая повышенная требовательность к мужчине заставляет многих героинь современных романов переходить от увлечения к увлечению, от любви к любви, в томительных поисках. Одного она любит «верхами души», к другому её властно влечёт телесное сродство. (Периодами — и ей приятно предъявить свои права на земные радости, осознать себя «просто женщиной» и на мужчине проверить своё обаяние — воздушные светлые одежды, солнечные встречи, радостный смех, знойность чувства! — ведь пылкое любовное желание обогащает и расширяет индивидуальность! Когда волна страсти захлестывает её, — она не отрекается от блеснувшей улыбки жизни, не кутается лицемерно в полинявшую мантию женской добродетели — но испытывает из кубка любовной радости, чтоб убедиться, насколько он глубок. А если он оказывается мелким — она отбрасывает его без сожаления и горечи. «Уметь в любую минуту сбросить прошлое и воспринимать жизнь, будто она началась сегодня», — таков был девиз Гёте.) Чем выше индивидуальность женщины — тем сложнее её душевные запросы, тем острее её социальный кризис.

Большая любовь — редкий дар судьбы, выпадающий на долю немногим избранныкам. Но если нет большой любви — зачем же эротический голод? Там, где не достигли Большой Любви, пусть её заменит Любовь-Игра. Это — не всепоглощающий Эрос с трагическим

лицом, — но и не грубый сексуализм. Любовь-игра требует большой душевной тонкости, чуткости, психологической наблюдательности — и тоже облагораживает человеческую душу, даже воспитывает её больше, чем Большая Любовь. Сейчас мы слишком склонны уже после первого обладания посягать на всю личность другого и навязывать ему «целиком» своё сердце, когда на него ещё нет спроса.

Увы, люди не знают цены эротической дружбе. Надо паучить их красивым и не обременяющим переживаниями: переливать эротическое вдохновение, не платя за это свободой своей души и своим будущим. Наслаждаться друг другом, не злоупотребляя друг другом. Нельзя набрасывать брачную узду на каждого, неосторожно влюблённого. Любовь-игра и указывает эту дорогу.

Чем сложнее и выше психика человека — тем неизбежнее смены. Конкубинат — вот основная форма брака. А наряду с ней — и целая гамма любовного общения в пределах эротической дружбы.

Всё это Александра Коллонтай особенно хорошо и окончательно обдумала минувшей зимой. И хотя по женским масштабам её жизнь уже была прожита, ей исполнилось в этом году 45 лет, и хотя уже много красивого, тонкого и рафинированно простого она пережила, — но она никак не была утолена, не готова была отречься — и ощущала в себе способность, по Гёте, всё начать заново ещё сегодня! — ещё перешагнуть возраст, и как перешагнуть! — посоревноваться с 20-летними. Невозможно отойти от книги жизни, не долистав её ярких страниц!

Александра Михайловна никогда не пыталась скрывать своих любовных связей, как это обычно делают мужчины. Её последняя связь с Саньком Шляпниковым была известна в партийных кругах. Дикое старобрядческое рабочее паренёк она развила, подняла, отшлифовала, — да во всю её жизнь не было мужчины, который оказал на неё серьёзное влияние, всегда она. Но и сама с ним испытала много самобытного, и в благодарном порыве — сейчас даже не верилось, как недавно и с какой страстью — она рада была за ним ухаживать, обцеловывать, и даже унижаться перед ним, и всегда упрекала приезжать скорее и называла себя чухней — хотя обоим было понятно, как это несоразмерно. Забаено было его выращивать. Но всегда было видно самой, что душевно он ограничен, не вождь, не герой (характером — слабей её), достиг пределов своего роста, и уже не обогащает её, тянуть его выше невозможно, тонок — он ие будет никогда. В последнее его пребывание в Скандинавии уже заметно прискучивало.

Ну что ж, у них была когда-то чудесная любовь-игра, но уже вся знакома, ничего нового дать не может, пересатянчилась. Александра даже не покидала его — это просто изжито, никакие обязательства не могут быть вечными, нельзя жертвовать своим существом, своими годами. Как же дрогнула Сашенька ещё в ранней молодости порвать со своим первым мужем, гвардейским офицером, хотя имея сына от него, сразу поняв, что жизнь «жены и матери» это клетка, — так и во всех последующих разрывах жизни она была неумолима и не колебалась, разжалобить её невозможно.

А тут — и эпоха такая, всё пришло в движение, всё так нервно-подъёмно, фейерверком взорвалась революция, — теперь-то и всё меняет! (Сейчас революционеры будут появляться у всех на виду, на помостах, на пьедесталах — и Санёк со своим незначительным мещанским лицом не достоин показываться с ними рядом.) Революция! — всё в огненном круговращении, и самый неожиданный жребий может заплыть в твоих руках.

В себе она ещё чувствовала столько задатков — дарить! И сама, до переима дыхания, хотела захватной силы, первобытной силы, сильнее себя!

Но именно этого качества было меньше всего в скучной Европе. Но тут сошла красным пламенем с неба революция — и всё преобразила! Сливалось вместе: и ехать в Россию, и погашать в нетерпеливом напоре своим скалистыми звёздным путем!

Надо иметь в себе то особенное чувство — у Александры Коллонтай оно было — принадлежности к феерическому ряду женщин революции, особенному пламенному ряду в мировой истории. Эти события развораживались — для неё, чтобы ей проявиться! Она входила в своё время, в свои обстоятельства, в свой дух! Она немного опаздывала с приездом в Петроград — но ещё не слишком. И каждой убегающей минутой она ещё вписывается в революцию! (Напоследок в Христианин прочла лекцию молодым социалистам: как члены Думы уже пытались предать революцию, но рабочие силой вернули их в Таврический дворец. И как большевики ещё исправят направление русской революции.)

Ехала по Швеции — о Шляпникове уже было мало мыслей: вопрос решён бесповоротно. Конечно, он будет первое время убит, станет уговаривать, обхаживать, заглядывать в глаза, — но у Коллонтай достаточно душевной упругости, чтобы превайти такие ситуации. Предстоящая встреча не была приятна, но и не угнетала её. Она не дала ему знать о приезде — чтобы первые часы осмотреться без него.

Двое суток этого пути она много думала не о Шляпникове, но — о Ленине. Не как о мужчине, конечно, смешно представить Ленина мужчиной, но о том, как она перед ним обеснуёт — этого не избежать — свою нынешнюю теорию и свой идеал. С колючими глазками, колючими негнбкими доводами (на всякий случай осторожными в незнакомой

области), он, конечно, будет пронзать её на смех. Но и она своего детища легко не отдаст: без нового Эроса наполеону угасал и весь смысл революции. Она заранее почти клокотала, представляя себе эти неизбежные споры: и откуда только может брать такое непростительное равнодушие к одной из, скажем, существенных задач рабочего класса? Ведь это лицемерие, не лучше буржуазного! — относить сексуальную проблему к числу «семейных дел», на которые нет надобности затрачивать коллективные силы и внимание! Но стоит, и раньше бывало, заговорить о пролетарской этике, пролетарской сексуальной морали — как наталкиваешься на шаблонное возражение Ленина, что половая мораль — это надстройка, и пока не изменится экономическая база — нечего и...

Спор — будет, и горячий, и уже сейчас надо к нему готовиться, нельзя не отстоять в партии своё верование. Но надо и — умело свою теорию социологизировать, как умеют опытные марксисты. Так прямо, как Коллонтай думала наедине с собой, почти никому в партии и говорить нельзя, да большую часть тонкостей они и не ухватят. Ленину и другим надо говорить приблизительно так.

Сексуальный вопрос имеет особый интерес при материалистическом понимании истории. Его не могут избежать социалистические программы. Разработка морального кодекса — неизменный момент социальной борьбы: ведь отношения между полами влияют на исход борьбы враждующих классов. Надо уже заранее выискать тот основной критерий морали, который порождается специфическими интересами восходящего рабочего класса, — и привести в соответствие с ним нарождающиеся сексуальные нормы. И только тогда будет возможно разобраться в противоречивом хаосе социальных отношений. Эта психическая реформа будет влиять на коренное переустройство социально-экономических отношений на началах коммунизма.

Для Новой женщины любовь должна быть лишь привходящая мелодия, эпизод. Свобода и одиночество нужны ей для любимого дела — работы, агитации, партии, идеи, без которых она не могла бы жить и дышать. Этим — она делиться не умеет и не отдаст свою свободу ни за какую любовь! Но это может быть осуществлено лишь при обновлённом социалистическом строе душ.

Подчинение одного члена класса другим, как это бывает в закреплённом браке, есть момент собственности, враждебный психике пролетариата. Из основных задач рабочего класса вытекают: большая текучесть, меньшая закреплённость в общении полов. Любовь не должна изолировать пару из коллектива. Это буржуазная идеология требует, чтобы свои лучшие чувства человек проявлял только по отношению к избраннику своего сердца. Но любовные эмоции как фактор могут быть направлены и на пользу коллектива. Любовь может помочь упрочить связи коллективистской солидарности, а именно: чем больше нитей личной любви будет протянуто между отдельными членами класса — тем прочней солидарность класса. Итак, любовь между членами коллектива подчинится более властному чувству любви-долга к коллективу. Любовь-солидарность явится таким же двигателем для пролетариата, как для буржуазного строя конкуренция. Задача пролетарской идеологии — не изгнать Эрос из социального общения, но перевооружить его колчан на стрелы новой формации!

И неужели вот такое построение не убедит Ленина?..

Финскую границу пересекала в Торнео. На санях переехала реку. Первый человек по эту сторону — солдат с алым бантом на груди, — так и вспыхнуло сердце от этой алости! «Ваши документы!» Но с облегчённым ликованием и беззаботностью белоаубо усмехнулась ему Коллонтай: «Но я политический эмигрант, у меня никаких документов нет!» Вызвав офицера — совсем юного и тоже с алым бантом, а в руках — список. Назвала себя гордо — и он нашёл в списке. А был смущён её красотой, не мог скрыть, помог ей выйти из саней — и, вспыхнув, осмелился азать её руку и поцеловал робко.

А потом ехала, ехала через Финляндию — родину свою, потому что мать её была простая финская крестьянка, забравшая себе в мужья сперва одного старого генерала, потом другого генерала, полицейского. Как баловали Сашеньку в юности! — от ласк и не было свободы, оттого и пошла она освобождать народ. В гимназию не пустили, чтоб не развратилась политикой, на Бестужевские курсы не пустили, — всё равно не удержали от революции.

Но Финляндию всегда считала Коллонтай — своей родиной. И авала её к вооружённому восстанию.

По мере подъезда к Петрограду уже сердце выскакивало: так хотелось скорее всё узнать и скорей его всё участвовать!

На Финляндский вокзал приехала вчера вечером, встретили только знакомые — состоятельная семья, но с революционными традициями, на извозчике повезли к себе на Малую Конюшенную. Их благоустроенной квартиры революция не коснулась, ничто не было ни разбито, ни похищено, можно было принять ванну и засесть к телефону за новостями. До часу ночи Александра Михайловна звонила разным друзьям и знакомым (обойдя Шляпникова). Между другим узнала и про него, что он поколеблен в БЦК, потерял «Правду», — да, вихревое время ему не по таланту. От Гиммера узнала, что адесь — Лурье, и завтра утром она может всех их видеть на первом заседании циммер-

вальдистской секции Исполнительного Комитета, она приглашается. Очень удачно, ещё она не так опоздала!

Из телефонных же разговоров она поняла и многое главное: что Исполнительный Комитет никем не избран, а заседает в захватном порядке, но главная власть — у него. Что доминируют настроения торжества, праздник демократии, гимн свободе, — не рано ли? ой, не рано ли доверились буржуазии?

Ещё узнала, что барыньки из «Лиги равноправия» на воскресенье готовят грандиозную манифестацию к Родзянке в защиту женских избирательных и общих прав (и Вера Фигнер участвует). Ах вот как! Вовремя приехала Коллонтай! Эту буржуазную затею надо сорвать и перехватить, ещё есть два дня. На манифестации надо будет как-нибудь схлиганить — например, подослать рабочих выступить: права не выпрашиваются, их берут с бою! у нас, пролетарок, нет отдельных женских интересов, они совпадают с общими пролетарскими, которые и вывели нас на улицу, и сделали революцию. (Трудящихся женщин можно будет объединять на вопросах дороговизны.)

Утром в десять уже входила в Таврический, с жадностью оглядывая эти стены, эти аалы, теперь исторические.

Бродили солдаты, штатские. Мелькала мужественная втягивающая тёмная форма моряков.

Особенно приятно было увидеть милого Лурье — человека остро умного, и с европейским опытом жизни, отчего оба они могли видеть в событиях петроградских больше, чем видели адешние. А ещё: они в первые дни войны были в Германии вместе интернированы как русские, но затем с почётом освобождены как социал-демократы, — ещё воспоминания об этих шовинистических германских днях объединяли их. Лурье приехал всего два дня назад, но уже состоял и в Исполнительном Комитете, уже ко всему тут привык, обо всём рассуждал как участник революции с первых часов, — и ещё через два дня, уверял, такой будет и Коллонтай, безусловно кооптируют, станет первой женщиной в ИК. Во время заседания циммервальдской секции они приветливо перекидывались замечаниями — и вместе толковали остальным, как тот или иной русский шаг выглядит из Европы.

К счастью, Санёк не пришёл на заседание (хорошо, первый взгляд, первый тон — не на публике), вместо него главным от большевиков был Каменев.

Не нашлось почему-то комнаты, и секция собралась в ложе журналистов думского Белого зала, — обстановка! Коллонтай озиралась, сверкая. Она так сгорала к общественным действиям, что еле сидела, еле участвовала в заседании. Кроме Гиммера и Лурье, отдельных личностей, не от фракций, были от меньшевиков Шехтер и Соколовский, но тоже не делегированные никем, а сами от себя. И также единственный эсер — решительный заядлый Александрович, сам от себя. Впрочем, он со зловещим видом обещал близкий у эсеров раскол, будет тоже две партии.

Решить ничего поворотного не решили, но оформили циммервальдское бюро организационно. Поручили Гиммеру с Лурье готовить резолюцию для ИК о начале новой мирной кампании Совета.

Сам Гиммер был очень озадачен, что его Манифест 14 марта хвалила буржуазная пресса. Он видел в этом признак, что был слишком уступчив на ИК и нарушил последовательность циммервальдской позиции. Но, сухой острый гномистический человек, он горел своими бесцветными глазами и предвещал победное шествие революции, которое не смогла сбить даже подлая кампания против «анонимов» в Исполнительном Комитете.

От кого-то Коллонтай узнала, что в министерском павильоне до сих пор содержатся арестанты, человек тридцать, — правда не самые видные, те уже в Петропавловке, но и адесь ещё кое-кто, в том числе и женщины.

— Женщины? — восторгалась Коллонтай. — Кто?

Полубояринова, издательница «Русского знамени». И жена Сухомлинова. И две дочери Распутина.

— Я хочу их видеть!

— А сегодня захватили, привезли начальника петроградского охранного отделения.

— Хочу их видеть! Всех! Как это устроить, товарищи? — загорелась Коллонтай от ощущения непоеторимости, пропустишь такой миг, всю жизнь потом будешь жалеть.

Формально нужно было разрешение министра юстиции, но, конечно, по знакомству можно быстрее и проще. Пошёл Гиммер попросить прапорщика Знаменского, трудовика.

И повели Александру Коллонтай — большевичку и эмигрантку — специальным коридором, когда-то построенным, чтобы члены правительства шествовали из зала заседания отдохнуть в свой павильон, коридором с остеклёнными стенами, впрочем под вечерние шторы, чтоб охранить от выстрела террориста, — повели, и мимо часового с винтовкой ввели в запретную нутрь, уже довольно потрёпанную, уже три недели как плохо убранную тюрьму, — и всё же каждый шаг Коллонтай был её торжеством, ликованием, звоном в ушах: могли мы, социал-демократы, думать дожить до такого? Шла — и чувствовала трепетание в себе общественной страсти. Она ярче торжествовала над такой женщиной из враждебного класса, чем прежняя бы женщина торжествовала над соперницей.

— А начальника Охранки — тоже покажите!

— Хорошо. Пока вот здесь — Полубояринова. Только она очень строптивая, всё время бушует и требует.

И Коллонтай — вошла в комнату, соразмвряя, вся чувствуя свой победный торжественный шаг и своё синев платье, свою закинутую голову, с небольшого роста, понимая, что представляется этой арестантке — вершителницей её судьбы? ангелом Рвволюции?

Полубояринова встала от книги, от маленького стола, она такого ж роста была, как и Коллонтай, — но ни твни схожвй красоты, ни изящества в платьи, чврякудрая твврдая мвщанка. И не заискивала ничуть, — а сразу так и приняла с ненавистью — и ввце шагнула навстречу.

В двух швгвх друг против друга они остановились.

И перед этим улбртым взглядом — никак не меньшей силы, чем свой, а с большей яростью, — Коллонтай вдруг потеряла ощущение великого мига. Она, оквзывается, не пригостила фразы — ни язвительной, ни унижительной, ни игровой, — она шла увервнаная, что свободно будет владеть положением.

Такой упёртой силы ненависти она не помнила, чтобы встречала.

Прямыми глазами они смотрели, ничего не смягчая, — Полубояринова кликнула резким бранным голосом:

— Ну, что пришла, потаскуха? Кто такая?

633"

(по социалистической печати, с 15 марта)

О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОИСКАХ. Генервлы-нятежники, сосредоточившиеся в Ставке... Приказы Алексеев... Рядко-Дмитриева... Драгомирова, не позволяющего солдатам ездить в Петроград... Генерал Иввов после веудавшегося похода на революционный Петроград мог гулять в Ставке на свободе, его врестовали только в Киеве... Обосновался в Ставке и разжалованный Николай Николаевич... Прязываем всех революционных солдат и офицеров аорко следить за кознями сторонников стврого режима.

СВОБОДА ПОЛЬШИ. Полтора века кровавый род Романовых угнетал эту прекрасную, вечно юную страну. Наёмные убийцы, цари из рода Ромввовых... Народ-страдалец, вечно погружённый в конспирации, он всегда точил меч, чтобы скести голову петербургскому тирвну... Теперь, когда удалось свалить правящую шайку... Нашему поколению выпадет великое счвстье расплатиться за неистовства царской власти. Пусть все и каждый, веаде и всюду, ведут одну и ту же пропаганду: восстание во всех трёх частях Польши! Нет лучше времени, нет лучше момента, как теперь зажечь святой огонь повстанчества!

...Собрвние социалистов-революционеров постановило... По вопросу о пресечении Николаю Романову способа уклониться от вародного суда првзнять, что решение вопроса о свободе и жизни бывшего самодержца может всходить только от всенародного Учредительного Собрания. Признать непростительной в опвсвой слабостью со стороны Временного правительства содержать Николая Ромввова в неприспособленном квк место авклучения царскосельском дворце.

КАК СОДЕРЖИТСЯ НИКОЛАЙ РОМАНОВ. Весь Александровский дворец, все его флигеля и здания, весь парк охраняются сильными караулами, которые стерегут все входы и выходы. Всевозможные повара, лакеи в разная челядь тоже находятся на положении арестованных. Николай Романов не имеет непосредственного общения с членами своей семьи. При вём для компании — дружеская свита. К их услугам лакеи рваных равгов, скороходы в араны.

По просьбе комиссара Масловского Николай был ему предъявлен. По словм делегата, лицо бывшего монарха опухшее, взгляд тяжёлый, исподлобья.

...Просим Временное правительство немедленно арестовать всех членов бывшей царской фвмнии и приспешников старого режима.

Колпинский комитет с.-р.

ДОЛГ НОВОЙ РОССИИ. Блвжайшая задвча Временного правительства — отменить национальные ограичения. Эта отмена больше всего касается евреев. Мы знаем, с какой сатанинской пастойчивостью царский режим изобретал ограничения для евреев. В этом была какая-то утоичённость, некой-то политический садизм. Создан был особый кодекс «еврейских законов». Любкой захолустный становой был своего рода магвстром «еврейского права». Сотни лет отвратительные тарантулы самодержавия ядом своим отравляли жизнь населяющих Россию национальностей. Кошмвр еерейского бесправия должен быть немедленно рассеян. Временному праентельству пора платить. Срок наступил.

(«День»)

Несколько дней назад разве не сочли бы сумасшедшим того, кто объявил бы, что «Новое время»

объявлять себя сторонником республики, перо Меньшикова будет обливать помоями царский режим в самого царя? Подлинный моральный нигилизм.

(«Дело народа»)

РЕСПУБЛИКА. Свободный народ может оставаться свободным, лишь будучи властным. И предствительная республика — ещё не демократическая, если будут избраны представители господствующих клвссов.

...Всякий гражданин, крестьянин или рабочий, поляк, еврей или великорус, имеет право свободно избирать место жительства и род занятий. При таком порядке не надо добывать свидетельства на право торговли...

Долой смертную казнь! Мы не верим, будто один из вождей демократии сказал, будто сперва нвдо отрубить несколько голов, лишь потом издать декрет об отмене смертной казни. Кому-то выгодно распускать такие слухи, чтобы опорочить демократию. Не иадо иам игры в Маратиков и Робеспьеров.

(«День»)

ПРОТЕСТ БЮРО ЦК РСДРП. Целый ряд буржуваных гваев ав последние див повели усиленную кампанию против Социал-Демократической газеты «Правда», связывая её с «немцами» или «прово-каторами». Твк хотят бороться с нами продажные журивлясты квпитвлистической прессы.

...Ложь, будто мы давали советы «не стрелять в немцев». Нвстаивая же на прекврщении войны, «Правда» только выдвигала положения Циммервальда и Кинтала... Тратить время на опровержение всякой клеветы — значит целиком отдать нашу газету на разбор этой грязи. Нам остаётся только с презрением проходить мимо клеветнических походов.

...Центральный комитет печвтников объявляет, что им будут приняты все меры против трввли рабочей гвзеты «Правда» — вплоть до бойкота твпогрвфвй.

Позвольте обратиться к вам, товарищи большевики, братья по революционному делу: если вы так отстаиваете право на свободное распространение своей гвзеты — то как вы можете поддерживать тех, кто хочет свлой иаэять из обращения гааеты, которые вам не иравятся? Или вы твк слабы, что боитесь борьбы пером?

(«Дело народа»)

...Похождения Рвспутина, его «чудеса», кутежи и связи обступают вас с гвадных столбцов. От Распутив некуда деваться. Неужели свободное слово двно для того... Как только ствлво возможным говорить обо всем — сейчас же потянуло к «клубничке».

(«День»)

ЭМИГРАНТОВ НЕ ВПУСКАЮТ В РОССИЮ.

...Из Копенгггена отбыли первые эмигранты, возвращающиеся в Россию, провожаемые криками «ура» и пением свыше 500 соотечественников.

...Страстно хочется верить, что русская революция — это только первый великолепный сигнал всемирной революции. Революционная рвдиоактивность должна прорываться через окопы...

Почетввые буржув вачинают жвловаться на распушечивость нврода и солдат. Сейчас же, вемедленно, покв рабочим обеспечена сила штыков, пулеметов, — необходимо требовать создания главным образом рвбочей армии. Вооружить рабочие массы, обучить их, создать тот механический аппарат... Необходимо пользоваться свлой, как пользовалась ею всегда прввлящие классы, — чтобы проводить интересы рвбочего класса в крестьянствв...

(«Правда»)

...Органы местного самоуправления, ати гнёада вымирающего дворянства, купцов и домовладельцев, лвшённые всякого доверья демократии, сейчас фактически умирают на фоне ураганом поднявшейся жизни.

От старого уклада остался гнвлостные следы. На многих ещё осталась короста обывательщины. А все должны быть мвлвционерамв свободы. Будем гражданами с головы до ног! Будем ковать своё счастье. Будем оргавизовываться.

ЧЕРНАЯ СОТНЯ ЗА РАБОТОЙ. ...странные знаки и надписи на дверях граждан... ввдимо, ве потерял ещё надежды на возвращение старых времён. Исполнительный Комитет обращается ко всем гражданам с призывом немедленно стирать ати знаки и надписи в арестовывать авторов. Есть основвния предполагать, что к атому тёмному делу кроме гуляющих черносотенцев првкомавдврованы и некоторые старше дворянки. Пусть эти бандиты не думают, что смогут долго продолжать свою работу. Всякий улвчённый будет немедленно арестован и беспощадно наказан. Граждане! Охраняйте свои жилища от царских хульганов!

К трамввным ввгоновожатым, кондукторам и рабочим. Товарищи! Трамввное дввжение до сих

пор не вполне восстановлено, многие десятки вагонов стоят в парках неиспользуемыми. Городская деловая жизнь поэтому плохо налажена, терпит граждане. Интересы революции требуют немедленного восстановления нормальной жизни и высокой организованности. Пусть все видят, что революция ведёт не к хаосу. Необходимо немедленно согласиться на сверхурочные оплачиваемые работы. Восстановление трамвайного движения — это ваша революционная обязанность, товарищи!

Сообщения с фронта, из района 1 армии. Солдаты предоставлены сами себе, офицерская молодёжь нерешительна, подавлена настроением высших чинов. Необходимы отряды агитаторов из числа солдат Советов Депутатов.

...от глубины сердца приносите горячее поздравление новому Национальному Правительству — Совету Рабочих и Солдатских Депутатов. Да здравствует оно и вся Россия. Да поможет вам Господь Бог.

Окопы, 6 подписей

...Общее собрание солдатских депутатов Двинского фронта... Взошло наконец солнце Свободы над русским народом. Все рабочие, утронте свою энергию, делайте стараясь, в них спасение Свободы. Мы, солдаты, клянёмся лечь костями за каждую пядь Свободой России. Солдаты везде просили передать свой низкий привет Временному Правительству.

Самокатчики 1 Самокатной роты на фронте, узнав об измене в Петрограде своих товарищей по оружию, клеймим их позором, а также их офицерство.

Уполномоченный...

Борцам за свободу... Узнав с невыразимой радостью, что старое безвозвратно рухнуло без малейшего ущерба в промышленности, путей сообщения и вооружения, нас охватил неописуемый восторг. Теперь мы, сыны свободной России, превратимся в каменную стену, которую не пробить лицемерному народу германского государства.

Офицеры и солдаты 43 воздухоплавательного отряда

Казаки кавказцы. Дорогие донцы, братья по оружию! Нам всё известно, по ходу великих исторических событий. Вы свято исполняли свой долг, и мы, забайкальцы, со своей стороны выражаем вам сочувствие.

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ

...Всем, самовольно отлучившимся из команды Эвакуационного госпиталя, предлагается в ближайшие дни явиться в свою часть. В противном случае будут считаться сторонниками старого режима.

...Предлагается всем, самовольно отлучившимся из 2-й полуроты, вернуться в полуроту до 15-го или 17-го сего месяца включительно. В противном случае перестать считать их своими товарищами и считать сторонниками старого режима.

...Солдат 3-й тыловой автомобильной мастерской призывают явиться в часть до 15 марта. Неявившиеся будут считаться дезертирами.

...Просит товарищей солдат 10-й роты немедленно возвратиться к исполнению обязанностей гражданина.

Товарищи солдаты! Некоторые из вас имеют золотые и серебряные медали, полученные в награду от прежнего правительства. В будущем всякие медали и знаки вероятно будут отменены, так как награда каждого гражданина в сознании долга, исполненного перед Родиной. Все эти медали драгоценного металла нужны теперь на усиление революционной мощи. Предлагаю сдавать их, Советы Депутатов укажут куда.

СЛУХИ. Мы живём в такое время, когда всему верят. Скажите, что войска Вильгельма в 20 верстах от Петрограда, — и пойдут люди, которые тут же бросятся на вокзалы и заполнят крыши отходящих поездов... Не следует однако и препятствовать бегству из Петрограда перепуганного обывательского стада. Это очистит атмосферу и облегчит решение продовольственного вопроса...

ЛОЖНЫЕ СЛУХИ. Слухи об анархии в Кройштадте являются вздорными. Жертв очень мало. Уже давно царит полный порядок. Подробное изложение событий будет сделано в непродолжительном времени.

...Поступают коллективные заявления, что в различных районах Петрограда наблюдаются серьёзные эксцессы на почве пьянства денатуратом значительного количества человек. Центральный комиссариат милиции призывает принимать усиленные меры к немедленному обнаружению мест продажи спиртных напитков... Продавцы будут подвергнуты самому суровому...

...Разгром магазина гвардейского Экономического общества принёс колоссальные убытки.

Всероссийская конференция Бунда состоится...

Очередное заседание Еврейской Социал-Демократической Рабочей Партии Поалей-Цион 15 марта в гимназии Гуревича.

Париж. Парижская лига защиты угнетённых евреев с энтузиазмом приветствует русскую революцию и выражает твёрдую уверенность, что Временное правительство немедленно осуществит полную эмансипацию евреев

Нью-Йорк. Русские политические эмигранты, проживающие в Соединённых Штатах, приветствуют совершившийся переворот, спешат вернуться к родине...

Нью-Йорк. Крупный банкирский дом «Куи, Леб и К°» заявил, что, ввиду нового положения в России, он отныне согласен оказывать материальную поддержку союзникам.

Тифлис, 14. На многолюдном собрании местных евреев единогласно принят лозунг «войны до победы!».

Тифлис. Исполнительный Комитет Совета Солдатских Депутатов приказом по гарнизону запретил покупку и продажу казённых вещей. Офицеры призываются к неуклонному несению службы.

Владивосток. Идёт сбор на памятник деятельности революции Волкенштейн, убитой в 1906 во Владивостоке... Виночных в продаже спиртных напитков решено привлечь к общественным работам.

Нижегород, 14. Введя цензура в типографиях... Председатель комитетов — присяжный поверенный, социал-демократ.

Боровичи. На городском митинге подожгли знамя «истинно-русских людей», найденное в одном из местных монастырей. Зажигаются костром сложенные портреты высочайших особ.

Бежецк, 15. Председатель Корчевской уездной земской управы Корвин-Литвицкий сожжёт крестьянами вместе с его усадьбой. Лес вырублен.

Слов нет, помещики — аловреднейшее племя,

Однако гнёзда их палить прошло уж время.

(«Дело народа»)

...Всюду без слёз и сожалений деревня рассталась с прежним политическим строем. Исчезли тайные винокурни. ...Кое-где громят волостные учреждения, дома частных лиц.

...В деревне новая жизнь налаживается с трудом. Характер текущих событий деревня усваивает нелегко и иногда ошибается при оценке их.

(«Дело народа»)

Кишинев, 15. ...Ораторы в пламенных речах говорили о тлетворном влиянии немцев на Россию, которой фактически управлял не Николай II, а Вильгельм.

ПОРТРЕТЫ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ. Поступили в продажу портреты Желябова, Перовской, Фигнер, Спиридоновой, Каляева и многих других.

...Всех военных капельмейстеров и депутатов музыкантских команд приглашают...

Помните пленных! В дни возрождения России вспомните о ваших братьях-воннах, томлящихся в плену. Забытые и бесправные, они умирают от голода и холода.

...Состоялось собрание рабочих и работниц конфетно-шоколадного производства. Почтили вставанием память погибших борцов за свободу. Затем был заслушан доклад о положении дел в конфектном производстве в связи с свхарным кризисом...

...Добиваться развития пролетарского самосознания среди официанток Народного Дома...

ВАЖНАЯ ПОПРАВКА. Исполнительный Комитет Совета Рабочих и Солдатских Депутатов доводит до всеобщего сведения, что напечатанная позавчера «Декларация прав солдат» представляет лишь проект, ещё не обсуждавшийся общим собранием СРСД.

ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ — подлинное детище самовлестия. Овн творит своё грязное дело в темноте. Даже не прикоснувшись к архивам министерств иностранных дел, каждый может с уверенностью сказать, что тайная дипломатия Николая Романова и его слуг не могла служить ввероду.

«Война до победы» — такой лозунг выставили из своих знамёна некоторые чвсти Петроградского гарнизона. Но и бывший царь Николай II тоже говорил «войны до победы», понимая под этим взятие Константинополя, Польши, Берлина, раздел Германии. Не лучше ли ааменить этот неясный лозунг более точным: «война за свободу»? Русская армия, расстроенная преступной неумелостью старой власти, станет непобедимой.

МАНИФЕСТАЦИИ. 15 марта в Государственную Думу явился в полном боевом порядке запсвой батальон лейб-гвардии Семёновского полка. Затем через полтора часа — 3-й гвардейский стрелковый полк. Приветствие стрелкам вождей рабочего класса Чхендзе и Скобелева едва не омрчилось печальным инцидентом: к стрелкам обратилась с речью никому не известная дама с призывом: «Долой войну!» Раадались крики: «Дайте её нам на штыки!» Возмущённых солдат успокоил речь их командира, его подняли на руки и понесли. Другая же часть солдат бросилась к балкову, окружив женщину, и был момент, когда ей грозил жестокий свмосуд. Ораторшу с трудом удалось провести через разъярённую толпу и отправить в следственную комнату, где занялись выяснением её личности.

Своим ответом Родзянко расширил задачу Учредительного Собрания — дополнял его вопросом о земле.

ПЕТРОГРАД ИЛИ МОСКВА? В Москве идёт усиленная агитация, чтобы местом созыва Учредительного Собрания была призвана Москва. Навдо раз ввсегда покончить с этой агитацией. Какое основание делать Москву столицей России? Историческое прошлое Москвы, конечно, не может иметь никакого значения. Москва была центром московского царства. Кремль — каменное олицетворение московского самодержавия, сокрушившего новгородскую и псковскую республику. Со всей этой романтикой пора уже покончить. Кто ратует за Москву — учитывает возможность ловить рыбу в мутной воде.

(«Известия РСД»)

Разрушительная часть Великой Российской Революции ещё не закончилась, ещё во многих углах России происходят отпрыжки старой власти.

...Пантера русского капитала оставляет себе все пути к нарушению договора о 8-часовом дне.

Завод «Промет». Продолжение сверхурочных работ при 8-часовом рабочем дне уничтожит выше завоевание и не оставит времени каждому проявлять гражданские права. Собрание постановляет считать 8-часовой день только при полном уничтожении сверхурочных работ.

Офицеры-питомцы Михайловской артиллерийской академии, в стенах которой некогда являлся светильник свободы, обращаются к Совету Рабочих и Солдатских Депутатов с горячим призывом восстановить на казенных заводах нормальный порядок. Устранение с заводов большого числа лиц технического персонала неизбежно отразится на качестве боевого снабжения и поведёт к напрасным жертвам на фронте.

ЭМИГРАНТОВ НЕ ВПУСКАЮТ В РОССИЮ...

Телеграммы из Лозины. Заявляем протест против телеграммы Рубановича. Ульянов, Натансон.

...Наши агитаторы Выборгского района бросают горящие факелы в доселе тёмные углы. От них загораются окрестности и революционной бурей разносятся по всей России пламенеющие щепки...

«ПРАВДА» — РАБОЧЕМУ КЛАССУ. Товарищи, братья по революционному делу! Вы должны знать, что в некоторых пунктах города какие-то неизвестные личности вырывают «Правду» из рук газетчиков. Против «Правды» систематический поход, и мы знаем, где его центр: там же, где и центр буржуазной контрреволюции. Все эксплуататоры двойного труда, все паразиты и туземцы, призывая сосавшие народное тело под охраной царя, все боятся дальнейшего роста революционного движения. Они обдумывают поход против пролетариата, хотят грядущую демократическую республику превратить для него в смиренную рубашку. Они думали ударом по «Правде» привести в расстройство наши ряды. Встаньте же, товарищи, на защиту своей газеты, призовите к порядку расшалившихся сынков буржуазии.

Редакция «Правды»

...Возмущённо протестуем против нязких приёмов буржуазной прессы в отношении вашей газеты «Правда», этого великого средства организации... Газета «Правда» не может быть провокаторской, потому что её мнение о войне есть мнение всего трудящегося класса...

Всем комиссарам милиции. Скобелев подписал распоряжение... ИК РСД протестует против действия милиционеров, запрещающих продажу «Правды»... Оградить торговцев «Правды» от недостойных выходок отдельных лиц.

Комитет бронедивизиона опровергает слухи, что он и петербургский комитет РСДРП разгребляет дворец Кшесинской. Дело в том, что комитет завладел дворцом уже после двух погромов. А теперь имущество охраняется.

О сберегательных кассах. Среди населения намеряно распускаются слухи о том, что старые деньги будут уничтожены и все вклады и сберегательные кассы пропадут. Страшно усилилась выемка вкладов из касс. Слухи эти ложны. Население может быть спокойно относительно своих вкладов.

Вследствие заминки подвоза муки к булочным население Петрограда может очутиться в крайне тяжёлом положении. ИК РСД примет меры к справедливому удовлетворению требований товарищей, участвующих в навозном промысле. Но надвигается грозное бедствие, а светлые дни торжества Свободы не должны быть омрачены сетованиями трудового народа на длинные хвосты и голод...

Всекие волнения на почве продовольственной неурядицы могут быть выгодны только сторонникам старого режима. Просим товарищей солдат не приобретать белый хлеб в лавках. Исполнительный Комитет просит товарищей пекарей не прерывать работы и согласиться на сверхурочные... Обыватели ещё не привыкли быть гражданами и легко переходят от восторга к панике. Так возникают слухи.

Письмо из Гельсингфорса. Отношение у нас с матросами великолепное. Единственно что беспокоит — это присылаются ежедневно нагоны со спиртными напитками. Но не было ещё случая, чтобы матросы и солдаты разбивали открытые нагоны, но звонят в комитет, и склад спиртного уничтожается. Много сознательности и инициативы.

Мичман...

В Кронштадте. Сейчас жизнь является входить постепенно в нормальную колею. Отношения между офицерами и матросским составом флота, одивко, не вполне налажены до сих пор. В начале движения несколько десятков офицеров были убиты, многие арестованы...

Армия и офицерство. Многие офицеры справедливо оказались не заслуживающими народного доверия... Пополнить недостаток молодыми офицерами-революционерами, которые были бы солдатам товарищами и братьями, — особенно из студентов, светлого элемента будущей России.

О ДЕМОКРАТИЗАЦИИ АРМИИ. Выборное начало сулит создание подлинно народной армии. Но надо быть осмотрительными, исключая из полка офицеров прекрасных, аныющих, вполне пригодных, но при старом режиме, под влиянием классовых предрассудков, притеснявших солдат. К таким офицерам надлежит отнестись снисходительно, дать им амнистию... В пехоте послуживший солдат может избираться командиром и батальона, и полка...

Письмо из Действующей армии. Вы есть свет великой России. Мы видим в вас восходящее солнце, которое своими благопрятными лучами... Товарищи! Против ившей живой силы никто не устоит. Спешите просвещать нашу работу газетами и брошюрами. Мы, солдаты, очень мило адезь уведомляемся просветительной силой, которая исходит от вас.

О дисциплине. Чем была для нас кровавая романовская дисциплина? Это сквжет вам каждый, испытавший её на себе... Неужели не устрвим мы это? Устав требует немедленной реформы. Надемся, что это будут помнить наши полководцы...

Среди гренадеров. Призано единогласно полезным для солдат допускать беспрепятственно публику в расположение казарм. Желающим солдатам разрешить проживать в частных квартирах, но с обязательством являться на утреннюю поверку. Выдвчу жалованья производить на прежних основаниях.

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ

Товарищи воинские чины 2-го Пулемётного полка! Мощным натиском завоевана всеми желанная свобода, а враги не дремлют. Возвращайтесь, товарищи, в свою часть. Ибо всякий не вернувшийся от сего опубликования в течение 5 дней будет считаться позорным изменником ввшему святому делу.

...Товарищи солдаты ораненбаумского гарнизона, самовольно отлучившиеся и не явившиеся до 17 марта, будут считаться изменниками общему делу, и список их будет обнародован...

...Всех самовольно отлучившихся из 262 полка и не явившихся в течение одвой недели...

...всех отлучившихся из 16-й пешей Ярославской дружины...

самовольно отлучившимся из 1-го пехотного запасного полка... В противном случае перестать считать их своими товарищами...

товарищей-солдат 171 запасного полка, самовольно отлучившихся по разным причинам...

...180 пехотного запасного полка — с призывом немедленно явиться в свою часть...

СОЛДАТЫ ГРАЖДАНЕ. Не явившихся до 20 марта постановлено считать уклонившимися от исполнения гражданского долга...

Ходатайство бывших дезертиров. ...мотиваруют, что раньше они не хотели защищать дивастию Романовых, а в настоящее время хотят бороться за счастье и светлое будущее новой России.

...Петроград должен помнить, что ве он один решает судьбы страны и революции. Опасно, если бы Петроград оторвался от провинции. Оя рисковал бы превратиться в штаб без армии.

(«Рабочая газета»)

...Разразившись в Петрограде, революция перекидывается в провинцию, захватывая всю необъятную Россию. Одна из особенностей нашей революции состоит в том, что базой её до сих пор является Петроград. Схватки и выстрелы, борьба и победы имели место главным образом в Петрограде и его окрестностях. Провинция оравичилась восприятием плодов победы и выржением доверия Временному правительству.

(«Правда», 18 марта)

ЧТО ЖЕ ТУРКЕСТАН? Над всей Россией поднялось солнце Свободы, всюду послааы комиссары — и только Туркестан остаётся в стороне от перемен, и остался в руках того, кто кронаым кулаком, с помощью пулемётов и виселиц... генерала Куропаткина...

Нижний Новгород. В прикае по войскам гарнизона объявлено: ввиду высокого общественного значения Совета Солдатских Депутатов, считать его членов неприкосновенными, не приводить в исполнение дисциплинарных взысканий, наложенных на них, освободить от нарядов и других обязанностей службы.

Екатеринодар. Власть в руках РСД. Пока полное единение, но уже чувствуется со стороны попов и казацких начальников антиреволюционная агитация. В бывшем Кубанском жандармском управлении заседают сейчас 4 большевика.

Николаев. Уголовные здешней тюрьмы заявили думскому комиссару, что готовы подчиниться лишь на условиях...

Рыбинск, 16. Бывшие чины полиции благодарят новое правительство за признание за ними прав гражданства, выразившееся в призыве их и ряды войск, и выражают глубокое презрение бывшему полицеймейстеру.

Киев, 16. Арестованные главари черносотенцев переведены на военное судно. Этим исключается возможность побега. Против погромной агитации в несколько местечек посланы комиссары и войска. Отовсюду поступают успокоительные сообщения.

Среди солдат распространяются воззвания, призывающие их в письмах своим деревенским призывать одвосельчан к засеву полей.

...На обратном пути из Севастополя на одной из станций депутата Государственной Думы попросила выйти к ним огромная толпа крестьян. По их просьбе он рассказал им, что произошло в Петрограде. Многие крестьяне плакали. Нервы депутата не выдержали, он тоже прослезился.

Козельский уезд. Крестьяне в неопишемом восторге от революции, многие плачут от радости. Священник предложил устроить молебен об избавлении от паря-врага. Крестьяне высказываются за республику, так как, по их словам, «зачем выбирать нового царя, когда всё равно потом придётся его выгонять?»

Ямбургский уезд. Постановлено: готовиться к выборам в Учредительное собрание и уничтожать всю литературу, направленную против демократической республики.

Нижегородская губерния. Во многих сёлах крестьяне усилили подвоз хлеба для уполномоченного и часто отказываются от денег.

...Ко всему трудовому народу: «Берегите святость и успех революции! Не превращайте великого дела социализации земли в самовольный захват её!

(«Дело народа»)

...Надо признать: в крестьянстве ещё отчасти остались старые рабские привычки. Тут ещё держится в тёмных головах представление о царе-батюшке. Тем ясней: если монархия в Англии вредна, то у нас она чрезвычайно опасна.

(«Рабочая газета»)

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ! Не в пример своим западным сёстрам, вы не пожелали замкнуться в эгоистические рамки своих личных жевских домоганий, но влились в общую работу...

Воззвание женщин-работниц. До сих пор только отдельные ласточки присоединяли свой голос к хору борцов-пролетариев. Но теперь свободная гражданка-пролетарка предъявляет свои права. Один у нас идеал — социализм.

...в помещении гимназии Гуревича — студенты Бувдовой группы...

...Бюро «Цеврей-Цион» приглашает товарищей и сочувствующих...

Среди сионистов. Резолюция общего собрания петроградской сионистской организации: «В светлые дни победы народной воли, мы, носители идеи возрождения еврейского народа, призываем русское еврейство всемерно поддерживать Временное Правительство в его освободительной творческой работе. Мы верим, что оно немедленно осуществит еврейское равноправие. Мы призываем к расцвету еврейской народной жизни в России и к возрождению еврейской нации в Палестине.»

...В трудный момент, когда повсюду отсутствовала стройность освободительного движения, высоко и гордо поднял знамя Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. С первого дня своего конструирования он предстал как испытанный воин сознательных элементов... Он является и должен являться для вас руководящей звездой.

Петроградская группа Латышей СДРП

Объявление. В дни революции со многих автомобилей были сняты магнето. Надеюсь на честность и благородство граждан, автомобильный отдел ИК СРСД убедительно просит всех, тем или иным путём приобретших таковые, вернуть их в Государственную Думу, комната № 13...

...Раненые воины лазарета № 3 присоединяются ко всеобщему торжеству...

Керейскому, Чхендзе. Горячо приветствуем вас, покорявших кровожадного вампира, которого следует познакомить с застенками крепости. Спасибо вам, что взяли в плен сильного немца, теперь Вильгельм нам не страшен...

Из Рогулей, уполномоченный...

Торгово-промышленные служащие (конторщики и приказчики) признают СРСД контролирующим органом над всеми действиями Временного Правительства...

Воззвание к торговому пролетариату...

Собрание «медицинского пролетариата» — фельдшеров, массажистов, акушеров, сиделок, санитаров...

...Постановили создать Всероссийский союз часовщиков...

...Состоялось общее собрание пекарей. Выражаем доверие идти рука об руку с СРД до Учредительного Собрания...

...Мастера сапожники, башмачники, заготовщики, чемоданщики, портупейщики — приглашаются на общее собрание. Не явившиеся будут считаться сторонниками старого режима.

Петроградские дворники и швейцары, собирайтесь в цирк «Модерн» для шествия в Государственную Думу. В единении сила!

Собрание дворников... Организуются в профессиональный союз. Первая задача — изъятие из своей среды реакционеров и тёмных элементов...

Первое собрание рабочего клуба. Ораторы часто уклонялись от темы и просто говорили о том, что хотелось сказать чуткой аудитории. Не всё, что они говорили, было вполне понятно собравшимся...

Просьба прислуг. Друзья-товарищи, вспомните в нас, несчастных прислугах, которым приходится часто работать день и ночь. Мы, рабыни, живём без прав. Даже в церковь нам трудно попасть. Если попросимся, то наши властители отвечают: «Гм, в церковь? Что, сегодня день особенный?»

...Запасной батальон лейб-гвардии Литовского полка, просит возвратить две походные кухни, взятые студентами 27 февраля...

Окончание следует

ДЛЯ ГОЛОСА И БАЛАЛАЙКИ

Вот едет Федя к нам из Питера на «Ладе».
На нем костюмчик новый импортный блещит.
Он в бане выпарится. Выспится в прохладе.
И заодно маманю с тятей навестит.
Тебя мы, Федя, встретим плясками и пеньем.
На свадьбах будешь ты почетней всех гостей.
Плохие новости узнать еще успеем.
Вези побольше нам хороших новостей.
Поведай нам, кто отучился в институте.
Кто «Жигули» недавно новые купил.
Кто стал начальником, кто в партию вступил.
И кто остался человеком, выйдя в люди.
Ты расскажи нам, кто в какой живет квартире.
Кто сколько тысяч на сберкнижке накопил.
Кого из наших до сих пор не посадили.
Кому еще не вшили что-то, чтоб не пил.

Уж полпути небось проехал он на тачке.
Его на рытвинах отеческих трясет.
Он отдохнет в деревне лучше, чем на дачке.
И много разных новостей нам привезет.
Поведай, Федя, как вас в городе снабжают.
Что там едят и пьют. Что пляшут и поют.
За что уж больше не казнят и не сажают.
За что прибавки, за что премии дают.
Кто из псковских таки не стал еще евреем.
Не сплыл за речку под влиянием страстей.
Плохие новости узнать еще успеем.
Вези побольше нам хороших новостей.

Вот едет Федя к нам. Спешит во все колеса.
Кассеты слушает и семечки грызет.
Ответит он на злободневные вопросы.
И много разных новостей нам привезет.
Спешу к нам, Федя, приезжай перед Успеньем.
Да не забудь, родной, с похмелья наш наказ:
Плохие новости узнать еще успеем.
И неприятности не убегут от нас...

И так далее, пока не сломается балалайка.

Владимир Иосифович Уфлянд (род. в 1937 г.) — поэт. Публикуется с 1957 года. Печатался в журналах «Эхо» и «Континент», а с 1989 года — и в отечественной периодике. Опубликовал сборник стихов «Тексты» («Ардис», Анн Арбор, 1978) и книгу прозы «Подробная антиципация» («Амга», Париж, 1990). Ассоциированный член французского ПЕН-клуба. Живет в Ленинграде.

* * *

Вот и Никифор наконец жених.
Держа в одной руке ромашку,
он молвит:
— Близок тот желанный миг,
когда жена мне выгладит рубашку.
Того, что дожил до своей поры,
я час назад еще не сознавал.
Был в чайной. Вышел. Знаю: комары,
но вижу Добрых Духов карнавал,
вокруг своей оси крутящихся
для удовольствия таких, как я,
трудящихся.
Я понял: это есть тот самый знак,
что вся Республика велит
вступить мне в брак.
А Духи делали движения кадрилн,

и (что гораздо невообразимей)
они, казалось, молча говорили:
— Не для того ль был взят отцами
Зимний,
чтобы у тружеников всех села
подругой жизни Женщина была?
(Я знаю женщин: с виду — женственны,
а все другие признаки — божественны.)
Так понял Духов я.
И вот итог:
стою, держа в одной руке цветок.
Хоть не такие у меня замашки,
чтобы держать в руках цветы ромашки.
Поселок спит. Оркестры символические
в моей душе гремят, как симфонические.

ЖАЛОБЫ ЛЮДОЕДА

Мы племя людоедов.
У нас обычай есть
Кусаться за обедом,
Стремясь друг друга съесть.
А если кто соседа
Не может съесть живьем,
Тот будет без обеда.
Вот так мы и живем.
Я сам рыдал и плакал,
Когда друзей съедал.
Но между тем, однако,
Обычай соблюдал.

Отца и мать, я помню,
Съел в юные года.
Поэтому я полный
И круглый сирота.
На ветках пальм огромных
Плодов растет не счесть,
А мы должны знакомых,
Родных и близких есть.
Одной и той же пищей
Питаться — наш удел.
О варварский обычай!
Ты всем нам надоед.

* * *

Вот прошла трудовая неделя.
Кто не верит.
Кто радостно прыгает.
Только я, собою владея,
сел в автобус
и еду в пригород.
Там тотчас становлюсь под орешником.
Рот раскрыв, притворяюсь скворешником.
Я слегка себя этим уродую,
но зато сливаюсь с природою.
И на разного рода мелодии
из груди моей льются пародии.
Но клянусь,
что не я их творец:
то во мне пробудился Скворец.
Вообще же
в течение недели
я служу у себя в отделе.
Если есть во мне Божия искра,
я когда-нибудь стану министром.

* * *

Уже давным-давно замечено,
как некрасив в скафандре Водолаз.

Но, несомненно, есть на свете Женщина,
что и такому б отдалась.

Та Женщина отказывала многим.
Ей нужен непременно Водолаз,
резиновый,
стальной,
свинцовоногий.

Вот ты,
хоть не резиновый, но скользкий.
И отвратителен,
особенно нагой.

Но Женщина ждет и тебя, поскольку
Ей нужен именно такой.

Быть может, выйдет из воды он прочь,
обвешанный концами водорослей,
и выпадет ему сегодня ночь,
наполненная массой удовольствий.
(Не в этот, так в другой такой же раз.)

* * *

А чем ты думаешь заняться,
когда раздашь все деньги в долг?
Не вздумаешь ли перебраться
в один из южных городов,
где можно жить без денег долго,
карманы фруктами наполнив.
Я знаю: о возврате долга
ты постесняешься напомнить.
Ты предпочтешь всю жизнь слоняться
по незнакомым городам.

А чем ты думаешь заняться,
когда настанут холода?

Олег
Охалкин

* * *

От ямщика до первого поэта
В России все поют на грустный лад.
Так Пушкин говорил. Россия. Лета...
Шептал другой, мрачнейший во сто крат.

Россия, Русь! О, не печалься, мати,
И не рыдай мене! — Скорбит душа.
Что из того, что я умру в кровати
На чистой простыне и не спеша!

Я жил средь вас, родные палестины,
Витийствовал, любил и бедовал.
Но наш собор — Валдаи и равнины —
Бил в колокол и сердце надрывал.

Пел колокольчик тихий и унылый,
В ночи свершались темные дела,
И день за днем тянулся век постылый,
Мела зима, всегда белым-бела.

В кромешной тьме носился черный ворон,
Беснуясь, чернь чернила белый снег.
Уклад земли до основания взорван.
Над бездною поставлен человек.

Оборван зпос наш на полуслове.
Монголов иго даром не прошло.
Довлеет злоба съеденной корове,
И все идет чредой, куда б ни шло.

КОЛОС

В забытый Богом чернозем
Я брошен был — зерно чужое.
Кем приговор произнесен
И что в нем — доброе иль злое?
Быть может, пожелал Творец
Произрастить пустынный колос,

Чтоб отказать мне наотрез
Услышать нивы шумный голос?
Но для чего Он дал взамен
Угрюмую, как дерны, волю?
Смотрю на дикий черный плен,
И колошусь, и плачу вволю.
Качаюсь, тучный, на ветру
И зерна чистые роняю.
И что весною поутру —
Взойдет ли рожь моя — не знаю.
Но что-то и в моей судьбе
Есть первозданное, как море.
Природа зрит в самой себе
Стихию с Богом в вечном споре.
И Бог дает мне испытать
Всю прародимую пустыню,
Чтоб мог я правду увидеть
Как высший дар и благостыню.
И эта ширь передо мной
Мне говорит о лучшей доле.
Я сброшу груз мой в грунт земной,
И к жизни возродится поле.

БЕЛАЯ НОЧЬ

В каморку тянется подрост
Зеленой кроною надверший.
Далёко слышен певчий дрозд,
Грузнеют облачные мрежи,
И золотую полосой
Лесок далекий розовеет,
И ангел белый и босой
Как бы крыло на солнце греет.
Он прикоснулся к облакам
Пером сверкающих надкрылий,
И мгла светлее молока
Струится в дол. Туман. Река.
Чернеет лодка рыбака.
Как будто их заговорили.
Не растворяются. И я
Гляжу сквозь чашу из каморки:
Крыло хозяйского белья
Подобно гроту корабля.
Не различу из-за тряпья:
Туман, хитона ли оборки.
И певчий дрозд печально так
Зовет чай гонять Ефима.
Иль это воздух серафима,
И я ослышался, простак?
Сижу и слушаю. Гляжу
И ничего не понимаю.
Иль это ночи белой шум,
Иль ангел душу вынимает?

Олег Александрович Охалкин (род. в 1944 г.) — поэт. Автор книги «Стихи» (Париж, 1989), «Пылающая кулина» (Л., 1990). Печатался в сб. «Круг» (Л., 1985), журналах «Аврора», «Нева», «Звезда» и изданиях русского зарубежья: «Вестник РХД», «Грани», «22», «Перекрытие» и др. Живет в Ленинграде.

Антон Антонов-Овсеенко

КАРЬЕРА ПАЛАЧА

Сколь высоко ставил генсек заслуги органов кары и сыска, можно судить не только по наградам, которые щедрым дождем пролились на проводников террора. Указом от 9 июля 1945 двумстам с лишним ответственным функционерам Лубянки присвоили высшие общевойсковые звания (взамен прежних особых).

Лаврентий Берия стал Маршалом Советского Союза. Удивляться нечему: эта власть всегда ставила на первое место внутреннюю войну против собственного народа. Следом идет Всеволод Меркулов, генерал армии, ключевая фигура репрессивного аппарата. Звания генерал-полковников удостоены девять бериевских подручных: Виктор Абакумов, Сергей Круглов, Иван Серов, Богдан Кобулов, Василий Чернышев, Сергей Гоглидзе, Карп Павлов. Среди пятидесяти генерал-лейтенантов встречаются такие именитые палачи, как Л. Е. Влодзимирский, М. М. Гвишиани, А. З. Кобулов, С. С. Мамулов, С. Р. Мильштейн, В. Г. Наседкин, Л. Ф. Райхман, А. Н. Рапава, П. А. Судоплатов. Высшими званиями отмечены начальники истребительных лагерных строек А. П. Завенягин, И. Ф. Никишов, Л. Б. Сафразян и уже упомянутый Павлов. Особо отличили начальника сталинской охраны Николая Власика, ближайшего помощника Берии Степана Мамулова и личного повара генсека Александра Егнаташвили. Последний был товарищем детских игр Сосо. Отец Саши и настоящий отец Сосо позаботился о поступлении будущего вождя в училище и семинарию. Отменные шашлыки готовил Сталину генерал-лейтенант Александр Егнаташвили.

Звание генерал-майора заработал организатор убийства Троцкого Наум Эйтингон. И еще одно примечательное имя встретим в этом списке — будущего народного писателя Литвы Александра Гузавичуса. В расстрельные сороковые он был наркомом внутренних дел родной республики и более шести лет исправно отправлял на казнь своих земляков. Наличие профессиональных палачей в Союзе писателей — не диво.

Итак, Берия сравнялся в звании с Жуковым.

Первые конфликты Жукова с Берией начались уже в 1942 году, когда член ГКО Берия при поддержке Мехлиса убеждал Сталина в порочности стратегического плана Жукова — упреждающего удара по южной группировке противника.

Конец июля 1945 года. Заместитель Лаврентия Берии Абакумов прибыл в Берлин и, не представившись Главнокомандующему группой советских войск, арестовал ряд генералов и офицеров. Жуков вызвал Абакумова и приказал немедленно освободить из-под ареста всех генералов и офицеров, доказавших на фронтах свою преданность отчизне. В противном случае обещал Абакумову отправить его под конвоем в Москву.

Июнь 1946 года. На заседании Высшего военного совета Сталин бросил секретарю совета генералу С. М. Штеменко несколько листов с текстом: «Читай!» Штеменко, этот верный подручный Берии, зачитал заявление бывшего адъютанта подполковника Семочкина и главного маршала авиации А. А. Новикова, написанное в тюрьме. Узники Лаврентия Берии обвиняли маршала Жукова в присвоении всех победных лавров — в ущерб товарищу Сталину, а также в сколачивании вокруг себя группы недовольных

режимом лиц. По предложению Сталина в поддержку этой клеветы выступили Молотов, Булганин и ведущий исполнитель плана Сталина Берия.

Маршала вывели из состава ЦК, сияли с должности Главнокомандующего сухопутными войсками и отправили в Одессу командовать военным округом.

1947 год. Арестована большая группа генералов и офицеров, в основном из окружения Жукова. Их пытали, принуждая признаться в подготовке «военного заговора» против сталинского руководства, организованного маршалом Жуковым. Как свидетельствует Георгий Константинович, этим «делом» руководили Абакумов и Берия.

1948 год, март. «Когда я был уже снят с должности заместителя министра и командовал округом в Свердловске, Абакумов под руководством Берии подготовил целое дело о военном заговоре... Встал вопрос о моем аресте. Берия с Абакумовым дошли до такой подлости, что пытались изобразить меня человеком, который во главе арестованных недавно офицеров готовил военный заговор против Сталина. Но, как мне потом говорили присутствовавшие при этом разговоре люди, Сталин, выслушав предложение Берии о моем аресте, сказал: „Нет, Жукова арестовать не дам. Не верю во все это. Я его хорошо знаю. Я его за четыре года войны узнал лучше, чем самого себя“». Эту запись, сделанную Константином Симоновым, дополняют свидетельства Елены Ржевской и Василия Соколова. Последний сообщает об одном эпизоде, который возвращает нас в год 1941-й, когда у супруги Ворошилова при переезде из Москвы в Куйбышев «пропал» фотоальбом. Через несколько лет во время тайного обыска на даче Георгия Жукова «пропали» все фотоальбомы вместе с его личным архивом. Берия использовал эти материалы для очернения полководца и обвинения его в предательстве.

Нет, Берии так и не удалось арестовать маршала, но без инфаркта все же не обошлось: в январе 1948 года Георгий Константинович был госпитализирован. Вспоминая о роли Берии в развернутой Сталиным травле, Жуков сказал: «Берия был личностью, готовой выполнить все, что угодно, когда угодно и как угодно. Именно для этой цели такие личности и необходимы».

В этой верной в целом характеристике не указано только, кому конкретно был необходим Лаврентий Берия. Он, бесспорно, имел все основания ненавидеть маршала Жукова, который на дух не принимал лубянских карателей и примером своим подрывал авторитет органов. Но, преследуя Георгия Жукова, Берия следовал указаниям Хозяина. Об этом маршал Жуков говорит лишь полунамеками...

Казалось бы, ничего конкретного в этих воспоминаниях, но место Берии рядом со Сталиным, под его рукой, обозначено точно. И роль тюремного маршала в трагедии безымянного солдата, роль предателя указана полководцем верно.

Медленно, со скрипом поднимается ныне занавес, столько лет скрывавший от глаз преступления сталинской клики военной поры. А тогда, сразу же после великой победы советского народа над фашистской Германией, возникли — не стихийно, разумеется, — легенды о великом генералиссимусе и его верном оруженосце.

...Наказам Сталина внимая,
Любой их выполним ценой.
Приветом пламенным встречаем
Приезд твой в город наш родной.

Это о нем, Лаврентии Берии, стихи И. Гришашвили — «Радость Тбилиси» в газете «Заря Востока» 27 января 1946 года. Там же на сей раз — песня о новом маршале.

...Вселять вражьи силы бросилась.
Вновь блещет иебо чистое,
Доблесть героя славил
Снежные горы, выстояв.
С ними мы пели радостно,
Твердо в победу веруя.
«Многая лета здравствует
Пусть наш защитник Берия».

Главы союзных держав покидали Потсдам, уверенные в том, что Сталин в ближайшее время выведет войска из стран Восточной Европы. А пока они довольствовались его обещанием оказать помощь правительствам этих стран в установлении демократического строя. Генералиссимус с готовностью дал требуемые обещания. История еще не знала столь щедрого на гарантии государственного деятеля.

Сталин сразу же почувствовал себя полновластным хозяином огромного региона. И поступил соответственно. Советские дивизии, вступившие на территорию Европы, превратились в оккупационные войска. Самозванный Отец Народов избавил от военного присутствия лишь Австрию, и то не сразу. Что до Югославии, то она обязана освобождением от сталинской опеки непоколебимому мужеству Тито и отдаленности от границ Со-

ветского Союза. В ином положении оказалась Польша. С нею и с соседней Восточной Германией Сталин обошелся, как помещик с проворовавшимися крепостными. Он кроил-перекраивал чужие земли, переставлял по своему капризу межи-границы, не забыв попутно прихватить всю Восточную Пруссию.

Ванда Василевская, в прошлом член правительства, рассказывала, как Сталин вызвал их, чтоб уточнить границу между Польшей и Германией. Все шло хорошо, к взаимному удовлетворению, но вот Штеттин он почему-то оставил немцам.

«Мы просим, а он смеется и говорит: „Нэт, нэт, это нзмецкий город“. Мы убеждали, что с XII века он польский, а Иосиф Виссарионович только смеется. „Нэт, нэт, нз польский, а прусский. С XIII века“. Мы чуть не плачем, ведь лучший порт на Балтике, а он ни в какую. „Хватит! Нэмцам отдаю. Они тоже нзплохо воевали“. И мы умолкли. А когда расставались, уже к дверям шли, вдогонку сказал: „Мынуточку...“ Мы обернулись. „Как его, этот город, Штеттин, да? Ладно, бэрите сэба,— и хитро подмигнул.— Воевали-то они нэплохо, но все же каждый второй у них фашист. Бэрите сэба, пока не раздумал...“».

Виктор Некрасов, описавший эту сцену в своей последней книге, был горазд на выдумки. Но в данном случае под его пером возникает психологически верный характер.

Геноцид, начатый Сталиным против польского народа в 1939 году, продолжался всю войну, не затухал в послевоенное время. В кампании истребления поляков Берия сразу же нашел свое командное место — вспомним Катынское побоище. И побоище Варшавское, когда Сталин со своими подручными предал восставших против немецких оккупантов. А по окончании войны планомерному истреблению подверглись польские коммунисты. Да, Сталин и Берия были всеядными правителями новой империи, разбухшей на своей и чужой крови.

После подавления Варшавского восстания и капитуляции Бур-Комаровского командование Армией Краёвой взял на себя генерал Окулицкий. У него не было оснований доверять Сталину больше, чем Гитлеру. На всякий случай он после поражения Германии остался в подполье. Но власть над жизнью и смертью освобожденных поляков перешла в руки бериевских молодчиков. Не все поляки догадывались об этом, и когда советское командование гарантировало генералу-патриоту неприкосновенность, он вышел из подполья. Арест, «суд», казнь... Через эту процедуру, одобренную пытками, провокациями, вместе с генералом Окулицким прошел главный представитель эмиграционного правительства в Польше Янковский и другие видные патриоты.

На «открытом» судебном процессе в Москве пятнадцать из шестнадцати арестованных признались в антисоветской деятельности.

Болеслав Берут, польский премьер-министр, много раз пытался справиться о судьбе пропавших в СССР поляков — руководителей компартии, о своих друзьях. Особенно интересовала его судьба Адольфа Варского, одного из основателей СДКПиЛ, близкого соратника Феликса Дзержинского. Но Сталин и Берия утверждали: «Люди эти просто затерялись в огромной стране...»

Обычно в беседе участвовал Лаврентий Берия. Вместе с Хозяином они разыгрывали цирковые сценки, схожие с теми, что пришлось терпеть польским руководителям в конце войны. Тогда клоуны репризы кремлевских лицедеев касались жертв Катыни. Вот и теперь, как только Берут спрашивал генералиссимуса о новых жертвах, Сталин поворачивал к Берии: «Лаврентий Павлович, где же они, я же велел вам поискать».

По окончании одной из таких сцен Берия вышел из кабинета вместе с Берутом и, не скрывая угрозы, сказал упорному премьеру: «Чего вы прие...лись к Иосифу Виссарионовичу? От...сь от него. Я вам по-хорошему советую». Берут знал партийно-тюремный жаргон. Он давно уже был потенциальным клиентом Лубянки, а вскоре станет ее агентом. По совместительству.

В судьбе Стефана Сташевского, которому Берут поведал о своих кремлевских терзаниях, отразилась судьба распятой Польши. Его старший брат, коммунист, погиб на Лубянке в 1937 г. Родителей прикончили немецкие фашисты в Трешлине. Будучи с юных лет активным революционером, коммунистом, Сташевский подвергся репрессиям в Польше, эмигрировал в Советский Союз. Здесь, в Москве, учился вместе с Берутом в Международной высшей школе имени Ленина при исполкоме Коминтерна. Вернулся в Польшу и после очередных репрессий вновь приехал в Москву. С ним поступили гуманно, отправили на Колыму. Там его почему-то не казнили и в 1945 году отпустили на родину, где он занимал ряд ответственных постов. В 1968 году, шестидесяти двух лет от роду, решил порвать с партией...

Сталину нужно было, вопреки ялтинским соглашениям, установить над Польшей свою личную диктатуру, навязать свободолюбивому народу свой новый порядок, закамуфлированный под социализм. В средствах же он себя не ограничивал никогда: демагогия, обман и, разумеется, насилие. Здесь его ближайший помощник Лаврентий Берия был незаменим.

Через два-три года в Кремле решили, что пора строить в Польше тюрьмы. В проекте был предусмотрен специальный корпус для партийных руководителей. Не одними же

костелами украшать польскую землю. Берия обязал Берута строить тюрьмы своими силами.

Ох, и долог путь поляков на Голгофу...

* * *

Оставив советские войска на территории Восточной Европы, Сталин спешил объявить сопредельные страны социалистическими. Он был не прочь зачислить их в состав своей необъятной вотчины, но в первые послевоенные годы приходилось считаться с атомным превосходством Соединенных Штатов. Мнением самих поляков, чехов, немцев, словаков, болгар и румын, словенов и хорватов генералиссимус мог пренебречь.

В роли пионера освоения новых земель выступил Лаврентий Берия. Его агенты, прикрываясь дипломатическими масками, уже осенью 1945-го пытались взять под свой контроль государственные и политические органы Чехословакии. Некоторое время спустя сотрудники советского посольства в Праге Тихонов и Хозяинов — так они себя именовали, — действуя через местных гебистов, убеждали главу компартии Сланского в необходимости приглашения советников из Москвы. Сланский противился этому плану сколько мог, но уже в октябре 1949-го в Прагу стали прибывать первые советники — специалисты тайной службы. Официально советников по вопросам экономики и военным делам пригласили в 1951 году. Вскоре число их достигло пятисот. В 1949 году в Будапеште удалось состряпать политическую провокацию против посла Райка. Жертвами сталинского террора стали Кочи Дзодзе в Албании, Костов и Марков в Болгарии. Чудом уцелели Гомулка, Кадар, Гусак. То была политика устрашения, рассчитанная на подавление всякой самостоятельности государств, имевших счастье быть включенными в сталинский лагерь. Признаки покорности проявились незамедлительно. Венгерские товарищи попросили командировать в Будапешт пятнадцать сотрудников органов. Готвальд обратился по телеграфу к Маленкову. Президент Чехословакии просил прислать нескольких специалистов, которые смогли бы содействовать расследованию связей венгерских изменников с враждебными элементами в Праге. Но прибывшие из Москвы советники получили инструкции иных масштабов и целей. Заместитель пачальника следственного отдела по особо важным делам М. Т. Лихачев отлично знал свой маневр. Берия направил его в Прагу в октябре 1949-го вместе с другим опытным функционером Лубянки Макаровым. Для начала они перетрясли почти все отделы органов ГБ. Как оказалось, местные товарищи «действуют по отношению к классовым врагам в шелковых перчатках».

Однако чехословацкие товарищи не спешили хватать-казнить потенциальных врагов. Это вызвало гнев Лихачева: «Сталин послал меня организовать процессы, а не могу терять ирмени,— заявил он Теодору Балажу.— Я сверну вам шею, иначе мне снимут голову».

Голову полковнику Лихачеву снимут с большим опозданием. Его казнят вместе с Абакумовым, Комаровым, Леоновым в 1954 году. А пока он здесь, в Чехословакии, распоряжается жизнью и смертью других. Лихачев потребовал данные о «враждебной деятельности» секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Словакии Коломана Мошковица. Балаж отказал, ссылаясь на их отсутствие. Кроме того, Балаж считал, что, получив такие данные, необходимо проверить, соответствуют ли они действительности. Но Лихачев заявил: «Меня совершенно не интересует, где вы получите эти данные и насколько они достоверны. Я им поверю, а все остальное предоставьте мне. Почему вы так печетесь о каком-то жидовском дерьме?» Перепуганный Балаж возразил, что он должен обсудить этот вопрос с председателем компартии Словакии и заместителем председателя правительства Вилемом Широки. «В этом нет никакой необходимости», — ответил Лихачев. «Но что скажет Широкий?» — спросил Балаж и получил ответ: «А мы и его пинком в задницу».

Бериевские эмиссары наметили главную жертву — министра внутренних дел Вацлава Носека. Его близкого друга, начальника органов ГБ Индржиха Весёлого, они довели до самоубийства. Им не удалось с ходу состряпать столь же громкого процесса, как суд над Райком, но кое-что они сделали. И продемонстрировали чехословацким коллегам новейшую технологию следственно-судебного террора: полную свободу в импровизации на темы заговоров. Практику заготовки протоколов допросов. Систему сочинения сценариев процессов.

В мае 1950-го возникло Министерство национальной безопасности, оно начало функционировать под надзором тридцати посланцев Лубянки. Наш долг — еще раз, вслед за Карелом Капланом, обозначить их имена. Старшим советником был Владимир Боярский, его сменил Алексей Бесчастнов. Заместителями в разные времена работали Смирнов, Галкии, Есиков. После ареста Сланского в Прагу прибыли еще три функционера — Громов, Морозов и Чернов. Кроме них в чехословацкое Министерство внедрилось более тридцати переводчиков. Не обойдем молчанием еще одно имя — Анастаса Микояна, которого Сталин послал в Прагу в 1951 году как своего личного представителя.

Министр Ладислав Копршива вспоминал позднее, что старший советник фактически

определял все важные решения ЦК КПЧ, он был влиятельным наместником Сталина. Президент Готвальд открыто демонстрировал свое почтение и полное послушание. В этой обстановке сколько безвинных политических и общественных деятелей пострадало... Сомнения чешских товарищей старший советник Боярский отметал решительно и цинично: «Лес рубят — щепки летят».

Боярскому карьеры ради нужно было переплести процессы, инспирированные в Венгрии и Болгарии. Вот почему он насаждал повсюду, на всех уровнях власти, осведомителей и провокаторов, выискивающих шпионов и вредителей. В Министерстве национальной безопасности и внутренних дел установились законы джунглей. Советники окружили себя фаворитами и доносчиками, которые оперативно предавали и продавали своих начальников. И друг друга.

То были беспринципные карьеристы с сомнительным, а то и преступным прошлым. Таких-то и рекрутировали посланцы Лаврентия Берия в корпус исполнителей. И в свою постоянную агентурную сеть. А все честные патриоты, истинные интернационалисты — добровольцы гражданской войны в Испании, бойцы сопротивления нацистской оккупации на Западе, герои чехословацкого подполья — стали первыми жертвами доносов и провокаций. Преступную политику массового террора и подчинения руководства Чехословакии кремлевскому диктатору агенты Лубянки осуществляли под демагогический шум борьбы за мир, за победу международного рабочего движения, за укрепление позиций социализма. Незаконные аресты, фальсифицированные процессы советники мотивировали государственной необходимостью, запугивая руководителей опасностью переворота и происками сионистов. Антисемитизм поощрялся и с лютостью насаждался повсюду — в духе кремлевских традиций.

В феврале 1951-го специальная комиссия обвинила в предательстве и арестовала три десятка руководящих работников чехословацкой службы ГБ. Их места заняли ставленники Боярского. Вскоре так называемые советники стали подлинными хозяевами Министерства национальной безопасности. И не только этого ведомства.

Геиервл Свобода на посту министра обороны никак не устраивал Сталина и Берия. Привыкшие к лакейскому подчинению меньших сопрательев, они решили воздержаться от посылки в чехословацкую армию советников до тех пор, пока Готвальд не догадается сместить мужественного генерала, столь популярного в народе. И Готвальд догадался. Новый министр Алексей Чепичка (с апреля 1950 г.) с готовностью принял более 260 советских советников и проявил полную покорность в отношении старшего надзирателя генерал-полковника Гусева. Под его присмотром началась усиленная милитаризация страны. Численность армии увеличилась за три года вдвое, военное обучение было перестроено по советскому образцу, командование подчинили Генеральному штабу, армия приняла советский устав. Особое внимание Москва уделяла военной промышленности, которая стала придатком советской и должна была, в ущерб чехословацкой экономике, занять приоритетные позиции.

Превращение Чехословакии в новый военный округ СССР, в соответствии с милитаристскими планами Сталина, совершилось под бдительным надзором Лубянки. А то, что жизненный уровень насильно военизированного народа резко упал, — это обстоятельство никто из небожителей во внимание не принял.

Военная разведка перешла в ведение Москвы в те же годы. По советскому образцу три четверти должностей в дипломатических представительствах ЧССР заняли разведчики. Их деятельность направлялась советниками Министерства обороны СССР под контролем все того же Берия.

Шло время, а Боярскому все еще не удалось организовать процесса, достойного его высшей миссии. Лишь к лету 1951 года он собрал материал, изобличающий генерального секретаря компартии Рудольфа Сланского в измене. Но тут случилось непредвиденное. Сталину захотелось разыграть роль мудрого и гуманного Отца народов, и он отверг полученные через Готвальда обвинительные материалы против Сланского. Как несостоятельные. А чтобы у соседей не возникло сомнений в искренности его мнения, он решил сместить Боярского, проявившего легкомыслие и поспешность. Более того, на совещании в Кремле 23 июля 1951 г. Сталин рекомендовал «подходить с большей осторожностью к показаниям свидетелей-преступников, ибо они могут оказаться вражеской провокацией». Вершитель Судеб посоветовал также представителям Чехословакии и Болгарии внимательнее контролировать деятельность советников. То была игра, и лучше всех это понимал Лаврентий Берия. Его агенты, не считаясь с официальными директивами Сталина и Готвальда, продолжали собирать компрометирующие Сланского материалы, вымогая испытанными в деле средствами показания у ранее арестованных руководящих сотрудников.

В конце концов столь вождьденный процесс Сланского состоялся и казни «врагов народа» прошли гладко. Новый старший советник Бесчастнов диктовал следователям вопросы для арестованных, держа в руках московские шпаргалки с грифом и печатью МИД СССР. По этой схеме вершили свою преступную политику «советники» в Венгрии, Болгарии, Польше — во всех странах приобретенного Сталиным региона. Кое-где не-

винных жертва подвергали пыткам в подвалах, душили колючей проволокой, в других заведениях ломали кости... Старшие братья охотно делились своим опытом.

Берия на совещании в Кремле 23 июля 1951 г. отсутствовал. Сталин занимался представителями братских стран Червенковым и Чепичкой в присутствии Молотова. Главный исполнитель имперской политики Сталина остался за кулисами.

На июльском 1955 г. заседании ЦК КПСС Никита Хрущев назвал его имя: «Берия и его пособники ослабляли революционные силы, уничтожая кадры нашей партии и других коммунистических партий... направляли одних руководителей на других, вплоть до уничтожения. Так поступали органы нашей разведки не только в Югославии, но и в других странах народной демократии». В этом докладе Хрущев упомянул и об агентурной сети, опутавшей братские социалистические страны. Только вот доклад его не был обнародован, хотя во всех странах прошла посмертная реабилитация бериевских жертв.

Сам Гитлер, будь он жив, не смог бы нанести такой непоправимый ущерб мировой социалистической системе, как это удалось клике Сталина — Берии.

Если судить по массовым арестам, обрушившимся на народ-победитель, то у сталинской диктатуры не было после войны более опасных врагов, чем офицеры и евреи. Первые приобрели на фронте столь нежелательные качества, как мужество и самостоятельность. Вторые — по мнению сталинской верхушки — слишком много мыслят и еще больше говорят. К тому же евреи во все времена годились на роль козла отпущения. Надо было наказать народу виновника послевоенного голода и таким способом снять с себя моральную ответственность за неумелое руководство восстановлением экономики. А ведомство Берии, могло ли оно существовать без внутренних врагов?

Что до офицеров, то их проще всего было демобилизовать: страна остро нуждалась в кадрах. Но фронтовики слишком многое увидели на Западе и на Дальнем Востоке. Берия, проявив необходимую оперативность, договорился с Молотовым и получил для своих лагерей и колоний свежую армию надзирателей, начальников колонн, отделений и отрядов, набранных из офицеров-штрафников. Тысячи других, совершивших тяжкие преступления, пополнили ряды заключенных. Эта операция заняла первые три послевоенных года. Но основная масса новых поступлений состояла из рядовых граждан. Распустились все после победы. Колхозы, видите ли, им не нравятся. Свои товары кажутся им скверными, города — какими-то не такими. Сама жизнь под солнцем сталинской Конституции стала тусклой...

С такой нагрузкой Органы не работали уже лет десять. Результаты росли быстро, и вскоре население заповолочного царства достигло предельного пика — 16 миллионов «врагов народа».

Они свершили великий подвиг — изгнали интервентов, трудились в тылу, не смыкая глаз, недоедая. И гибли, гибли миллионами. Всякое доброе дело паказуемо — таков неписаный закон сталинской эпохи. И вновь за ошибки преступного руководства расплачивался великий народ, народ-страдалец.

В одном только Запорожье предстояло восстановить огромные комбинаты «Запорожсталь» и алюминиевый, да электротрансформаторный завод. Обширные зоны, по три тысячи заключенных в каждой, дырявые бараки, сырые землянки, 400 граммов черного хлеба, пустая баланда, надрывный ручной труд... И так — от Днестра до самого Урала.

Воспоминания Е. Калининского содержат интересные эпизоды послевоенного бытия Лубянки. Четко, реалистично выписаны портреты исполнителей террора, выявлен характер самого Берия.

Семен Китаинов начал свою службу в органах до войны. Веселый, жизнерадостный толстяк, он был в любой компании душой общества, но это не мешало ему отлично нести свои служебные обязанности: обыскивать, арестовывать, допрашивать... Они вообще отличались большим жизнелюбием, функционеры смерти, любили красивых женщин, изысканный стол.

Когда арестовали отца-еврея, Китаинов обратился, естественно, к Берии. Он написал, что как коммунист и сотрудник КГБ он обязан просить отставки. Сын врага народа не может служить в славных рядах и т. д. Лаврентий Павлович удостоил его личной аудиенции. Шеф начал с цитаты из Сталина: «Сын за отца не отвечает» и пристыдил заслуженного чекиста. И высказал искреннее огорчение по поводу того, что заслуженный чекист готов покинуть свой пост из-за такой малости, как арест отца: «Мы вам доверяем. И в доказательство нашего доверия я распорядился перевести вас на еще более ответственную работу». Семен Китаинов возглавил одну из оперативных групп захвата врагов. Аресты обреченных он производил (тоже ведь производство!) со вкусом. На этой службе алаторбечен и садизм проявляются рано.

Перед выездом на операцию Китаинову вручали пакет с предписанием — вскрыть на Смоленской площади. В одном из таких пакетов оказался ордер на арест самого близкого,

со школьной скамьи любимого друга. Арест прошел гладко. Семен Китаинов выдержал и это испытание, ниспосланное ему товарищем Лаврентием. Эта смертельная игра завершилась странно и неожиданно. На другой день Китаинова известили об увольнении из органов — согласно его заявлению. Не арестовали, дали теплое полуответственное место на одном столичном предприятии.

А вот другая судьба. Григорий Блаунштейн преподавал в Военно-медицинской академии в Ленинграде. Однажды, вскоре после войны, Сталин созвал совещание, на котором речь зашла о военно-морской заполярной базе в Кандалакше. Во время войны там находились наши союзники, им стало всё известно, поэтому надо срочно реконструировать базу. Хозяин заинтересовался, во сколько это обойдется. Ему назвали очень значительную сумму. «Найти виновных и наказать!»

Нашли виновных — двух генералов и Блаунштейна. Григорий Соломонович в годы войны принимал санитарные поезда, медикаменты, оборудование, инструменты и судогоспитали, которые поступали в Союз по ленд-лизу. Он свободно владел немецким, французским, английским, общался с американским послом. После войны он не раз сопровождал Гарримана в театры и в синагогу. Получив по решению Особого совещания свои 20 лет, Блаунштейн попал на дальний этап. В конце 1946 г. он очутился за Воркутой, на шахте № 40. Взяли его врачом в медпункт. Словом, повезло человеку.

В зоне Блаунштейн носил свой форменный китель с золотыми пуговицами. Охрана сквозь пальцы смотрела на причуды врача. Но однажды начальник Воркутинского ИТЛ генерал Деревянко, обходя свои владения, заметил Блаунштейна: «А это что за еврейская морда в мундире? Срезать пуговицы! В карцер мерзавца!» Генерал грубо толкнул его и проследовал дальше.

Три дня провел Григорий Соломонович в карцере, стоя в ледяной воде, разутый, раздетый. И если бы не жалостливые надзиратели, которые позволяли ему ночью отогреться у печи, — как не пострадать врачу? — если бы не их попустительство, не дожидать бы ему до пятидесяти пятого светлого года. Деревянко не оставлял его своим вниманием, отправил на штрафную колонию, в знаменитый известковый карьер. Там блатные выбили Блаунштейну все зубы: им понадобились золотые коронки.

Реабилитировали Блаунштейна после XX съезда партии, в которой он имел честь состоять. Последние годы он жил в родном Ленинграде, на Петроградской стороне, старый, разбитый...

* * *

В кампанию борьбы с космополитизмом каждая неосторожная ссылка на труды иноземного ученого, малейшее проявление интереса к творчеству западного писателя или художника приравнивались к государственной измене. Этот поздний шабаш ведьм на кремлевском холме означал не что иное, как избивание интеллигенции, все то же избивание обескровленной частыми погромами советской интеллигенции.

16 июля 1936, в первый же день фашистского мятежа, будущий генералиссимус Франко бросил клич — «Смерть интеллигенции!»

Генералиссимус Сталин начал уничтожение своей интеллигенции гораздо раньше. К новому погрому подал сигнал Жданов, шельмуя Анну Ахматову и Михаила Зощенко по указке Вожда, претенциозно называвшего себя «русским интеллигентом». И ведь что примечательно — Жданов и Берия, непримиримые конкуренты, свирепо дерущиеся у главного корыта, набросились с равным рвением на «безродных космополитов»...

Вновь на полных оборотах заработала лубянская мясорубка. И потянулись длинные зшелоны со свежими «врагами народа» на север, на восток — в лагеря, лагеря, лагеря. В истребительные лагеря.

Погром интеллигенции, начатый в первые же годы революции, унес почти всю мыслящую часть общества. Теперь пришла очередь этого самого «почти». Выискивали, вынюхивали всех интеллигентов, кто когда-нибудь, пусть даже в двадцатые годы, имел неосторожность попасть на заметку охранительным органам. В институтах, министерствах, учреждениях культуры их вылавливали сотнями. Многим предлагали пополнить мощный корпус доносчиков («Предлагаем вам сотрудничать с Органами... Вы же в душе настоящий патриот...») Несогласных отправляли в лагеря — на 10 лет. Меньше не давали.

Член Академии медицинских наук профессор Василий Васильевич Парин возглавлял Институт медико-биологических проблем и по совместительству работал заместителем министра здравоохранения. Сотрудники института, супруги Роскина и Клюев, разработали методику лечения раковой опухоли у мышей и в 1948 году передали через Парина свою статью американским коллегам для консультации. Этот столь естественный для нормального общества поступок был квалифицирован тогда как контрреволюционная акция. В институте устроили суд чести, Клюева принудили каяться, но его супруга проявила мужество и не встала на колени. Ее не поколебал даже арест профессора Парина.

Группа ученых пыталась вступить за директора института перед почетным академи-

ком Вячеславом Молотовым. Однако Сталин не внял просьбе мастиного партфункционера: «Не знаю, как вы, а я Парину не доверяю», — изрек генсек. Судьба ученого была решена. Следствие установило, что Парин продался заморским империалистам. За статью о результатах опытов над мышами он получил две самопишущие ручки и две пары чулок для супруги.

Черную роль доносчика сыграл в этой истории Николай Иванович Мигаль, начальник внутренней охраны института. Когда подошла его очередь, Мигаль тоже упрятали в лагерь. На Дальнем Севере провокатора устроили заместителем начальника лагпункта.

В 1954 г. Парин вернулся в Москву, вновь возглавил свой институт, позднее стал академиком АН СССР. Вскоре же всплыл Мигаль. Повел он себя естественно, в духе времени — пришел к Парину просить квартиру: «Вы же знаете, в каких условиях мы жили на Севере». Парин, человек воспитанный, на этот раз не сдержался: «Вой из кабинета!»

* * *

Свое пятидесятилетие Берия встретил на вершине политической карьеры. Он стал членом бессмертного Политбюро, ближайшим соратником Вожда. От главного конкурента, Андрея Жданова, остался лишь след в Кремлевской стене. Остальные подручные слабы духом и разобщены. В день рождения, 29 марта 1949 года, Николай Михайлович Шверник вручил заместителю Председателя Совета Министров Берии орден Ленина — принимая во внимание его выдающиеся заслуги перед Коммунистической партией и советским народом. Газеты поместили большой портрет юбиляра. Лоб мыслителя, ясность во взоре, которую не могут притушить стекла пенсне. Мягкие полнокровные губы, четко очерченный подбородок, строгий костюм с черным галстуком — таков скромный облик государственного мужа.

«Товарищу Берия Лаврентию Павловичу.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) и Совет Министров СССР горячо приветствуют Вас, верного ученика Ленина, соратника товарища Сталина, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, в день Вашего пятидесятилетия.

Вся Ваша сознательная жизнь посвящена революционной борьбе за дело рабочего класса, за победу коммунизма.

Верный сын советского народа, Вы всей своей жизнью и деятельностью показываете вдохновляющий пример служения его интересам, с честью выполняя задачи, которые ставила перед Вами Коммунистическая партия. В годы Великой Отечественной войны Вы выполняли ответственные поручения партии, как по руководству социалистическим хозяйством, так и на фронте, и, с присущей Вам кинучей большевистской энергией и мужеством, ковали победу над врагом.

Желаем Вам, наш боевой друг и товарищ, наш дорогой Лаврентий Павлович, многих лет здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо нашей великой социалистической Родины, на благо советского народа.

Центральный Комитет
ВКП(б)

Совет Министров
СССР.

* * *

Приветствие и портрет юбиляра опубликованы на первой странице «Известий», а на второй — фотография Максима Горького. Еще раз, теперь в день юбилейный, прикрыл великий пролетарский писатель выдающегося палача. Собой прикрыл, как он это делал при жизни, во времена Генриха Ягоды. Портрет Горького сопровождает статья «Слава и гордость советской литературы» — к 81-й годовщине со дня рождения Максима Горького. Автор юбилейной статьи В. Куриленков цитирует к случаю отзыв о творчестве Горького такого именитого литературоведа, как Вячеслав Михайлович Молотов, умножает славу еще одного палача сталинской выучки.

И вновь, как в памятные тридцатые годы, имя Горького пристегнули к колеснице террора — против индивидуализма, формализма и прочей тлетворности. Горький призвал писателей служить сталинской партии. Берия начал служить Сталину задолго до призыва Максима Горького. Вечная тема: писатель и палач.

Юбилей Берии был шумно отмечен всей страной. Поздравления любимцу партии и народа стекались в Москву из Закавказья, Северного Кавказа, с Украины и Дальнего Востока. На родине Берии, в селе Мерхеули, побывали корреспонденты «Зари Востока» и «Советской Абхазии». Но, странное дело, ни один земляк соратника Сталина не сообщил журналистам никаких подробностей из жизни Лаврентия Берии. Помянули недобрым словом царизм, поговорили о значительных переменах в жизни села, показали школу, осеившую именем юбиляра, и монумент дорогого Лаврентия Павловича.

Газета «Советская Абхазия» опубликовала 29 марта песню Кизима Агумаа о родном человеке с «глубоким и бесстрашим разумом».

...О Берии поют сады и нивы,
Он защитил от смерти край родной,
Чтоб голос песни, звонкий и счастливый,
Всегда звучал над солнечной страной.

Грузинский филиал Института Маркса — Энгельса — Ленина отметил дату рождения Берии научной конференцией по его книге «К вопросу об истории...». Не остались в долгу живописцы. Народный художник СССР Джапаридзе создал монументальное полотно «Сталин, Молотов, Берия, Микоян на Черноморском побережье». Другой лауреат Сталинской премии Налбандян написал картину «Для счастья народа»: члены Политбюро — в их числе Берия — задумались над тем, как сделать народ еще счастливее. Живописцы, графики, скульпторы тиражируют портреты Берии и после юбилейного года. А Лаврентий Павлович, дабы не возбуждать недовольства Хозяина, уже в 1950 году выпускает сборник «Великий вдохновитель и организатор побед коммунизма».

В 1982 году в Нью-Йорке вышла в свет книга воспоминаний Аришта (Эриеста) Кольмана «Мы не должны были так жить» — три года спустя после кончины ее автора. Его биография весьма поучительна, в ней отразились важные и трагические события. Кольман попал в Россию впервые в 1916 году как военнопленный и тогда же вступил в большевистскую партию. В 20-е годы возглавлял издательство «Московский рабочий», занимал ряд других руководящих постов. После второй мировой войны работал в Праге. Чистка 1948 года не миновала заслуженного коммуниста, агенты Берии доставили его на Лубянку вместе с другими критически мыслящими. Дадим слово Кольману, жертве и свидетелю нового злодейства:

«Когда Путинцев после очередной паузы вызвал меня снова на допрос, он ошеломил меня совершенно неожиданным маневром. Не говоря ни слова, положил передо мной отпечатанный на машинке «протокол» моих «показаний». А потом сказал: «Прочтите и подпишите!»... всего одна страница... Фантастический бред: я уличал Молотова в заговоре против Сталина».

Кольман возмущался, но следователь был спокоен: «Нам про Молотова давно все известно, он сам уже во всем сознался, вам нужно только подтвердить... Поставив свою подпись, вы помогаете партии и этим докажете, что вы в самом деле настоящий коммунист, как утверждаете. И тогда, возможно, вам простят ваши преступления. А если откажетесь... тогда пеняйте на себя. Мы раздавим вас, как Бог черепаху, сгноим вас и все ваше отродье».

На следующих допросах следователь предлагал подписать материалы, изобличающие в контрреволюционной деятельности Кагановича, Ворошилова и других членов Политбюро, а также — В. Пика, О. Куусинена, К. Готвальда, Ж. Дюкло, П. Тольятти... Потом пошли известные ученые — С. Вавилов, И. Капица, А. Иоффе и даже всепокорнейшие М. Митин и П. Юдин — псевдофилософы, милостью генсека возведенные в академики.

Итак, заготовка материалов впрок, досье на всех вождей, больших и малых. Можно думать, что Сталин дал своему фавориту широкие полномочия. Впрочем, Берия послевоенной поры мог позволить себе и некоторую самостоятельность.

Понуждая Кольмана подписать состряпанные на лубянской кухне материалы, следователь прибежал к шантажу. Оказывается, за преданным партии Ленину — Сталина работником была установлена постоянная слежка еще в тридцатые годы. Вся переписка, все разговоры — частные и служебные — попадали на невидимое лубянское сито. Армия специальных осведомителей следила за политической нравственностью на всех этажах власти. Система...

А Кольман — ему суждена была долгая жизнь. Его выпустили на свободу в марте 1952, и он работал в научных учреждениях в Москве и в Праге. В 1968-м Кольман выступил против ввода советских войск в Чехословакию. Через восемь лет, с трудом получив разрешение на выезд к дочери в Швецию, он остался там как политический эмигрант. Затем коммунист с шестидесятилетним стажем известил Леонида Брежнева о своем выходе из партии.

Всякий клан предполагает наличие родственных связей. Их не было ни в лагере Берии — Маленкова, ни в группе Жданова. Каждый клан действовал на здоровой основе бандитского братства, когда сообщников объединяет единая цель и общая опасность гибели от руки конкурента.

В 1934—1939 годах, когда Сталин перебил почти все старые партийные кадры, Маленков возглавлял отдел кадров ЦК. В шайке сталинских головорезов он был одним из самых заслуженных. Маленков такой же палач, как Георгий Ягода, Николай Ежов, Матвей

Шкирятов, Лаврентий Берия. Вглядываясь в зигзаги его политической карьеры, будем помнить об этом основном его качестве. Партийный функционер и уголовник — таков портрет Маленкова. Столь гармонично развитые личности могли сложиться лишь в сталинском ЦК.

Соперничество Маленкова и Жданова у кресла Предводителя — разве не соперничество двух уголовников? «Дружба» Маленкова с Берией — разве не наиве кровавых преступлений возросла?

В феврале 1946 г. новый член Политбюро Маленков возглавил секретариат ЦК. Свою карьеру он начинал в личной канцелярии генсека, там подиаторел в искусстве партийной интриги. Теперь, став фактически вторым после генсека человеком в аппарате ЦК, Маленков мог смело тягаться со Ждановым. Хотя тот опирался на верных и сильных помощников, но они все вместе не стоили одного Лаврентия Берии. И все же Жданов принял бой. Опытный партфункционер, он начал плести сети против Маленкова почти сразу же по окончании Отечественной войны. Характер Вождя он успел изучить досконально, знал, как и когда подавать ему компрометирующие Маленкова материалы.

Уловив неприязнь Сталина к маршалу Жукову, которому молва приписывала главную заслугу в победе над гитлеровской Германией, Жданов при случае напомнил Хозяину, что не кто иной, как Маленков, выдвигал этого полководца на первый план. Жданов пустил по свету анекдот о смешном суеверии маршала. Анекдот дошел до ушей генералиссимуса, и, как вспоминал Хрущев, Сталин после войны «начал говорить всякую чепуху о Жукове: „Вы хвалили Жукова, а он этого не заслуживает. Говорят, что перед каждой операцией Жуков брал в руку землю, нюхал ее и говорил: „Мы не можем начинать наступление“. Или же наоборот...“».

И еще одна ждановская провокация. В решении пленума ЦК снятие Жукова с поста заместителя Сталина мотивировано тем, что маршал якобы игнорировал партийное руководство армией и, в частности, роль политуправления. Это обвинение было сформулировано Ждановым, который сумел, преодолевая сопротивление Жукова, поставить во главе политуправления Министерства своего человека, генерала Иосифа Шикина. Бывший помощник Жданова организовал кампанию избения отличившихся на войне командиров и комиссаров. Так Жданов еще раз потрогал Хозяину, которому эта пресная жизнь без репрессий-расстрелов становилась уже в тягость...

Здесь сошлись — бывает и такое — также интересы враждующих сторон: Жданова и Берии. Помощники Лаврентия Павловича охотно выполнили новую истребительную директиву.

Жданов никак не хотел расставаться с положением кронпринца, поэтому, составляя план устранения Маленкова, он усиленно раздувал все его промахи — действительные и мнимые. Будучи главой Комитета по восстановлению освобожденных территорий, Маленков, видите ли, поощрял индивидуальное строительство жилых домов. Во внешней политике он не препятствовал союзу коммунистов с националистами в странах Восточной Европы. Жданов пустил в дело показания разведчика Гузенко, перешедшего на Запад. Тот объявил на весь мир, что советский план проникновения в атомные тайны США курирует не кто иной, как секретарь ЦК Маленков.

Осада крепости кончилась победой Жданова еще до истечения сорок шестого года: Сталин отправил Маленкова в Среднюю Азию. Вместе с ним горечь поражения испытали все члены некогда могущественного клана. Овладев секретариатом ЦК, Жданов сместил всех сторонников Маленкова — в Москве и на местах. И вот тут он совершил роковую ошибку. Полагая, что позиции Берии после остракизма Егора (как товарищ Лаврентий называл Георгия Маленкова) подорваны, Жданов поручает своему верному помощнику А. Кузнецову, в ранге секретаря ЦК, курировать Органы государственной безопасности и Вооруженные Силы страны. Началась очередная чистка МВД — впервые без участия Берии. Люди из клана Жданова заняли ключевые посты — Н. Вознесенский стал первым заместителем Председателя Совета Министров СССР, М. И. Родионов — Председателем Совмина РСФСР.

Все это происходило не только с ведома Сталина, но по прямому его наущению. Поддерживая иные ждановцев, кремлевский охотник бил сразу по двум зайцам — по группе старых членов Политбюро и по Берии. В роли загонщика генсек использовал самого Жданова. Только век ему выпал короткий. 31 августа 1948-го Жданов скоропостижно скончался. Не будем удивляться, если когда-нибудь истории станет известно, что и к этому акту Берия руку приложил.

Маленков пробыл в изгнании всего два года и был восстановлен на посту первого секретаря. Началась чистка партийного аппарата. Для Маленкова и Берии давно уже не существовало разницы между такими понятиями, как «чистка», «устранение» и убийство. Уничтожению подлежали все члены ждановского клана — в Москве, Ленинграде, на местах.

Через восемь лет Хрущев вспоминал: «Повышение Вознесенского и Кузнецова встревожило Берию... Именно Берия предложил Сталину, что он, Берия, со своими сообщниками сфабрикует против материалы в форме заявлений и анонимных писем».

21 июля 1949 года министр государственной безопасности Абакумов доложил Сталину о том, что первый секретарь Ленинградского горкома партии Капустин разоблачен как английский шпион.

23 июля Капустина арестовали. 30 июля Капустин признался в шпионской деятельности. 1 августа прокурор подписал ордер на его арест.

Из показаний бывшего следователя Сорокина: «Мне было тогда же передано указание Абакумова — не возвращаться в Министерство без показаний Капустина о шпионаже. Я с ним долго мучился. Только 4 августа Капустин подписал протокол и назвал соучастников контрреволюционной дельности: Кузнецова, Попкова, Вознесенского и других».

Из показаний бывшего второго секретаря Ленинградского горкома Турко: «Следователь Путинцев в Лефортовской тюрьме бил меня по голове, по лицу, бил ногами. Однажды он меня так избил, что пошла из уха кровь. После таких избиений следователь отправил меня в карцер. Он угрожал уничтожить мою жену и детей, а меня осудить на двадцать лет, если я не признаюсь. Он заявил мне, что следствие — это голос Центрального Комитета партии и что, ведя борьбу со следствием, я веду борьбу с ЦК. Путинцев понуждал меня подписать готовый протокол допроса, но я сказал, что тут — одна ложь и, к тому же, возведена клевета на товарища ЖДАНОВА. Путинцев заявил, что они ведут следствие, не взирая на лица. Я отказался подписать этот протокол, тогда Путинцев меня избил и бросил в карцер».

Эти скупые свидетельства заставляют многое вспомнить, о многом подумать. Двенадцать лет отделяют год сорок девятый от тридцать седьмого. Отгремели очередные пятилетки, прошла война с гитлеровской Германией. Десятки миллионов смертей, рапы, голод, разруха — неимоверные страдания очистили душу народа, оскверненную сталинщиной. Но Отец Родной не отпустил мертвой хватки. Ничего не изменилось в карательной ивуке, в следственной практике. «Голос ЦК...» — это самое говорили заплечных дел мастера ежовского призыва Рыкову и Бухарину, Тухачевскому и Орахелашвили. И все дело ленинградской группы, состряпанное Абакумовым, — точный слепок с дел тридцатых годов. Тогда Абакумов был рядовым сотрудником Лубянки. Посредственность, вознесенная по прихоти Хозяина на высокий пост, он исполнял теперь лишь веления генсека. И Берия.

Лаврентий Берия как член Политбюро курировал органы кары и сыска и, изучив до тонкости вкусы Вождя, наловчился подталкивать ход мыслей Сталина в нужном направлении, провоцировать его на выгодные лично ему, Берии, решения. В этой крупной политической игре Абакумов выше роли статиста не поднимался. А ведь Сталин полагал, что сам, как в былые времена, руководит очередной резней. Ныне — с помощью Абакумова. Но Вождь самообольщался. «Абакумов — человек Берии... Директивы давал Лаврентий Берия», — свидетельствует Никита Хрущев.

Докладывая Сталину о «своих» планах и о ходе следствия, Абакумов на Берию не ссылаясь — на это у него профессиональной сообразительности хватало.

Берия не устал чернить усоншего крокодила и его окружение. Злокозненные интриги Берии и Маленкова против Жданова, затеянные ими еще до начала войны, не прекращались вот уже десять лет. Теперь они взялись за ставленников Жданова — Кузнецова, Косыгина, Вознесенского. Одним из первых пострадал главный редактор журнала «Большевик» Федосеев.

Втайне вершилась и перегруппировка сил в центральном аппарате. Заместитель Председателя Совета Министров Алексей Косыгин оказался дальновидней других и, почуввав неладное, тотчас покинул клан ждановцев и стал служить новым фаворитам. К ним переметнулся и Михаил Суслов. Представители старшего поколения вождей Молотов, Каганович, Микоян, Ворошилов уже были отодвинуты на второй план. Они будто бы отступили от генеральной линии ленинско-сталинской партии. Вождь нуждался в действенной помощи энергичных, искренне преданных товарищей. Секретарь ЦК Суслов взялся обеспечить идеологический камуфляж кампании, предпринятой Берией и Маленковым против старых членов Политбюро. Но неутомимые заговорщики спешили обезвредить и молодых соперников, прежде всего — Вознесенского.

Это был, пожалуй, единственный человек, осмелившийся спорить с Берией. Вознесенский, возглавив Госплан, пытался внести в распределение экономических ресурсов рациональное начало, он смело давал отпор сановным конъюнктурщикам. В подчинении Берии находилось по крайней мере четыре министерства, и он по привычке требовал перераспределения средств на потребу своей вотчине. Именно в это время Сталин доверил Вознесенскому председательское кресло на заседаниях Совета Министров. Опасный симптом.

Добившись от арестованных ленинградцев разоблачения Вознесенского как вражеского агента, Берия, поддержанный Маленковым, сумел убедить Хозяина в неблагонадежности вчерашнего фаворита. Постановление ЦК о редакции журнала «Большевик», среди прочего, осуждает заведующего агитпропом Шепилова за восхваление книги Вознесенского «Военная экономика СССР в период Великой Отечественной войны». Хвалить там действительно нечего, но этот опус графоманствующего партфункционера был удостоен Сталинской премии.

Прошло несколько дней, и ретивые царедворцы добились от Сталина смещения Вознесенского со всех высоких постов. Арестовать его Берия еще не мог. Пока Вознесенского «отложили на лед» (выражение Хрущева) — так у них называлась игра в «кошки-мышки». Вознесенский продолжал обедать вместе со Сталиным на его квартире, но «это был уже другой человек. От его ясного ума, уверенности не осталось ничего».

Сталин спрашивал Маленкова и Берию: «Почему бы не дать Вознесенскому какую-нибудь работу? Пока мы решаем, что с ним делать, он мог бы возглавить правление Госбанка...» — «Да, да, мы это обдумаем», — отвечали в один голос приятели. И ничего не делали для трудоустройства Вознесенского.

А Сталин в свои семьдесят лет был уже не тот. Наскучили ему кровавые игрища, притупился вкус к политическим провокациям, да и воля стальная, будто разъеденная бериевскими интригами, стала изменять ему. Лишь страсть к театральным эффектам, коварным мизансценам сохранил стареющий тиран.

...Вознесенского взяли почью, когда он вернулся домой, окрыленный лаской и вниманием, которыми Хозяин неожиданно удостоил его за поздним товарищеским ужином.

Допрашивали Вознесенского там же, где и ленинградских вождей Кузнецова, Капустина, Родионова, — в Москве, на «Матросской тишине». Там находилась специальная тюрьма председателя КПК Матвея Шкирятова. По части злодеяний, свершенных во имя и во славу Сталина, он мог бы поспорить и с Ягодой, и с Ежовым, и с Берией. Но в Кремлевской стене, там, где замурованы урны с прахом великих деятелей, красуется только его имя. Несправедливо.

Итак, следствие в шкирятовской кутузке шло своим чередом. Потом состоялось обычное заседание Политбюро, генсек первым подписал текст приговора по «Ленинградскому делу», к которому пристегнули и Вознесенского. Бумага пошла по кругу — малые вожди, как обычно, подписали не глядя...

А началось все с не столь уж опасного для жизни постановления Политбюро ЦК от 15 февраля 1949 года «Об антипартийных действиях членов ЦК ВКП(б) тов. Кузнецова А. А. и кандидатов в члены ЦК т.т. Родионова М. И. и Попкова П. С.». Им инкриминировали устройство в Ленинграде междугородной ярмарки, что нанесло якобы огромный экономический ущерб государству. С высоты 90-х годов — бредовое обвинение. Но тогда любой шаг правителей воспринимался как шаг директивный...

Как водится, коммунисты Ленинграда единодушно и с огромным удовлетворением одобрили это постановление и тотчас с энтузиазмом принялись исправлять, укреплять и, естественно, разоблачать. Дело привычное. Вся работа — партийная, советская, хозяйственная — оказалась оскверненной неумелым руководством. На идеологическом фронте — форменная контрреволюция. Как внезапно обнаружилось, издательства выпускали произведения халтурные и безыдейные, газеты прославляли тех самых руководителей, которые зарвались, оторвались, но просчитались. Библиотеки оказались забытыми троцкистской литературой. Пришлось — понимаете, пришлось! — снимать почти всех ответственных работников научных, культурных и прочих идеологического разряда учреждений и заменять их выдвиженцами. Из Москвы прислали на подмогу сильный десант бодрых и непреклонных выпускников Академии общественных наук при ЦК партии.

Колесо перемен завертелось, набирая скорость. Поначалу никто не знал, что Кузнецов, Попков, Капустин, Родионов и близкий соратник генсека Вознесенский являются врагами народа. В постановлении ЦК говорилось об ошибках, нарушениях государственной дисциплины. Центральный Комитет решил снять товарищей, наложить на них партийные взыскания — и только. А за официальными кулисами творилось что-то страшное. На старые слухи наплывали новые, догадки сталкивались с предположениями. Все твердо усвоили лишь одно: за чрезмерную бдительность еще никто не пострадал и за жестокость к ближним — тоже. Словом, лучше «пере...», чем «недо...». Город зажил фантастической жизнью. (Подробности, детали всплыли лишь пять лет спустя, когда уже не было в живых ни Сталина, ни Берии. Два дня, 6 и 7 мая 1954 года, в Ленинграде заседал областной партийный актив. На нем предали гласности — нет, не то, какая ж это гласность? — открыли в узком кругу партфункционеров осьмушку правды.)

Так думал направленный Сталиным в город на Неве в феврале сорок девятого новый секретарь Ленинградского горкома и обкома Василий Андрианов. И действовал соответственно. Начал он с тщательного изучения протоколов всякого рода заседаний, собраний, конференций, выискивая антипартийный криминал. Андрианов знал, кому это может понадобиться, и, уловив момент, послал поздравительную телеграмму Лаврентию Берии. Опираясь на своих сугубо доверенных сотрудников, Андрианов той же весной начал «чистить» партийный аппарат. С прибытием в июне подкрепления из Москвы и других городов России замена старых кадров превратилась в настоящий погром: снимали с постов, исключали из партии десятками, сотнями партийных, советских, профсоюзных и комсомольских работников. При этом Андрианов несколько раз просил ЦК и лично Маленкова санкционировать расширение аппарата партколлегии, а потом вовсе упростили процедуру исключения из партии, поощряя анонимные заявления-доносы.

Редкое даже для того времени служебное рвение Андрианов проявил и на суде. Он

сидел в первом ряду и с деланным удивлением комментировал «чистосердечные признания» бывших руководителей.

Фрол Козлов, недавно назначенный вторым секретарем горкома, в дни, предшествовавшие массовой резне, посетил управление милиции и увидел в клубе плакат, рекламирующий книгу Вознесенского «Послевоенная экономика Советского Союза»: «Кто здесь секретарь парторганизации?! Шевченко? Вы что, пропагандируете книгу врага народа? Садись в машину!» — и увез злополучного секретаря в никуда.

Позднее, в 1954 году, Руденко с привычно наигранным возмущением заявит, что Центральный Комитет не поручал органам госбезопасности заводить дело на смещенных ленинградских руководителей. Достаточно затасканный иезуитский прием из арсенала его предшественника на посту генерального прокурора Вышинского.

Из показаний бывшего следователя Сорокина: «Мы содержали арестованных ленинградских руководителей изолированно друг от друга и требовали от них признаний, ссылаясь на показания их же товарищей. Они упорствовали. Тогда пришлось применить жестокие методы воздействия — Абакумов требовал протоколы допросов чуть ли не каждый день, он приказал уже в июле добиться результатов любой ценой».

Вот так. Никто не поручал, никто не сообщал об арестах, а бериевские костоломы уже выбивают нужные показания.

Из показаний бывшего подследственного Штейнберга: «В ночь со 2 на 3 августа я был арестован и доставлен в Лефортовскую тюрьму. Сразу же вызвали на допрос к Рассыпину, а затем перевели в кабинет к Комарову. Он потребовал, чтобы я признался во враждебной деятельности. Я отказался. Так как я и на следующих допросах отказался подписать ложные показания, меня на одном из последних допросов избили. Комаров заставил меня встать, ударил два раза по лицу, выбил два зуба, затем они вместе с Рассыпиным потащили меня к креслу и избили резиновой дубинкой. На следующем допросе Комаров сказал: „Так, теперь перейдем на пятки“. Меня уложили на пол, сняли полуботинки и били той же дубинкой по подошвам и пяткам. Всего таких сеансов было семь. Причем вызывали на допрос днем и ночью — с 12 часов до 4, а чаще — до 5 часов утра. Спать не давали. После седьмого допроса я не выдержал и сказал, что согласен дать показания».

Чего же так настойчиво добивались от Штейнберга?

Как позднее рассказал Микояну Руденко, «им», то есть Абакумову (читай — Лаврентию Берия), нужны были показания против Жданова, а заодно — против Молотова.

Достаточно только прикоснуться к пресловутому «Ленинградскому делу» — даже не вникать, не изучать материалы, — чтобы сразу рассеялись иллюзии, связанные со смягчением сталинской политики террора. Нет, что Ежов, что Берия — «хрен редьки не слаще».

Из показаний бывшего подследственного Турко: «Часто заходил во время допросов подполковник Рюмин. Он требовал признаний и говорил, что меня надо убить за то, что я отрицаю свою вину. „Мы бьем и этого ни от кого не скрываем“».

Как сообщил Руденко на собрании актива 6 мая 1954 года, Турко с 26 августа по 29 октября 1949 вызывали на допрос 49 раз и — всё ночью. Днем спать, как водится, не давали. Следователь Путинцев показал, что действовал по прямому указанию Абакумова. Комаров, особо доверенное лицо Абакумова, бил всех подследственных.

«Где же был прокурорский надзор?» — этот риторический вопрос задал на собрании партактива сам Руденко, новый генеральный прокурор. И никто не почувствовал пронзительного юмора ситуации. Не та аудитория...

Но Руденко уже понесло. Признав, что этого самого надзора по существу не было, он обвинил руководителей Прокуратуры СССР в... отсутствии мужества. Они, видите ли, не осмелились со всей остротой и партийной принципиальностью поставить перед Центральным Комитетом и правительством этот вопрос. Руденко признал, что за все время существования Прокуратуры СССР ни разу не проверялись внутренняя и Лефортовская тюрьмы МГБ. Он назвал причину: Берия, Меркулов, Абакумов запретили пускать туда прокуроров по надзору. Когда недавно, весной 1954 года, представитель прокурорского надзора проверял эти тюрьмы — впервые за много лет! — он зашел в камеру, где содержался Абакумов. «Нет ли у вас каких-либо жалоб на тюремный режим и условия содержания?» — спросил прокурор у арестованного. «Я никогда не поверю тому, что прокурор может посетить тюрьму для проверки». — «Пожалуйста, ознакомьтесь с моим удостоверением», — предложил прокурор. «Любое удостоверение можно изготовить...»

Пытаясь удовлетворить общественное мнение (общество было представлено тысячами партаппаратчиков, обществу совсем не обязательно знать, куда и почему исчезают миллионы его граждан и кто в этом виновен), Руденко сообщил о снятии с поста бывшего генерального прокурора Сафонова. И об упразднении Особого совещания при МВД.

Руденко: «Строго установлено, что уголовное наказание может быть назначено только по приговору народного суда и только за совершенные преступления».

Хрущев: «Главное для них было — решать без следствия».

Руденко: «Совершенно верно».

Хрущев: «После смерти Сталина Берия хотел сохранить это».

...Никита Сергеевич не в состоянии облечь свою мысль в ясную форму. Он, конечно, имел в виду не упразднение процесса следствия при Берии, а применение незаконных

средств, пыток, а также фальсификацию показаний — как в добрые сталинские времена.

А следствие по «Ленинградскому делу» и подготовка спектакля, то бишь суда, близилась к концу.

Закржевская, заведующая отделом партийных, комсомольских и профсоюзных органов обкома, ждала ребенка. Ее арестовали и мучили непрерывными починными допросами, пока не случился выкидыш. Не выдержав пыток, Закржевская подписала все... Следователь Комаров, только что произведенный Берией в полковники, получил данные, полностью изобличающие руководителей Ленинграда в антисоветском заговоре. Перед началом судебного процесса Комаров вел *специальную* подготовку. Устраивались репетиции, заучивались наизусть показания. В ходе процесса Комаров, Путинцев и Носов (еще один следователь МГБ) еще и еще раз наставляли обвиняемых Турко, Закржевскую и Михеева. И *предупреждали*.

Из показаний Турко (1954): «Меня предупредили: суд идет и пройдет, а вы останетесь у нас».

Выездная сессия Верховного суда СССР рассматривала дело группы заговорщиков и изменников Родины в Ленинграде. Все обвиняемые — и главари, и рядовые члены банды (чего уж там стесняться) — признали себя виновными и были приговорены к смертной казни. Едва затихло эхо последнего слова приговора, как рослые охранники набросили на мертвых белые саваны, взвалили себе на плечи и понесли через весь зал.

Эффектный для спектакля в духе мрачного средневекового финал.

...В 1955 году в Ленинградском Доме офицеров судили Абакумова.

Руденко: «Зачем вы это тогда сделали?»

Абакумов: «Для психологического воздействия на присутствующих. Все должны были видеть наше могущество, несокрушимую силу Органов».

Как признал Руденко, по «Ленинградскому делу» было арестовано *свыше* двухсот человек и всех пропустили через Особое совещание. А сколько «свыше» — еще столько же? Или в пять, в десять раз больше? Сколько просто сняли с работы, исключили из партии, выслали?

В Ленинском районе сняли директора Кировского завода (бывшего Путиловского) Смирнова. Он, видите ли, был знаком с секретарем горкома. За ту же провинность исключили из партии, а значит, оставили без куска хлеба заведующего районным финансовым отделом Федотова. Сотни коммунистов были исключены, сняты «за связь с Попковым, Кузнецовым, Лазутиным, Родионовым». Потом арестовали — по второму заходу — десятки секретарей райкомов и председателей райисполкомов.

Директор областной партшколы Домокурова посетила секретаря обкома Кузнецова и получила лично указания касательно останова учебы в школе. Этого одного оказалось достаточно, чтобы с ней расправиться как с пособником врага. Но этого мало. В партшколе демонстрировалась карта с обозначением городов, куда шли изделия ленинградских предприятий. И хотя ранее эта карта была выставлена на областной партконференции, но оправдаться бедной женщине никто из разгневанных мужчин не позволил: «Не выпячивай город Ленина, колыбель Октября!»

Новые руководители принялись с пугливым усердием менять весь партийный и хозяйственный аппарат — сверху донизу. Исключение из партии стало массовым. И высылка семей репрессированных. Как в памятные тридцатые. Дошло до того, что достаточно было назваться ленинградцем, и бюро не утвердит в номенклатурной должности. Будто дегтем измазали ворота города Ленина...

Васьковского, секретаря обкома ВЛКСМ по военной работе, вызвали на заседание бюро райкома партии. Он всю войну провел в тылу врага, ранен, награжден, но был же, был связан с разоблаченными руководителями! Исключить! Васьковский пытался протестовать, объяснять... Поднялся Фрол Козлов: «Хватит, товарищ Васьковский! Вы дышали из воздухом! Этого достаточно!»

Нет, то была неординарная политическая кампания — кампания бичевания руководителей и самобичевания подчиненных. То был натуральный погром. Послушаем, с каким старанием прокуратура, опережая органы, искореняла воображаемую крамолу. Городской прокурор Одаков возбудил уголовные дела против руководителей всех районов. Вызвали свидетелей — директоров предприятий, секретарей парторганизаций. По двадцать — двадцать пять томов настрочили на каждый район города, распятого в угоду кремлевским интриганам.

...К одному из секретарей обкома обратился заведующий Ленинградским отделением ТАСС Савраскин: в архиве ТАСС хранятся фотографии Кузнецова, Попкова и Вознесенского. На некоторых групповых снимках есть товарищ Жданов. Как быть? Секретарь обкома Казьмин ответил: «Те снимки, где Кузнецов, Попков, Вознесенский одни, надо немедленно уничтожить. А те, где есть товарищ Жданов, придержи, будем советоваться с Москвой».

Пока советовались, Савраскину дали строгий выговор — на всякий случай. На охоту за ведьмами кинулся весь партаппарат. Достаточно было обнаружить в книге имена казнен-

ных, как ее изымали, автора привлекали. Так случилось с книгой Сафарова «Дорога жизни». Бюро обкома, бюро райкома разбирали сотни, тысячи персональных дел, возбужденных по лживым, часто анонимным доносам. Два года партаппарат только и делал, что изучал пустые, злобные клеветы.

Что осталось от дворянского Петербурга... Но рабочий класс, класс-гегемон — откуда в пролетарском Питере такое сомнение пакостников? Или это новый служивый люд, неугомонное племя шкурников и мародеров? Они благополучно дожили до разоблачительного пятидесяти четвертого года и на собрании партактива принялись со вкусом, со знанием дела перебирать грязное белье убиенных. Оказывается, Тихонов принимал подарки от секретаря Кировского райкома Козодоя и, подумать только, выпивал с ним. Частенько посещали райком Попков и Капустин и — есть такие сведения — участвовали в попойках. Задолженность тресту столовых за угощение Козодой покрывал после реализации райкомовского имущества — бильярда и ковров...

А чего стоит выступление заведующего отделом агитации и пропаганды горкома Кузнецова (однофамильца казенного). Вначале он упоминает постановление ЦК 1949 года как *гениальный* Акт, как научное откровение, в конце же славит «новое *мудрое* решение ЦК» 1954 года. Все смешалось в доме том — «за здоровье», «за упокой»... Уж ежели такому профессиональному идеологу неведома разница — что с остальных спрашивать.

Так и не поняв, не пожелав понять провокационной сути состряпанного Берией и Маленковым Постановления ЦК 1949 года, партруководители Ленинграда спустя пять лет все еще талдычат об «ошибках» Попкова, Кузнецова, Вознесенского, а секретарь Петродворцового райкома Вольнягин с застарелой пеной на ответственных устах вспоминает основополагающие документы тридцатых расстрельных лет и особо — погромное решение февральско-мартовского Пленума 1937 года. Он умиляется сам и приглашает умиляться своих коллег по поводу людоедских директив, которые — он в том уверен — актуальны вовеки.

На том же моральном уровне прошла реабилитация. Руденко объявил, что жертвы Берии и Абакумова — Кузнецов, Попков, Вознесенский, Капустин, Лазутин и Родионов — реабилитированы посмертно. Турко, Закржевская и Михеев, осужденные на длительные сроки заключения, освобождены из тюрьмы и тоже реабилитированы. Вслед за ними были реабилитированы тысячи репрессированных членов партии. Один оратор отметил с удовлетворением, что решение ЦК снимает позорное пятно со всей ленинградской организации. Другой предостерег товарищей от благодушия: нельзя-де рассматривать последнее решение ЦК как некую всеобщую амнистию. И снятые тогда со своих постов секретари заслужили свою участь, ибо оторвались от масс. Второй оратор не уточнил одну деталь — одобряет ли он и казнь старых секретарей, и высылку их семей. Но стоит ли думать о таких пустяках. Главное — участники собрания аплодировали с равным расположением и первому, и второму оратору.

Смело выступил председатель Октябрьского райисполкома Соколов. Он сказал, что принцип коллегиальности руководства нарушался не только в Ленинграде, но и в центре. В зале присутствовал Никита Хрущев, он зачитал основательный доклад об уроках «Ленинградского дела», но текст доклада из стенограммы изъяли, отправили в Москву и засекретили. Сколько раз на этом собрании повторяли имя Ленина, с каким вождельением говорили о гласности, о критике, невзирая на..., о принципиальности и отваге в борьбе за... Сколько раз...

Итак, в присутствии Хрущева смело выступил Соколов. Берия и Абакумов окружили себя непробиваемой стеной, сказал он, и творили чудовищные преступления совершенно безнаказанно. Этому способствовала сама обстановка в партии, отказавшейся от принципа коллективности руководства. Что изменилось ныне? В прошлом году, например, секретарь горкома Носенков принялся составлять списки лиц, подлежащих исключению из партии, — без участия райкомов, самолично.

О диктаторских замашках секретаря обкома Андрианова говорили многие. Да и Фрол Козлов, призванный выправить положение, оказался скор на несправедную расправу. До чего же он живуч, сталинский стиль...

В мае 1954 года, через пять месяцев после казни Берии, устроителя ленинградской резни, руководители области собрались, чтобы вместе с Никитой Хрущевым и Руденко осудить бериевщину. Два дня они осуждали (попутно умудряясь одобрять), разоблачали, критиковали (попутно шельмовали и лгали друг другу) и клялись в верности Москве. И все это время над ними витал неистребимый дух Лаврентия Берии.

Почти десять лет прошло с той поры, как Берия переселился в Москву. Но, занятый государственными делами, послевоенным устройством стран Восточной Европы, истреблением новых подданных Иосифа Сталина, мог ли Лаврентий Павлович забыть о родном грузинском народе? Да и Хозяин вряд ли простил бы ему такое упущение. После памятных тридцатых годов подросло молодое поколение, обогащенное значительным историче-

ским опытом, полное надежд на либерализацию государства и общества. Неужто и теперь, после победоносного окончания войны, Генералиссимус не распахнет все окна и двери нашего дома для правдивого слова и свободной мысли?

Ответ последовал очень скоро.

Когда агенты тайной службы заметили, что среди филологов Тбилисского университета образовался явный излишек оригинально мыслящих интеллигентов, за ними установили специальное наблюдение и дали задание осведомителям — штатным и нештатным — доносить о каждом слове и каждом шаге подозреваемых. Среди смутьянов выделялись Гиви Магулария, Тенгиз Залдастанишвили, Отия Пачкория... Они были так неосторожны, что позволили себе рассуждать не только о научных достижениях, но и спорить о философии, государственной политике. Охранники из грязного ведомства арестовали группу студентов и аспирантов, следователи с привычной сноровкой оформили группу в террористическую организацию. Министру госбезопасности Николаю Рухадзе хотелось выступить перед дорогим Лаврентием Павловичем, поэтому в сценарий «дела» были включены посядки террористов в столицу. Их обвинили в подготовке взрыва стен Московского Кремля, уничтожения Мавзолея Ленина, покушения на жизнь Сталина...

Последственные выдавали главарей и поставщиков бомб и револьверов, называли даты, маршруты. Кто-то упрямо отказывался от сочинительства и терпел пытки, однако в лагерь на истребление отправили тех и других.

Летом 1952 года в Туруханском крае тянули свой арестантский век два старых грузина, из тех меньшевиков, которых изолировали от чистых граждан еще в начале двадцатых годов. Гиви Арахамия заведовал колхозным ларьком, Ваню Майсурадзе работал в бухгалтерии. Оба отсидели с малыми перерывами по 25 лет, в сорок восьмом получили бессрочную ссылку.

«Давай напишем Сталину», — сказал однажды Гиви. «Что же ты хочешь ему написать?» — «Напомню ему о совместной подпольной работе при царе и...» — «А стоит ли?» — встревожился Ваню. «Действительно, не стоит...» — «А если мы все-таки ему напишем, кому попадет наше письмо, как ты думаешь?» — «Сталину, конечно», — ответил Гиви. «Нет, оно попадет Лаврентию Берии. Он сам доложит его генсеку. И Сталин спросит: „А кто они такие, Арахамия и Майсурадзе?“ Тогда Берия скажет, что нас первый раз посадили в двадцать третьем, потом в двадцать девятом, еще потом в тридцать седьмом, потом... „А что, они до сих пор не подошли?!“ — спросит Сталин. Он даже крикнет, он очень обидится. И тогда Берия нас прихлопнет, как мух на базаре».

«Знаешь, кацо, не будем ничего писать. От этой собаки можно ожидать всего...»

Данные разведки о работах западных ученых заставили Сталина уже в 1943 году принять экстренные меры по созданию своего атомного оружия. Другой проблемой, требовавшей оперативного решения, оказалась радиолокация. Отставание в этой области было особенно заметным. В ту пору карьера Лаврентия Берии шла еще на подъем. Сталин доверял ему более всех остальных подручных. Вместе с ним и ведущими физиками А. Ф. Иоффе и П. Л. Капицей генсек обсуждал кандидатуры на пост научного руководителя Уранового проекта. Референту Берии генералу В. А. Махнееву запомнилось высказывание Сталина: «Ближе всех к атомным делам стоят, конечно, Иоффе и Капица. Но они имеют уже мировую славу и к тому же — директора институтов. Если поручить решить такую важную проблему им, то она станет серьезной помехой в их новосредней работе. Поэтому, — продолжал Сталин, — надо подыскать талантливого и относительно молодого физика, чтобы проблему создания атомного оружия возглавил он и чтобы решение этой задачи стало единственным делом его жизни. А мы дадим ему власть, сделаем его академиком и, конечно, будем зорко его контролировать...»

Имя Игоря Васильевича Курчатова впервые назвал А. Иоффе на одном из ближайших совещаний с участием известных академиков. Курчатова, работавшего в ленинградском институте у Иоффе, пригласили в Москву с единственной целью — познакомиться с этим сравнительно молодым еще ученым-атомщиком. И после первой же беседы остановили свой выбор на нем.

Тогда же для ускорения работ между членами Политбюро были распределены обязанности. Такое важное дело, как разведка рудных запасов и промышленная добыча урана, взялся курировать В. Молотов. Однако уже к весне 1945 года стало ясно, что он с поручением не справился.

Уран нужен был, как воздух, и когда по окончании войны стало известно о наличии запасов руды в Германии, туда выехала геологоразведочная группа в составе видных специалистов. Комиссар госбезопасности Иван Серов, которому Берия поручил руководить этой операцией в Саксонии, решил разыскать и привлечь к работе немецких ученых. Однако там стояли американские войска. Покинули они вождельный район только после категоричного представления маршала Жукова.

Вопрос о разработке урановой руды в Саксонии был рассмотрен на заседании Совета Министров СССР в июне 1946 года. В город Фрайберг, где находился штаб первого отряда советских специалистов, отправилась группа ответственных работников во главе с генерал-майором Михаилом Мальцевым, видным функционером лагерной системы. Он, как и Серов, был ближайшим сотрудником Берии и подчинялся лично ему. Формально же — Специальному комитету обороны при Совете Министров СССР. Главнокомандующего группой советских оккупационных войск в Германии маршала В. Д. Соколовского обязали оказывать Мальцеву всемерное содействие. В подчинение Мальцеву была передана отдельная бригада, оснащенная автотранспортными средствами и техническим оборудованием. Штаб бригады передислоцировали из Дрездена в Аугсбург. Для конспирации было образовано акционерное общество «Висмут» под командой генерала Мальцева. Структура фирмы напоминала бериевские лагеря смерти: штаб, которому подчинялись 27 отдельных объектов (в лагерях — «колонны» и ОЛПы). При каждом объекте — особый оперуполномоченный службы госбезопасности (в лагерях — неременный «кум»). Опергруппе МГБ подчинялась специальная горная милиция, надзиравшая за немецкими рабочими и служащими. Охрану штаба, рудников, шахт, лабораторий, складов взрывчатки генерал Мальцев доверил пограничным войскам МГБ (двум батальонам 4-го погранполка).

На первых порах возникли трудности с использованием давно заброшенных шахт, где ранее добывали серебро и кобальт. Мало того, что все оборудование нуждалось в ремонте и замене, — отсутствовала техническая документация. Спасла положение оперативная группа общества «Висмут». Агенты бериевского ведомства разыскивали уцелевших в истребительном смерче специалистов, и в октябре 1946 года удалось наладить добычу урановой руды на ряде объектов.

В своих планах научно-исследовательской работы особое место Берия отвел немецким ученым, ранее занятым в лабораториях «Рейхс институт дер Кайзер Вильгельм Гезельшафт» в Берлине. Агенты разведывательной службы МГБ вывезли ведущих сотрудников этого института во главе с директором, известным физиком-атомщиком Манфредом фон Арденне. В плен попал также бывший директор Лейпцигского института физики, ученик Вернера Гейзенберга, профессор Депель. Вместе с ним — профессор Бевильгуа. Но самой ценной добычей гебистов стал, пожалуй, Нобелевский лауреат Густав Герц, которого насильно вывезли в Крым.

Бериевские селекционеры выискивали ученых-атомщиков в обычных истребительных лагерях по всей стране, вербовали нужных людей в лагерях для военнопленных. Один из таких лагерей находился в те послевоенные годы под Тбилиси, другой — в Сухуми.

Почему Берия избрал для атомного исследовательского центра Сухуми? Вероятно, не последним аргументом послужила отдаленность места от крупных городов, а благоприятный климат и южная природа должны были скрасить условия заточения германских ученых и техников, числом около двухсот. Их дополнили сто двадцать советских сотрудников: часть из них — молодые физики-атомщики из университетов Москвы и Ленинграда, часть — обслуга.

Под лаборатории и жилье отвели значительную территорию на холме близ моря, полтора километра в ширину и семь километров в длину, и окружили со стороны суши тридцатиметровой ширины запретной зоной. Вокруг трехэтажного здания лаборатории поставили еще один проволочный забор. Безопасность и секретность обеспечивали часовые войск МВД.

Так называемый «Сухумский проект», созданный при руководящем участии Берии, существовал еще долго после его казни. О судьбе немецких специалистов нам ничего не известно, надеемся, что их отпустили потом на родину.

В 1946 году в глубине территории, под прикрытием деревьев, построили жилые дома с просторными комфортабельными квартирами для немецких ученых. Техникам — немецким и советским — предоставили другое жилье. В том же здании жили офицеры охраны. Для солдат построили казарму. Очень скоро на берегу моря вырос изолированный от внешнего мира автономный городок со своими магазинами, столовыми, гаражами, почтовыми мастерскими, банями, пляжами, кинотеатром и парком.

Формально немецкие ученые работали по контрактам, заключенным с 1946 по 1950 год, с высокими месячными окладами. Вспомогательный персонал был тоже отлично обеспечен. В свободное время некоторым позволяли посещать Сухуми, разумеется, в сопровождении агента в штатском. Летний отпуск они проводили, по желанию, на других курортах страны.

История советской атомной программы обросла легендами, развеять их помогут факты. Прежде всего следует уяснить, что роль немецких ученых в разработке атомного оружия была вспомогательной. Реализация нашими учеными отечественной программы велась на базе фундаментальных исследований в области ядерной физики, начатых задолго до Отечественной войны. Уже в 1932 году в ЛФТИ, которым руководил академик А. Ф. Иоффе, работала лаборатория атомного ядра И. В. Курчатова. В исследованиях

участвовал ряд других институтов. В 1933 году состоялась первая Всесоюзная конференция по атомному ядру. Председатель оргкомитета — И. В. Курчатов. Однако в те годы ни Академия наук, ни Совнарком не придавали начатым исследованиям практического значения, хотя некоторые лаборатории, например, П. П. Кубеко и А. П. Александрова, уже выполняли оборонные задания.

Перед войной работы советских специалистов, объединенных советом ученых, составили одну треть публикаций по ядерной физике. Заметной вехой в этой области стали исследования Я. Б. Зельдовича и Ю. Б. Харитона, которые в 1940 году первыми в мире доказали возможность осуществления цепной реакции деления урана. Вслед за ними Г. Н. Флеров и К. А. Петряков, при непосредственном участии И. В. Курчатова, открыли явление спонтанного деления урана. В начале войны Флеров обращается с предложением начать разработку атомной бомбы к Сталину, Кафтанову, Курчатову. После назначения последнего научным руководителем Урановой проблемы при АН СССР создается лаборатория № 2. Конкретная разработка бомбы поручена Ю. Б. Харитону. В дело включаются Я. Зельдович, И. Кириин, Г. Флеров.

Немецкий опыт был использован еще в одной области науки и техники — ракетостроении. В 1947 году под Москвой, в Подлипках, вырос новый поселок с лабораториями, мастерскими и бытовыми службами для 177 немецких специалистов. Здесь, как и в Сухуми, были созданы условия строгой секретности: бывшие подданные гитлеровского рейха налаживали выпуск ракет «ФАУ-2». Затем их перевели в новое место, в филиал № 1, откуда немецкие инженеры и ученые в 1951 году вернулись на родину. Все это дало повод иностранной прессе утверждать, будто без немецких специалистов Советский Союз не смог бы создать современное ракетное оружие. В действительности советские конструкторы внесли немало оригинального в отечественную программу, и уже в 1951 году армия получила на вооружение новую ракету «Р-2», а через год — мощную «Р-5», несущую ядерный заряд.

Разработку и производство этого сверхоружия контролировал все тот же Лаврентий Берия, его ведомство обеспечивало форсированное выполнение программы.

Что касается урановой руды, то интерес к ней проявился очень рано. Распоряжение о начале изысканий было отдано Дзержинским 23 июня 1924 года. Созданная вскоре при ОГПУ Особая экспедиция вошла в систему ГУЛАГа и широко использовала труд заключенных. Безвинные жертвы массового террора работали потом на урановых рудниках и гибли, гибли при Ягоде, при Ежове и Берии. При нем — в масштабах невиданных — на дальнем Севере, за Уралом, в Казахстане...

Один из лагунков под кодовым названием «Мраморный» был основан в конце 1945 года. Этап выгрузили морозной ночью на тихом полуострове и пешком отправили в тайгу. Охранники, тепло одетые, в валенках и шубах, грелись у костра, а подкованные... многие не дошли до места. На долю тех, кто выжил, пришлось строительство бараков и проволочной ограды с вышками, железнодорожной ветки к руднику. И — специального шоссе. К началу добычи руды пригнали новый этап — 600 человек — на смену перемолотым.

Сколько было устроено таких бериевских мельниц! Упомянем еще одну — в Казахстане. В 250 километрах на юго-восток от Кустаная, в Аркалыке. Отрытые подневольными рабочими глубокие шурфы показали наличие богатого месторождения ценной руды. И к началу 1945 года там уже функционировал большой лагерь. Заключенных разбили на бригады по семь-восемь человек, на каждую бригаду — бидон воды и буханка черного хлеба в день. Двенадцатичасовая смена, без выходных, холодные бараки, произвол охраны и надзирателей, террор уголовников. В довершение — ядовитые газы в забоях. Жертвы исчислялись тысячами, им на смену шли из России тысячные этапы свежих «врагов».

Система...

На строительстве объектов новой отрасли производства и исследовательских лабораторий Берия проявил невиданную энергию и мобильность. Он не устал лично выбирать площадки для заводов, обследовать территорию будущих жилых поселков, следить за ходом строительства. Транспортные средства, снабжение, охрану обеспечивали особо уполномоченные полковники и генералы госбезопасности. Они же следили за соблюдением секретности. И никаких вольностей. Это в Америке всякий сумасброд волен оставить начатое дело и даже выступить публично с протестом. Берия мог не думать о взаимоотношениях ученых, военных и государственных деятелей. Просто и легко было ему решать все проблемы — вербовку ученых и инженеров, финансирование, снабжение, транспортировку грузов. Сталинский режим обеспечивал при реализации Атомной программы исковую монолитность руководителей, исполнителей и охранников.

В этих условиях удавалось достигать невиданно высоких темпов строительства объектов при отличном качестве работ. Пример тому — создание Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, под Дмитровом. Берия старался лично вникать во все детали строительства международного научного центра, начиная с проекта

и кончая озеленением будущего города. Часто приезжал на строительство первого синхротрона. В рабочей силе недостатка не было: как и на многих ударных стройках, здесь использовали труд заключенных. Дубна стала городом в 1956 году, но еще десять лет спустя оставались неподалеку от коттеджей, возведенных для ученых — своих и западных, — деревянные бараки бывшей зоны.

Заключенные работали на бериевских объектах в разных регионах, вплоть до Дальнего Востока. Из Дубны туда часто выезжали специалисты и всякий раз поражались образцово четкой организации дела. По всем маршрутам командированных оперативно и безотказно обслуживали на транспорте и в гостиницах, обеспечивая максимум удобства и все условия для работы. За каждым правительственным решением по Урановому проекту следовали без промедления практические меры. На объекты завозили все необходимые материалы, технику, сразу же приступали к строительству удобного жилья для так называемых вольных специалистов и зоны для заключенных, благо колючей проволоки в стране произвели в избытке, с опережением нужды в ней.

* * *

Не надо думать, однако, будто Сталин, возложив ответственность за Урановый проект на Берия, устранился от непосредственного руководства этим делом. Вернувшись после Потсдамской конференции в Москву, он вызвал Курчатова и упрекнул его в излишней скромности. По мнению генсека, для ускорения работ надо требовать гораздо больше специалистов и материалов. Ученый пояснил: «Столько людей погибло, столько разрушено. Страна сидит на голодном пайке, всего не хватает». Сталин ответил раздраженно: «Дити не плачет — мать не разумеет, что ему нужно. Просите все что угодно, отказа не будет».

Не кто иной, как Сталин, подсказал Берии принципы, на которых должна была строиться структура руководства двумя проектами — созданием атомного оружия и современных радиолокационных систем. В рамках Академии наук решать оперативно вопросы было невозможно. Согласование деталей с министерствами отняло бы много времени. После серии совещаний выработали окончательный вариант. При Совете Министров СССР было создано Первое главное управление, которому подчинили все задействованные в Урановый проект министерства, институты, конструкторские бюро. Назначенный начальником управления министр боеприпасов Б. Л. Ванников¹ мог действовать совершенно самостоятельно, не обращаясь по конкретным вопросам к правительству. К тому же он возглавлял и Совет ПГУ. Заместителями Ванникова были утверждены такие крупные организаторы промышленности, как А. Н. Завенягин и М. Г. Первухин, и по научной части — И. В. Курчатов.

Фактически ПГУ оказалось не при, а над Советом Министров, но и оно не было в действительности главным. Сталин поставил его в подчинение Специальному комитету при Государственном комитете обороны СССР под председательством Берия. Этот особо секретный орган обладал всей полнотой власти в самом важном для сталинской диктатуры деле — разработке и производстве сверхоружия. Тогда же был учрежден еще один засекреченный спецкомитет — по радиолокации — во главе с тем же Берией.

Такая сложная структура, да еще с двумя тайными надстройками, выглядела слишком громоздкой, однако на практике она оказалась весьма эффективной. Централизация управления, полная самостоятельность, приоритетное снабжение, ничем не ограниченное пользование людскими и материальными ресурсами — эти факторы обеспечили разительный успех всей программы. И еще одно — страх. Под бдительным оком Лубянки, под личным руководством Лаврентия Берия ни одно ведомство, ни один человек не смели работать вполсилы. Фактически их лишили права на ошибку, на производственный брак.

Надо признать, что Берия лично, за редким исключением, не пользовался рычагами устрашения. Ученых-атомщиков он привлекал сказочными по тем временам материальными благами и, что для многих специалистов было главным, перспективой исследовательской работы в новых лабораториях на переднем крае науки. Свои предложения Берия подкреплял обещанием тройных, десятикратных окладов, предоставлением прекрасных квартир, особняков, курортного лечения... Если некий специалист ссылаясь на состояние здоровья или семейные обстоятельства, Лаврентий Павлович с готовностью брался все устроить — немедленно и с превышением. Кто осмелится отклонить настоячивые предложения сталинского фаворита, владыки Лубянки?

На заседаниях спецкомитетов рассматривали все вопросы, связанные с конкретными задачами дня. Поскольку Берия возглавлял оба чрезвычайных органа, он проводил заседания, не разделяя состава участников. Официальный список членов неизвестен. На заседаниях, проводившиеся на Лубянке, иногда в Кремле, приглашали ответственных лиц, например, заместителя Курчатова И. Н. Головина и доктора наук И. И. Гуревича. В кабинете было два больших, отдельно стоящих стола. Рядом с Берией сидел генерал П. Я. Мешик, он отвечал за надежность, секретность и безусловную преданность всех занятых

в системе. За вторым столом располагались Б. Л. Ванников, М. Г. Первухин, А. П. Завенягин, И. В. Курчатов, Н. И. Павлов и группа генералов. На заседаниях, которые Берия собирал довольно часто, обсуждались проекты постановлений правительства, готовились документы на подпись Сталину.

Берия, держа по правую руку главного надзирателя Мешика, строго взыскивал с присутствующих за малейшие срывы, но до наказания дело не доходило: все работали и за страх, и за совесть.

В 1946 году при лаборатории № 2 было создано Специальное конструкторское бюро. Начальником этого КБ был назначен генерал-майор П. М. Зернов, научным руководителем — Ю. Б. Харитон. Здесь, на базе одного из оборонных заводов, и началось конструирование первой атомной бомбы при строжайшем соблюдении государственной тайны.

Секретность органично вошла в работу и жизнь ученых и всех специалистов, но Берия при каждом случае жестко напоминал о соблюдении секретности. Когда 25 декабря 1946 года Курчатов запустил в своем институте первый в Европе ядерный реактор Ф-1 (под кодовым названием «монтажные мастерские» или «монтажка»), он тотчас позвонил директору завода Е. П. Славскому: «Ефим, пошла! Приезжай срочно...» — «Игорь Васильевич, а ты руководству докладывал?» — «Нет еще». — «Срочно звони!»

В присутствии Славского ученый позвонил Берии. «Сколько специалистов участвовало в пуске реактора?» — спросил главный куратор. «Пять человек». — «Так вот, кроме вас и этих пяти, ни одна живая душа ничего не должна знать об этом событии. Я сам приеду и посмотрю...» «Ефим, ты ничего не знаешь», — сказал Курчатов. Лишь через три месяца Славскому официально «стало известно» о пуске реактора.

Через несколько лет, когда один из уральских заводов полностью выполнил план выпуска предназначенных для Уранового проекта агрегатов и встал вопрос о ликвидации сверхсекретного предприятия, Берия приказал эвакуировать всех работников, вместе с семьями, на Дальний Север. И вот в среднем течении знаменитой Колымы появился новый поселок с двумя зонами — для заключенных и вольных инженеров, техников и охранников во главе с генералом, переселенных с Урала. Отпустили их только в начале 1950 года после испытания отечественной атомной бомбы. Однако режим секретности сохранялся еще долгие годы, и все это время каждого физика-атомщика окружала плотная охрана. Отдыхая летом 1960 года в правительственной санатории, Светлана Аллилуева встретила там с физиком Харитоном. Один из его охранников прежде служил у Сталина и, увидев дочь Хозина, просил. Он был счастлив счастьем холода.

«Как живете?» — спросила Аллилуева. «Да так, все ничего, но... (переходя на шепот, брезгливо) охраняю еврейчика...»

В те годы Берия казался неутомимым. Он не пропускал закладку заводов, приезжал к началу пуско-наладочных работ, присутствовал на всех испытаниях, иногда лично возглавлял правительственную комиссию. Так было на приемке цеха по электромагнитному разделению изотопов и цеха по переработке уранового топлива...

Разъезжал Папа Малый в специальном поезде. Если позволяло расстояние, от объекта к станции, где останавливался Берия, экстренно прокладывали железнодорожный путь или же проводили через тайгу и болота лежневую дорогу из коротких жердей для проезда автомобиля, который он возил с собой повсюду. По этой же лежневке прибывали к Лаврентию Павловичу ответственные руководители. Экстренные дорожные работы выполняли заключенные, солдаты внутренних войск МВД несли охрану. Все как обычно. Один старый железнодорожник позднее вспоминал о том, как им хорошо жилось в те годы: «Часто ездил на своем спецпоезде Берия, и мы ежемесячно получали по две зарплаты».

В своем поезде Берия и жил, не пользуясь в инспекционных вояжах гостиницами, а людей принимал в двух вагонах, оборудованных под конференц-зал и канцелярию.

Энергия, незаурядный талант организатора и напор, проявленные Берией в неустанных атомных хлопотах, вызвали искреннее удивление современников. Сам Курчатов, его заместители и помощники не раз говорили, что без руководящего участия Берии добиться успеха в столь сжатые сроки не удалось бы.

Окончание следует

¹ В 1946 году Министерство боеприпасов упразднено.

Михаил Ивин

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ОККУПАЦИЯ¹

ПО КУЗОВАМ!

Июнь 1940 года. Покидаем опустылевший нам Копайгород, который сами же соорудили в сосновом бору недалеко от Выборга. Как видно, предстоит нам спешное дело: полку поданы грузовики. Рассажанные в открытые кузова, мы являем собой прообраз еще не народившейся в отечественных Вооруженных Силах моторизованной пехоты.

Колонна устремляется на юг, оставляя позади леса и озера Карельского перешейка, отащенного нами у Финляндии три месяца назад. Вокруг — следы Зимней войны, от которой мы, ее участники, еще не вполне очухались. Печная труба на месте сожженного хутора — мнится, что ей, раздетой донага, зябко и неуютно на воле. Не успевшие заплыть воды сообщения, окна, воронки. Вытаявшие из-под снега ранцы, вещмешки, гранатные сумки, противогазы, обрывки аатников, искромсанных фельдшерами при перевязке раненых. Раные осколочные раны, белеющие на темных шершавых стволах елей.

Идем ходко. Как на киноэкране, раскручивается перед нами панорама тех мест, что мы прошли с боями за сто пять дней странной войны. Муола-яран. Тогда озеро придавлено было льдом и снегом, теперь искрится, аольно играет на солнце.

Терноки. Тут обосновался в начале Зимней войны, со своим «Правительством освобожденной Финляндии» и с диаизией, одетой в пенашенские зеленые шинели, Отто Куусинен. Финноа, карелов в его диаизии было — раз, даа и обчелся. Наедаа ряшки на усиленном фронтовом найке, в глубоком тылу, эти зеленые ждали, когда мы, отвоевав по-быстрому всю Финляндию, пригласим их на парад победы в Хельсинки...

Стоянки редки и коротки. Успеваешь только, помочившись, прислониться на несколько минут к дереву, чтобы расслабить напряженную спину, лишенную опоры в кузове. Переть пехом вроде бы сподручнее, нежели трестись на досках, прилаженных второпях поперек кузова. Вадремнув, навалившись на соседа — тебе тотчас кулак под ребро: «Весь ряд спихнешь с машины, сиди путем!..»

Большой привал объявлен поздним вечером, уже в виду Питера, между Лахтой и Старой Деревней. Местность безлесная, и смыться в самоволку, если кто надумает, тут непросто. К тому же белые ночи в самом разгаре.

Вдали, слева, Буддийская пагода — она скорее угадывается, нежели видится. Справа Елагин остров, куда я в молодые годы частенько навещался, с девушками, само собой...

Кое-что проясняется. Колонне надо проскочить через Ленинград, преграждающий нам кратчайший путь не то на юг, не то на юго-запад. Выполнить сей маневр возможно не ранее, чем город затихнет, да чтобы и потребные нам мосты разведены не были.

Передвижения войск, какую бы цель ни преследовали они, огласке не подлежат. Не токмо для зевак, но часто и для тех, кого передвигают, — сие тайна есть. Но воинскую колонию, как и шило в мешке, не утаишь. Иной раз зевачи знают больше тех, что рассажены по кузовам или шагают в строю.

Везут... Место и цель переезда известны тебе не больше, чем вон той гаубице, которую

¹ Главы из воспоминаний.

Михаил Ефимович Ивин (р. в 1910 г.) — прозаик, публицист. Автор книг «По следу бешеной реки», «Некто или нечто», «Брусника еще не поспела» и др. Всю блокаду провел на Ленинградском фронте. Живет в Ленинграде.

водворили на платформу воинского зшелона. Твое преимущество перед гаубицей лишь в том, что ты не зачехлен. Можешь глазеть по сторонам, можешь орать срамные куплеты, как мой приятель Павло Стаднюк; а то можешь, размятавшись, вызвать в воображении теплый зад жены, посапывающей рядышком в постели.

Кухни отстают. На то они и кухни. Нам выдан на большом привале сухой паек: мясные консервы и добротные армейские сухари. (Тут мы превосходим финнов — ихние толстые, будто окаменевшие, солдатские коржи впору топором рубить.) Запивка — жидкий чай из фляг.

Теперь можно, завернувшись в плащ-палатку, вадремнуть на обочине, пока не пробрал тебя холодок июньской ночи.

Перебираю в полусне стусок неожиданностей, нелепиц, поднесенных мне судьбиной менее чем за год. Наверчено столько, что хватило бы на полжизни. А что еще впереди?..

Не знаю, как для кого, а для меня едва ли не каждый визит в военкомат, а призывался я в Вооруженные Силы трижды, означал какую-нибудь пакость. У меня нет намерения охранять военкоматское ведомство в целом, наверное, оно не хуже, да и не лучше прочих советских учреждений, несть им числа. Быть может, я просто невезуч.

Осенью 1939 года объявили частичную мобилизацию запасных: отец народов и его соратники задумали нападение на Финляндию. И почти сразу же я был вызван повесткой на Чернышову площадь. Здесь, в желто-белом классическом здании с колоннами, возае-денном Карлом Росси, разместился призывной пункт.

Как на грех, я лишь месяца за два до этого женился.

Однако являться по вызову надо. Паспорт, военный билет, служебное удостоверение.

— Вы не связист по воинской специальности, случаем?

— Я авиационный моторист. Отслужил два года в истребительной авиабригаде. Окончил школу младших авиаспециалистов... Да ведь в военном билете все написано!

Косой взгляд.

— Вижу!.. Но авиамотористы нам в данное время не требуются.

— Так я могу быть саободен?!

Удивленный взгляд.

— Какой вы, однако!.. Побудете у нас. Разберемся. Внизу буфет, телефон-автомат. Подремать есть где, сидя, правда.

Проходит несколько томительных часов. Выкликают.

— Вы ведь в радиокомитете работаете? Так это же по ведомству связи!

— Я репортер последних известий на радио. К связи, тем более военной, отношени не имею.

— Ну, это уже тонкости. Мы сформировали корпусный батальон связи. Не хаает а команду до штата одного-двух человек. Вот аы и подойдете. Через час на Витебский... Старший, прими пополнение...

Жена примчалась на вокзал. Я зря назвал ей по телефону место отпраки. Она не смогла, или боялась, даже асплакнуть.

Я с трудом оторвал ее от себя, когда поезд уже тронулся. Мужики из команды по дороге на вокзал успели прихватить водочки и теперь шумели вовсю. Я забрался на верхнюю полку и, отвернувшись к стенке, попытался уснуть. Но где уж там...

Нас привезли в Новгород и разместили в оскверненных, ободранных кельях Юрьева монастыря. Там провели мы недели две. Чему-то обучали шалаяй-валяй-болтай.

Батальон все же был укомплектован знающими дело людьми: одни служили в свое время связистами, другие имели ту же специальность на гражданке. Я среди них оказался белой вороной, не умея даже грамотно срastить концы проводов. Надо мной добродушно подтрунивали.

Из Новгорода батальон передислоцировали на Черную речку, что недалеко от Бело-острова, где уже разместились в аинской казарме штаб корпуса. Дивизии между тем занимали исходные позиции вдоль пограничной реки Сестры.

Терпели меня на Черной речке недолго. Развязка наступила, когда пришел мой черед дежурить на штабном коммутаторе. Устройство нехитрое, особенно если сравнивать его с техникой конца нынешнего века. Но все же сноровка, быстрота и некоторый автоматизм действий и тут надобны. Свидетелями моего позора были два молодых начальничка, которые в этой же комнате занимались какими-то своими делами, не обращая на меня, казалась, ни малейшего внимания.

— Эге, — вдруг прознес один из них, приметив, как я силюсь управиться со шнурами и штекерами, — надо подменить этого товарища. Нам прислали сапожника вместо связиста.

— Уж лучше бы портного, — сострил второй. — Он бы подогнал мне гимнастерку, а то, вишь, мешком сидит... Как вы к нам попали?

Я объяснил.

— Да, такое бывает, на то и военкомат. Но вернуть вас военкому мы не можем, вы мобилизованы. Откомандируем в дивизию.

На границе еще было тихо, войска готовились к броску. Спровалили меня из штабного

батальона связи спустя неделю, уже после того, как наши 30 ноября вторглись в Финляндию.

Начальнику связи дивизии было не до меня.

— В полк, в полк! У нас штаты заполнены.

Так я и оказался в роте связи 168 полка 24 стрелковой дивизии, где и трудился в поте лица, то перебегая, то переползая с увесистой катушкой и громоздким аппаратом, до последнего часа Зимней войны. Однажды ночью в разведку ходил. Начальство решило, что командир разведгруппы должен поддерживать телефонную связь со штабом полка.

Связисты несли меньшие потери, чем стрелковые роты; те бросали в атаки на целенные, неподдающиеся доты, и за короткую войну они формировались заново раза по три-четыре. Привезет иной раз старшина к обеду водку на весь списочный состав, а роты нет, писарь только уцелел. Стоит старшина возле саней, слезой давит: «Ребята, пейте, кто желает».

А в роте связи к концу войны оставалась все же без малого половина первоначального состава...

Но сейчас разговор не о Зимней войне, а о тех событиях, что происходили после того, как она 13 марта 1940 года завершилась.

Мы, запасные, думали, что нас отпустят тотчас после замирения к женам и детям. Куда там! Отвели с последнего огневого рубежа в лес под Выборг и велели рыть землянки, строить лагерь.

Так возник Копайгород. Не сразу мы поняли, что произошла подмена! Оказалось, что мы это уже как бы не мы, проавоевавшие 105 дней. Не домашний уют, даже не теплая казарма — обратно, как говорится, в лес, обратно — снегу по пояс.

Чтобы все это уразуметь, надо еще раз вернуться к событиям, предшествовавшим Зимней войне. Рассчитывая на быструю легкую победу, наше Верховное командование решило, видимо, поберечь кадровый состав. Того ради части аторжения укомплектовывали запасными далеко не первой молодости. Иные из этих женатиков, давно отбывшие воинскую повинность, успели позабыть, как заталкивают натроны из обоймы в магазинную коробку.

Но аот аойна завершилась. Держать запасных а нашей Железной Краснознаменной дивизии, прославившейся еще в гражданскую войну, как бы уже не пристало. И на наше место прислали молодых, кадровых, которых ждали, а свою очередь, жесточайшие испытания. А нас, женатиков, отвели а лес и алили а незначительную часть, стоящую а тылу.

Мы, аояки, возроптали. Поодиночке, конечно. Коллективных протестов армия на дух не переносит. Нам довольно терпеливо поясняли — часть, а которой мы служим, не аоеала. Но мы то, мы то!.. Что вы: аюют дивизии, полки!..

Крыть нечем. Некоторые, из питерских, пустились а самоволки...

— По машинам!

Колонна устремляется а город, набирая предельную скорость. Петроградская сторожа. Тучков мост. Первая линия Васильевского острова. А на Шестой линии сидит жена, подтянув колени к самому подбородку. (Когда я в начале нашего медового месяца выразил по этому поводу свое недоумение, она, посмеиваясь, сказала: «У тебя складная жена, можешь этим гордиться и даже хвастать».)

Выпрыгнуть из кузова и нагрянуть среди ночи яа Шестую линию!.. Шею свернешь на такой скорости, это уж точно. Задумано так.

В подворотнях застыли плечистые рослые дворники. Среди них немало татар. Озорники как огня их боятся. Кулачищи у стражей — дай бог. Высвистывать милиционера не требуется.

Правый поворот. Академия художеств. Сфинксы. Сворачиваем на Николаевский мост. Панорама Большой Невы. «Придается все, лишь тебе не дано примелькаться». Сказано Б. Пастернаком по другому поводу, но тут вдруг припомнилось... Новая Голландия. Мариинский театр. Собор Николы Морского.

Сидим на своих досках, притихшие, замороженные. В колдовском свете белой ночи мнится, что необыкновенный этот город вышел вот только что из-под пера или из-под кисти сказочника. Потрясены не только те, кто увидел Питер впервые, но и я, разлученный с ним менее года назад.

Тишина, нарушаемая лишь шуршанием автомобильных покрышек. И вдруг голос с заднего сиденья:

— Ось це вже бачу, за що воював с хвинами!

Простая душа! Это Петро Стецюк. Его привезли темной декабрьской ночью в телятник прямо на Карельский перешеек, минуя город. Всю дорогу политработники небось долдонили, втемяшивали ему, что финны замыслили отвоевать у нас Ленинград, что они вообще мечтают создать Великую Финляндию — от Ботнического залива аж до самого Урала. Стецюк поверил. И кто бы стал ему говорить, что це асе брехня? Себе дороже!..

Еще поворот. Старуха, подметающая трамвайные пути у Аларчина моста, отступила к тротуару, пропуская колонну. Из кузовов к ее ногам посыпались треугольнички солдатских писем, написанных на большом привале. Никто не проронил ни слова. Рассовав

треугольнички по карманам своего черного халата, чтобы потом опустить послания в почтовый ящик, старуха проводила нас долгим тоскливым взглядом, даже не помахав рукой.

Старокалинкин мост, за ним Новокалинкин. Сворачиваем на Обводный, едем вдоль краснокирпичных корпусов «Треугольничка», растянувшихся по берегу канала на добрую аерсту. В раскрытом окне второго этажа две девицы в синих халатиках, должно быть, галошницы из почтой смены. Высунулись по нояе, пицат что-то, машут. Из кузовов на них взирают спокойно, как на картинку в журнале, — они недосытаемы...

Балтийский вокзал, за ним Варшавский. Церковь, построенная Обществом трезвости и обращенная после Октября 1917 в клуб. Как рассказывали мне старые петербуржцы, человек, решивший напроць отказаться от выпивки, придя в этот храм, клал рубль, целовал крест и давал зарок. И, как правило, исполнивший этот обряд не срывался... А кто не уаерен был, что выдержит зарок, обходил храм.

Правый поворот. Широкий проспект. Сколько же раз его переименовывали? В царские времена — Забалканский; потом — Международный; еще потом — имени Сталина...

Прибавив ходу, проскочили Среднюю Рогатку. И вот уже Пулкова гора с обсерваторским куполом. А там промелькнула и Гатчина.

Павло Стаднюк при въезде в деревушку, уже за Гатчиной, сипловатым баритончиком затягивает свою любимую:

Вулыця, вулыця,
Чым же ты красуешься?
Опучаи и дранкамі,
Дэвкамі засранкамі.

Горлодер, задира, ругатель и насмешник, Павло ко мне благоволил. Выражает он саю приязнь иногда в необычной форме. Однажды в Копайгороде, приобняв меня за плечи, он прочувствованно изрек:

— Ты мий друже, ты жеж у мене один... як а сраци око!

Вперед, аперед!..

Мы уже больше суток а пути. Жрать охота, да п жажда мучит — фляги давно опустели. Спину ломит, зад одеребенел на доске. И аот, уже на водступах к Луге — днеака. Дождались кухни, поели горячего, попили чаю, наполнили фляги и — спать. Ж., прилегший рядом, повертелся, поадычал и, прихватив у меня десятку, подался а Питер. Беглец потом догнал часть. А под трибунал за недолгую отлучку тогда еще не отдавали. Да и разбираться было некогда.

За Лугой потнулись разоренные коллективизацией, обнищавшие искосские деревни. Чем дальше от Ленинграда, тем хуже. Детишки аыпрашивают куски. У кого из наших остался от обеденной пайки хлеб — отдают.

Лагерь. Воинские, а кое-где и сталинско-бериевские, ошлетенные колючкой, с часовыми на вышках. Работающие за проволокой при аиде нашей колонны отнорачиваются.

Павло, он рядом со мной, притих, не орет больше «Вулыця, вулыця...». Вдруг наклоняется ко мне и вполголоса: «Слухай суды... Яке у нас життя... Оаес — отдай у метэс. Пшеницу везем за границу, у Неметчину. А кукурузу — тую аже Радянському Союзу. Зрозумив?!»

«МЫ ВАШИ! МЫ СКОБАРИ!»

Миновали Псков. Где-то возле Острова пересекли Великую, затем Утрою. Да, нечистая сила несет нас к латайской границе! Похоже, после финнов еще и латышей воевать будем?!

Вот уже километров десять, говорят, до границы остается. Стоп! Выгружаемся на берегу речушки. Грузовики порожнем отбыли восояси. Полк переаправлен на другой берег по ветхому мостику. Нас четверых оставили сторожить имущество роты связи.

Ночь мы провели у костерка. Наутро я отправился в ближайшую деревушку на почту. Зашел и в лавку. Набор товаров: сбруя, саножная вакса и алюминиевые чайные ложки. Какие-либо продукты питания, равно как и покупатели, отсутствуют. И то сказать. Кому нужны вожжи и чересседельники, если лошадей не стало. Вакса тоже не имеет спроса, ходят здесь босиком или в опорках. Угрюмый, заросший многодневной щетиной продавец поглядывает на меня иронически, в разговор не вступая. Я тоже не нашел что сказать. От неловкости, что ли, купил чайную ложку, хотя знал, что в роте меня засмеют: сахар нам выдают большими кусками, и, за полным отсутствием в рационе чего-либо иного сладкого, недельную норму схрупывают за день-два; иной и после отбоя засыпает, только лишь убедившись, что сахарный мешочек пуст. Чай же, который повар наливает супной поварешкой в котелок из котла, мы пьем даже не вприглядку, а с ни с чем...

Под вечер того же дня нас четверых перебросили с имуществом на другой берег речки, где расположился весь полк. Тут уже запущена на полный ход пропагандная машина,

бездействовавшая на марше. Теперь скрывать уже нечего — нас приехали воевать Латвию, если не сдастся она по-доброму. Бойцам надо разъяснить боевую задачу. Политаппарату идейно — обосновать ее.

Ждем с часу на час приказа о переходе границы. А тем временем нас начинают несвежим идейным фаршем.

...Подумать только! Литва, Латвия и Эстония грубо нарушили заключенные с ними осенью 1939 года договоры о взаимопомощи. Они готовят — экая наглость — нападение на части Красной Армии, размещенные в Прибалтике в соответствии с указанными договорами. Они сколотили антисоветский военно-политический союз «Балтийская Антанта». Финнов, возжелавших захватить Ленинград, мы окоротили малость. Ну а эти, со своей «Балтийской Антантой», на что замахиваются?..

Москва требует, чтобы правительства Литвы, Латвии и Эстонии немедленно ушли в отставку. Новые же правительства этих государств будут формироваться под наблюдением советских властей. На территории прибалтийских государств вводятся крупные контингенты наших войск. В случае отказа принять ультиматум советские власти, как предупредил Молотов, примут «соответствующие меры».

Вот они, эти меры! Два сдвоенных подсумка оттягивают с боков мой поясной ремень. В каждом — 60 винтовочных патронов. Обоймы выданы только что, после речи комиссара. Изложив ультиматум Советского правительства Прибалтийским республикам, он от себя добавил:

— Когда это начнется, вы представляете, товарищи, какой будет энтузиазм в стране! Сколько приветственных писем, телеграмм, посылок будете получать. Среди вас будет много орденосцев, Героев Советского Союза!..

Деловая часть. Вопросы, пожелания.

— Товарищ комиссар, а танки пойдут?..

— Санитары пусть побыстрее подбирают раненых. А то в финскую сколько людей померзло, не дождавшись!..

— Сейчас лето, авось дождешься!..

— Лето, лето, а шинели на ночь раскатываем. Я ноне аспотел дрожаши...

— А раненые чтоб не кричали! — Это уже подал голос санинструктор. — На крик противник усиливает огонь, и нам не подползти... Головной убор пущай поднимают.

Выкрик сзади:

— А если он хоть и жиа еще, ни руку поднять, ни крикнуть уже не способен? Ты один думал, парень?

На другие сутки. Изнурительный марш вдоль границы. Остановки. Саязь, саязь, саязь! Подразделения разбросаны. Пока найдешь комбата — чуть не дух вон. Выкладочка! Винтарь со штыком, саязисту который авось ни к чему, — 4,5 килограмма; телефонный аппарат а громоздком деревянном коробе с десятикратным запасом прочности — 3 килограмма; катушка, на которую намотан километр однопроводного кабеля, — 22 килограмма.

Сутки не жравши. Наконец приехали: колбаса, масло, селедка, сухари.

Ночью, под дождем заняли исходное вдоль самой границы. Залегли в роще, как тати, без шума; завернувшись в плащ-палатки, отпали. Подушкой мне послужил нагретый телом сдернутый с ремня подсумок: кожаный, мягкий, изогнутый, он пришелся в аккурат под щеку.

— Тревога! Подъем!

Эх, черт, кажется, только уснул. Нет, часика два урвали. Уже рассвело, дождь унялся. Первая мысль — латыши сдались, воевать их нет нужды. На фронте, это мы уже знаем, тревог не объявляют, там команды иные.

Взводные, старшины забегали, поднимая пинками замешкавшихся.

— Привести себя в порядок! Помыться, вода в лужах. У кого безопаски — живо бриться, бритву передай неимущему. Идем через границу мирным путем!

Последний недолгий марш на своей земле. Мы у пропускного пункта. Здесь только наши пограничники. Ни одного латышского солдата или офицера.

Колонна пересекла рубеж. Да что же это?! Нас встречают. Да — как! Чуть не на шею бросаются, праздничная, разодетая, ликующая толпа. Велосипеды, они почти у всех, брошены небрежно на обочину. Проходим сквозь живой коридор.

— Товарищи, здравствуйте! Мы же ваши, мы скобари!..

— У нас сегодня двойной праздник! Может быть, вы специально пришли к нам в первый день Троицы?!

— А я уже с вашим успела потанцевать!

Это — прыгнувшая с велосипеда девушка.

Два парня в велосипедных брюках со штрипками.

— Дайте русскую газету! Мы ведь только латышские читаем.

И совсем уже неожиданно:

— А куда же наши латыши денутся?

Мы шагаем, не размыкая строя, ошеломленные, ошарашенные. И радость, и стыд...

Ведь нас рассаживали в Копайгороде по кузовам наспех черт знает в каком виде. Обмундирование — б/у, бывшее в употреблении, рабочее, стиранное-перестиранное, даже с заплатками. Кирзовые сапоги, именуемые говнодавами в солдатском просторечии, разношерстные, нечищенные.

Воевать, конечно, в чем угодно можно, лишь бы винтарь стрелял. А тут вдруг — парад! По счастью, скобари так нам рады, не обращают внимания на то, что перед ними замызганное аоипство. Услышал я только, как одна девица вполголоса сказала другой:

— Глянь, у них и сивые попадаются!

Это она про мою раннюю просесть, вылезавшую из-под мятой старой пилотки.

Идем безостановочно. Командование, как видно, торопится провести неказистую рать через латышские селения, населенные русскими. А там, глядишь, и вечер наступит.

И вот наконец привал в лесочке. Политаппарат растерян. Ведь только вчера один на политручьем языке разъяснил нам:

— Мы освободители из-под гнета буржуазии!

А теперь вот, поди растолкуй, как эти скобари и скобарихи исхитрились под гнетом буржуазии почти все обзавестись велосипедами, которые у нас — предмет роскоши.

Но ведь надо! Надо разъяснять.

Первый политрук:

— Имейте в виду, которые на велосипедах — все шпионы!..

Второй политрук, в другой роте:

— Неужели вы думаете, что здесь каждый может велосипед купить? Напрокат взяли, чтобы нас встретить!..

Шли остаток дня. Шли ночью и еще день и часть ночи. За полтора суток отмахали 90 километров! Для маршей положены плотные портянки, всего лучше суконные. Нам успели выдать лишь по одной паре из тонкой хлопковой ткани. Ноги хлибают в говнодавах. Ступни стерты вдрызг, искровящены. Черт с ним. На солдате, как на собаке, все быстро заживает.

Городок. Первый астреченный нами полицейский. Форма на нем такая, что глазам больно смотреть. Вывеска — «Traktieris».

— Это что же, трактир выходит? — с изумлением говорит солдатик. — Отец рассказывал, мы — ярославские, он по плотницкому делу с артелью а Питер на заработки ездил, и они а трактир там захаживали. Так аедь это когда было. А тут, вишь, старина какая еще аодится...

Ну аот, дошли, допиликали. Алуksне. Глубокая ночь. Встретили нас саои, штадиавские, отаели а глухой лес, на протиаоположный от города берег озера. Спать, только спать. Палатки стаавить — потом.

Наутро открылось большое озеро, на нем — острова, на острове — развалины. Как потом узналось — замок, возведенный в 14 веке. Самый же город Алуksне основан а 13 веке. ...Где-то недалеко от этих мест, а 1702 году, когда петровские полки шли на Ригу, попалась, кажется, Шереметеау в руки красная восемнадцатилетняя девица Марта Скавронская. Старик недолго тешился, девицу перехаатил у него Меньшиков, а у того отнял Марту сам Петр. Так стала она, приняв православие, русской императрицей. А после смерти Петра ненадолго заняла трон под именем Екатерины Первой...

Разбиваем лагерь. Из леса — носа не высавывать! И то сказать, мы так обмундированы, что только в чащобе и укрываться, на люди выходить — срам.

— Письма домой нисать можно, ответа пока не получите, наш здешний адрес объявим позднее (недели через две сообщили: Ленинград, 308 почтовое отделение, почтовый ящик № 4, литер а «Б»). В какое смятение придет жена! Муженек пишет будто бы из Латвии, а сам обретается в Ленинграде под какой-то литерой «Б»).

Связисты неожиданно оказались в выгодном положении. Линии связи проходят через город, и мы, со своими катушками и допотопными аппаратами, ходим без всяких увольнительных, вступаем в контакты с местным населением, что пока не рекомендуется.

Женщина средних лет, встреченная вблизи казармы латвийского полка, забрасывает меня вопросами:

— Почему, как вы пришли, по латвийскому радио перестали передавать богослужения?

— Сделают у нас коммуны, или, как еще, колхозы? Вы не думайте, что я против. Я не какая-нибудь кулак. Я беднячок, у меня всех коров двадцать. Это же совсем немного, правда? Мы не берем батрака, сами все делаем, только племянница немного помогает.

— А вы будет у меня молоко покупать? Наш полк, он в этой казарме стоит, каждый день у меня молоко берет. Давно уже.

— Разве латвийским солдатам молоко дают? — вырвалось у меня.

— Они же утром пьют кофе с молоком! И белый хлеб имеют тоже. А вам разве — кофе без молока?.. Кто теперь мое молоко купит? Наш полк ведь не расположится больше в этой казарме?.. Ну, я говорю с вашим полковником...

Беднячка с двадцатью коровами! Какие же стада у богачей? Может, она все-таки приедняется, хитрит? Коров, однако, в этой стране очень много. И все одной масти, одной

породы — латвийская бурая. Одна из этих буренок устроила нам изрядную пакость. Мы проложили спешно линию связи через луг, конечно, не подвешивая провода. У нас, полковых связистов, и шестов-то (их называют лирами) нет для этой цели. Проверили — все честь по чести, линия дейстает. А спустя час слышимость пропала. Избегались мы, под начальственные матерки, до упаду. Провод цел! Наконец доискались. В одном месте на крохотном кусочке содрана изоляция. Замыкание на мокрую траву. На лугу паслись коровы. Одна вместе с травой прихватила зубами изоляцию, оголив провод.

Политподготовка. Чтение и пересказывание второй главы «Краткого курса».

Выдано: рядовым по 2 лата, сержантскому составу — по 4. Можно понить молочка со свежей булочкой. Того и другого — вволю. И очень дешево.

— Пива не пить, водку не пить, с женщинами знакомства не заводить.

А латышки между тем хороши! Простодушны. Дарят нам улыбки.

Привезли обмундирование. Прямо с воинского склада. И баня приехала к нам в чащобу. Помылись, скинули б/у, поменяли белье, портянки, а на другой день строим, с песней, во всем новеньком промаршировали по городу. Теперь уже прятаться в лесу не надо. Знай наших!

А спустя несколько дней к нам в полк пожаловали какие-то чины в кавалерийской форме. С ними было и наше начальство из дивизии, штаб ее располагался в районе Гулбене. Возник спор, дошло дело и до матюгов, после чего гости, разгневанные, уехали. Нас, конечно, ни во что не посадили. Но от связистов разве что скроешь!

Оказалось, что дивизия наша вперлась в Латвию не по праву, так сказать. Вторжение в Прибалтику, видать, было спланировано в двух вариантах: бескровном и с боями, на тот случай, если окажут сопротивление. Для первого варианта приготовлена была на нашем участке кадровая кавалерийская дивизия, экипированная будь-будь. Но она стояла в тылу, километров за тридцать от границы. А мы-то лежали с нашими подсумками на самом рубеже, готовые, по второму варианту, к броску...

Как удалось нашему комдиву генералу Лазаренко провести свои подразделения через пропускной пункт — не ведаю. Но когда кавалерия подошла к границе, ее в Латвию наши же пограничники не пустили — перебор! Пока шло разбирательство, кавалеристы а ярости небось кусали себе локти. Они, конечно, знали, что наш командный состав, получив латы, прогуливается по латвийским магазинам, скупая товары, которых мы в своей стране давно не видывали, и попиная не одно лишь молоко.

В конце концов нашу дивизию из Латвии удалили довольно скоро. Но об этом позже... Вышло послабление:

— Беседовать, пить, танцевать с местным населением можно!

Политаппарат работает с предельной нагрузкой. Надо как-то нейтрализовать невыгодное впечатление, производимое на личный состав а корне чуждым нам буржуазным образом жизни. Второпях да от малограмотности такое несут, что хоть стой, хоть падай.

Кое-что, найдя укромное место, успеваю записать.

— Мы должны обеспечивать безопасность границ Советского Союза от Балтийского моря.

— Враги разобьют себе зубы о берега Прибалтийского моря.

— Эстония, Латвия и Литва стояли на грани плацдарма нападения на Советский Союз.

— Нашей партии пришлось бороться с врагами народа как Каутский, Пятаков и разные такие, которые выступали против.

Штатному политсоставу не управиться. Сверху требуют: усилить пропаганду, дойти до каждого бойца. Того ради в помощь политрукам привлечены сержанты и даже наиболее грамотные рядовые, строго отобранные.

НЕУСТАВНЫЕ БЕСЕДЫ

Подверстали ненадолго к политаппарату Сашку Соколова и меня грешного — беспартийных, но шибко грамотных, как считает начальство. Нам велено отправиться на пастбище — вразумить ездовых, доселе не охваченных политбеседами. Соколов парень способный, безалаберный и беззаботный, уйдя с третьего курса Ленинградского университета, был вскоре отправлен военкоматом на финский фронт. Мы с ним и оттрубили всю Зимнюю войну в одном полку, а теперь вот кантуемся в латвийском лесу.

Соколов склонен к рифмачеству. На днях, после очередного выступления комиссара полка, он мне выдал:

Мы изменили дислокацию,
Но так же скучны политинформации.

— Небогато, Саша.

— Ты мне подрезаешь крылья!

И вот нам с ним доверили выступить в политручьем жанре. Дело, в общем, нехитрое. Я рассказал ездовым о международных событиях, Соколов — о наших внутренних.

Ездовые народ мирный, степенный, далеко не молодой. У всех семьи, у всех, как, впрочем, и у нас с Сашей, одно на уме: когда домой?

Напомню, что демобилизуют по девятой год включительно. Мне годика не хватает. Среди ездовых тоже ни один не понал под приказ.

— А я с одиннадцатого, — огорченно говорит удмурт Кутавин. — На действительную когда берут, так хоть знаешь, когда срок кончится. Дома больно худо. Еще когда в Копай-городе стояли, жена писала — малыцы, у меня их два, всю зиму дома отседели, в школу не ходили, обувь нечего. Лапти восемь рублей стоят. Бабы лапти не плетут, а мужиков на финскую побрали, да тех, кто вроде меня живой остался, — не отпускают. Дед один на все село лапти плетет, вот и берет сколь хочет...

Уходить с пастбища не торонимся. Рядом наши обозные коняги насутся (их следом за нами в эшелоне доставили), напоминая детство, когда я целые дни проводил при табуне и пастухи иногда сажали меня на самого смирного мерина, позволяя прокатиться аерхом.

На костерке в круглых котелках сварилось некое хлебово, и старший ездовой приглашает нас откусывать. Ложка у каждого за голенищем, а миски нам без надобности — зацепил из котелка, подставил ломоть хлеба, подул.

— У нас, конечно, как и на полковой кухне, пшено, — говорит старший, — но мы его промываем. А там, вы же видели, а наряд на кухню ходите, мешок вспорют и бах — в котел. Мусорок разный, веревочка, а то и мышинное говно засохшее. Все туда, все в солдатское брюхо.

— А ты помнишь, — обращается ко мне Санка, — мы колонной проходили мимо просяного поля, и кто-то с левого фланга заорал: «Братцы, это же пшеника, топчи ее!..» Да, а вчерашнее меню: пшенный суп с треской на завтрак, на обед и на ужин. В заграницу попали, а жратва та же. Тащим жизнь от супа к супу.

— Я думаю, Саша, если нас зашлют на Маркизовы острова, то и там мы пшеница не избежим.

Разговор пошел без стеснения. Тут, кроме лошадок, никто не услышит.

Казах Олжас размышляет:

— Слушай, зачем такой надо? Николашка был, царь, две коровы дед, отец держал. Ничего никто не писал. Теперь один коза имеем, каждый год пишут два раза: один коза, один коза... Пишут, пишут, много писак, а кто работать будет?..

Обсуждаем финскую войну. Все, тут сидящие, в ней участвовали. Правда ли, что финны сировоцировали нас, обстреляв советскую часть, стоявшую на Сестре-реке?

— А для чего им было задирать великую державу? — Это Сашка. — Они до последнего дня надеялись — авось пронесет... Хотите, анекдот расскажу... Вызвали осенью тридцать девятого, по частичной мобилизации, сарая а военкомат. Сказали, что призывают в армию и что, может быть, придется малость новоевать. — А с кем воевать, позвольте спросить? — Может быть, с финнами, они плохо себя аедут. — Но зачем воевать, дайте мне моего финна, я с ним договорюсь!..

На том мы, посмеявшись, распрощались с ездовыми и несенно двинулись в расположение полка. Невдалеке от наших коняг паслись коровы, голов десять. Подумалось: ну, хозяйка этих бурых еще беднее той беднячки, с которой я вел беседу возле казармы. Однако, подойдя поближе, мы глазам своим не поверили. За коровами присматривала девица, разодетая в пух и прах: туфельки на каблучках, шикарное цветастое платье, шелковая косынка.

— Вот это пастушка! — воскликнул Сашка. — Я и на детских картинках такой не видывал.

— Так она же, видно, нарядилась в честь прихода в Латвию советских освободительных дивизий!

— Тем более есть повод войти с ней в соприкосновение и обсудить, к примеру, ситуацию во Франции!

Не уснули мы свернуть к стаду, как невеста откуда вывернулся лохматый белый кобель. Он делал на нас, безоружных, едва касаясь земли. Какой бы вид приобрело наше новенькое обмундирование, если бы не команда, что-то вроде «фу», поданная пастушкой! Кобель, тотчас прервав атаку, вернулся к пастушке и улегся у ее ног, всем своим видом показывая, однако, что входить в прямое соприкосновение с его хозяйкой лучше не пытаться. Стоя на почтительном расстоянии от пастушки, мы все же попробовали завести с ней светскую беседу.

— Почему у вас такая злая собака? — начал Сашка.

Мило улыбаясь, девушка покачала из стороны а сторону головой и слегка развела руки, из чего явствовало, что она по-русски не знает. А то бы, возможно, она дала Сашке понять, что он задал ей вполне идиотский вопрос. Где это видано, чтобы при стаде содержали добренького пса?!

Нам оставалось только откозырять и ретироваться. Пастушка поулыбалась своим освободителям от гнета, произнесла на родном языке некую фразу, несомненно, любезную.

Лохматый волкодав не шелохнулся, в его обязанности, видно, входит встречать непрошенных гостей, но отнюдь не провожать их.

— Если бы не этот кобель, — произнес Сашка со злостью, когда мы отошли от стада на приличное расстояние, — то я бы хоть ручку погладил. Дозволено ведь даже танцевать с местным населением, ты же слышал. А уж в танце не токмо за ручку, но и за талию поддержишься.

Мне ли не понять дружка!

Нас оторвали от женщин без малого год назад. Сашка, тот даже и не женатик. Лучше ему или хуже, нежели нам, которых женушки забрасывают отчаянными письмами, наивными, глупыми, даже подчас бесстыдными, бередящими душу и плоть, письмами, без которых солдатская преснятина была бы вовсе нестерпимой — хоть вешайся?!

Армейская наша житуха меж тем идет своим чередом. Новостей много отовсюду, да все они безрадостны.

Оглашен Указ об усилении ответственности за самовольные отлучки. Ого!..

В начале тридцатых, когда я служил на действительной, мой дружок Лешка Сабинин смылся из Брянска, где стояла часть, аж в Москву. Заявился беглец на шестые сутки, несколько помятый, под глазом фонарь. Его, конечно, изрядно прочистили перед строем. Постоял он на лагерной линейке полчаса без ремня, выслушивая гневную речь комиссара, потом отсидел на губе 20 суток (при полном кухонном обеспечении, разумеется). И всех делов. Задумав побег, Лешка все рассчитал, вычислил. По тогдашнему уставу отлучка из части сроком до семи суток считалась самоволкой и наказывалась отсидкой на губе. И лишь по истечении этого срока дело передавалось в трибунал за дезертирство.

Наивный либерализм!

То ли дело новенький указ. Самовольная отлучка для того, кто служит срочную службу, — это отсутствие в расположении части не более двух часов. Свыше двух часов — дезертирство; трибунал, дисбат, а то и тюрьма. За самоволку же вводится в отдельных случаях строгий арест до десяти суток: горячая пища через день; в постный день — хлеб и кипяток (отнюдь не чай с сахаром!).

Политруки растолковывают новый указ. Формулировки во всех ротах совпадают почти дословно. Как видно, указания даны выше.

...Запись в моей книжечке, карандашная, полустертая, различимая хорошо лишь под лупой:

— Праавительстао, родной товарищ Сталин не забыли про нас, не оставили без отеческого анимания призванных а ряды Вооруженных Сил!

Незадолго до ужина, пристроившись под елью, на почтительном расстоянии от лагерных палаток, мы с Соколовым судачим на темы, навешанные новым указом.

Само собой, указ создан для устрашения. Жестокости аласть предержащим не занимать. Если за сбор колосков, оставшихся на убранном пшеничном поле, под расстрел подводят, то за самоволку сам Бог велел отдавать беглеца в трибунал. Тут начальство и понять как-то можно. Самоволки, конечно же, разлагают армейскую часть.

По иронии судьбы нас в данное время новый указ мало задевает. Мы аеь за границей. Еще за границей!.. Не зная языка, не имея поблизости ни родных, ни знакомых, с двумя латами в кармане отлучаться из полка не очень-то потянет.

Но можно ли с помощью таких указов, какой нам объявили, устранить причины, побуждающие солдат время от времени убегать из части?

Какой же выход?

— Сокращение срока службы в армии, предоставление срочнослужащим регулярных узаконенных отпусков. А до этого, Саша, нам, боюсь, и не дожить...

Но тут горнист прервал нашу неуставную беседу, заиграв быстрое «тара-тата-тата» — «бери ложку, бери бак, нету хлеба, иди так».

Наступил час вечерней пшенки.

ГЕТЫ..

Политинформация:

— Мы забиваем голову собственными мыслями и не думаем о государстве.

Что верно, то верно. Собственные мысли государству не в дугу...

Распорядок дня: «Купание личного состава — 13.40—14.00». По-быстрому! Коей за такой срок не выкупаешь. А людской состав можно и за пять минут: окунулся — вылезай!

Разговорился с солдатом латвийского полка. Он из Латгалии и знает по-русски. У него тяжелые мужицкие руки с широкими лопатообразными кистями. Он только что вернулся из дома, с хутора, был отпущен на 10 дней подсобить отцу. Хозяйство у семьи среднее по размерам — 20 га. Ну и скотина, конечно. Работы всем хватает. Солдат спросил напрямик — верно ли, что землю и лошадей заберут у латышей в колхоз и всем оставят только по одной корове. «И что будет, если мы не пожелаем отдавать хутор, ведь это наша собственность, мы ее получили по наследству». Покрывив душой, я сказал, что латыши,

наверное, сами решат, как и что у них будет, и, надо надеяться, все кончится хорошо. Поторопившись перевести разговор на другую тему, я поинтересовался, как служит в полку. Солдат пожаловался: отпуск очень короткий, и на дорогу домой денег не дают, приходится ездить за свой счет. Ну, а так ничего, домашняя работа, конечно, тяжелее, чем солдатская. Но дома ведь на себя работаешь!

Отбывание воинской повинности ни в каком государстве не в радость. Однако здесь оно не связано в полным отрывом от семьи, от отцовской фермы, от любимой девушки или от молодой жены. В малом государстве такой режим установить нетрудно. Но почему нашего призывника засылают для прохождения службы за пять тысяч верст от дома? Чтобы не смог отпроситься к семье, хотя бы денечка на два? Чтобы не забивал себе голову, как выразился политрук, собственными мыслями? Чтобы только о государстве думал, о воинском долге, денно и нощно...

Объявлены выборы в новый сейм, старый после ввода наших войск распущен.

Политинформация:

— Мы обеспечиваем свободу выборов!

И то сказать — не обесчечишь, того и гляди, выберут не тех, кто нам нужен. Ходят слухи, что какие-то группки шебаршатся, свои списки составляют. Да, уж эта буржуазная демократия!

А пока суд да дело, еще за неделю до выборов мы вот что учинили.

Среди ночи наш полк и поддерживающие его средства усиления развернулись по тревоге для исполнения некоей боевой задачи. Боевая так боевая, нам не привыкать стать. Воевать с мирными покладистыми латышами у нас нужды не возникнет, в этом мы уже уверились. А без боевых тревог и учений войску не обойтись. Личный состав надо взбадривать, дабы не заплесневел он от безделья.

Но на этот раз тревогу объявили не понарошку. Полку и в самом деле предстояло выполнить аесьма непростую операцию. Боевую или не вполне боевую — узнается после.

Еще до рассвета наши батальоны выдвинулись на окраину Алуksне, обложив казарму латвийского полка с трех сторон (с четвертой стороны мирно плещется озеро). Соколову, Стадиюку и мне приказано связать штаб полка с наблюдательным пунктом гаубичной батареи, размещенным на возвышенном месте, откуда хорошо просматривается казарма. Как и положено, на НП кроме наблюдателей находится командир батареи — молодой, несомненно обстрелянный артиллерист: гаубичный полк участвовал в Зимней войне.

Подключив телефонный аппарат и прозвонив линию, докладывая комбату, что связь с нашим полком действует; прошу разрешения нам троим остаться на НП на случай прорыва иривоада или других неисправностей. Комбат кивнул а знак согласия, не произнеся ни слова. Он заметно аолнуется, не стараясь даже этого скрыть. И нам троим аолнение его件нятно.

Пока мы наводили сюда линию и подслушать нас никто не мог, Сашка Соколов, дежуривший накануне при штабе полка, вот что рассказал.

Утром а полк прикатил из Гулбене, где расквартирован штаб дивизии, бригадный комиссар а сопровождении еще каких-то чинов. Бригадный сразу набросился на командира полка и комиссара:

— Что вы торчите в этой чащобе, как сычи?! Кто мы здесь, бедные родственники?! Вон казарма, занимайте ее — без промедления, завтра же!

Командир полка напомнил бригадному, что казарма не пустует, в ней расквартирован латвийский полк.

— Будто мы этого не знаем! — вскипел бригадный. — Вас, майор, что, учить надо, как действовать в подобной ситуации?

— Но применять силу...

— Применять не придется! Сопротивления не предвидится. А продемонстрировать надо. Полезно. План операции согласован.

Распалившись, бригадный впилил нашему комполку что-то насчет политической незрелости... Мы представляем здесь великую державу! Это следует помнить и вести себя подобающим образом.

Нашему майору оставалось только козырнуть и принять к исполнению приказ.

Стадиюк, выслушав рассказ Соколова, на этот раз очень серьезно произнес:

— Погано це, хлопци. Сором. Прийшли до чужой хаты та хазяину кажем: геты!

— Самое подходящее словечко ты нашел, Павло! — откликнулся Сашка. — Геты! По-нашему — вон! А могут они послушаться? У них в полку едва рота наберется. Солдаты распущены по хуторам, родителям в помощь. Вооружения кот наплакал, говорят — батарея русских трехдюймовок одна тысяча девятьсот третьего года выпуска сохранилась. В музее выставить можно...

Уже совсем рассвело. Наблюдатель, прильнув к стереотрубе, докладывает комбату:

— Возле казармы группа людей. Кажись, начальник штаба дивизии, командир стрелкового полка. А вот ихний военный, с усами.

Комбат заглянул в окуляры и отрывисто бросил:

— Продолжать наблюдение.

Минут через десять:

— Откозыряли друг другу... Возле казармы никого. Разошлись...

— Наблюдать!

Комбат стоял, сцепив руки так, что пальцы побелели. Тягостные минуты. Так проходит полчаса, час...

— Товарищ комбат, товарищ комбат, гляньте! Повозки подошли, грузовичок подан... Солдаты барахло вытряхивают, грузят койки, матрацы.

И тут — зуммер батарейного аппарата. Комбат хватается трубку и уже во весь голос, ликуя:

— Есть снимать НП! Есть сматывать связь!

Снял фуражку, вытер платком лоб. На его лице появляется нечто вроде улыбки.

Что он пережил в ожидании отбоя, этот артиллерист?! Ведь он, и только он, ведет стрельбу, он дает команду на открытие огня. И кто лучше него знает, какова убойная сила гаубичного стотридцатимиллиметрового снаряда! Два пристрелочных, три на поражение, и что останется от трехэтажной казармы, от людей, там находящихся!

Быть может, он, как и все мы, надеялся, что не придется вести огонь. Но гаубичные заряды ведь настоящие, не холостые! Да и самая мысль, что участвуешь в чем-то постыдном, была нестерпима.

Испытание совести... Срам. Срам...

Вездесущие всеслышащие дружки из нашей роты связи рассказали потом, какой произошел разговор вблизи казарм. Командир латвийского полка, почтенный усатый полковник, спешно вызванный из дома (был воскресный день), выслушав ультиматум, только руками развел:

— Господа, пожалуйста, мы к такому развитию событий были готовы. Но зачем же так! — он показал рукой на броневичок, нахально уставивший свой пулемет на казарму. — Вы бы нам просто сказали, что вам нужна наша казарма. Мы уже на всякий случай договорились и сегодня зайдем до осени здание школы на другом конце города.

Как потом нам рассказывали, офицеры латвийского полка так объясняли своим солдатам происшедшее:

— Мы уступили русским казарму, так как они еще до прихода в Латвию долго жили в лесу, а раньше асоевали зимой с финнами и теперь болеют...

Наши батальоны заняли казарму уже асечером, как только латыши очистили ее. Они весьма добросовестно аыаезли решительно асе, тут им не чинили препятствий; нам достались стены, аысокие потолки да асфальтовый пол. Раскатали мы на нем свои куцы шинелишки и улеглись спать.

Наутро, еще до побудки, Соколов, уместившийся рядом со мной, аыдал саой аечердной опус:

До упаду, до пота седьмого играли в футбол,
Спать улеглись на холодный асфальтовый пол.
Под голову ранец, сверху палатка, снизу шинель,
Снились мне Сочи, «Ривьера», кавказский отель.

— Растешь, Саша! Это уже лучше, чем «Милая латышка, ты свежа, как пышка...». Но я что-то не помню, чтобы мы тут а футбол играли.

— Вредствуешь! Имею я право на вымысел! Мне для «пола» требовалась рифма.

— Когда ты успел это сочинить? Мы же только вчера отвоевали казарму.

— Я давно не силю, к асфальту ведь надо адаптироваться. На еловых ланках в палатке было помягче.

Реплика из угла:

— Кто помнит, как спят на подушке?

Из другого угла:

— А как спят с женой, ты часом не подзабыл?

Тут дневальный наконец заорал «Подъем!».

В захваченной без боя казарме прожили мы всего лишь дней десять. Почти сразу после выборов в новый латвийский сейм, которые мы столь блистательно обеспечили, дивизию вывели из Латвии.

Напоследок Саша Соколов аыдал мне аечердной саой опус:

Браво, хлоппы, браво!
И Рига, и Либава,
А также Каунас — теперь у нас!

Грузились мы в эшелон в Гулбене. Перед посадкой в телятник, истратив четыре сантима, я купил кружку молока и булочку. Последние сантимы буржуазной валюты и последняя кружка молока от буржуазной латвийской бурой коровы...

«В течение долгих лет латвийский народ стонал под гнетом эксплуататора, подвергается грабежу и порабощению, обреченный на нищету и вымирание». Это я потом уже

прочел в Декларации о вхождении в состав Союза ССР, принятой народным сеймом Латвии 21 июля 1940 года. Днем позже Государственная дума Эстонии приняла подобную же декларацию, в которой говорилось: «Эстонский народ долгие годы изнывал под игом реакционного режима, подвергался ограблению и угнетению».

Латыши стонали, эстонцы изнывали. То же самое происходило и с литовцами... Выбирать выражения некогда, да и ни к чему это было особоуполномоченным Сталина, возглавившим акцию сорокового года в Прибалтике.

...Дождь. 3 часа ночи. Только что пересекли границу. Себеж. Дежурная по станции поднимает свернутый на древке флажок и, грустно улынувшись нам, произносит со аыакомым мне с детства акцентом:

— Ну, хлопцы, ужеж наехали, бувайце...

Мощный «Су», набирая скорость, тащит эшелон сквозь поля и леса родной моей Белоруссии. Обнищавшие колхозные села. Прогнившие, поросшие мхом драночные крыши. Изможденные, усталые люди. Лица бледные, худые. Дети, выпрашивающие хлеб. И милиционеры, безжалостно их разгоняющие.

Подобным образом вытравливается еще один пережиток капитализма — попрошайничество. Как быстро мы, однако, отвыкли от лицемерия этого пережитка, прожив всего лишь каких-то пять недель в буржуазной стране!...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Полк выгрузился не доезжая Бреста. Нас разместили в военном городке, где квартировали совсем еще недавно польские уланы.

Местные жители поглядывали на нас, как мне казалось, с некоторым пренебрежением. В самом деле: были красавцы уланы, а тут, как треплются наши же артиллеристы, «пехота, перхота, не пыли».

Одной мыслью жили мы, тридцатилетние: домой! Ведь мы не только отвоевались на Карельском, но, асерж того, подверстали к нашему государству три Прибалтийские республики. И, судя по газетам, по успокоительным политинформациям, нам а обзоримом будущем никто асерьез не угрожает. С Гитлером мы ароде как подружились. Правда, немецкие аойска — аот они, на Буге. Но ведь у нас же с Германией аогоаор!..

Сам Бог аелел домой отпращаться.

Однако еще долгих четыре месяца длилась канитель. И вот, а аоаце ноября сорокааого я дома, на Шестой линии! Жена аыбегает на азвонок, я аааал телеграмму, кидается на шею и адруг, алоано опомнившись, отстраняет меня, а глазах ее не то испуг, не то отарашение.

— Да что же это? Что на тебе надето? Ты разве из тюрьмы? Ты же аоевал! Какой позор! Сейчас же снимай асе с себя тут, у порога, ступай а ванну, там асе ариготовлено. А я эту мерзость сразу унесу на помойку... Боже, какое унижение...

Она разрыдалась.

Я адруг понял, что обмундирован еще хуже, чем в июне, когда мы вторгались в Латвию. Такие ватники, и в самом деле, аыаают разве что заключенным.

Пытаюсь ее успокоить.

— Пойми, пришел приказ, подписанный не то главным интендантом, не то самим Тимошенко: авольнять из армии в поношенном, рабочем. С нас новое, аыданное в Латвии, и содрали. Выдали б/у, но стираное, аошек на мне нет.

Жена не унимается.

— Эти ужасные обмотки, эти бывшие ботинки, их же на спившемся бродяге только увидишь! Как ты мог надеть такое? Я бы швырнула в лицо аашему Тимошенке такое тряпье!

Она расстелила у порога ватник, пошвыряла в него весь мой ханал-манал и, держа узел в вытянутых руках, аыскочила за дверь.

Я авноь обосновался в роли репортера на радио. Вольная жизнь с ааждодневыми разъездами, со внеаудийными передачами продолжалась по аозобновлении месяцев семь. А спустя три дня после ачала нацистского вторжения, 25 июня 1941 года, меня аааь призвали в армию, теперь уже надолго, до осени сорок аыаого.

Потом была блокада.

Про свой полк, откуда меня аволили осенью сорокааого года, я аспоминал редко — не до того было. И вот, долгое время спустя, уже в мирные дни, я авидел в газете фотоаграфию: троое плачущих мужиков аоят в обнимку, голова к голове. Меня аловно электрическим током адарило. В одном из троих я аризал командира моего 44-го полка 42-й стрелковой дивизии майора Петра Михайловича Гаарилова. Аризал сразу, хотя он был в штатском, а с того времени, когда я аидел его в последний раз, прошло 16 лет, да каких лет! Неудивительно, что азнал я Гаарилова, — в Копаагороде и в Латвии он ааждодневно бывал в ротах, а зрительная амять у меня была отменная. Наблюдал я Гаарилова и в шта-

бе, где нередко околичивался как связист. Выразительное, запоминающееся, немного скуластое лицо. Говорили, что он татарин. Быть может, наполовину, судя по фамилии? Поговорить мне с ним не удалось ни разу — от рядового до командира полка дистанция огромная. А пустословия, наигранного наигранности («Как служится, солдат, пайки хватает?») за ним не наблюдалось. Был он суховат, как мне помнится, деловит, строг. Упущений не пропускать, взыскал. Однако не слышал я, чтобы он учинял громкие разносы подчиненным.

Трое плачущих мужчин, изображенные на снимке, — офицеры, сражавшиеся с нацистами в 1941 году в Брестской крепости. Одиному из них, интенданту 44-го полка Н. И. Зорикову, в первые же часы войны оторвало по плечу руку. Гаврилов же был пленен немцами лишь на тридцать второй день войны, 23 июля 1941 года. Он возглавлял гарнизон Восточного форта, одного из главных очагов сопротивления в крепости.

Вот что рассказывает о пленении Гаврилова в широко известной своей книге «Герои Брестской крепости» Сергей Сергеевич Смирнов:

«Пленный майор был в полной командирской форме, но вся одежда его превратилась в лохмотья, лицо было покрыто пороховой копотью и пылью и обросло бородой. Он был ранен, находился в бессознательном состоянии и выглядел истощенным до крайности. Пленный не мог даже сделать глотательного движения — у него не хватало на это сил, и врачам пришлось применить искусственное питание, чтобы спасти ему жизнь.

Гитлеровцы рассказали врачам, что этот человек, в котором уже едва-едва теплилась жизнь, в одиночку принял с ними бой: бросал гранаты, стрелял из пулемета, убил и ранил нескольких солдат... Было ясно, что только из уважения к его храбрости пленного оставили в живых. После этого, по словам Вороновича (пленный советский врач, лечивший Гаврилова. — *М. И.*), в течение нескольких дней в лагерь из Бреста приезжали германские офицеры, которые хотели посмотреть на героя, проявившего удивительную стойкость...»

Защитники Брестской крепости, среди которых были и бойцы моего полка, показали наивысшие образцы исполнения воинского долга, преданности отечеству. Однако их деяния, их имена долгое время замалчивались. Все должно было соответствовать пропагандным канонам. Вот если бы державшие оборону крепости погубили все до единого! А то ведь некоторые в плену оказались. Да, да, кончились патроны, не стало еды, питья. И все же. Безоговорочные герои — те, что принесли себя в жертву: один заткнул собою амбразуру дота, неподавленного, изрыгающего огонь; другой, чтобы не попасть в плен, приберег последний патрон для себя...

Петру Михайловичу Гаврилову после войны и плена была аprobe и честь оказана — он одно время исполнял в Сибири обязанности начальника лагеря для военнопленных японцев. Боевой офицер, воспитанник Военной академии имени Фрунзе, командир лучшего в дивизии полка. И — вот так... Уничтожили человека дважды — принудили к захвату казармы латышского полка и затем, самого перенесшего плен, поставили сторожить пленных.

Все же Петру Михайловичу Гаврилову уже во время хрущевской оттепели, в 1957 году, присвоили звание Героя Советского Союза. А еще через год его набрали в Верховный Совет СССР. Ему было тогда под шестьдесят. А ведь к моменту окончания войны ему исполнилось только сорок пять...

Адольф Урбан

О КРИТИКЕ

Желательно было бы увидеть в критике «свесть литературы», если бы подобные слова не звучали самонадеянно в устах автора, аарабатывающего этим ремеслом на жизнь. Ленинградский критик Адольф Урбан (1933—1989) предпочитал более рациональную — и всеобъемлющую — формулировку: «Критика — самосознание литературы». Себя же самого аттестовал а ней как «смыслоаика». Он признавал, что растолковать, почему то или иное творение прекрасно, идеал недостижимый. Не справляются с объяснением и сами художники.

Я тоже слабо верю, что критический анализ а состоянии уловить и запечатлеть на бумаге тайну гармонии или адекватно объяснить, а чем же состоит сущность искусства. Тут, как а толстовской притче о счастье из «Войны и мира»: тянешь, тянешь аналитический бредень, а вытаскиваешь на поверхность — и вся «красота» схлынула назад а произведение...

Но тянуть, работать — надо. Даже если этот труд сравним с сизифовым. В этом Урбан был убежден, как мало кто другой. Ибо смысл, порой неведомый самим творцам, критику на художественного текста извлекать аадежит. Надлежит думать о смысле красоты — а исторической жиаии, где красота не является ни мерой, ни нормой существования. Выделяя уникальные черты каждого отдельного явления, Урбан умел постоянно сопрягать идеи друг от друга далековатые — и во времени, и в пространстве. Неуловимые, блуждающие образы прекрасного становятся у него обозримыми, материализуются, попадая в единый контекст культуры.

Но можно ли логически связать между собой то, что по сути своей неповторимо и неповторимостью только и ценно? Этот вопрос стоял перед критиком при написании каждой из его книг. Один из крупнейших специалистов а области отечественной поэзии XX века, он составлял их из отдельных портретных глав, подчеркивая неслиянное сосуществование различных поэтических систем в сообща творимой культуре. Книгами этими можно пользоваться как роскошно иллюстрированным путеводителем по русской лирике уходящего столетия. Но есть в них и более глубокая перспектива. Стоит изучать не общее выражение отдельного поэтического лица.

И не менее важно уловить направление его взгляда, увидеть те зеркала, в которых он отражается.

В разные годы и уровень интереса к поэзии различен, и сама поэзия поворачивается к человеку разными гранями. Две последние книги Урбана «Образ человека — образ а времени» (Л., 1979) и «В настоящем а времени» (Л., 1984) были посвящены именно атой проблеме «переакцентуации», как ее, аслед за М. М. Бахтиным, определял автор. Речь шла об эволюции эстетических ценностей, об их обогащении или ахолоаииаии при смене эпох.

В анализе стихов Урбан исходил из реалистического положения о том, что для поэта «главное не так называемые муки творчества, а муки жизни, полное кроаое ее чувствование». По отношению к Таардоаскому исследователь говорил даже о его недоверии к «мукам аюаа», противопоставляя им доверие поэта к самому по себе русскому языку. Стихотворение — это саоего рода «вспышка жизни», запечатленная а художественной речи, как писал Урбан в одном из очерков. Поэзия не прилагается к действительности изаие.

Не только содержательная сторона творчества, но и его изобразительная сущность, сама поэтика прямо аависят от глубины переживания художником жизни. В поэзии отражается человеческая судьба. Автор, не распознавший ее, не распознает и своего поэтического предназначения, его дар рассыпается, аместо того чтобы концентрироваться. Поэтическое бытие — «это не собрание фрагментов, а постоянно аюаоляющаяся целостность», — писал Урбан. — В девятнадцать ли, в девяносто лет — человек одновременно владеет всем, что случилось на его веку».

Мысль о «собрании целого» как цели критической деятельности натолкнула Урбана на способ выражения, который можно назвать «репрезентативным»: материал не остается за пределами исследования, но включается в него в качестве самостоятельной, говорящей величины. Долговременный поклонник Бахтина, Урбан сознательно исповедовал принцип многоголосия. Культуру он моделировал как систему диалогических отношений. Точка зрения каждого из участников спора должна быть по аоаможности

изложена гоарящим, а не ааторской иятерпре-
тацией его речи.

Частная, казалось бы, проблема цитирования чужих текстов занимала Урбана а высшей степени. Он и аообще склонен был расценивать достоинство работы саонх коллег по цеху в прямой зависимости от того, насколько удачно они умеют обращаться с цитатой. Несколько грубо, но справедливо, он полагал, что у большинства из пишущих о литературе чужой текст сигнализирует об ипсаянии собственной ааторской мысли и нужен, по существу, лишь для того, чтобы уаеличить а меркантильных целях объем собственной критической продукции. «Монографическому» способу последовательной склейки чужих фрагментов для уяснения априори известного аатору результата Урбан противопоставлял иной метод — «диалогический». Цитата а его работах — это цитата-собеседник.

В умении находить общий существаенный для эпохи знаменатель при сопоставлении различных эстетических систем Урбан был отменным мастером, аиртуозом своего дела. При известном «кризисе общения», все более углубляющемся в сфере художественной жизни сегодняшнего общества, роль аавторов, способных аести праади-аую и ненадуманную беседу со своим оппонентами, аряд ли может быть искусственно аавышена. Тем более таких, как Адольф Урбан — с его интеллектуально раскрепощенным, иворн скептическим, но облаченным а литературоведческие научные одежды словом.

Почию, как на вопрос, кто наименее пригоден для критической деятельности, Адольф, не колеблясь, заявил: «Профессиональные диссертанты». А а случаях, когда ему рекомендовали нового аавтора, ухмылялся: «Надо еще проаерить, не кандидат ли он наук!» Конечно, асе это не было, что называется, «принципиальной позицией». И в отделе критики «Звезды», а котором Адольф Урбан проработал четаерть века, публиковались замечательные литературоведы академической складки — кандидаты и доктора наук. И а целом немалая заслуга Урбана — так же,

разумеется, как и аозглавлявшей отдел а шестидесяти-семидесяти годы Нины Георгиевны Губко, — заключалась а том, что журнал, избежаа соблазнов легкокрылого эстетизма, не ппал и а грех заскорузлого идеологизаторства. К работе а журнале были привлечены а равной степени основательные и незаписимые (сочетание непротиворечивое) критические умы той поры. Во аском случае, критика «Звезды» отличалась а те годы аавидной для любого журнала непреда-затостью мнений.

Сегодня при всем разлзааанном море обступающей нас информации мы живаем а аесьма суженном культурном пространстве. Все аидят *одно и то же*, говорят об *одном и том же* и а воле-мике ипользуют *одно и то же* оружие — не-аажно, по какую сторону покамест призрачных баррикад.

Урбан и а этом смысле занимал отдельную, многим казавшуюся сторонней, позицию. И ао-обще, если можно так аыразиться, был «человеком отдельным».

Стоит обратить анимание хотя бы на те ори-ентиры, что он избрал а публикуемой статье для рассуждения о таком априори соарременном жанре, как критика: Гете и Пушкин, Сент-Бел и Брюса... Не говоря о совсем уж экзотическом для современного слуха имени Анатоли Франса...

Заголовок статьи «О критике» дан нами. А самом деле с этого никак не назанного аавтором размышления должна была начаться новая книга Адольфа Урбана — о «шестидесятниках», к которым он причислял и себя. К сожалению, на бумагу легло лишь начало этого труда. Но и в этом отрывке Адольф Адольфович Урбан уснел ипсериывающе сказать о роли и назначении критики а соарременном литературном процессе. Особенно хочется выделить его определение, выражающее неизменную в литературной жизни позицию: критик — «чернорабочий цепи. О-аеититель». Именно так. Критик — не премьер, не балааень зрителя, не кумир... Но без него литература пребывает ао мраке.

Андрей Арьев

Приступаешь к книге в знаешь, что она может устареть прежде, чем поставишь точку в ее конце.

Книги литературно-критические о том, что происходит в словесности сегодня, писать рискованно. Статьи и то стареют за несколько месяцев.

Не поспеть за темном новых публикаций.

Трудно уследить за коловращением сталкивающихся идей, сменой авторитетов, «переакцентуаций», как назвал когда-то М. М. Бахтин новое аосприятие старых явлений. И изменение в оценках хорошо известно.

Непросто определиться в напоре долго сдерживавшегося литературного потока, который прорвал плотину и хлынул на еще недавно скудную почву.

Впрочем, есть на эти вопросы и ответ совсем простенький: не надо суеититься, оглянитесь назад, — не во вчера и позавче-
р *Радья Ор. Дербено Лилэ*

Там все стоит на месте: читайте «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина в современном журнале. Читайте классику и не думайте, что перемены — благо. Умейте не только стоять на своем — или чужом, однако хорошо затверженном, — но и возвращаться всиять, туда, где и «Слово о полку Игореве» уже динамиче-ский сдвиг. К «Влесовой книге», например. Мифология подлинная и вноаь нафантази-рованная не подведет. В ней все — высшая правда, потому что она — мифология. Оду-хотворяет, возбуждает чувства и не требует рациональных обоснований и достоверности доказательств <...>

Тут легко не только написать, но и «наго-ворить» книгу. Или три короба, три тома, тридцать три магнитофонные кассеты. Ми-фологемы резко очерчены: силы добра а силы зла, гонимые и гонители, заговорщики и Божьи войны, отстаивающие правое дело.

Сегодня мы читаем одно, откладываем

в сторону, а завтра читаем совсем другое. Одно принимаем как долгожданное наслед-ство, другое — отвергаем.

Вот самый первый слой: «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева, «Плаха» Ч. Айтматова.

Слой следующий: «Белые одежды» В. Дудинцева, «Зубр» Д. Гранина, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Исчезновение» Ю. Трифонова.

Слой третий: «Доктор Живаго» Б. Пастернака <...>

Слой глубинный — из раскопок: «Юве-нильное море», «Котлован», «Чевенгур» А. Платонова, «Собачье сердце» М. Булгакова, романы В. Набокова...

В поэзии: «Реквием» А. Ахматовой, «По праву памяти» А. Твардовского, «Пого-рельщина» Н. Клюева...

Это я пишу сегодня.

И уже знаю, что через иолгода надви-нется еще несколько новых слоев сверху и ландшафт снова изменится. До многого мы еще не дошли и а поэзии, и в прозе, и, в особенности, — в философии.

Что же это в самом деле? Неожиданно свалившееся богатство? Открытие кладов? Стремительное созидание новых ценно-стей?

Вероятно, и то, и другое, и третье.

Так можно ли писать обо всем об этом книгу? Похоже, что нет.

О М. Булгакове — можно, об А. Платоно-ве — можно, о Н. Гумилеве, А. Ахматовой, Н. Клюеве — можно. Обо всех сразу — не-льзя. О каждом отдельно — будет ново. О входящих в дверь сию минуту и тол-ной — старо.

Дверь открыта, и давние знакомцы, пере-мешавшись с незнакомцами, появляются решительно и быстро. А. Битов несет «Пушкинский дом», В. Каледин — «Сми-ренное кладбище», Ф. Искандер — «Кро-ликов и удавов», М. Кураев — «Капитана Дикштейна», В. Конечный — «Пройденно-го пути никто не отберет». Что тут можно сказать, кроме самых общих объяснений.

И все-таки попробую написать книгу не о далеком, а о близком, отступив лишь на шаг в сторону, чтобы оказаться и анутри и вне этого потока. Посмотреть на него и на себя одновременно. Потому что, отрешив-шись от себя, ипсать сегодня вряд ли возможно. Особенно а критике.

Надо и по поводу критики изяснить.

Еще Пушкин писал: «Состояние крити-ки само по себе показывает степень образо-ванности асей литературы вообще».

О литературе можно судить по критике. Развитие литературы без участия критики односторонне и неестественно. Критика — самосознание литературы. Развиваться, не давая себе отчета, куда и зачем развива-ется, что пишет и к каким результатам приходит, литература не может. Иметь цель лишь внутри себя для литератора едва ли достаточно. Он вольно или невольно

оглядывается на предшественников и со-временников, участвуя тем самым в общем движении.

Критика здесь посредник между писате-лем и литературой в целом, между литера-турой и читателем. Она кратчайшим обра-зом обеспечивает линию связи между писа-телем, литературой и обществом.

О критике говорят много возвышенных слов.

Говорят: критика не только судит о писа-теле и литературе, но и сама — литература.

Критик не только следует за мыслью художника, но и сам своего рода художник, личность, имеет полное право на самовыра-жение.

В крайности критика способна существо-вать словно бы помимо писателя, в сущно-сти, помимо своего предмета, как бы сама для себя. Потому что, в конце концов, есть высокая теория, есть общие концепции, есть индивидуальность критика... Иными словами, есть будто бы некая автономная область, связанная с субъективным эстетиче-ским суждением.

Я не хочу ограничивать возможности и сферу применения критики — они дей-ствительно широки, хотя и мог бы поспори-ть с некоторыми крайностями». Напри-мер, с персонафицированной необязатель-ностью мнений. Сказать: «Я так думаю» — не значит еще убедить, что все так обстоит на самом деле. Даже гений — Пушкин — не позволял себе гоарить: «Это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно».

У критики есть не только право на самостоятельное мнение, но и обязанность быть предельно точной. Иля, по меньшей мере, мотивированной.

Но речь сейчас даже не об этом. А что если критика — прежде всего работа?! Не в том всеобщем смысле, что всякое дело — работа. И уже — всякое литературное за-нятие требует усилий, труда, нервов, нако-нец, имеет свой материал и свои приемы. Но еще в более непосредственном, черно-вом и строгом смысле слова.

Короче говоря, если и критике есть место на Олимпе, то какой ценой и усилием достигает она олимпийских высот?

Перелистайте сборник Гете «Об искус-стве» (М., 1975) — пример довольно нео-бычный. На вершине Олимпа немного та-ких небожителей, как Гете. Еще не открыв тома, мы, пожалуй, готовы оправдать при-чудливость критических оценок субъектив-ностью гения. Во всяком случае, право утверждать: «Я так думаю» — мы признаем за ним безоговорочно. Как бы он ни думал, даже — как бы ни ошибался, нам будут интересны его мысли и сами его ошибки. Шутка ли: *так сказал Гете! Так* он ошибался.

Но, удивительное дело, своими исключи-тельными правами Гете не пользовался. Во всех его критических оценках поражает

исключительная добросовестность. Прежде чем произнести суждение, он подробно знакомит собеседника с произведением.

Уже одно это — дело, требующее труда и ответственности. Гете осознает невозможность адекватного «пересказа». «Искусство — перелазатель неизречимого; поэтому глупостью кажется попытка вновь перелазать его словами. И все же, когда мы стараемся это делать, разум наш стяжает столько прибыли, что это с лихвой восполняет затраченное состояние».

Пересказы Гете в кратком варианте как бы воспроизводят вещь. Он с возможной — порою даже педантичной — точностью и полнотой стремится перевести ее на язык критической прозы.

Даже когда речь идет о больших и многосложных явлениях, он, не опасаясь наскучить, стремится исчерпать факты. Характеризуя сборник народных песен «Волшебный рог мальчика», он на многих страницах дает краткие характеристики каждой отдельной песни. Знакомя читателя с сербскими песнями, он подряд перечисляет мотивы и фабулы 55 из них.

Гете не пренебрегает ссылками на источники. С великой радостью и удовольствием приодит родственные мнения, корректно отдавая предпочтение чужому открытию.

Даже за двумя-тремя страничками текста статьи всегда чувствуется глубокое профессиональное изучение предмета.

Скрупулезный пересказ древней рукописи «Священные волхвы» заканчивается ее описанием: «Льняная бумага с поперечными полосами и водяным знаком в форме виноградной кисти. На каждой стороне начерчен тонко разлинованный квадрат, замыкающий текст... Шрифт исключительно ровный и тщательно выписанный, со многими повторяющимися сокращениями, без знаков препинания... На полях неразборчивые замечания...» И только после этого — выводы и обобщения.

Это похоже на современные научные публикации и библиографические описания новых находок.

Однако для Гете нет особой разницы между древней рукописью и рукописью современной. Столь же основательно он знакомит и с любительской рукописью, озаглавленной им «Немецкий Жиль Блаз».

Это — «рукопись, содержащая ежегодные записки и дневники человека, которого с детства бросало в разные стороны». В ней нет профессиональных ухищрений, и потому она скорее напоминает «произведение природы». Но «все развитие жизни этого человека, — полагает Гете, — примечательно в его связях с внешним миром, когда он, гонимый и сам себя гонящий, становится очевидцем некоторых мировых событий нового времени».

Первый вариант этой статьи сегодня мы бы назвали «внутренней рецензией» (позже он написал предисловие к издаваемой

книге). Гете принимает участие в безвестном авторе. Рекомендует его записки к изданию.

«Но при издании не следовало бы даже помышлять о редактировании, потому что настоящее художественное произведение в изящном вкусе из него все равно не получится, тогда как широкий размах в описании дней и лет, многообразные изменения чередующихся и все повторяющихся обстоятельств уже сами по себе характеризуют именно данный образ жизни».

Говоря современным языком, это утверждение мемуарно-документальной прозы. Причем в ее непарадном народном варианте, в ее предельной подлинности. Гете озабочен запечатлением судьбы не какого-нибудь царедворца, высокопоставленного чиновника, святоши. Он убежден, что не следует «пренебрегать этим бедным парнем», ибо «человеческая жизнь еще меньше заслуживает, чтобы ее презрительно третировали за то, что, по всей очевидности, самым главным в ней оказывается именно жизнь как таковая, а не ее результаты». И он стремится, чтобы ее обстоятельства и факты не были искажены поверхностной беллетризацией.

Наконец, Гете по-человечески хочет «накормить и поддержать такого а сегое сегое хорошего, способного, подающего, беспокойного человека, умерив его страсти с помощью образования...»

И так почти по асем. Гете не проявляет и малейшей заботы о «самовыражении». Он деловит, прост, сердечно заинтересован тем, о чем пишет. Ни тени пренебрежения к рукописи, даже находящейся на грани литературы. Никакого олимпийского или самодовольного изощрения «по поводу» — а ведь всякое произведение дает возможность «показать» себя.

Но как раз именно такого рода попытки он и осуждает: «Каждый воодушевлен твердой верой в то небольшое, что он собой представляет или чем бы он хотел быть, и хочет себя именно в качестве такового навязать другому, вернее, другим, полагая, что все дело в этом».

А дело не только в этом. Работа Гете-критика направлена вовне. Он заинтересован прежде всего предметом разговора. «Настоящая критика» для него — это «любовь к истине», которая сопровождает «через все лабиринты».

Гете-критик осуществляет себя в работе. «Самовыражение» его не в способе изъяснения, не в демонстрации тех или иных своих качеств, но в целостном содержании деятельности, в весомости честного критического суждения, связанного со всей полнотой фактов.

По другому поводу он писал: «Ведь ничего нет удобней, как, забыв о содержании, следить за способом выражения. Мыслящий человек лепит словесный материал, не заботясь о том, из каких он состоит

элементов, бездарному же легко говорить чисто, поскольку ему сказать нечего. Как же ему почастовать, какой жалкий суррогат он употребляет вместо слова значительного — ведь это слово никогда не было для него живым, ибо он над ним не задумывался».

У критика живое слово сверх его собственного веса отягощено реальностью того художественного мира, о котором он берется судить, связано с интенсивностью восприятия, переживания и воспроизведения этого мира средствами критической прозы.

А это — большая работа, труд читателя, исследователя, истолкователя. Чтобы проявить свои силы, критик должен поднять глыбы материала. Его внутренние возможности реализуются вовне, через овладение этим материалом, через восприятие чужого текста, через наведение связей между текстом и литературой, литературой и обществом. «Самовыражение» критика не может быть независимым от предмета критического исследования. Как только критик забывает, о ком и о чем он пишет, он перестает быть критиком. Он ищет, но не один, а вместе с писателем, о котором судит, независимо — плохой это или хороший писатель, превозносит он его или испроаергает.

Как только писатель перестает быть для него реальностью, как только критик начнет демонстрировать себя, преаратия имени писателя в своего рода фишки, которые произвольно передаются из одного ряда в другой, он перестает работать как критик.

При этом можно, конечно, остаться близ литературы. Быть исправным газетчиком, публицистом, избрать свою тему высказывания и манеру красноречия. Касаться известных литературных имен и популярных художественных произведений. Для этих линейных композиций как раз нужны «известные» и «популярные» по преимуществу, потому что они используются как знаки определенного круга явлений, символизируются, но не берутся во всей многогранности своего содержания. Они служат «конструктивными» элементами субъективного критического самовыражения.

В критике нужна другая методика, точнее — другое внутреннее отношение к предмету: полнота сопереживания, пристальность и подробность критического взгляда, наконец, та чернорабочая добросовестность, которая понуждает держать на примете весь доступный материал. То есть мы приходим к той грани, где объект критики становится текстом, художественная система, личность писателя, а основой критической профессии — исследование, анализ, работа с материалом.

Однако не слишком ли утилитарна такая ориентация критики? Не получится ли, что, подчеркивая ее рабочий характер, мы снова

низводим критику с вершин Олимпа на окраины литературной жизни?

Попробуем еще раз взглянуть на эти вопросы с олимпийских высот. Вчитаемся в одну маленькую заметочку «О критике».

«Критика вообще. Критика наука. Критика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусства и литературы.

Она основана на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений.

Не говорю о беспристрастии — кто в критике руководствуется чем бы то ни было, кроме чистой любви к искусству, тот уже нисходит в толпу, управляемую низкими, корыстными побуждениями».

Это — черновой набросок Пушкина. Но сколько в нем расставлено точных вех: критика — «наука», основанная на «знании правил, коими руководствуется художник», на «изучении образцов», «дейтельном наблюдении современных явлений». А это парадоксальное сочетание «беспристрастия» и «чистой любви к искусству», которое — читатель! — поднимается против сеговолия и корыстного расчета. В конкретном пушкинском понимании — иротива болгаринского торгашества.

Пушкин высоко ставил критику. Ее состояние — прямое свидетельство степени развития литературы. Это — своеобразная мера культурных ценностей. Но это ее достоинство происходит не от сеговолия критической мысли, а от высокой творческой любви к предмету, от «знания», от «изучения». Понятие критики-работы не чуждо Пушкину.

Сам Пушкин был блистательным критиком. Его суждения о литературе непреходящи. Снова хочется оговорить пушкинское право быть субъективным, право гения создавать свои творческие законы и ими руководствоваться.

Пушкин, безусловно, знал цену себе, знал цену своим современникам. Он удивительно трезв в оценках. Хладнокровен в своей пламенной любви к словесности. Энергичен и краток в выражении мысли. Но в его критике нет завоевательского сеговолия. Навивно думать — а такое случается читать, — что Пушкин ко всем ревниво примерял свой гений. В его критике нет и тени собственного превосходства. Он естествен, прост, внимателен, сокровенно пылок. Его критические парадоксы не придуманы — они всегда отражают противоречия творчества, противоречия писателя, о котором ведется разговор.

О Ф. Н. Глинке: «Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединенная с изысканностью, какая-то вялость и в то же время

энергическая пылкость, поэтическое добро-душие, теплота чувств, единообразие мыслей и свежесть живописи, иногда мелочной, — все дает особенную печать его произведе-ниям».

Благожелательное, дружественное отно-шение к поэту и жесткая прямота сталкива-емых определений: смелость оборотов и прозаизм, энергическая пылкость и вя-лость, единообразие мыслей и свежесть жи-вописи... Вся характеристика построена на контрастах, на психологической смене про-тивоборствующих чувств, споре достоин-ства и недостатков, переходящих друг а друга. Характеристика, можно сказать, всеобъемлющая.

Еще лаконичнее и острее — об элегиях В. Г. Теплякова, в которых Пушкин увидел «силу выражения, переходящую часто в надутость, яркость описания, затемненную иногда неточностью». — Вообще главные до-стоинства «Фракийских элегий»: блеск и энергия; главные недостатки: напыщен-ность и единообразие». А Тепляков был изомом пушкинского круга! И Пушкин од-новременно щедро представлял его читате-лям «Современника», перепечатывая в своей статье огромные куски из стихотво-рений Теплякова. Пушкинская критика была строгой, бескомпромиссной и деятель-ной.

Настоящая критика — считал Пуш-кин — должна быть предельно точной и а своей высокой любви к словесности неу-смысленно справедливой; и нравственно недостаточно бойкая журналистика, ра-ная «отсутствию критики», которая судит «о литературе как о политической эконо-мии, как о музыке, т. е. наобум, понаслыш-ке, безо всяких основательных правил и сведений, а большей частью по личным расчетам».

«Личный расчет» критика почти всегда производится в ущерб писателю, подменяет задачи и цели художника умыслом истол-кователя. «Правила» же и «сведения» — конечно, не о нормативных требованиях идет речь — залог необходимого нравствен-ного и профессионального уровня критики, ее человеческого содержания и аналитиче-ской добросовестности.

Легкость писания ныне аещь распро-страненная. Критическая бойкость пера неоспорима. Единообразие и тяжеловесное занудство как будто уходят в прошлое.

Теперь критика разнообразна. Но частенько за счет произвольности. Необходи-тельна — недокказательна — в выводах и оценках. Критики ищут «себя», «свой стиль», «свой способ», «свою идею» выра-жения и при этом нередко теряют предмет разговора.

Предмет заменяется поводом. Поводом для посторонней импровизации, для «само-стоятельного» сочинительства. Как с неко-торой даже гордостью заявлено в одной из статей о критике: наша профессия исходно

нескромна, мы как раз это и делаем — выставляем себя.

Но каково тогда «предмету», если вспо-мнить, что предмет критики — литература, текст, писатель, творческая личность ху-дожника!

Одно из свидетельств «со стороны» — в «Банальной балладе» И. Волгина:

Помню, как-то
меня раанес один достойный критик.
Его собрат — не менее достойный —
меня вознес.

Мне кажется, что оба
тогда погорячились.

Став взрослее,
я осознал, что был предметом спора
весьма принципиального, который
едва ль касался собственно меня.

Ловишь иногда себя на мысли, что хо-чется прочесть статью не критика такого-то, занятого своим «принципиальным» спо-ром, обходя суть произведения, а дельный очерк о писателе таком-то. Дельную ре-цензию, дельный обзор. Литературный по-ртрет, близкий к оригиналу. Чтб был кой-кретный материал, информация, анализ, доказательства. Если не исчерывающие, то хотя бы вручающие путеводную нить.

Критики а литературе — чернорабочие. Не хочу яркость выражения противопо-ставлять труду критика. Но критика асегда начиается с работы.

Но откуда те блестящие страницы лите-ратурной критики или, как писал когда-то А. Макаров, *художественной критики*, ко-торые мы читаем не с востно утилитарной целью получить информацию, но и истин-ным увлечением? Где внутренние источни-ки критической прозы, прозы а волюм смысле художественной, пробуждающей в нас глубокое эстетическое чувство?

В конце концов, есть такой жанр, как эссе — итог личного литературного опыта, плод субъективного эстетического сужде-ния. Может быть, оно и дает искомую возможность освободиться от объекта, то есть перейти к независимому сочинитель-ству, чтобы «выставить себя» настолько, сколько позволит вкус, чувство скромности и личного достоинства?

Распространенный сейчас «эссеизм» — аещь, конечно, приятная. Но мне кажется, иногда он пошло ионят как средство «наве-ять» впечатление. Очаровать ли собеседни-ка «тонкостью» и «изысканством», наме-нуть ли на иосвященность в тайны литера-турной «кухни» и личные знакомства с живыми «классиками», на «эмоциональ-ный» ли опыт своих туристских поездок и бог весть еще на что.

Не стану ссылаться на «Опыты» Монте-ня, иоложившие начало жанру и просла-вившие его. Перечитайте Сент-Бева, Фран-са, Моруа, поддержавших и утвердивших положение эссе в ноаейшее время, и вы поймете, что эссе — вещь, как для сочине-

ния, так и для чтения, на столь легкая и приятная, сколь сарьзная.

Сент-Бав переворочил горы первозад-ного материала. Он извлек из тьмы забва-ния, восстановил репутации не только та-ких поэтов, как Вийон, Дю Белле, Ронсар, но заново открыл аещь XVI вак француз-ской литературы.

Он писал о деятелях французского клас-сцизма и Просвещения, портреты совра-маников составляют три больших тома. В сущности, вся французская литература находилась в пола аго зрения. И это была не повархностная начитанность, на только анакосто с высочайшими вершинами той или иной эпохи. Он знал литературу в под-робностях, по уникальным источникам — рукописям, документам, редчайшим изда-ниями.

В очерке о Дидро Сент-Бав описал, как «сочиняется» эсса: «Меня асгда привлека-ло изучение писам, разговоров, мыслей, различных особенностей характера, нрав-ственного облика — одним словом, биогра-фии валиких писателей, в особенности если никто другой до меня на занимался еще подобного рода сравнительной биографией и мна предстояло первому наметить ее план, строить ее на собственнй страх и риск. Запрещься тогда недели на две, обло-жившись книгами этого прославленного мартвеца — поэта или философа: штудируй-ешь его, трактуешь и так, и атак, стаишь всевозможные вопросы, пытаешься воскре-сать его живой облик; это почти то же самое, что проаести две недели где-нибудь за городом, работая над портретом или над бюстом Байрона, Вальтера Скотта или Ге-та; только тут, наедине со своей моделью, как-то проще себя чувствуешь, и хотя об-щение с ней требует несколько большего напряжения сил, зато куда больша и рож-дающаяся мажду вами близость. Один аа другим возникают все новые штрихи, и каждый из них укладывается в тот облик, который ты стремишься воспроизвести, по-добно тому, как звезды на наших глазах загораются одна за другой и сверкают каж-дая на своем месте в ткани ясной ночи. К этому смутному, общему, абстрактному облику, который удаается охватить первым жа взглядом, примашиваются, постапанно сливаясь с ним, неповторимые характе-рные черты, сугубо индивидуальныа, точно найденные, аа более отчетливыа и дыша-щая подлинной жизнью; вы чувствуете, как рождаются, как возникаат у вас на глазах подлинноа сходство; а в тот час, в то мгнов-вание, когда вам удаается ухватить в нем нечто наповторимоа — особую улыбку, ка-кую-нибудь царящину, скорбную морщину на чале, прячущуюся под прядью ужа рада-ющих волос, — анализ ужа уступаат место творчеству, портрет начинает дышать и жить, образ найдан».

Дало тут дажа на в упоитальном труда раставратора. Портрет, который начинае

«дышать и жить», художественный по своей эстетической сила образ, созданный критиком, не выдумывается, а рождается из «максимальной близости» критика и пи-сателя. «Новыа штрихи» — на красивый вымысал, а прояснения смысла — «каждая звезда загорается на своем маста».

Один из самых субъективных эссас-тов — Анатолий Франс. Его литературно-критическая иаследство огромно и разно-образно. Он был выдающимся критиком своего времени. Объем интарасов Фран-са — книжника, эрудита, антиквара и од-новременно язвительного публициста — необычайно широк: опять жа — вся фран-цузская литература, литература античная, литература других стран и народов... И сноаа пристальное внимание к личности писателя, к деталям, реалиям.

В воззрениях Франса-критика намало скаптических нот. Он мог в пылу поламики сказать: «Следует иногда разрешать на-счастливым смартным не согласовывать свои взгляды и чувства». Заявить, что «во асах книгах, не исключая самых великоапных, наиболее ценно на то, что в них содржит-ся, а то, что вкладывает в них каждый, кто читает». Или: «На сущестает объективной критики, как не сущестает и объективного искусства... Никак нальзя уйти от самого себя, „я“ — это истина. И это наша вали-чайшая беда... И лучшае, что нам остается делать, это, по-моему, беспрекословно под-чиняться ужасному положению вещей; асякий раз, когда у нас нет сил молчать, мы гоаорим о самих себе».

Кааалось бы, критику предоставлены все возможности уйти от писателя «легкой по-ступью гуляющего человека». Но Франс глубоко и искренна любит не аба в литера-туре, а самое литературу. И он на мог пройти «мимо» писателя, о котором писал, демонстрируя лишь свою «я». Он позволял «сладовать своим вкусам, своим фантази-ям, дажа своему капризу, — но при усло-вии, что он останатся правдивым, искраи-ним и доброжелательным; асли он на будат аса знать и аса объяснять; и, признавая неизбежное разнообразие мнений и чувств, будет охотнее всего говорить о том, что достойно любви».

Франс во асаоружии знаний, с валичай-шим остроумием, вкладывая свой огром-ный художественный талант, говорил о пи-сателях, достойных любви, о них — пражда всего о них.

Эсса Андре Моруа, изданные у нас кни-гой «Литературныа портреты» (М., 1970), хорошо известны. Добротность их фактича-ской основы и сарьзанность характеристик самоочавидны и на требуют доказательств.

Впрочем, и Сент-Бава, и Франса, и Мо-руа отличал повышенный интарес к жизни писателя. Это как бы создает астаивныа условия для художественной критики. Ува-личиваат вес и значимость даталай, драма-тических ситуаций, реалий обстановки.

Я думаю, что ходовая мысль, будто в русской литературе нет традиций литературного эссе, по меньшей мере, неточна. Достаточно назвать «Книгу отражений» и «Вторую книгу отражений» И. Анненского, «Далекие и близкие» В. Брюсова, статьи А. Блока... Правда, сам термин вошел в употребление недавно.

Откройте шестой том собрания сочинений В. Брюсова (М., 1975). Большую его часть составляют эссе, за которыми он признавал прежде всего «ценность непосредственного впечатления». Однако ценность этого иногда первого впечатления настолько прочна, что и сейчас, спустя многие десятилетия, мы не можем обойти брюсовских характеристик К. Фофанова, К. Случевского, Н. Минского, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, И. Северянина и многих других поэтов.

В. Брюсов, в отличие от французских эссеистов, мало интересовался биографией. Он не без основания считал себя стиховедом. Его глубоко интересовали реалии стиха и коллизии поэтической мысли. Из этих реалий, входящих в конфликтные сцепления, иногда на трех-четыре страницы он составлял своеобразные художественные портреты «далеких и близких». Краски на этих портретах оказались яркими и долговечными.

В чем тут дело? В даровании? Конечно! Но и не только в нем. Готовя к печати очередную книгу статей «Miscellanea», В. Брюсов сделал такую запись: «В чем я считаю себя специалистом».

В наши дни нельзя быть энциклопедистом. Но я готов жалеть, когда я думаю о том, чего я не знаю...

Сейчас я чувствую себя сведущим, как никто, в вопросах русской метрики и метрики вообще. Прекрасно знаю историю русской поэзии, особенно XVII век, эпоху Пушкина и современность. Я специалист по биографии Пушкина и Тютчева и никому не уступлю в этой области. Я хорошо знаю также историю французской поэзии, особенно эпоху романтизма и движение символическое. Вообще осведомлен во всеобщей истории литературы. Работая над своим «Огненным ангелом», я изучил XVI век, а также то, что именуется «тайными науками», знаю магию, знаю оккультизм, знаю спиритизм, осведомлен в алхимии, астрологии, теософии.

Последнее время исключительно занимаюсь Древним Римом и римской литературой, специально изучал Вергилия и его время и всю эпоху IV века — от Константина Великого до Феодосия Великого. Во всех этих областях я в настоящем смысле слова специалист: по каждой из них прочел целую библиотеку.

В разные периоды жизни я занимался еще, более или менее усердно, Шекспиром, Байроном, Баратынским, VI веком Италии, Данте (которого мечтал перевести); новы-

ми итальянскими поэтами... Я довольно хорошо знаю французский и латинский языки, сносно итальянский, плоховато немецкий, учился английскому и шведскому, заглядывал в грамматики арабского, еврейского и санскрита...

Но Боже мой! Боже мой! Как жалок этот горделивый перечень сравнительно с тем, чего я не знаю... Если бы мне иметь сто жизней, они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня».

Список интересов и занятий В. Брюсова приведен здесь с большими пропусками. Дело не в них как таковых. Дело в жажде познания, в страсти реализовать ее. «Герой труда» — назвала М. Цветаева свои воспоминания о В. Брюсове. Вместе с восхищением есть в этом названии и чуть ироническая усмешка, противопоставление рабочего усилия вдохновению.

Но для В. Брюсова работа одновременно была и вдохновением, страстью, жизнью.

Все же в заключение следует оговориться, что критическая «работа», «знание фактов» сами по себе могут и не дать ничего замечательного. Сколько мы знаем добросовестных пересказов! Сколько цитат, связанных друг с другом грубыми критическими вожжами. Сколько портретов, где, казалось бы, есть все: родился — написал — приобрел известность — скончался. Даты, цитаты, списки. Все как будто так, и все, однако, мертво.

Снова из книги Гете «Об искусстве»: «Создания искусства разрушаются, как только исчезнет чутье к искусству».

Весь смысл в том, чтобы, взявшись судить о произведении, критик не обошел бы его. Это во-первых. И во-вторых — не разрушил.

Поэтому не стоит иллюзию свободного критического парения заменять иллюзией прямой борозды, прокладываемой мускулистыми волами.

Не стану доказывать, что критик может быть талантливым, что он тоже человек и что, подобно карамзинской бедной Лизе, чувствовать умеет. Об этом как будто уже не спорят.

Любое произведение — даже распадающееся на части — это целое или мыслимо в принципе как целое. Своими средствами, средствами критической прозы — а они разнообразны и индивидуальны — критик воспроизводит это целое. Иногда он даже сам его собирает, восстанавливает, резко прочерчивает неясный контур. Так что деятельность критика в высшей степени созидательная.

Тут-то он больше всего и проявляется как личность.

Целостное произведение, вернее, его образ, отраженный в критической прозе, вписывается в более широкую панораму литературной, историко-культурной, научно-теоретической, общественной жизни.

В этой творческой работе проявляются

характер, темперамент, склонности, воля критика. Скажем даже так — его субъективность.

Осмысляя произведение, он прилагает к нему свою заветную мысль. Художественной, образной мысли писателя сообщает новое направление, может быть, точнее — продолжает ее в другой сфере интеллектуальной и общественной жизни.

Он может делать теоретические выводы, интересные в методологическом отношении.

Связывать литературу с другими сферами культурной жизни, с другими искусствами.

Интересоваться структурой художественного произведения по преимуществу.

Рассматривать его как историю современности.

Выступать как моралист.

Быть публицистом, соотносить идеи и образы с потребностями непосредственной жизни. Тут десятки и сотни вариантов, возможности самых разных подходов, а о способах разрешения взятой задачи и говорить нечего — их великое множество. В сфере переживания, критического восприятия произведения и истолкования текста, в сфере реальной мысли — широчайшее поле для проявления творческой личности.

Я никогда не мог воспринять критику только как литературу. Хотя, признаюсь, многие критические сочинения читал с большим интересом, волнением и эстетическим удовольствием, чем произведения, которым они посвящены. Но определение «критика — литература» всегда казалось мне уским и не вполне конкретным.

Фантазировать на темы написанных произведений, то есть выражать через эти произвольные фантазии себя, по меньшей мере не деликатно. Так мы нарушаем суверенность личности художника. Захватнически используем его территорию для выражения своих замыслов. По чести и сути будучи независимыми от материала, рвем его на куски, чтобы шить свой пестрый лоскутный плащ, демонстрирующий оригинальность и независимость мысли и вкуса.

Критик не прокурор и не судья, не адвокат и не конвоир, не палач и не лакей. Кто же он?

Чернорабочий сцены. Осветитель. Исполнитель тех же ролей, что исполняют и его герои — писатели, с которыми он имеет дело, их персонажи, жизнь которых он мысленно должен прожить. Хочешь не хочешь, можешь не можешь, а должен. Иначе потеряешь почву под ногами. Потеряешь постоянную профессию. Превратишься в шабашника, ищущего выгоду, а не истину.

На критике — строю не индивидуальный, а обобщенный и многовариантный образ — лежит почти неподъемная тяжесть.

Со скучным писателем ему надо прожить скучную жизнь.

С авантюристом — полную приключений.

С эмоциональным — чувствовать. С философствующим — мыслить. С расчетливым — числить.

И при всем том, не выходя из роли, остаться самим собой. Постигнутое таким образом рассказать своим языком, языком критической прозы.

Сент-Бев сказал о себе: «Я лишь рисовальщик, создающий портреты великих людей».

Я всегда полагал, что перо окунать следует в чернильницу того автора, о котором намереваешься писать.

Критика для меня — перевоплощение. Я стараюсь раствориться в человеке, облик которого воссоздаю».

Сент-Бев хотел бы цитировать снова и снова, так молода и оригинальна его мысль, поставившая себя в зависимость от материала, от модели.

«Критическое дарование перерастает в гениальность, когда — в гуще революций, совершающихся в области вкуса, посреди развалин отживших, разрушающихся жанров, посреди новаций, прокладывающих себе дорогу, — требуется ясно, уверенно, без всякого снисхождения выделить в литературе все удачное, все, чему суждена жизнь, и когда требуется понять, настолько ли велика подлинная оригинальность нового произведения, чтобы искупить его недостатки».

Мы — дозорные, и всякий наш возглас, возвещающий о новом открытии, непременно будет исполнен волнения и радости...

Я всегда предпочитал судить о писателях по их природной силе, как бы освобождаю их от всего, что было приобретено впоследствии»¹.

Критик прежде всего — внимательный читатель. Читатель с артистическими способностями.

Но и аналитик. Сент-Бев считал, что он занимается «естественной историей литературы».

Домосед, преодолевающий большие психологические пространства.

Путешественник во времени — в прошлое и будущее.

Мастеровой, с помощью простейших средств изъяснения, через таинственную художественную структуру способный проникнуть в иное измерение.

Слепец, обязанный прозреть вместе со своими героями и увидеть то, что порою и они не видят.

В критике меня больше всего привлекает не импровизация, а работа. Не мартышкин, разумеется, труд переливания из ничего

¹ Сент-Бев Ш. О. Из «Дневника». Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987. С. 51—53 (курсив Сент-Бева).

в ничто, а работа с конечным, как теперь говорится, результатом. То есть достигающая своей цели и смысла.

Работа с текстом, выходящая за пределы текста.

С языком и образами, ими не ограничивающаяся.

С отношениями и психологией героев, сформулированными иными средствами, нежели в художественном произведении.

И как венец всех усилий — уяснение индивидуальности писателя, отличной от самоинтерпретации, переведенной на язык критической прозы с ее психологическими, историческими, социальными, религиозными, философскими аспектами. Если, конечно, они есть в произведении или можно найти их эквиваленты.

Это не совсем то, что писатель думает сам о себе. И уж определенно не в той форме, в какой он свои мысли выражает.

Критик дает не оригинал, а модель. В какой мере совершенную и достоверную — вопрос другой. Но безусловно ведущую свое происхождение от первоисточника, на него опирающуюся, ему следующую. И цель его — не удалиться от оригинала, а к нему приблизиться.

В степени этого приближения — тайна искусства критика, его собственной оригинальности и самостоятельности. Потому,

ВИКТОР КОЗЛОВ

В тени каракумского тамариска, сделал по глотку воды, мы неожиданно заспорили о рифме-вспышке вкупренной, рифме-ударе начальной и рифме-граки в нонце стихотворной строки, приводя по памяти примеры из классиков и народной поэзии. (Год — 52, жара — 52°). Я еще не знала, что нового сотрудника Хорезмской археолого-этнографической экспедиции зовут Виктор Сергеевич Козлов, но знала, что он — фронтовик — здорово разбирается в звездном небе, рельефах и почвах, неутомимый ходок, никогда не повышает голоса, умеет быть незамеченным и незаметным.

Топограф и спелеолог поколения 30-х годов, избородивший Крым, Кавказ, Среднюю Азию, Алтай. Начинал он свою деятельность как автор, актер, организатор — театральных студий, Агитпропа, Молодежного театра в Москве — с той самоотдачей, потребностью в новизне, в общении с людьми, какими овеяны эти годы — для многих. Он не успел стать «печатным» драматургом и поэтом до переломного времени. А потом?..

Мне как-то довелось услышать отзыв известного писателя о младшем товарище: «Талантлив и мало печатается, а не озлобился». Но ведь озлоблялся тот, главным образом, кто «ломал себя» — ради печатания и преуспевания! Скромнейший человек, Виктор Сергеевич Козлов выбрал себе другую судьбу. Он любил свою бродячую профессию, дружил с дорогой, дружил с людьми. И людям было уютно, надежно с ним.

прежде всего, что здесь он волен изобретать свои подходы, свои средства, свой язык и стиль.

Если можно называть критику литературой, то лишь в этой ее обязывающей роли. Не украшающей, беллетризирующей и самодовольно утверждающейся на чужом материале, а в него вживающейся в поисках истины, обоюдно связывающей писателя и критика.

Потому и оглядываю я не всю панораму, где полуразрушенные старые и наспех возведенные новые монументы являют картину неумело наведенного порядка и продуманно организованного хаоса, а выискиваю старых знакомцев, среди которых или рядом сам прожил жизнь. То совпадение во времени, которое было поводом для радости и причиной душевных травм.

Отдаю себе отчет, что моя тема может оказаться немодной. Даже боковой по отношению к действительно большим созданиям литературы, означившимся на горизонте. Но принимая и усваивая их — приходящие из прошлого и только возникающие, утверждаясь как начало будущего, — хочу еще побыть в собственном времени, достаточно протяженном, чтобы сразу явить несколько десятилетий, и еще не сжавшемся до последней точки, дальше которой текст навсегда обрывается (<...>)

Но неистребимой страстью — на всех его дорогах — оставалось литературное творчество. Он не печатался, но ок сберег свой мир и писал всю жизнь — все компромиссов — сообразно совести и вкусу. Стихи и прозу он читал друзьям, для друзей устраивал свои прекрасные фотовыставки. И друзей было много! В московской квартирке — полуподвале, где он проживал с женой, тоже бродячей профессии, — все так-то легко было отыскать хозяев среди гостей, прибывавших, отбывавших, кратковременных и постоянных. Настоящий караван-сарай!

После такой жизни (она оборвалась в 1985 году) в наследство от Виктора Сергеевича остались два рюкзака: малевский — с походными вещами и большой — с рукописями. Стихов хватило на книжку, она выпускается в издательстве «Художественная литература». Самое интересное в книге — поэма «Последний ужин Франсуа Вийона». И по форме — по своеобразному, чисто русскому преломлению французских интонаций, звучания, образности, и по сопричастности автора и трагизма нашего времени — судьбе и эпохе французского поэта. Поэма большан, пусть читатель познакомится с нею в книге.

А мы предлагаем подборку стихов, в которых В. С. Козлов по-своему решал трудную задачу: говорить «просто и понятно» о простых — самых сложных и драгоценных — человеческих чувствах.

М. Земская

В СИБИРЬ

Когда сидишь один, а новогодний вечер,
Снежинками кружась,

давно припал к окну,
И ветер за окном совсем по-человечьи
Вдохнул, притих, потом опять вздохнул,
И в доме нет огня, и трубку не ищи ты,
Мгла опустилась вниз, и убежать нельзя,
Я лишь у вас могу искать защиты,
Друзья мои! Ушедшие друзья.

В окошко месяц утешал:
«Есть в каждой комнате душа».
Но сердца стук уснуть мешал,
Предчувствий гулкий стук:
Есть в каждой комнате душа,
И есть в углу паука.

МЫШОНОК 1937 г.

Снег и ветер, шум его
Под окном неистов.
Завериться с головой
В твой платок пушистый;
Обо всем бы позабыть,
Обо всем на свете,
Серой мышью тихо жить
В банке на буфете.
Знать мышинные места
И обыкновенно
В книжный шкаф ходить, листать
Диккенса и Твена.
Из щелей на свет ронять
Глазок черный бисер:
В необъятном свете дня
Комнатные выси.
По ночам затеять писк
С маленькой плутовкой.
Скажут: «Мыши завелись»,
Вынут мышеловку.
И когда в один нажим
Смерть возьмет в объятья,
Видеть кольца злых пружин
И не понимать их.

Волчий месяц — декабрь.

Волчьи тропы в сугробах
И колючей щетиной можжевельник в
снегу.

Из-за темных кустов поднимается робость,
И грызут удила рысаки на бегу.
Темный месяц — декабрь.

И не в добрую пору
Улюлюкает кто-то на буграх за мостом;
И дымит на реке почерневшая прорубь;
Волчья стая уносит перехваченный стон.
И выносят возок одичалые коны,
И стоят у ворот... И возникший стучит.
И шаги отвечают в нетопленном доме.
И дрожит отражение пугливой свечи.

СЕНТЯБРЬСКАЯ ГРОЗА

Сентябрьская гроза над лесом
желто-черным.
В одно смешались ливень, листопад.
И мокрые стволы, как серый строй солдат,
Стоят в огне неизбежно, упорно.
Блеск молний отражен
на бронзе желтой кроны.
Орудия гремят. Кипит последний бой.
И надо отступать, терять свои знамена,
Свой славный стяг зелено-голубой.
Здесь иней на листьях —
бинты случайной раны,
На луговинах снег и над рекой дымки.
Здесь полководец умный ветеранов
Уводит в тыл, формировать полки.
По-партизански просвистят метели.
Февраль на вылазках, апрель слепит глаза.
Ритм пулеметный у дневной капли,
А там атака — майская гроза.
И если выживу в землянке злую зиму,
И смерть не подобьет из-за угла,
Я буду здесь, когда заслоны снимут
Подточенные ветрами снега.
В прозрачный день, минуя ряд стволов,
Как знамя, молча поцелую
Листву, вернувшуюся из боев,
Зеленую и голубую.

Публикация М. Земской

Михаил Пьяных

К ПОСТИЖЕНИЮ «РУССКОГО СТРОЯ ДУШИ» В РЕВОЛЮЦИОННУЮ ЭПОХУ

Максим Горький и Андрей Белый о России

Александр Блок весной 1918 года писал: «...Пора перестать прозевывать совершенно своеобразный, открывающий новые дали русский строй души. Он спутан и темен иногда; но за этой тьмой и путаницей, если удосужитесь в них взглянуть, вам откроются новые способы смотреть на человеческую жизнь».

Публикуемые ниже статьи «Русская жестокость» М. Горького и «О Духе России и „духе“ в России» А. Белого относятся к числу тех художественных и философско-публицистических произведений, в которых по живым следам исторических событий был запечатлен «русский строй души» времен революции и гражданской войны 1917—1921 годов.

Надо сказать, что русская литература тех лет, особенно поэзия, не прозевала-таки, как полагают ныне, эпохального перелома в жизни страны к народу. «Прозевывание» началось в основном после революции, когда у нас оказались под запретом и не печатались многие произведения революционных лет, объявленные антисоветскими. Хотя на самом деле, указывая на негативные стороны революции, они предупреждали об их опасности для грядущих судеб страны. Сейчас можно только предполагать, каким было бы воздействие на общественное и индивидуальное сознание таких, например, произведений, как роман Е. Замятина «Мы», «Несвоевременные мысли» М. Горького, сборник «Из глубины», письма В. Короленко к А. Луначарскому, будь они доступны советским читателям. Несомненно одно: своевременное знакомство с этими и другими произведениями имело бы положительное влияние на общественное мнение и если не остановило бы развития негативных тенденций, то, во всяком случае, ослабило, помешало бы их почти беспрепятственному разрастанию.

Постижению «русского строя души» в революционную эпоху мешает и то, что литература тех лет, даже не запрещенная, многим неизвестна, мало кем читается, до сих пор остается плохо

изученной. Как ни странно, но на восьмом десятилетии после революции мы не имеем сколько-нибудь приличной антологии, в которой была бы достаточно полно и разносторонне представлена проза и поэзия того времени. Нет у нас и целостного литературоведческого исследования поэзии революционных лет, а шире — к всей литературе революционной поры.

В результате жесточайшей цензуры, идеологического промывания мозгов мы лишились возможности знать свою литературу, а вместе с ней самих себя, особенности своего национального характера, плюсы и минусы психологии своего народа. За такое незнание, за такую социальную, духовно-нравственную и эстетическую слепоту наш народ заплатил дорогой ценой: уничтожением лучших людей, пробуждением низменных инстинктов, внутренним распадом, крушением высших идеалов и устремлений.

Сегодняшнее незнание или полужнание о нашем прошлом дает о себе знать также и в идеализации самодержавия, дооктябрьской жизни народа, его социального и экономического положения, в навязанных утверждениях, что Октябрьская революция была ошибкой, что она была не нужна и произошла только благодаря усилиям Ленина и его партии, что за все насилия и преступления времен гражданской войны ответственность несут только большевики.

Мы должны стремиться к полноте знания о прошлом, о хорошем и плохом в нем, ибо без него нет полноты и глубины знания о настоящем, знания о своем народе, необходимого для индивидуального и общего самосовершенствования, для национального возрождения. Это знание особое, не только фактологическое, позитивистское, рациональное, но и духовно-нравственное и эстетическое, включающее в себя представления о добре и зле, высоком и низком, уродливом и прекрасном, идеальном и реальном. Такое знание людям могут дать прежде всего литература и искусство. Человек, не чувствующий пре-

красного и доброго, способен только осквернять и разрушать их, а не защищать и создавать.

Статьи Горького и Белого не относятся к художественной литературе, но они написаны художниками слова, и особенности художественного мировосприятия авторов сказываются в них. Статья «Русская жестокость» принадлежит реальному, а статья «О Духе России и „духе“ в России» — символическому, то есть романтическому типу, характерному для русской литературы «серебряного века». В отличие от реалиста, романтики не только устремлены к высоким духовно-нравственным, эстетическим и социальным идеалам, но и воспринимают действительность в свете этих идеалов, воспринимают требовательно и критически, предъявляя ей высокие, идеальные критерии. Романтизм, вопреки расхожему представлению, не мешает правдивому изображению жизни, а, наоборот, способствует более глубокому постижению ее сущности. Романтические идеалы во всей своей полноте неосуществимы, их невозможно полностью реализовать (на то они и идеалы, а не просто образцы; реализованный идеал перестает быть идеалом), но к ним можно в чем-то приближаться, они являются прежде всего мощным стимулом для духовно-нравственного, социального и эстетического развития. В свете романтических идеалов и в периодическом столкновении их с реальной действительностью глубже раскрывается человеческая жизнь с ее устремлениями, внутренними возможностями, трагическими коллизиями и перспективами.

В поэме Блока «Двенадцать» трагедийное преображение «русского строя души» в революционную эпоху показано в свете романтического идеала, связанного с образами Христа и Вечной Желанности. Эти образы, национальные и общечеловеческие по своему содержанию, имеют не только религиозно-нравственный, но и духовно-философский, культурно-исторический и эстетический смысл.

В творческом соперничестве с поэмой Блока Андрей Белый в поэме «Христос воскрес» (апрель 1918 года) создает свою художественную версию преображения России. В отличие от поэмы Блока, здесь национальное преображение под воздействием общечеловеческого христианского идеала изображалось как преображение чисто духовного и религиозного порядка. Поэму «Христос воскрес» Белый цитирует в конце своей статьи «О Духе России и „духе“ в России», и это не случайно: вся статья является своеобразным комментарием к поэме, развивает ее идеи.

В статье Горького «Русская жестокость» реалистически рассмотрена только негативная сторона национальной психологии, которая получила массовое и гиперболическое проявление в годы революции и гражданской войны, причем не только у белых, как считалось до недавних пор, и не только у красных, как пытается кое-кто утверждать сегодня, а у тех и у других в равной степени. Можно сказать, что здесь писатель продолжил и обобщил одну из основных тем «Несвоевременных мыслей». Статья «Русская жестокость» не случайна и для всего творчества Горького. Тема «санитарных мерзостей» русской жизни — одна из главных в произведениях писателя дооктябрьского периода и периода Октябрьской революции, и она связана прежде всего с изображением «окуровской», мещанской и крестьянской Руси. Как пишет Горький в очерке «В. И. Ленин», его отношение к крестьянству во многом определяло отношение к Октябрьской революции и к Ленину этих лет: «Когда в 17 году

Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои „тезисы“, я подумал, что этими тезисами он приносит асю ничтожную количественно, героическую нечастенно рать политически аспитанных рабочих и асю искренно революционную интеллигенцию а жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив а духе, быте, а истории русского народа».

Русским националистами, которых можно назвать архипатриотами, не нравятся горьковская характеристика русского крестьянства: ведь они, как и националисты других народов, все отрицательное в психологии своего народа стремятся не замечать или замазывать, критику негативных явлений в его жизни воспринимают как клевету, а поскольку негативные явления все-таки имеются и совсем скрыть их невозможно, то вину за них возлагают на инородцев, на людей других национальностей. Так, в наше время пытаются утверждать, что ответственность за грехи революции, за убийство Бога, за послеоктябрьский террор должны нести евреи, а не люди всех национальностей нашей страны, к прежде всего русские. В поэме Блока «Двенадцать» и незримого для них Христа стреляют по своей духовно-нравственной и эстетической слепоте красногвардейцы, из которых поэт ни одного не обозначает как инородца: все они, в отличие от своих евангельских предшественников — двенадцати апостолов, — русские. А христианские муки советски пробуждаются только у красногвардейца Петрухи, глубоко пережившего свою трагическую вину — непреднамеренное, нечаянное убийство любимой им женщины.

«Разбойники// И насильники —//Мы», — заявляет А. Белый в поэме «Христос воскрес», говоря об общей вине за новое распятие Христа в годы революции и видя а признании этой вины каждым человеком условие искупления греха и духовно-нравственного возрождения России.

М. Горький, в отличие от А. Белого, писал не о преступлении в отношении духовного идеала человечности — Христа, а о реальной жестокости русских людей в отношении друг к другу. Можно не сомневаться, что и сегодня найдутся архипатриоты, которые воспримут статью Горького как клевету на русский народ и будут утверждать, что жестокость не типична для русских, что для них, наоборот, характерны доброта и сострадание. Да, русским свойственны доброта, отзывчивость, сострадание и другие хорошие качества, но свойственны они не всем русским, а лучшим из них, на которых мы и должны равняться.

Писал Горький о жестокости русских людей в отношениях между собой не для того, чтобы оклеветать русский народ, а для того, чтобы помочь ему стать лучше, требовательно взглянуть на свои недостатки, не взымая вину за них на кого-то, ужаснуться собственному зверству и скотству, очиститься от нравственной и физической сырости.

Как современно звучат слова Горького, сказанные им в мае 1918 года в «Несвоевременных мыслях»: «Отрицательные явления всегда неизмеримо обильнее тех фантов, творя которые, человек воплощает свои лучшие чувства, свои возвышенные мечты, — истинно, столь же очевидны, сколь печальны. Чем более осуществимы кажутся нам наши стремления и торжеству свободы, справедливости, красоты — тем

Пьяных Михаил Федорович (род. в 1929 г.) — кандидат филологических наук. Автор книг «Слушайте революцию. Поэзия Александра Блока советской эпохи» (1980), «Поэзия Александра Межирова» (1985), «Ради жизни на земле» (1985) и других. Неоднократно печатался в «Звезде». Член СП. Живет в Ленинграде.

более отвратительным является пред нами все то скотски подлое, что стоит на путях к победе человечески прекрасного. {...} Надо только помнить, что все отвратительное, как и все прекрасное, творится нами, надо зажечь в себе все еще незнакомое нам сознание личной ответственности за судьбу страны».

Статья Горького и Белого призывая способствовать не только ликвидации «белых пятен» в истории «русского строя души», но и его сегодняшнему возрождению, преобразению и самосовершенствованию.

Статьи публикуются по журналу «Новая Россия», Пг.— М., 1922 (№ 2, май), с. 141—147.

РУССКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Я видел и пережил много жестокостей. Я никогда не мог понять сущности жестокости. Всю жизнь меня мучил вопрос: где дно ее, из каких инстинктов вытекает человеческая жестокость?

Когда-то давно я прочел книгу под зловещим названием: «Прогресс — эволюция жестокости». Автор пытался доказать посредством целого ряда художественно сопоставленных и истолкованных примеров, что прогресс человечества содействует выявлению скрытого в крови человека наслаждения — мучить себе подобных телесно и духовно. Я с негодованием читал эту книгу, она меня не убедила, и скоро парадоксы эти изгладись в моей памяти.

Но теперь, после ужасающего безумия европейской войны и кровавых оргий революции, теперь я опять призадумался об этих парадоксах. Но нужно заметить, что именно в русской жестокости никакого, кажется, прогресса нет; ее формы не изменились.

В начале 17-го века в России практиковались следующие способы пытки: в рот жертве набивали порох и поджигали. У женщин разрезывали груди, через раны протягивали веревки и потом вешали жертву за эти веревки.

В 1918—1919 годах те же самые способы практиковались на Дону и на Урале: замучивали своих жертв до смерти — вбивая в пищевод патроны и поджигая их.

Я думаю, что превалирующая черта русского национального характера — жестокость, так же, как юмор — превалирующая черта английского национального характера. Это — жестокость специфическая, это — своего рода хладнокровное измерение границ человеческого долготерпения и стойкости, своего рода изучение, испытание силы сопротивления, силы жизнестойкости.

Самая характерная черта русской жестокости — художественная изобретательность, дьявольская утонченность. Вряд ли можно объяснить эту особенность словами «психоз», «садизм» и др. Эти слова ничего не объясняют... Последствия алкоголя? Я не думаю, чтобы русский народ был более отравлен алкоголем, чем другие европейские народы, хотя нужно оговориться, что действие алкоголя на психику в России должно быть разрушительнее, чем где бы то ни было, т. к. в России питание простого народа хуже, чем в других странах.

Единственное, что способствует, по моему глубокому убеждению, развитию утонченной жестокости в России, это чтение житий святых, мучеников — излюбленное занятие яших грамотных крестьян.

Я говорю о жестокости не как о проявлении вонне извращений или больной души отдельных индивидуальностей, такие случайности — дело психиатров. Я говорю здесь о массовой психике, о душе народа, о коллективной жестокости.

В одной сибирской деревне крестьяне придумали следующее: вырыли целый ряд ям, поместили в них, головой вниз, пленных красноармейцев, потом засыпали ямы землей наполовину, так что из земли торчали только ноги до колен. После этого они с любопытством следили за судорогами ног; по этим судорогам они могли судить о степени выносливости жертв.

В Тамбовской губернии пленных коммунистов прибавляли гвоздями к стволам деревьев — гвозди вбивались только в левую руку да левую ногу, — и люди забавлялись видом того, как «полураспятые» бились свободной рукой и ногой...

Одного пленного пытали следующим образом: разрезали живот, вытащили конец тонкой кишки и гвоздем прибили к дереву (или телеграфному столбу); потом гнали несчастного вокруг дерева (или столба), наблюдая, как кишка выматывалась через рану.

Часть пленных офицеров была раздета донага; на плечах вырезали куски кожи величиной с погон и на место звездочек вбили гвозди. Потом содрали кожу на ногах полосами-ремнями — «лампасами». Эта операция повторялась потом часто и стала обыкновенным явлением. Это называлось «надеть мундир». Несомненно, эта операция требовала немалого времени и большой ловкости.

Таких и еще худших злодеяний развелось в России в последние годы множество; я не буду приводить более примеров.

Кто жесточе — красные или белые? Вероятно, одинаково, потому что все они — и красные и белые — одинаково русские.

Впрочем, на вопрос о степени жестокости дам определенный ответ. Именно: чем активнее, чем действеннее, тем жесточе...

Я не знаю, существует ли такое место на земле, где бы с женщиной обращались ужаснее и беспощаднее, чем в русской деревне, и, наверное, нигде нет такого множества таких жутких поговорок, как в России: «Бей ее дубиной — бей, брат! Посмотри, дышит ли? Врет она, шельма, ей еще хочется!» «Баба любя, как в дом ведешь да как на кладбище несешь». «За бабу да скотину и суда нет». «Хочешь вкусно поесть — поучи свою бабу».

В русской деревне — сотни таких афоризмов, содержащих в себе накопленную веками народную мудрость. Дети слышат их ежедневно, на них воспитывается молодежь.

И с детьми в деревне обращаются ужасно. Когда недавно я заинтересовался статистикой преступлений в Московской губернии и перелистывал судебные протоколы за десять лет — 1901—1910, — ужаснулся того огромного числа случаев жестокости по отношению к детям и других преступлений над несовершеннолетними. Вообще, в России любят бить — безразлично кого. «Народная мудрость» видит в избииении человека что-то крайне необходимое и полезное. «За битого двух небитых дают», — гласит поговорка.

Я неоднократно спрашивал участников гражданской войны, не противно ли им убивать друг друга.

Ответ бывал всегда один и тот же: «Нет, нам не противно. У него оружие — и у меня оружие: мы в равных условиях. Что из того, что мы убиваем друг друга. На земле еще довольно нашего брата останется».

Однажды я обратился с этим вопросом к солдату, участвовавшему в европейской войне, а впоследствии получившему в командование большую красноармейскую часть. Он дал мне следующий весьма оригинальный ответ:

«Что вяутреяния война! Вот война с чужими — это совсем другое, это за душу хватает. Я вам правду скажу, товарищ: русского убить ничего не стоит; у нас людей хоть отбавляй, и дела у нас дрянь. Например, вот тут деревня — пропади она пропадом, куда она годна, кому нужна? И вообще, всё наше хозяйство, и все наши дела, и всё — ну их к черту! Другое дело — у прусаков. Когда мы шли на них, ох и жаль мне было этого народа! Их деревней, их городов — и, вообще, их устройств! Что за чудный порядок! А мы всё это разрушили. И за что?.. С ума сойти можно было... Я рад был, когда меня ранило, — не участвовать больше в этом безумии...

Потом я побывал на Кавказе. Там нам попадались и турки, и другие черти черные — жывкий народ все, а вот — всё зубоскалит, и черт знает почему. Мне было их жаль — каждому ведь свое. Каждый имеет свою манеру, не правда ли? Каждый — свою жизнь...

Этот человек был по-своему человеколюбив: он хорошо относился к своим солдатам; они любили и уважали его, и сам он любил свое военное ремесло.

Я попробовал рассказать ему о России и ее значении в мире. Он слушал, задумавшись, куря свою папироску. Наконец его глаза сделались грустными, и он вздохнул. «Да, конечно, — сказал он, — когда мы имели сильную государственную власть, мы представляли из себя нечто. А теперь? Теперь мы бесполезны, как крысы».

Я думаю, война создала немало такого рода людей, и яаши бесчисленные «массовые вожди» — именно такие люди...

Когда речь идет о русской жестокости, нельзя обойти молчанием еврейские погромы. Тот факт, что еврейские погромы организовывались с одобрения глухих, подкупленных представителей власти, не извиняет ничего и никого. Те дураки и негодяи, которые разрешали грабить и бить евреев, не призывали к пыткам, не призывали отрезать груди у евреек, убивать их детей или вбивать гвозди в лоб евреям. Все эти кровавые ужасы являются плодом инициативы самих масс.

Но где же — спрашивается наконец — тот добродушный и созерцательный русский крестьянин, неустанный искатель истины и справедливости, которого так прекрасно и убежденно описывала русская литература 19-го века?

В свои молодые годы я сам с восторгом искал этого человека по всей русской земле, но — я его не нашел. Я находил везде грубого реалиста, хитрого мужика, который, когда это бывало ему выгодно, умел прикидываться дураком. От природы он далеко не дурак, этот мужик, — и он знает это. Он сочинил много печальных песен, много суровых, диких, жестоких былин и составил тысячи поговорок, в которых нашли себе выражение его тяжелые, утомительные жизненные опыты.

Он знает, что «мужик — не дурак, а мир — овца» и что «мир силен, как река, а глуп, как свинья».

Он говорит: «не бойся черта, а бойся человека» и «бей своих, бойся чужих».

О правде он не особенно высокого мнения: «Правда не кормит», «Хоть кривда да кормит» и т. д.

Таких и подобных афоризмов у него тысячи, и он при всяком удобном случае умеет воспользоваться ими; он слышит их постоянно с детства и уже с детства чувствует, сколько в них суровой истины, горькой печали и презрения к человеку. Люди — особенно городские — мешают ему жить; он считает их лишними на земле — на той земле, которую он любит мистическою любовью и в которую верит мистической верой. Земля, с которой он

органически связан и душой и телом, которая — «его кровная собственность», — эта земля хищнически отнята у него. Русский крестьянин, еще задолго до лорда Байрона, знал, что «пот крестьянина дороже, чем имущество господ».

Наша народническая литература, со своей идеализацией крестьянина, преследовала определенную политическую цель. Но уже в конце 19-го века в отношении литературы к деревне и крестьянину произошла перемена — литература стала менее жалостливой и более искренней. Новый взгляд на простонародье проводится уже Антоном Чеховым в его рассказах «Мужики» и «Бездна».

В первых годах 20-го века выходит том рассказов «Деревня» — одного из величайших русских художников слова Ивана Бунина. В этих рассказах, особенно в «Ночном разговоре», высказывается новый, почти критический взгляд на крестьянина, в этом рассказе — истина неприкрашенная.

Бунин обвиняли в аристократизме, говорили, что он как аристократ относится к мужику отрицательно, даже враждебно. Конечно, это — неверно. Бунин в высшей степени художник, исключительно художник.

Но в русской литературе настоящего столетия найдутся еще более ужасные доказательства духовной темноты русской деревни. Я особенно хочу указать на рассказ «Юность» орловского крестьянина Ивана Вольного и на рассказы москвича Семена Подъячева и сибиряка Всеволода Иванова. Этих писателей нельзя ведь заподозрить в аристократической вражде к мужику, все они из крестьян и принадлежат деревне телом и душой. Лучше, чем кто-либо, знают и понимают они жизнь простого народа, деревенские горести и грубые радости, слепоту разума крестьянина и жестокость его чувств.

Я заканчиваю эту невеселую статью рассказом: один участник научной Уральской экспедиции 1921 года сообщил мне: один из крестьян деревни, где останавливалась экспедиция, обратился к нему со следующим вопросом: «Вот вы ученый, разъясните мне. На прошлой неделе башкир один убил мою корову. Я, конечно, убил башкира, а потом забрал его корову. Скажите мне теперь: могут меня засудить за корову эту?»

Когда его спросили, не боится ли он, что его засудят за то, что убил башкира, мужик спокойно ответил: «Люди в нынешние времена дешевы».

Характерно тут слово «конечно». Убийство стало совсем обычным явлением, оно вошло в привычку. В этом ужас всей гражданской войны, всего грабежа.

Еще маленький пример, как деревенская мысль приспособляется к новым идеям.

Деревенский учитель, сын крестьянина, пишет мне: «Так как известный ученый Дарвин научно подтверждает необходимость немилосердной борьбы за существование и ничто не имеет против удаления из жизни слабых и бесполезных людей, и так как в старину морили стариков голодом в землянках или сажали их на высокие деревья, чтобы потом отрясти их — и убить, то я хочу предложить удаление ненужных людей из жизни более человечным способом — так как я протестую против всякой жестокости. Мое предложение: отравлять вкусным ядом. Такие методы смягчили бы борьбу за существование. Таким манером нужно бы действовать и по отношению к слабоумным или идиотам, к ободненным природой и, может быть, также к неизлечимо больным, горбатым, слепым и т. д. Такое законодательство, конечно, не понравится нашей интеллигентной молодежи, но пришло время перестать считаться с их консервативными и контрреволюционными идеалами. Содержание бесполезных людей стоит народу слишком дорого, оборот этого товара нужно привести к нулю».

Многие сейчас в России выступают с такими и подобными письмами, проектами и просьбами. Они действуют удручающе, почти ошеломляюще, но, отбросив эту дикость, они все же дают ощущение, что мысль в деревне проснулась и что она, хотя еще грубая и молодая, нвчала работать в направлении, совершенно чуждом деревне до сего времени. Деревня пытается думать о государстве и его целях.

М. Горький

О ДУХЕ РОССИИ И «ДУХЕ» В РОССИИ

Мне хотелось бы дать очерки, живописующие жизнь культуры России — теперешней; чувствую — приступить не умею я к ним, не сказавши о том впечатлении, которое неизбежно выносишь от духа России.

Что же собственно происходит в России?

И — знаешь: обычное слово не поднимает России; ни термин, ни образ, но живописать — это значит: перечертить ряд эпизодов с натуры, которая — ах, как трудна! Определить отношение в формуле? Но — в России теперешней формулы нет; есть плавление лавого процесса, то есть ландшафты сознания, ни на что не похожие ситуации, устремления, вкусы...

Да, голод и холод, болезни и смерти — все было, все есть, все то будет еще: миллионы страданий, деморализация, видная всем; все — известно... Так почему же вопрос? Стало быть: есть-таки «что-то» еще? Стало быть: «что-то» — точка вопросов?

Не справишься с химией без лаборатории; чтение учебника не гарантирует навыка в производстве химических опытов; а ведь Россия — лаборатория; пребывание в ней — исключительно ответственный опыт, который для лиц, не проделавших опыта, — утверждение, только.

— Позвольте же: почему вес атомный азота — «14», не «17»: — «14» — всё тут... Так «что-то» в России; ты знаешь его, осязаешь его; убедить в нем — не можешь; пожалуйте в лабораторию.

— «В России и то-то и то-то... („17“ есть вес азота)».

— «Не то-то, а „это“ („14“ — вес азота)»...

До Лавуазье полагали: горение — разложение, выделение невидного газа; и звали тот газ *флогистон*; в сгоревшей России ее «флогистон» (специфический дух ее) испарился; Россия — бездушная, мертвая, движимая лишь процессами разложения.

Но — Лавуазье доказал: при горении — соединение с газом; так: если собрать перегазы (золу, дым, пары, газы) — нес увеличится от слияния с «чем-то» иль — с кислородом.

— «Россия — распылена, как зола». — «Нет, расширена, вес увеличен ее...» Это я утверждаю из опыта, не доказуемого при помощи формул.

В России — неосязаемый «плюс» или «что-то» — чего прежде не было. Спрашиваете: «Что в России?» Ответ: «Что-то». Смеетесь. На «что-то» и «где-то» не строят ответов; но дикарю всякий «газ» — только «что-то»; приемы установления газоного закона, не поддающиеся осязанию пальцами, — чужь для него; между тем на законах Дальтона и Гей-Люссака отстроилась физика. На законах «чего-то», не видного глазу, — построена будет Россия; в ней «что-то» — проснувшийся дух, открывающий зеницы самосознания.

Твердое тело — отлично от газа; оно — неизменно, предметно, недвижно и форменно; газ — беспредметен, текуч, расширяем, бесформенен. Так и Россия: она изменила свое состояние; и из предметной, границами обрисованной формы она превратилась в бесформенное расширение прядущих паров; все увидели: в пламени — разложение тела; не увидели: соединения элементов ее (индивидуумов) с некой новой, духовной стихией — соединения, образующего великопнейшее скопление паров над золой, из которого в будущем на золу изольются культурой плодотворящие ливни.

Сознание русских в России — расширено; я вот, писатель, был вынужден переменить ряд служб, писать в холоде, читать курс за ботинки и шапку; конечно — печально... Два года стремился из бедной, голодной, тифозной России; и понял на Западе, здесь, что в голодной, тифозной России вооружился единственным опытом выхода из себя самого, позволяющим на себя самого, на писателя, поглядеть оком дворника, приобщая и дворника к интересам писателя; все бывали в России — во всех; опыт новый расширенный:

Всё — во мне; и я — во всём...

Так узнание, что коллектив — индивидуум, что индивидуум — в коллективе и что границы обычного, личного, собственного сознания — фикция, все то складывает — космическое сознание России; но о сознании этом сказать здесь — решительно утверждать, что каналы на Марсе — произведение марсиан («Но позвольте, ученые до сих пор еще спорят». — «Ученые не были там, а я — был...»).

Так же дико мои утверждения: солдаты, матросы, рабочие вместе с доцентами там обсуждают проблемы культуры, сознания, мысли; с востока на запад и с севера к югу стоит соловьиное пенье поэтов, как будто бы стала Россия весенним ласкающим садом, а не гниющим, воняющим кладбищем. Вот ведь вопрос, почему там поется. А здесь не поется; мне — пелось, а я испытал и моральные, и материальные боли.

Предсмертное лебединое пение?

Все-таки: лебединая песня по весне есть обет о весне уходящего в смерть; умирание — без него не восстанет никто; просто встанет, пожалуй, для... отбывания очередной суеты, от которой в миг смерти отвертываются, как от чего-то пустого, а пустоты-то и нет в ощущениях современной России; присутствует — «что-то», что весит; то — вес кислорода (сошедшего духа) в процессах перегорания и разложения.

Думаю: лебединая песня теперешней, с голоду, с холоду философствующей России есть песня Сократа над чашей с ядом. Сократа нам жалко; но что было бы, если бы не светил светлый образ Сократа, приявшего яд? Его знание, нас осветившее, — знание выпитой чаши, быть может? В тот миг, когда он выпивал свою чашу, Платон, может быть, отразил — светлый образ Сократа над чашей с ядом: векам?

Современный Сократ, отравляемый внешне и внутренне вознесенный, расширенный, соединенный с вещающим, внутренним гением (с кислородом) — теперешний русский; одет он в лохмотья; пришел — из хвостов, из промерзшего, вшивого помещения по загаженным улицам; он пришел — философствовать, сократический гул диалектики песней стоит над Россией; невероятными ужасами из сознания мужичка, разночинца, рабочего, интеллигента, студента выдавливается фаланга сократов, перед которыми ставится «чаща»: причастие Духом. Причастие Духом есть факт, отличающий новую культуру России, иль утверждение: «Вес азота — 14...»

— «Почему не 17?»

— «Пойдите за мной по моим перспективам».

А доказать тут нельзя.

Доказательство — оптимизм приезжающих из России, замученных, полубольных, истощенных; казалось, они бы должны черпать силы в довольных и сытых культурую зарубежниках — русских; но, нет: зарубежники-пессимисты их обрывают унынием:

— «Что вы распелись? Какой такой свет?»

Он — оттуда, из «чего-то», чего доказать вам нельзя, господа пессимисты; он — факт эмпирический. Он — факт сознания, имманентного жизни России; он — песня Сократа над ядом; она — нам поставлена так же, как Фаусту; но, поднесенная к горьким устам, опускается; слышим, как Фауст, мы: «Christ ist erstanden!»¹ Пусть там умирают, но — там умирают любя; живут здесь, но... но... сколько русских здесь живут для проклятия. Здесь вышел Шпенглер написанной книгой; а там произносится много Шпенглером не написанных книг; вы — не верите? Жаль. Пропустив чрез себя вереницы собраний, бесед, лекций, студий, кружков, — утверждаю от опыта: «Вес атомный азота — 14, а не — 17».

Да, «чаша» экзамен России; перед чашею падают в скотоподобное состояние; над «чашей» взлетает из облачка обыденной обывательской — вигелический, шестикрылатый предтеча грядущего Русского, как устремление, как пар; и Россия — не в павших, а — в устремленных горь, в окрыленных и вызывающих:

— «Буди!»

Великолепно описана Достоевским смерть старца Зосимы²; в монастыре ожидали, что — будет: прославится ль тело, или — протухнет оно; ждали чуда; иные ходили обнюхивать гроб, как один любопытный монашек: он первый разнес, что — «протух».

В отношении к современной России я наблюдаю два стиля; один — стиль Алеши; другой — стиль монашка, пришедшего к гробу «понюхать», удостовериться, что «протух»; напоминают иные из зарубежников-русских такого монашка; в оттенке вопросов («Ну что, как в России?») — понюхиванье; из всего постараются вывести:

— «Вы говорите там о каком-то процессе горения, расщепляющем на элементы, соединяемые с кислородом духовной культуры. По-нашему, эти процессы понятны; процессы, происходящие в трупе».

Материалисты одиноки, «принюхиваются» к гробу; они — иль монашки, или покойники рассказа «Бобок»³, играющие словами «дух» («запах») и «Дух». Вывод их: «Дух — есть, есть: попахивает, сгнивает».

Канализация полуразрушена; и ячистоты с дворов не вывозятся (крупный профессор, покойный уже, в своей собственной комнате, где замерзла вода, яа печурочке... разогревал, чтобы оттаяло то, что естественно выносите из комнат). И все-таки: почему не о «духе» одних пещистот, а о Духе Святом говорили мы, вернувшиеся из России? Да потому, что мы видели — «что-то», чего не узнаешь, не поживя там; перед Алейшей у гроба возникло виденье Зосимы сияющего; Алейша над гробом «протухшего» тела увидел — живое нетленное тело; увидел Христа трапезующего.

Не думайте, что современные русские не умирают в сомнениях, в разуверениях, в болях; всё — есть; но есть и иное: видение живой и нетленной России. Не «принюхивающимся» монашкам и не покойникам из рассказа «Бобок», бывшим людям, кончающим лозунгом «обнажимся и заголосимся», — не им различить Дух жизни России от «духа» улиц (испорчена канализация).

Помните: после видения Алейша выходит; и видит: синесапфирное небо, покрытое звездами; небо с огромной звездой над кояюшными «скотопригоньевской» жизни увидели мы; и утверждая «Россия есть скотный», — должны бы договорить: там есть ясли с «младенцем», которому не позволили родиться нигде, кроме «скотного», хозяева «постоялых дворов» прошлой жизни.

Взглянувши на нынешнюю Россию, вы созерцаете:

Проткнутые ребра,
Перекрученные руки,
Препоясанные чресла!

И восклицаете:

И это —
Был
Христос?

Но —
— Это —
Воскресло!

Андрей Белый

¹ Christ ist erstanden (нем.) — Христос воскрес.

² «Братья Карамазовы».

³ Достоевского.

К 150-летию со дня гибели
М. Ю. Лермонтова

Игорь Ефимов

ЖЕМЧУЖИНА СТРАДАНИЯ

Лермонтов глазами русских философов

География человеческой души — наука крайне сложная, противоречивая, до сих пор не выработавшая четких формул и представлений, не умеющая сказать нам, где у исследуемого предмета север, где восток, где запад, где верх, где низ. Но все же какие-то разрозненные сведения об этом загадочном материке у нас имеются, какие-то описательные схемы завоевали более или менее широкое признание. Одна из таких схем представляет духовный мир человека в виде четырех больших государств — по числу главных человеческих устремлений: к Богу, к Добру, к Красоте, к Правде.

Почти все философы оперируют этими понятиями, но при этом очень мало найдется мыслителей, которые признали бы известную степень независимости четырех метафизических государств и удовлетворились бы скромной ролью дипломатических представителей, старающихся поддерживать мир между ними, уточняющих естественные границы, их разделяющие. Как правило, философ выбирает себе подданство по вкусу, объявляет себя гражданином одного из четырех государств, а затем идет завоевательным походом на три остальных — во имя Бога, Добра, Красоты или Правды. Всё, что встречается ему на дороге, он испытывает критериями своей державы, пытаясь понять, годится ли данный предмет для расширения ее могущества.

Представляется интересным проследить, как обошлись с одним и тем же духовным феноменом — с творчеством Лермонтова — четыре русских мыслителя конца XIX — начала XX века, каждый из которых был верным подданным и страстным защитником одной из четырех метафизических держав, описанных выше.

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

«Когда я сомневаюсь, есть ли что-нибудь, кроме здешней жизни, мне стоит вспомнить Лермонтова, чтобы убедиться, что есть. Иначе в жизни и в творчестве его все непонятно — почему, зачем, куда, откуда, — главное, куда?»

Так писал Дмитрий Сергеевич Мережковский в своей статье, называвшейся «Лермонтов. Поэт сверхчеловечества».

В наши дни почти не осталось уже поклонников Мережковского-романиста. Но, к сожалению, мало кто знает Мережковского — великого религиозного мыслителя. Какое-то представление об этой стороне его творчества дают его книги о Гоголе, Толстом

Ефимов Игорь Маркович (род. в 1937 г.) — прозаик, эссеист. Автор книг «Высоко на крыше» (1964), «Смотрите, кто пришел» (1965), «Таврический сад» (1966), «Лаборантка» (1974), «Свергнуть всякое иго» (1977). В 1970-е годы проза Ефимова печаталась в «Звезде». В 1978 г. эмигрировал. За рубежом изданы книги «Метаполитика» (1978; под псевдонимом Андрей Москвитин), «Без буржуев» (1979), «Практическая метафизика» (1980), «Как одна плоть» (1981), «Архивы страшного суда» (1982), «Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев» (1987), «Седьмая жена» (1990). Владелец и директор изд-ва «Эрмитаж» (Tampa, N. J., USA). Живет в США.

и Достоевском. (Надо надеяться, что нелепые препятствия, стоящие на пути русского издания его жизнеописаний Лютера, Кальвина, Паскаля, будут наконец преодолены, и тогда русский читатель сможет по-настоящему оценить этого тончайшего знатока религиозных исканий души человеческой.) Извилисты пути, ведущие человека к Богу, и нет в русской культуре проводника, который знал бы их лучше, чем Мережковский. Мы обязаны вслушаться в его свидетельство с особым вниманием.

Каждому человеку свойственно предощущение вечности. Чувство это столь сильно, что нам очень трудно совместить его с точным знанием о неизбежности собственной смерти. Пытаясь устранить противоречие между чувством и знанием, душа наша тянется к вере в загробную жизнь, в воскресение из мертвых. Уникальность Лермонтова, с точки зрения Мережковского, была в том, что душа его обладала острейшей памятью и о вечности, предшествовавшей его появлению на свет.

И в творчестве, и в письмах, и в поступках поэта Мережковский находит множество подтверждений своей догадке.

«На дне всех эмпирических мук его — эта метафизическая мука — неутолимая жажда забвенья:

Спасть от думы неизбежной
И незабвенное забыть!..

«Незабвенное» — прошлое — вечное.

Печорин признается: «нет в мире человека, над которым прошедшее приобретает бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание — болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я ничего не забываю, ничего...»

К тому, что было до рождения, дети ближе, чем взрослые. Вот почему обладает Лермонтов никогда не изменяющей ему способностью возвращаться в детство, то есть в какую-то прошлую вечную правду».

Мережковский сознается, что лет в десять он не любил Пушкина, а Лермонтова очень любил, потому что чувствовал, что он «такой же ребенок, как я». В этом же феномене — памяти о том, что было до рождения, — разгадка образа Демона.

«Если Демон не демон и не вилел, то кто же?

Не одно ли из тех двойственных существ, которые в борьбе дьявола с Богом не примкнули ни к той, ни к другой стороне? — не душа ли человеческая до рождения? — не душа ли самого Лермонтова в той прошлой вечности, которую он так ясно чувствовал?»

Демонизм лермонтовской музы — не поза, не тщеславие. Скорее, в нем жило «обратное тщеславие — желание быть, как все». Отсюда и готовность, с которой он порой окунался в житейскую пошлость, опускался даже и до обыкновенных низостей.

Еще одна исключительная сторона лермонтовской судьбы: он единственный крупный русский писатель, который не откликнулся на призыв «смирись, гордый человек!». И в этом Мережковский готов оправдать его и с историко-социальной, и с религиозной точки зрения.

В историческом плане Мережковский видит связь между судьбой России и торжеством созерцательного начала над началом действующим, воплощением которого был Лермонтов.

«Нельзя, конечно, обвинять ни Пушкина, ни Достоевского за то, что сейчас происходит в русской литературе и в русской действительности. Но должна же существовать какая-нибудь связь между последним полвеком нашей литературы и нашей действительности, между величием нашего созерцания и ничтожеством нашего действия. Кажется иногда, что русская литература истощила до конца русскую действительность: как исполненный единственный цветок *Victoria Regia*, русская действительность дала русскую литературу и ничего уже больше дать не может...»

Как лунатики, мы шли во сне и очнулись на краю бездны.

Что же привело нас к ней?

Созерцание без действия, молитва без подвига, великая литература без великой истории — это никакому народу не прощается — не простилося и нам».

В плане же религиозном оправдание богоборческих мотивов в творчестве Лермонтова Мережковский видит через призму страданий и судьбы библейского Иова.

«Смутно, но неотразимо чувствует он, что в его непокорности, бунте против Бога есть какой-то божественный смысл.

Когда б в покорности незнания
Нас жить Создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил.
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться.

...Кто знает, не скажет ли Бог судьям Лермонтова, как друзьям Иова: «Горит гнев Мой за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов» — раб Мой Лермонтов».

В. С. СОЛОВЬЕВ

Описанная выше работа Мережковского («Лермонтов. Поэт сверхчеловечества», 1908) представляет из себя в значительной мере полемический ответ на статью Владимира Соловьева, появившуюся девятью годами раньше. Единственное, в чем согласны два мыслителя, — что творчество Лермонтова было ярчайшим выражением нищества задолго до Ницше. Но если Мережковский готов видеть в нищесте умонастроении почву для плодотворного богоборчества, то для Соловьева оно — предел духовного ничтожества.

При всем многообразии философских и религиозных исканий Владимира Соловьева скрытой внутренней пружиной почти всех его работ остается та тема, которая стала названием его главного заключительного труда: «Оправдание добра». Добро — его родина, его держава, и он полон страстного стремления подчинить благодетельной власти Добра три другие государства человеческого духа. «Красота есть только ощутительная форма добра и истины», — пишет он в одном месте. «Эти (этические) принципы не принадлежат сами по себе ни одному из вероисповеданий, — пишет он в «Оправдании добра», — а образуют тот общий трибунал, к которому равно обращаются все». То есть добро универсальнее даже Веры. Ведь вер много, а Добро — единая, сияющая, всех объединяющая вершина.

С точки зрения добра — в интерпретации Соловьева — и жизнь, и творчество Лермонтова объявляются полным падением, изменой полученному свыше Дару. Любование злым началом в человеческой душе, потакание собственным низким страстям, самовозвеличивание, эгоизм, неспособность к любви, употребление своего таланта на соблазнение и развращение доверчивых душ — в чем только не обвиняет Соловьев Лермонтова! Основываясь на нескольких строчках из прозаического отрывка «Я хочу рассказать вам...», Соловьев даже доказывает, что уже в детстве Лермонтов с удовольствием ломал цветы, давил мух и швырялся камнями в куриц.

Но самый страшный грех поэта — непомерная гордыня.

«Глубоко и искренно тяготился Лермонтов своим падением и порывался к добру и чистоте. Но мы не найдем ни одного указания, чтобы он когда-нибудь тяготился взаправду своею гордостью и обращался к смирению. И демон гордости, как всегда хозяин его внутреннего дома, мешал ему действительно побороть и изгнать двух младших демонов (злости и нечистоты), и когда хотел — снова и снова отворял им дверь...»

Комментируя эти страстные нападки Соловьева, Мережковский приводит отзыв полковой канцелярии о поручике Лермонтове, посланный в военное министерство в 1840 году: «служит исправно, ведет жизнь трезвую и ни в каких злокачественных поступках не замечен». И дальше замечает: «Полковой писарь оказался милосерднее христианского философа».

Даже понятию «сверхчеловек» Соловьев пытается дать собственную — не очень вразумительную — интерпретацию:

«Гордость для человека есть первое условие, чтобы никогда не сделаться сверхчеловеком, и смирение есть первое условие, чтобы сделаться сверхчеловеком; поэтому сказать, что гениальность обязывает к смирению, значит только сказать, что гениальность обязывает становиться сверхчеловеком».

Битвы на границе между Добром и Красотой — характернейшая черта духовной жизни человечества еще со времен Платона, изгнавшего художников и поэтов из идеального государства. В рассматриваемую эпоху в России жил другой страстный защитник Добра от искусов искусства — Лев Толстой. Приговор, вынесенный Соловьевым Лермонтову, по своей безжалостности и предвзятости может сравниться только с приговором,

вынесенным Толстым Шекспиру в статье «О Шекспире и драме». Но, как это ни парадоксально, к Лермонтову Толстой относился восторженно. Он не только ценил его литературный талант, но многократно отмечал высоту и силу его нравственного чувства. Расхваливая статью О. П. Герасимова о Лермонтове, Толстой писал в журнал «Русское богатство»:

«Он показывает в Лермонтове самые высокие нравственные требования, лежащие под скрывающим их напущенным байронизмом. Статья очень хорошая».

В разговоре с Гольденвейзером: «Вот в ком было это вечное сильное искание истины. У Пушкина нет этой нравственной значительности...» Особое место, занимаемое Лермонтовым в душе Толстого, видно из двух высказываний в разговоре с навестившим Ясную Поляну Г. А. Русановым:

«Тургенев — литератор, Пушкин был тоже им, Гончаров — еще больше литератор, чем Тургенев; Лермонтов и я — не литераторы...»

Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог! Он начал сразу, как власть имеющий. У него нет шуточек... шуточки не трудно писать, но каждое слово его было словом человека, властью имеющего».

Интересно, что сказал бы Владимир Соловьев, если бы ему стали известны эти высказывания? Не отнес бы он и Толстого к числу тех «малых сил», которых Лермонтов вовлекал на ложный путь, «облекая в красоту формы ложные мысли и чувства»?

В. В. РОЗАНОВ

«Нет чувства пола — нет чувства Бога!»

Это восклицание Розанова могло бы быть взято эпиграфом к любой монографии о нем. Причем речь здесь идет в первую очередь именно о литераторах. На той же странице в статье «Из загадок человеческой природы» дается расшифровка, уточнение формулы:

«Лермонтов, Толстой и Достоевский... неоспоримо „чресленные“ писатели, „беременные“... Эти писатели, которых внимание так постоянно приковано к началу, зиждущему в мире жизнь, — мистичны, трансцендентны, религиозны; то есть, как мы подводим итог — рождающие глубины человека действительно имеют трансцендентную, мистическую, религиозную природу».

Чувство — чувственность — красота — Бог — вот струна, процизывающая все мироздание в восприятии Розанова, струна, на которую он приземляется снова и снова, как птица или как канатоходец из самых головокружительных философских прыжков и кульбитов. Здесь его родина, его дом, и горе всему, в чем он не признает своего, родного, теплого, близкого.

Горе уму:

«Какое в нем (в Грибоедове) нищенское мирозерцание; какое совершенное забвение „миров иных“!.. Ни земли, ни сора, ни мокроты, ни Бога!»

Горе морали:

«Я особенно не люблю Толстого (мыслителя. — И. Е.), Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души».

Не остановится Розанов и перед тем, чтобы даже к Библии подступиться чуть ли не с ножницами:

«Отроду я никогда не любил читать Евангелия. Не влекло. Читал — учась и потом — но ничего особенного не находил... Напротив, Ветхий заветом я не мог насытиться: все там мне казалось правдой и каким-то необыкновенно теплым, точно внутри слов и строк струится кровь, притом родная!»

Но Лермонтов для Розанова свой. Близкий. Он возвращается к его творчеству снова и снова, пишет статьи о нем, цитирует, перефразирует, превозносит. В восхвалениях часто не знает меры, не может не принизить других русских писателей. Лермонтов — верхушка растущего древа русской литературы. «Верхушка была срезана, и дерево пошло в суки».

«Лермонтов только нескольких месяцев не дожид до величины Байрона и Гете... Мы получили бы, Россия получила бы такое величие блвгородных форм духа, около которых Гоголю со своим „Чичиковым“ оставалось бы только спрятаться в крысиную нору, где было его надлежащее место. Бок о бок с Лермонтовым Гоголь не смел бы творить».

Философские силы ума Розанова целиком поставлены на службу одной задаче: доказать, что Лермонтову были знакомы те же самые мистические озарения и ощущения, что и ему, Розанову. Не одному Лермонтову: еще и Достоевскому. А так как мистика — дело тонкое, для логики неуживчивое, доказательства можно подцеплять как угодно далеко и приносить их обратно, соломинка за соломинкой, на свою главную струну и строить, строить на ней свое гнездо.

Характернейший пример такого построения — параллель между сном Свидригайлова и одной строфой из лермонтовской «Сказки для детей». Рассуждение это имеет форму эссе, которое почти без изменений включено в две статьи: «Вечно печальная дуэль» (1899) и «Из загадок человеческой природы» (1901).

«Сказка для детей» — это по сути ироническая переработка «Демона», начатая и не оконченная Лермонтовым в 1839 году.

Я прежде пел про демона иного:
То был безумный, страстный, детский бред.

Но этот черт совсем иного сорта —
Аристократ и не похож на черта.

Но Розанов не желает замечать ни иронии, ни поэтической самопародии. Для него главное: Мефистофель пробрался в спальню юной девы и склоняется над ее головой. Деве всего четырнадцать лет. Откуда это известно? Возраст дан двенадцатью строфами ниже, говорит Розанов. Бесплезно было бы указывать философу, что четырнадцатилетняя девушка — вовсе не та, что спит, а упоминается уже в рассказе Мефистофеля, который как бы выполняет обещание Демона «прилетать // и на шелковые ресницы сны золотые навевать». (Мефистофель, похоже, выбрал увлекательнейший из всех сюжетов — рассказать спящей о ее собственной жизни.) Неважно — упоминание возраста совпадает с точно указанным возрастом утопленницы, окруженной цветами, которая снится Свидригайлову. Цветы, цветы, всюду цветы — вот второй совпадающий мотив. Но, простите, в «Сказке для детей» вроде нет никаких цветов? Неважно — цветы, или вообще растительность, есть неподалеку, в стихотворении Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива»: там и «малиновая слива», и «зеленый листок», и «ландыш серебристый». И этот же стих кончается словами: «И в небесах я вижу Бога». То есть мотив молитвы. А в сне Свидригайлова мотив божественного дан через формулу отсутствия: «ни образа, ни зажженных свеч не было у этого гроба и не слышно было молитв». Но зато там есть «ангельски-чистая душа» и «последний крик отчаяния». То есть то же, что у Тамары, в настоящем «Демоне» — «мучительный, протяжный крик». А что такое четырнадцать лет? Это возраст, когда «впервые лопаются „граафов пузырьки“ и из него выходит таинственная, столь новая в мире, никем из ученых и никогда не разгаданная детская клеточка; дитя, еще у не рождавшей матери, лоно которой и тянет с неодолимою силою теперь, сейчас поэта».

Нужно, поистине, выучиться летать мыслью, как бабочка, чтобы поспеть за Розановым в этих перелетах с цветка на цветок цитат, ассоциаций, причудливых интерпретаций. И если вам это удастся, вы можете согласиться с выводом мыслителя:

«Достоевский — менее поэтично, более грубо и реально, в сущности вечно рисует вечную же тему Лермонтова: тот же старый „дубовый листок у корня юной чинары“; и назвал это „карамазовщиною“, мы же переименуем ее в „святую землю“, в священный корень бытия, нашего и всемирного».

Розанов знал за собой эту неудержимую страсть растекаться мыслью по ассоциативному дереву. Художественным чутьем он, в конце концов, нащупал оптимальную форму — аскетический жанр короткого афоризма — и прославился сборниками их «Уединенное» и «Опавшие листья». И именно там можем мы найти горько-ироничное определение собственного места в мироздании, которое философ сформулировал в одной строчке: «Господь держит меня щипцами. Господь надымил мною в этом мире». Тем не менее его острое ощущение мистического начала в Лермонтове следует признать важным, указующим, симптоматичным.

В начале своей статьи, приуроченной к пятидесятой годовщине со дня смерти Лермонтова, великий историк задается простым вопросом: как мог такой яркий и несправимый индивидуалист сделаться всенародным поэтом, включенным во все хрестоматии и школьные учебники?

«Педагогический успех поэзии Лермонтова может показаться неожиданным. Принято думать, что Лермонтов — поэт байроновского направления, певец разочарования, а разочарование — настроение, мало приличествующее школьному возрасту и совсем неудобное для педагога как воспитательное средство. Между тем после старика Крылова, кажется, никто из русских поэтов не оставил после себя столько превосходных вещей, доступных воображению и сердцу учебного возраста».

Разгадку этого странного феномена Ключевский видит в созвучии русского национального мироощущения главной ноте лермонтовской души — *грусти*. Статья так и называется — «Грусть». Анализируя специфику этого чувства, автор проводит тонкое различие между ним и столь похожей на него *печалью*, *скорбью*. Скорбь, особенно так называемая мировая скорбь психологически связана с разочарованием в идеале. Идеал при этом остается неразрушенным — гибнет лишь вера в его достижимость. Если же разрушается сам идеал, наступает отрезвление.

«Отрезвленный радуется торжеству здравого смысла над нелепою мечтой; разочарованный скорбит о торжестве нелепой действительности над разумным стремлением. Грусть — ни то, ни другое; ее источник — не торжество рассудка и не поражение идеала... Грусть есть скорбь, смягченная состраданием к своей причине... и согретая любовью к ней».

Когда человек утрачивает предмет своей страстной любви, он как бы остается перед выбором: либо впасть в отчаяние, либо убедить себя в том, что предмет не стоил любви. Однако есть еще и третья возможность: сохранить свою любовь, смирившись с невозможностью слияния с тем, что любишь. Как писал Кьеркегор: «Великое дело отказаться от своего желания, но остаться при нем, отказавшись от его исполнения, — дело еще более великое». И как правило, душу человека, совершающего этот третий выбор, наполняет грусть. Вечная погоня людей за счастьем, идолопоклонство перед счастьем кажется Ключевскому гибельным увлечением, всегда обреченным на разочарования и душевные катастрофы. Он противопоставляет ему христианское отношение к миру:

«Не мир своими благами обязан служить притязаниям лица, а лицо своими делами обязано оправдать свое появление в мире... Христианин растворяет горечь страдания отрадной мыслью о подвиге терпения и сдерживает радость чувством благодарности за неадаптивную милость. Эта радость сквозь слезы и есть христианская грусть, заменяющая личное счастье».

Нет, Ключевский не пытается объявить грусть Лермонтова христианским чувством. С его точки зрения, она выросла из все той же погони за личным счастьем, которая домчалась до осознания недостижимости его и остановилась, провожая неразлюбимый (не раз любимый!) предмет грустным взором. Но глубина и искренность этого чувства были выражены поэтом с такой художественной силой, что творчество его оказалось созвучным главной струне русского сердца. Что же это за струна? Она слышна и в тоне русской песни, и в русском пейзаже, и в картинах русских художников, в ней есть что-то печальное и что-то веселое, она отзывается и на «чету белеющих берез», и на «избу, покрытую соломой», и на холодное молчание степей, и «на пляску с топаньем и свистом» — это грусть.

«Личное чувство поэта само по себе, независимо от его поэтической обработки, не более как психологическое явление. Но если оно отвечает настроению народа, то поэзия, согретая этим чувством, становится явлением народной жизни, историческим фактом...

На Западе знают и понимают эту *резиньяцию*; но там она — спорадическое явление личной жизни и не переживалась как народное настроение. На Востоке к такому настроению примешивается вялая, безнадежная опущенность мысли и из этой смеси образуется грубый психологический состав, называемый фатализмом. Народу, которому пришлось стоять между безнадежным Востоком и самоуверенным Западом, досталось на долю выработать настроение, проникнутое надеждой, но без самоуверенности, а только с верой».

Хочется добавить — с верой, полной грусти.

Ключевский, пожалуй, глубже всех других почувствовал страдальческое и благодарное настроение, пронизывающее творчество Лермонтова последних лет его жизни. Но даже он не очень верит в искренность страданий поэта. В начале статьи он пишет:

«До конца своего недолгого поприща не мог он (Лермонтов) освободиться от привычки кутаться в свою нарядную печаль, выставлять гной своих душевных ран, притом напускных или декоративных, — словом, казаться лейб-гвардии гусарским Мефистофелем».

Великий историк пытается соотнести душевное состояние художника с историческими драмами, свидетелем которых ему довелось оказаться.

«Настроение, которое в поэзии обозначается именем великого английского поэта, сложилось из идеалов, с какими западно-европейское общество переступило через рубеж XVIII века, и из фактов, какие оно пережило в начале XIX века, — из идеалов, подававших надежду на невозможность подобных фактов, и из фактов, показавших полную несбыточность этих идеалов. Байронизм — это поэзия развалин, песнь о кораблекрушении. На каких развалинах сидел Лермонтов? Какой разрушенный Иерусалим он оплакивал? Ни на каких и никакого».

Историку свойственно преувеличивать воздействие мировых событий на боль нашей души. Глубоко верующему христианину, каким был Ключевский, свойственно забывать, через что проходят люди, лишенные благодати веры. И все же странно, что он отказывается принять свидетельство самого поэта, который без конца описывал в стихах и прозе «развалины, на которых он сидел», давал им точное название: юношеские мечты, вера в идеал, вера в правоту искреннего чувства, «надежды лучшие и голос благородный // неверием осмеянных страстей».

Конечно, на это можно сказать, что все мы в юности лелеяли какие-то идеалы, все испытали разочарование, все так или иначе примирились с земной реальностью. И реальность, окружавшая Лермонтова, была уж наверное не тяжелее той, которая накатилась на нас в веке двадцатом. Однако, проводя такое сравнение, мы упускаем одну важнейшую деталь: настоящие обольщения миновали нас. Обман, окружавший нас с ранних лет, был таким кроваво-примитивным, легко разоблачимым, плакатно-сусальным, что поддаться ему могли только очень простые души, на которые он и был ориентирован. Мы были избавлены от разочарований тем, что нам нечем было очаровываться в реальной жизни.

Не такова была судьба четырех любимых персонажей нашего прошлого: Пушкина, Онегина, Лермонтова и Печорина. О, эти знали соблазны настоящей славы, настоящей любви, настоящей красоты, настоящего богатства. Они умели опьяняться пряными ароматами большого света, умели вливать блеск театра, шум бала, «французской кухни лучший цвет» (Онегин, 1-16), умели отдавать сердце и ум «науке страсти нежной» (Онегин). Но и не только это. В юные годы высший свет должен был действительно казаться им тем местом, где благородство ценилось так высоко, что за него надо было платить кровью. И талант получал признание. И любовь была таким счастьем, что утрата ее могла завершиться самоубийством. И Бог был так высок, что даже сам царь преклонялся перед ним колена.

Неважно, что, вступив в свет, они обнаружили прорехи, заплаты, «позор мелочных обид», порок «под сению закона», мир, который «как ветхья краса... привык морщины прятать под румяны...». Здесь еще оставалась возможность сохранить достоинство, сделать правильный выбор, смело стать против «палачей свободы, гения и славы». Страшнее было другое. Оказалось, что им с детства давали неправильные карты души, что она ничем не похожа на гору Синай, на вершину которой надо подняться за скрижалями — и дело с концом. Оказалось, что в ней нет простого верха и низа, что вершин как минимум четыре, что и торчат они, похоже, в разные стороны, так что сплошь и рядом, порываясь к Правде, Красоте, Добру или Вере, ты явно удаляешься от трех других.

Не от того разочарование, что в мире оказалось гораздо больше зла, уродства и низости, чем виделось в юности, а оттого, что душа, по-настоящему рвущаяся ввысь, должна разорваться на части.

И пусть меня накажет Тот,
Кто избрал мой мученья.

Есть в душе Лермонтова некий болевой центр, откуда расходятся лучи, пронизывающие и все его творчество, и всю его жизнь. Эта фокусирующая точка находится в том месте, где жажда свободы пересекается с жаждой любви. Конечно, каждый человек имеет такую точку, знает об этом страшном противоречии. Но спасаясь от душевной боли, мы учим себя смиряться либо с утратой свободы, либо с утратой любви. Величие настоящего поэта в том и состоит, что он отказывается смириться. И мы вслушиваемся в его стоны,

вчитываемся в его строки с таким волнением отчасти потому, что хотим узнать: что же происходит с несмирившимся? как высшие силы обходятся с бунтарем?

Понятно, что речь здесь идет не только о любви к женщине. Противоречие между живым чувством двух влюбленных, свободно избравших друг друга в толпе, и несвободой брачных отношений — просто самый наглядный пример этой вечной драмы. Ни Лермонтов, ни Печорин просто не способны влюбиться в девушку на выданье именно потому, что они не могут поверить в искренность ее чувства к ним: каждое ее слово, каждый ее жест попадают под подозрение в неискренности, в завлечении жениха, на которое ее толкают родители, свет, предрассудки общества. (Безжалостно и убедительно описана эта ситуация в «Княгине Лиговской», где Екатерина Сушкова, за которой ухаживал Лермонтов в 1830-м и потом, в 1834 году, изображена под именем перезрелой невесты Елизаветы Негуровой.) Свобода выбора оказывается под подозрением — и любовь умирает. Они могут влюбляться только в замужних (уж эти точно не ловят женихов) или играть с идеей, что хорошо бы заполучить женщину, например, разбоем — «Бэла», «Тамань» — или даже выиграть в карты, как в «Казначейше».

Трудно, очень трудно полюбить что-то в этом мире человеку, чуткому к утрате или даже к ущемлению чувства свободы. Полюбить Правду, царство разума? Но это значит подчинить себя целиком законам рационального рассудка, то есть утратить свободу откликаться на голос собственного сердца, десять раз на дню неразумно говорящего нам: это красиво, а это безобразно, это доброе — это злое, это высокое — это низкое. Служить только красоте? Но она бывает так своевольна, непредсказуема, жестока, деспотична, что может разрушить всё остальное, что человек любит в этом мире. Добро? Какая же ценность в добре, если людская мораль *требует* от нас, чтобы мы подчинялись заповедям добра, то есть опять же отнимает свободу. Да и присоединиться к верующим в Бога свободлюбцу нелегко, потому что он никогда не знает: то ли эти люди действительно любят Бога, то ли боятся наказания на том свете, адских мук.

Говорить, что Лермонтов — или его герои — красуется своею тоскою, могут только читатели, либо никогда не знавшие этой драмы, либо забывшие о ней, либо не чувствующие горькой самоиронии автора, самоиронии, уничтожающей самолюбование. В «Бэле» есть эпизод: Печорин рассказывает Максим Максимычу о своих страданиях, о ненасытности своего сердца, о том, что ему всего мало, о разочаровании, об опустошенности души.

«Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

— А всё, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— А-га, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!»

Перед нами прошли четыре замечательных мыслителя, каждый из которых страстно отстаивал интересы избранной им духовной державы: Веры (Мережковский), Добра (Соловьев), Красоты (Розанов) или Правды (Ключевский). Но чем отличаются они от поэта? В его душе мы чувствуем «жемчужину страдания» (стихотворение «Кипжал»), а в их душах — нет. Как простодушный Максим Максимович, они стараются закрыть глаза на истинно ужасное, на трагизм человеческого бытия. Они пытаются представить нам мир, в котором душевная смута вырастает либо из козней злых сил, либо из заблуждений, либо из-за того, что человек подпал под дурное влияние пьяниц-англичан. Но тайным инстинктом мы понимаем, что это не так. Мы видим, что ради достижения душевной гармонии они только делают вид, будто между четырьмя царствами нет непреодолимых границ, что они одно. Мир души, удовлетворенность бытием и мирозданием — большое счастье. Но сердце зовет и зовет нас почему-то назад, к строчкам того, кто «увы, счастья не ищет и не от счастья бежит». Ибо что-то говорит нам, что жемчужина его страдания не менее драгоценна, чем евангельская жемчужина, та самая, за которую не жалко отдать всё, что имеешь, потому что лишь она может приблизить четыре разделенные царства нашей души к Царству Небесному.

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружан мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчитсся он,—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.

Крышица

Галина Гампер

ИСПЫТАНИЕ АБСУРДОМ

О поэте Андрее Крыжановском

1

В начале 1990 года в Ленинграде вышла поэтическая кассета «Октава». В ней я хочу обратить внимание читателя на книжку «Звездный муравейник» Андрея Крыжановского: до сих пор он был известен только в очень узком кругу.

Сборник вышел в канун сорокалетия автора, так что вывод о нелегко сложившейся судьбе поэта, типичной, впрочем, для его поколения, напрашивается сам собой.

Но сама типичность в данном случае нетривиальна.

В наше время слово «непризнанность» (как и многие другие слова) утратило свою первоначальную суть и стало скорее означать высокое качество и степень признанности.

Мы жили в стране, где границы общества совпадали с государственными границами и оппозиционная деятельность была равнозначна антигосударственной. Поэт мог быть непризнанным официальными инстанциями именно потому, что его чтит «оппозиция». Но тогда и сама непризнанность оказывается фикцией.

Виктору Кривулину и Олегу Охупкину, прекрасным поэтам, чьи первые на родине книги тоже вышли в «Октаве», было тяжело материально и неудобно духовно, было трудно, но они заслужили непризнание явной принадлежностью к самой «оппозиции».

Сколько, однако ж, было и других людей, что, разбросав по своим опусам знаки принадлежности ко «второй культуре» — от поминутного поминания всеу Господа до

полной абракадабры в выражении чувств и культивирования откровенных непристойностей, — сколько их без всякого риска достигли тех или иных степеней «признания своей непризнанности».

Андрей Крыжановский не принадлежит ни к первым, ни ко вторым. Ему просто чуть-чуть не повезло с годом рождения, на праздник «второй культуры» он опоздал. Годика бы на три-четыре раньше, и он мог бы стать одним из тех, кто формировал ее эстетику.

«Вторая культура», при всей ее неоднозначности, — детище 60-х годов. Тогда создавались «правила игры» и, что немаловажно, правила поведения.

Быть одним из творцов этих правил Андрей не успел, принять их как данность, стать, по его выражению, «конформистом от неконформизма» ему, видимо, не позволил характер и еще, я думаю, — хорошо устроенная жизнь.

Это «хорошо» сказано без иронии. Дело в том, что родиться он опоздал, но при рождении ему повезло: он появился на свет внуком крупнейшего нашего драматурга — Евгения Шварца. Это не означало выключенности из нормального советского быта, но гарантировало прочность бытия не только в материальном, а и в духовном плане.

Казалось бы, при унаследованных литературных связях дорога к печати должна была стать намного легче, чем у всех прочих. Так нет же, и тут путь к признанию оказался долгим и трудным и, в сущности, не пройден до сих пор. И это несмотря на то, что первая большая вещь, комедия о Митрофанушке, поступавшем в вуз, вещь,

Гампер Галина Сергеевна — поэт, переводчик, автор книг «Крыши» (1965), «Точка касания» (1970), «Крыло» (1977), «Закливание» (1983), «На исходе лета» (1987). Неоднократно печаталась в «Звезде». Член СП. Живет в Ленинграде.

во всяком случае, не ученической, была написана Крыжановским в восемнадцатилетнем возрасте.

Как заметила Майя Борисова, Андрей «не умел быть молодым». Когда он пришел к Глебу Семенову, замечательно поэту и педагогу, тот сказал: «Мне нечему учить вас».

Конечно, сыграл свою роль и замкнутый самолюбивый характер.

Тан или нече, но непризнанность тут была практически абсолютной — ни кружка, ни друга. Как можно было совершенствоваться в таких условиях, мне непонятно. Но в результате выработались тут необычный стиль и угол зрения, который дает мне право выбирать из многих настоящих и серьезных поэтов — этого.

Я отважусь на ход в критике не принятый, но в данном случае оправданный, хотя бы морально: временно дам слово самому поэту, но пусть он говорит не о себе, не о поэзии вообще — о другом.

2

«...Посмотрев фильм Марка Захарова по шварцшевскому „Дракону“, и был разочарован. Не получилось, в отличие от „Обыкновенного чуда“. Сразу по просмотре было порою раздражение — зачем так отступать от авторского текста (...) Вообще допустили ли при инвентаризации классической поэмы выдать Офелию за Гамлета, сохранив живых обоих?»

Мне возразили, ссылаясь, кстати, и на опыт Шварца, и, при всех отговорках, со многими возражениями пришлось согласиться.

Фильм, тем не менее, не получился. Теперь и автор мог ответить, почему — его авторы устроили не только во внешнее течение сюжета, но и в самое существенное, хочется сказать, сущностное — в мироучастование Шварца — и заменили его своим. Дело тут не в том, что Шварц чувствовал мир лучше или правильнее Захарова, но в итоговом хаотическом сменении духа если не праздничных, то непримиримых начал.

У Шварца Ланцелот — бродяга, прохожий, и это хорошо. Цыгане, которых даже в зингом поколении продолжает преследовать Дракон, для Шварца и его героев — «славные, смелые люди». Дорога проходит сразу за видимым пространством сцены, это постоянно и подвигает. Дорога лечит смертельно раненного Ланцелота. Ланцелот приходит и приносит с собой ощущение дали, забытые обителями города: «В пяти годах ходьбы отсюда в Черных горах есть пещера...»

И то, что в пространстве называется дорогой, то во времени и пространстве, более даже во времени, — обретает достоин-

ство пути, и выражение „путь-дорога“ здесь точно разграничивает смыслы. Путь Ланцелота и история, которая с первых же днюемых пьес набирает дыхание и все энергичнее начинает двигаться к некой вершинной точке, и торжеству добра. Само время шварцшевских пьес имеет смысл, выходящий за рамки чисто драматургической, со значениями и спадом напряжения, построений, эстетических тут не отделяемо от атического, сущностного, Бердиев сказал бы — христианского.

И все иначе у Марка Захарова. Город — царство замкнутых кривых, лабиринт, обнесенный непроницаемой стеной. Медленно кружится гигантское колесо с подвешенными за ноги пытаемыми. Огромный ресторанный зал уставлен повторяющими друг друга столами, даже редкие открытые пространства ограничены близким горизонтом. И такое же время — в финале все возвращается на круги своя после бессмысленной гибели Дракона, бессмысленного и беспощадного бунта толпы, новой — только ради чего? — победы Ланцелота. Дурная бесконечность. История абсурдна, как и жизнь, человек должен переживать такое положение как безнадёжное, что дает повод самому ценному образу мыслей и действий или отчаянию, но это не Шварц.

Какой уж тем Шварц, если Ланцелот привозит а город связанным и его вывоз Дракону оказывается актом свободной воли в самой малой степени.

Стоялупные же несогласные системы, смешались в фильме, и он не получился. Несмотря на огромную фору, которую имеет жизнь и волный как угодно менять текст режиссер (причем мастер!) перед мертвым автором, абсурдистский эстетизм не смогла перемотать шварцевскую.

И даже хорошо, что такой опыт поставлен.

Захаров, вероятно, показалось, что Шварц устарел, что „Дракон“ нуждается в модернизации, а получилось — нет, мы живем до оторогого пришествия Ланцелота (кстати, эта перекачка, кажется, до сих пор никак замечана не была). Хотя Ланцелоты уже являлись во множестве и разных сферах и на разных этапах общества. Игра не кончена, и за кем будет победа, неясно. Мы еще не вышли за сферу шварцевского предвидения.

3

Это, конечно, не только защита Шварца, но и себя самого.

Мир, окружающий нас, абсурден, и закономерно, что первый всплеск русского абсурдизма пришелся на годы становления Шварца — обритуры были его ближайшими друзьями. Но сам он, хотя и писал иногда стихи в духе Олейникова, а то и в соавторстве с ним, обритуру не стал. Его

мир оставался полым глубокого религиозного смысла. К слову, спор с обритурами идет и в шварцевских сказках — мне говорил, что у коммерции советника из «Снежной королевы» есть реальный прототип — это Денис Хармс.

Так вот, Крыжановскому свойственно то же стремление и преославлено столь очевидно, в пали дни даже назойливо очевидного, абсурда.

История не бессмысленна, жизнь не бессмысленна, «личинный обрз мыслей и действий» не имеет под собой почвы, цинизм и злодей терпит поражение в истории. Добро, в конце концов, должно победить, оно в основании мира.

Одлавление абсурда и самого абсурдизма как образа мыслей и действий у Крыжановского есть стихотворение. Оно начинается так:

И я испытал этот иску —
писать не понятно
ли себе, ли другим, пусть они
источником превратят
стиховое пространство,
пусть вложат свои — тут как раз
кстати лавры и тернии в доку
ментальную жертвы,
обобщающей обществу
«Нетрудные резервы»
радость избранности и исцелит
над косяком масс,
— вот условия игры...

Дальше эта суховатая «почти проза» переходит в виртуозную игру гоголевских мотивов — от «кретной» «носологии» («вместо римского носа тебе стоговали еврейский») до обобщенной темы судьбы художника, несущегося к возможности легкого успеха. И о тишинности этого заблуждения. А в итоге:

...Город тинется к ичи.
На Думе ударит час.
Ломашные силы устанут вливаться
в колеса...
...Что за грустная вещь —
всюду видеть сплосные носы,
даже ежели вдрут с человеком столкнешься
вос к юсу.

Абсурд не приговорен заранее, он включен в стихотворение, герой проходит испытание абсурдом и выдерживает его: истина, добро и красота не отдают классического, христианского, по Бердиеву, смысла.

И совершенно естественно, что Крыжановский загоняет о церкви. Вернее, о человеке, церкви и Боге. Стихотворение «Звездный муравейник», давшее название книге, безусловно, религиозное, христианское. Но церковью в ее нынешнем состоянии оно не отторгается. Она, по Андрею Крыжановскому, засекретила Бога:

Ты заметишь, ой, ои заметишь,
и в молении благословляю
думашь — мы в братстве муравейном
с тобой, — значит, Бога рассекретишь...

Получается, что человеку самому простому, «культмессово-торговому» — не место в храме. Однако его самостоятельность — реальность. Возрождение его личности возможно и вне первоначальных стел. Постому прова быть, то, чего у Крыжановского вообще много, обретает в стихотворении привлекательность тайны. Автор указывает на нее, не раскрывая тайны: тайна остается тайной, ее можно только угадать. Вообще поэт у Крыжановского — «во фрезе тойна связка». И сам стих «Звездного муравейника» — редкий для «интеллигентной» поэзии корей — подчеркивает простоту порождения.

Стихотворение это отчаянно сделано, но, признаться, и не слишком люблю его, отсутствует «момент узнавания».

— Откуда умь ватись, — сказал мне Андрей, — ведь это об отлучении от церкви, о тяжком изгнании, скажем, как у нас — исключение из круга «природных людей».

— Что это за «природные люди», о которых так причино?

— А вот именно те самые, что взяли на себя обязанность мыслить «антисоциально»...

Нет, и не соглашусь с такой трактовкой, хотя и не впервые слышу о «мафии природочных людей». Пожалуй, тут больше множественности: «Ах, если бы не множественность в упорстве к доминированию...» Да не сам ли поэт себя и отлучил?

В неопубликованном его стихотворении написано:

И, может быть, только
пучковатая грусть
и докоть другой безобидной твари,
и пикль, что выносил право на бунт
и счастье работы больших полушарий.

Тык, может, это было внутренней потребностью — ощутить себя своим среди тех людей, на которых «мир стоит»? «Мы отделились от корней, их нет ни в почве, ни в народе», — сказано в раннем стихотворении. Елена Игнатьева, написавшая предисловие к «Звездному муравейнику», считает, что «это книга об обритурии корней», и она правы, конечно. Думаю, именно потому человек с филологическим образованием, чьи работы даже за границей переводились, оказался своим среди слесарей. И об этом его цити. «Подвал и чердак» — о людях дня, но не о людях. Хотя люмпентство все время рядом, как угроза: «Ватюшкин свет, и сдох бы, как сотня других, жизни поставивших в счет выразительский счетчик». Но что-то его удерживает. Что?

4

В стихотворении Крыжановского «Антипороч» шестиклассный сержант предлагает человеку могущество всеведения, на что получает характерный ли поэт ответ:

— Влей и тебе асевеенье, и стало б
светлеть пространство, раздвигаться ум,
прозвизг бы ушм горней речи шум...
— А если он не даст услышать жалоб?

Опять же сравним со шварцеским «Драконом»: «В пять годов ходьбы отсюда а Черных горах всть огромная пещара. И а пещере той лежит нига, ясписанная до половины,— рассказывает Ланцелот Эльва.— Кто пишет?! Мир! Горы, травы, камин, деревья, реки видят, что делают люди... От ветки к ветке, от капли к капле, от облака и облаку доходит до пещары а Черных горах человецески жалобы... Если бы на свете не было этой книги, то деревья засохли бы от тоски, а вода стала бы горькой».

Трудно не заметить, что Шварц говорит здесь и об одной из индустрий искусства. Вспякая хорошая книга — о жалобах, это очень по-русски и очень верно вообще. И книга Крыжановского — из ях рлда.

Мы не знаем, что такое лиризм. То ли жизнь души, воплощенная а языке, то ли жизнь языка, запечатленная душой, но определить, но именно это а называю лирикой, собственно поэзией, суть которой — музыка, щебет, лепет и разговор на плясках, оформленный современными социальными. Эта музыка одна для асех, но у каждого значительного поэта своя. В филологическом просторечии это называется стилем.

В «Звездном муравейнике» есть стихотворение, которое меня изумляет. Оно начинается словами «Прилепнишис к кому-то, как тань к занавеске, прикнопнись...». Все оно — одна огромная фраза, которой описывается целая человеческая жизнь — с детством, любовью, «работой с предельной отдачей», искусством и смертью. В его длительности «времени больше нет» — как а смерти. Но в «смерти», отмененной самой грамматикой стихотворения, потому что предложение — это грамматически выраженный однородность. Фраза Крыжановского вообще часто огромна — и тут, конечно, и мастерство, и глубина дыхания... Но не это главное, а то, что она одновременно открыта для самых как будто бы яслильных пластов мысли а языке. Открыта многообразно мира.

Эта тяга к одновременному описанию

асего сразу не убивает аремя, яо придает ему эсхатологический смысл, истории танним образом не перестает быть, а, напротив, обретает стремление и цель, спасается от абсурда. Но вынужено спасаяна на дается просто, а стихи Крыжановского балансируют порой на грани «отчаяния и цинизма».

Корни, а главные из них — это, конечно, и глубоко понятая народность («если и н „одна из“, то только одна из яарада»), и нультурный пласт, и детство, о котором у Андрия очесь много, пона держат. Удержат ли они его на свирепеющем астру аремени, не испортит ли поэта и его стихи «испытание абсурдом»? Наконец, повернется ли читатель н этому человеку, «окинутуюму из толпы», как определил поэта А. Кушнер? Как знать. Об оптимизме у нас легко говорить, да трудно н его поверить. Но асе же, судя по стихам Андрия Крыжановского (одним из них, до сих пор не опубликованным, я н хочу закончить эти заметки), и оптимизм может быть исполнен ненавязчивого лирического обаяния:

Сегодня дондливо и холодно,
напероз погоды на судьбы мою и твою
увлекшийся, взглял подыму,
задаваясь вопросом:
а что же нас ждет и прольется
на мелищю чью?
Спаси н помилуй мя, Господи,
но осясалив мя
не просто случайной удачей, а тем,
что уне
дарил,— чтобы мир, будто в фокусе,
собранный в рифме,
остался собой, не распавшимся
на аиреже,
чтоб слово и собственно жизни,
как кремль и огню,
нелые порозы,
теперь, при слыняие а одно,
могли осветить
восстаиваиваив перспективу,
хоть тот же проснелт,
заливающий мраком окно,
хоть мертвый фонарь,
представитель в рода, и ряда,
ноторый, как дерево,
росшее перед окном,
был с детства не большие
чем точкой отсчета для взгляда,
е нынче впервые замечен,
путь аскольз и бегом.

Жизни изощренной словесности

Петр Вайль, Александр Генис

ВМЕСТО «ОНЕГИНА»

ПУШКИН

Бросается в глаза неуверенность всех пишавших о «Евгении Онегине». Критики и литературоведы как бы заранее сознают порочность амысла и ничтожность шансов на успех. Даже смелый и независимый Белинский оговаривался с первой же строки: «Признаю: а без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как „Евгений Онегин“». Тансты Чернышевского, Добролюбова, Достоевского, позднейших исследователей неспрост неопределенности, оговорок, аводным словами ароде «кажется».

Тан с опаской пробует воду ривний нульщияк, но уже прыгнуа, с силой гонит волну, подыная шум и брызги. Тан поступил Писарева, аложивший а разбор «Евгения Онегина» необычную для русской словесности дичость. Пушкинский герой азаан не только «Митрофанушкой», но и на современном фельетонный манер «нравственным эмброном» я «ардным ндиотом». В амы обличения Писарева подыался даже до истинного нюзма, утверждая, что «Онегин снуает, как толстая нульщия, которая выпала три самовара я жалует о том, что не может амынт их тридцать три».

Это размашистое и безоглядное поношение — не что иное, как реакция на долгов топтание у берега. Брызгая а шумя, Писарева заглушает негромный, но анятный голос сомисенци. Для него псна трактовка идей и образов, но — как и все! — он не знает, что дается со стихами, котормым написан роман. Кан и асе, он чувствует ускользающую плоть текста, для ноторой слишком крупна социальная ачя. Да, апрочем, крупна я любая другая. «Пушкин постоянно употребляет танне эластичные слова, котормы сам по себе а не имеет никакого определенного смысла...» Это жалоба хабреца Писарева на собственную бессилия. Потому он обсуждал на столько «Евгения Онегина», сколько мнение Белинского о романе. Танпер можно обсуждать мнение Писарева. И тан далее.

Но как же асе-таки быть с нульщияным текстом?

Онегин, разнесенный полутора анами, удивительно совпадает. И если «Московский телеграф» в 1830 году называет роман «опытом поэтического воображения обществанных причуд», то именно за это знайлился современный пушкинстик: «Кажется, что автор ничего не хотел доказать, никакой аслю, конкретной идеи а свой роман не акладывал». Разница в том, что комментаторы пушкинских эпох не были связаны авторитетом всаародного гения, а сегодняшний исследователь находится а зависимости от поэта и его мезамой славы. Но в исчерпных, неаислывственных абацах неизбежно прорывается аса та жа полуторавасовая растерянность: о чем же асе это? Зачем?

Исповестись Пушкина — тошнее: принципиальный невозможность до конца поять — переможения на десятилетия более или менее бесплодных попыток. Этот беспредельный а русской словесности феномен привел к тому, что прочесть «Евгения Онегина» а наше аремя — невозможно.

В последние годы были проведены, правда, для успешных опыта чтения — использующих противоположные методы. Первый — максимальное погружение «Онегина» в контекст истории, литературы, социальной психологии. Второй — незамутненно, абсолютно непрепятное чтение текста. Для одного опыта понадобилась аясчернаемая аруляция Юрий Лотман («Комментарий к „Евгению Онегину“»), для другого — коннаистадорский талант Андрей Синявского («Прогулки с Пушкиным»).

Для остальных существует третий, самый распространенный и практически единственный путь — чтение без текста.

Стоит перечитать «Евгения Онегина», чтобы убедиться: внимание сосредоточивается на отдельных поразивших повизной строчках, не замеченных ранее или забытых — тропических или смешных. Сам же роман кичуть не меняется, как не меняется привычная картина, если стереть с нее пыль: только и выплывают, что дерево в левом углу — береза. Вся психологическая и литературная игра, доверку наполняющая «Онегина», услаждает от взгляда и слуху, засвоенных сотнями толкований.

Дело даже не в шпильной транковке. Пушкин вообще, и «Евгений Онегин» в частности, шире хрестоматий и учебника — это чтение жизни, о которой каждый имеет не понятие, но свое представление. (Так каждый разбирается в медицине, футболе или воспитании детей.) И даже тот, кто «Онегина» не читал, воспримет пересказ содержания романа как оскорбление.

Вся классическая литература поступает к читателю в готовой упаковке. Но аргументский «хрестоматийный глянec» — особого рода. Будто попечением какого-то благостратильного пушкинского общества выпущены разные хрестоматии по числу читателей, с учетом индивидуальности каждого, и для каждого — свой глянec. Все мы живем со своим личным «Евгением Онегиным» — вполне мнимым. У нас с ним свои счеты — наш с женой.

Это происходит оттого, что читатель общается не с романом, а с неким метатекстом — чем-то большим и vizким, что пролетает между романом в стихах, написанным Александром Сергеевичем Пушкиным, и читательскими усилиями. На этой дистанции «Онегин» успевают измениться и поддаться и восприятию. Все известно про этот роман, в на самом деле читать его совершенно не обязательно; но без того он с нами в виде бесчисленных словесных, образных, идейных цитат. Русский человек с молодчества знает, что чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. У нас у всех дядя честных правил, даже если дядя нет.

Однако при всей сугубой индивидуальности подхода к феномену «Онегина» существует все же единый схематичный его образ. Онегин-тин — или с женой. Нет и не может быть определенных рекомендаций, но приблизительно известен образ идеальной жены: хранит верность, ауносо готовит, не ругается. Так же имеется обобщенный образ великого романа.

«Евгений Онегин» — это красивые люди, красивые чувства, красивый явизья.

Подобно тому, как Татьяна «влюбилась в обаяны в Ричардсона и Руссо», Россия была покорена обаяном Пушкина.

Кровь и горе раздвигаются по сюжету «Онегина», а мы ничего не замечаем. Поруганные чувства, разбитые сердца, замузжество без любви, безарменная смерть. Это — полноценная трагедия. Но ничего, кроме блаженной улыбки, не понимается при первых же звуках мажорной онегинской строфы.

Конечно, ответственность за это несет и одноименная опера. Поколения русских людей обмирают от ядлости и печали, когда тенор ауызодит за Ленского: «Куда, куда ау удалялись, весны моей златые дни?» Высокые, недоступные простым смертным, аузонды лются усилиями двух гениальных обаянчиков — Пушкина и Чайковского — и нет ни сил, ни охоты подметить черныи юмор поэта, заставившего героя произносить перед смертью пародийный набор штампов.

В оперное, праздничное настроение стихов не выписывается ничто явизненное, и далеко не с первого прочтения попадают на глаза тайне строки:

...К старой тетке,
Четвертый год болыной в чухотке,
Они прискакали топоры,
Им настало отворять дворы,
В омах, в изоранном намолде,
С чулком в руи, седой маммы.

Эти строки и не надо помнить, потому что они не из Пушкина, а из Гоголи, например, или разношца. В «Евгении Онегине» нет и не может быть чухотки, чулки, напизмшистка. А есть вот это: «Шум, хохот, беготня, полные, галош, мазура, вальс...» Список продлевается по желанию.

У русского человека обычно ауызывают полное раздражение аурубужные интерпретаторы русской классики. Но а чем-то существованю он прав. Лишенные рабского преполюнения перед текстом, они не стесняются следовать на буна, даже на духу, а — образу, ощущению, метатексту. Пьер Безухов признаывает нвартиального и маждемо. Долохов прогибается и не падает с кизрица с бутылкой рома. А что же Онегин? Он поздно просмывается, серебрится морозной пылью в в чем-то широном (болизаре?) мечет пробну а потолка.

Джентельменский явор царит в пушкинском романе. Все тут джюанное, богатое, аурагичное: кларет, брегет, двойной лорнет. Не простой, ординарный лорнет, нив у всех, а двойной. Нарядная ауотическая ауизина и еда, разговор о сравнительных достоинствах ан и бордо — нив у Ремарка с Хемингуэем. Ан — любовница, бордо — друг, ром — молопо солдата. Повсюду юнки. Даже бесплотный Ленский ауызавывает пониманию: «Ах, милый, как похорошел у Ольги плечи, что за грудь!»

Обаяню изощрой жизни поддавались и разношасные критики. Белинский, известный тем, что опрокинул красное вино на белыи штаны Жуковского, даже чрезвычайно уважительно относился и воспитанному сословию: «К особенностям людей светского общества принадлежит отсутствие лицемерия...» Непримиримый Писарев некохотю говорил о том, что гриз жизни у Пушкина незаметна, а веселье и легкость, о картинах романа, ауросованных «светлыми красками». Эта сестлость такова, что даже пушкинщина обличию воспринимается как похвала:

Среди луиавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Задоев и смешных и скучных,
Гуных, привязчивых судей,
Среди кохетей богемных,
Среди кохельев добровольных,
Среди всесудных, модных ежен,
Утиных, ласковых маммы...

Красота стиха ауоразивает, все ауызывает восторг и умиление: и «ионетки багамальные», и «измены ласковые» — все хорошо!

По строфам «Онегина» разнотесно, но замечательному выражению Надеждина, «рагуловое аушувление всеюса самодовольства»... В том и заключалось невольное пушкинское лицемерство, что он — как опытный лакиционер действительности — ауыл только правдивую сторону жизни. Но именно — невольное. В романе, если приглядеться, происходит все, чем слава русская словесность: быют служанки, сдуют в солдаты крестьяне, ауит крепостное право. Но приглядываться нет никакой возможности — все ауимание зрится стихами. Точнее — тем апечалением, которое они астыляют.

Из самих стихов, если читать их пристально в бунуалью, можно извлечь решительно все: на то и большая форма, «эпидиллопеия». Там, Достоевский легю доказал, что «Онегин» — произведение славишюисное, и почасеница Татьяна противостоит западнику Евгенийю. Эта талантливая севулиция не аушла в читательский «образ» романа, а его метастисет — как слишком серьезная и основательная, а потому ауападающая из стили «Онегина». Это другая выдумна Достоевского — вошла: он впервые назвал мужа Татьяны стариком. Старик и остался, нив яи быются комментаторы, доказывая, что муж и Онегин — почти ровесники. Это естественно: для картины общей красоты необходима антитеза молодого ауозлюбленного и старого мужа — такова традиция. Ведь убитая жестоносердцем Татьяна аушла с отчанини за него пошла, а в чем же жертва — выйти за богатого, аузнатого, да еще и молодого?

«Онегинский» метастисет произаел необходимый отбор, презрев и распределение простоты между сестрами, задуманные Пушкиным. В тексте прямо говорится о необыкновенной прелести Ольга, а про Татьяну двизды — а начале и в конце — сизаено: «Ни простоты сестры своей... не прилегла б она очей» и «Ничто б не мог ее прекрской назвать». Но, вопреки воле автора, у читатели нет сомнений а том, что Татьяна — томины прасавица, а Ольга — здоровая руминал дура. Снова законы красной жизни ауаываются сильнее авторского намерения: несправедливо, чтобы лучшая из героинь милькула и ауорнула с безмынным улапом, а читателю восемь глаа норотать с худшей.

Лучшие российские критики — и читатели аслед за ними — рассуждают о том, что чистой и умной Татьяны не достоин испорченный и пустой Евгений, который ниже не пишет, а читает — не те. Как мог он отсартнуть ее, будучи ивно хуже? Но ведь как раз Татьяну Евгений вьонне устривал: «Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранилте мой...» Та же история произошла у Пушкина и в личной жизни: только тут он ауаался Татьяной, а Евгением — Натальи Николаевна. Правда литературы и правда истории не ауачет ничего: аня Евгений перед Татьяной и Натальи Николаевны перед Пушкиным а читательским сознании — неспорные.

Персонажи — и нинг, и жизни — судятся не по законам справедливости, а по законам красоты сюжета. Сюжет «Евгения Онегина» принадлежит ии Пушкину, а русскому читателю. Массовому сознанию, метатексту, обобщенному образу. Пушкину принадлежит — стихи.

Стихи, подобных которым не было, нет и не может быть в русской поэзии — нив излян достичь снорости света. Гармония пушкинского текста снособна сама по себе, одним своим стройным ауызучием создать самостоятельный мир, который мы и воспринимаем — яне

зависимости от того, какой смысл несут слова в этом тексте. Онутовавшее роман стиховое ядро столь же осязаемо и реально, как текст первоначальный, авторский, написанный материальным пером на материальной бумаге. Это и есть чтение без текста.

«Евгений Онегин» более не доступен для непосредственного прочтения. Вместо романа у нас есть его аура — бесалотная и бесконечная субстанция, неиссякаемый образ совершенства и прасоты.

В конце 5-й главы романа Пушкин спохватывается:

Пора мне сделаться умней,
В делах и в слове поправляться
И эту пятую тетрадь
От отступлений очищать.

Слава Богу, это осталось лишь угрозой (или покетством). Убрать неизбежную банальность, избыточные описания, отступления о ножках и бордо — останется трагедия о рабских и простреленных сердцах. А «Евгений Онегин» — совсем не то.

Это крепкая бодрость; акиа, крестьянин, торжествуя.

Это романтическая любовь: сасна, слезы, гусиное перо.

Это былое веселье: с ананасом золотым, страстью нежной, толпою нимф, щетинами тридцати родов, кавалергарда шпорами, ножкой Терпсихоры, огнем неожиданных эпиграмм.

Это та жизнь, которая должна быть, но нету.

Книжный угол

Раздел ведет Ив. Толстой

«БЕСЕДА»

Религиозно-философский журнал *В* выходит в Париже с 1953 года, всего вышло девять номеров. На титульном листе журнала место названия обозначено «Ленинград—Париж»: такое обозначение — знак непрерывающей связи с родной и ориентации на ту «вторую», неофициальную культуру, которая сложилась в нашем городе а 70-е годы. Основатели и редакторы журнала: Татьяна Михайловна Горичева и ее муж, Павел Рэн, эмигрант из Югославии, много афонский монах. Татьяна Горичева была в 70-е годы в центре культурной жизни «подпольного» Ленинграда. Философ по образованию и интересам (окончила философский факультет ЛГУ), она организовала а Ленинграде совместно с тогдашним своим мужем, поэтом Виктором Криаулиным, религиозно-философский семинар. На семинаре читались доклады о платонизме, об Отцах Церкви, о современных западных теологах. По номеру квартиры на Курлидской улице, 20 назывался и литературный журнал «37», выпускаемый Горичевой и Криаулиным. Он сыграл большую роль в становлении ленинградской «самиздатской» периодики.

Вся ага деятельность вымывала естественное беспокойство аспетей. В июле 1977 г. а журнале «Огонь» появился фельетон некоего Кострова «Вторая ипостась Теодора Форта», где, в частности, говорилось о Криаулине и Горичевой: «Он заимчивый фальфак, она — философский. У обоих — гипертрофированное, уваленное самомолюбие: считают себя неизбежно непризнанными поэтом и философом. Его стихи, ее философские аумные суждения приправлены религией. Но это камуфляж — канье они верующие» («Огонь», 1977, № 27, с. 28).

В 1979 г. Горичева вместе с Мамоновой, Малаховской и Власенской организует а Ленинграде независимое женское движение, первой аией которого был выпуск альманаха «Иенщина и Россия». Альманах был переведен сначала на французский, а затем на многие другие языки и имел большой резонанс. Ответные меры не заставили себя ждать. В июне 1980 г. Горичеву заставили покинуть СССР, как и остальных «феминистов».

Горичева — одна из основных авторов *В*. Ее статья объединяет критический анализ по отношению к современной духовной ситуации на Западе. Характерна а этом смысле ее дневниковая запись, приведенная ею же в статье «Юриди-

ые поновелле» (*В*, № 2). Горичева вспоминает о своем выступлении с лекцией в небольшом истриском городке: «Поклоуи к церкви, читаю объявления: «Ремонт фасада», «Советы для семьи», «Берегите здоровье!», «Гимнастика для мужчин» и наконец «Духовная жизнь в России. Т. Горичева». Самое мое место. Вот чем занята церковь. Мне становится еще тоскливее» (с. 55). Пожалуй, самая критическая по отношению к современной цивилизации статья Горичевой — «Эпоха постнигилизма» (*В*, № 4). В ней она пишет: «...Наступает время постнигилизма. Это не прежний нигилизм противостояния, разрушения, богоборчества и греха. Постнигилизм становится по ту сторону добра и зла, преступления и наказания» (с. 88).

Горичева остро ощущает «банализацию жизни» на Западе: «Все доступно в «свободном мире» и даже сверхдоступно. Пропадает тайна, «аура» вещи. Более всего страдает от банализации жизни именно религия. Ведь тайна тайн — это Церковь. Мы видим, как на Западе церковь часто теряет таинственность, превращаясь а политический провинциальный клуб или, еще хуже, а «бюро услуг»» (с. 86).

Не следует, однако, думать, что Горичева — сторонница упрощенного противопоставления «бездуховного Запада» «духовной России». Она противопоставляет Западу вовсе не современную Россию, а «живую воду» православной традиции. Значение той «духовной брани», которую она несет на страницах *В*, для нас в том, что «экзистенциальный вакуум», обнаруженный ею в антигиталитарном мире, угрожает и нам. Зербиение ценностей, утрата чувства святынного, отрицание аа ненужностью чувства долга а подмена его ложным стремлением и «счастьем» — все это не только «их», но и «наш» проблема. В конце концов фундаментальная проблема человека — обретение им смысла своей жизни — одна и та же по всех странах и при всех режимах.

Другой постоянный автор *В* и представитель журнала а ФРГ — Борис Гройс — философ и теоретик современного искусства. Гройс закончил отделение математической логистики Ленинградского университета. С 1952 г. он живет а Германии, занимается на немском а русском языках. Гройс — теоретик «постмодернистского» искусства. Чтобы дать представление о диаплатоне его интересов — приведем название неко-

торых статей: «О философии», «По ту сторону утопии в антиутопии», «Как жить после постмодернизма?», «Да, Апокалипсис, да, сейчас», «Об индивидуальности».

Одна из задач журнала — знакомить русского читателя с тем новым, что происходит в религиозной и философской мысли Запада. Эту «культуртрегерскую» миссию *В* осуществляет разными путями — это и переводы статей на западной периодики, и рецензии, и интервью редакторов журналов с философами и религиозными деятелями и, наконец, аннотации на только что вышедшие книги. Редакционные интервью появляются почти в каждом номере. Вот имена некоторых из интервьюируемых: Карл Рауер — крупнейший современный католический богослов; Жан-Пьер Роза — редактор католического издания «Новый город»; о. Афанасий (Евтич) — ректор богословского факультета в Белграде; Николай Лобкович — президент Католического университета Айхштетт (ФРГ); Массимо Сороцки — итальянский философ; Вильгельм Ниссен — доктор философии (ФРГ); Карла Мартенс — доктор философии (ФРГ); о. Мари Доменик Чилини — французский богослов, монах-доминиканец; Матия Бечович — сербский поэт.

Почти в каждом из этих интервью есть вопрос об отношении к русской культуре и русской философии в частности. «Собеседники» основателей *В* оценивают русскую философскую традицию достаточно высоко. Приведу два высказывания.

Вильгельм Ниссен: «В отличие от западной философии, а основания русской — глубокий вопрос о вере. Вы можете мне поверить — я учился во многих немецких университетах и теперь уже много лет — духовник здесь, в Кельнском университете, — о таких глубоких вопросах а немецкой философией речь вообще не идет» (Б, № 4, с. 212).

О. Афанасий (Евтич): «Много русских теологов и философов приехало в Сербию после русской революции. Незадолго до переломных их значение для нашей молодой культуры. Может быть, у нас и не было настоящей философской мысли, пока не прибыли русские эмигранты» (Б, № 2, с. 221).

Другая форма знакомства читателей с современной европейской мыслью — рецензии. Перечислю некоторые из оценок, напечатанных на страницах журнала: книга Филиппа Неру «Иисус и проблема зла»; Михаил Серра «Парадиз»; Петер Сатерленд «Критика цинического разума»; Ги Ландро «Дискурс философский и дискурс религиозный»; Джордж Стайнер «Антигоны».

Составители *В* не ставят, однако, перед собой только «культуртрегерские» задачи, они стремятся прежде всего к диалогу с «высшими душами» нашего дня. Так, статья Грета «Да, Апокалипсис, да, сейчас» построена на критическом разборе книги современного французского философа Деррида «О иславно появившемся апокалиптическом тоне а философии». Насыщен-

ны ссылками на современных европейских мыслителей и статьи Горичевой.

Много внимания уделяет *В* православному богословию. Здесь следует прежде всего отметить, печатающийся с № 2 журнала фундаментальный труд профессора Свято-Сергиевского института в Париже, ученика Владимира Лосского — Олаве Клемана «Вопрос о человеке». Это попытка построить христианскую антропологию, опираясь прежде всего на восточную патристику. Знакомит *В* своих читателей и с современной греческой и сербской православной мыслью. В № 4 напечатан обзор «Об современном греческого богословия», в № 9 — сочинения епископа Никейского Иоанна Зизюласа «От маски (личности) к личности» и статья о. Афанасия (Евтича) «Вослание в исихастскую теологию».

Особое место в журнале занимает тема Афона как центра православной духовности. Начал эту тему Павел Рак своим рассказом о паломничестве на Святой Афонскую Гору («Исход Православной Богородицы», — Б, № 2). В № 7 напечатаны «Афонские разговоры», а в № 9 уже появилась особая рубрика «Афон».

Художественная литература рассматривается на страницах журнала прежде всего в связи с религией. Из материалов этого рода хотелось бы отметить статью архимандрита Киприана (Керва) «О религиозном пути Александра Блока», статью известной исследовательницы творчества Цветаевой Вероники Лосской «Цветая — бунтарь» (№ 5) и работу Юрия Глазова «К интерпретации главы «За коньячком» в «Братьях Карамазовых»» (№ 5).

В первых двух номерах *В* был раздел «Поэзия», где были опубликованы стихи ленинградских поэтов: Виктора Кривулина, Елены Шварц, Олега Охалкина, Александра Мирнова и автора этих строк. Попытка рассмотреть феномен религиозной поэзии на материала творчества Шварц, Мирнова, Охалкина и Стратановского была предпринята в статье Евгения Паулихин «В поисках утраченного бегемота» (№ 2).

В последнее время редакторы *В* часто привлекали к Ленинграду. Одним из результатов этих поездок было появление в № 8 журнала рубрики «Круглый стол». Под этой шапкой напечатаны материалы двух дискуссий, состоявшихся на ленинградских квартирах: о ересь и о Бердяеве.

Думаю, уместно оканчить этот ирригный обзор словами из лекции профессора Николая Лобковича, президента Католического университета Айхштетт (№ 3). Охарактеризовав русскую религиозную философию как достойную преемнику византийской патристики, профессор Лобкович сказал: «Я благодарен вашему журналу за то, что он продолжает эти христианские философские традиции России».

С. Стратановский

Р.С. С журналом можно ознакомиться в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щадрина.

СОДЕРЖАНИЕ

Евгений РЕЙН. Четыре стихотворения	3
Н. КАТЕРЛИ. Секция площади. <i>Поэзия</i>	5
Нина КОРОЛЕВА. Мой отец. <i>Стихи</i>	36
А. СОЛЖЕНИЦЫН. Мерт Семидеятство. <i>Роман (продолжение)</i>	38
Владимир УФЛЯНД. <i>Стихи</i>	134
Олег ОХАЛКИН. <i>Стихи</i>	137

ПУБЛИЦИСТИКА

Антон АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО. Кьерке плавач (<i>продолжение</i>)	138
--	-----

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Михаил ИВИН. Освободительная оккупация	158
--	-----

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Адольф УРБАН. О ирвине. Предисловие Андрея Арсеева	171
Виктор КОЗЛОВ. <i>Стихи. Публикация и испугательная заметка М. Земской</i>	180

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Михаил ПЬЯНЫХ. К постижению «русского строя душ» в революционную эпоху (Мвним Горький и Андрей Белый о России)	182
--	-----

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ ЛЕРМОНТОВА

Игорь ЕФИМОВ. Живучий страдалец (Лермонтов глазами русских философов)	189
---	-----

КРИТИКА

Гелия ГАМПЕР. Испытание всурдом (О поэте Андрее Крыжовном)	197
--	-----

УРОКИ ИЗЫЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС. Вместо «Онетия» (Пушкин)	201
---	-----

КНИЖНЫЙ УГОЛ

С. СТРАТАНОВСКИЙ. «Беседа»	205
--------------------------------------	-----

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее двух печатных листов не возвращаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

Сообщаем, что всеми вопросами доставки журнала занимаются местные отделения «Союзпечати». Редакция не имеет свободных экземпляров журнала для рассылки читателям.

SUMMARY

PROSE

Issues № 4—8 publish the fourth and final volume of A. Solzhenitsyn's novel «March 1917» — a part of his world famous epic synthesis of the Russian revolution «The Red Wheels». N. Katerli's «Sennaya squares» is a story about the illusory nature of existence and about a certain fantastic reality which exists side by side with drab and boring everyday life and which can be reached by an individual quite unexpectedly, given some casual circumstance. The story was published both in Russian and in English by «Ardis» (USA) under the title «Barsukov's triangle» in 1981.

POETRY

Though only a small part of the work of the Leningrad poets Evgeny Rein, Nina Koroleva, Vladimir Ufland, Oleg Okhapkin has been published, they have been well known by poetry-lovers since the 60's.

FROM THE LITERARY HERITAGE

A Leningrad literary critic Mikhail Pjanych publishes two essays written in the time of the revolution: «Russian Cruelty» by M. Gorky and «On Russian spirit and „The Spirit“ in Russia» by Andrey Bely. Igor Elmov's essay «The Pearl of Suffering» (Russian philosophers' views on Lermontov) is published to mark the 150th anniversary of Lermontov's death.

CRITICISM

G. Gamper's article on the young poet Andrey Kryzhanovskiy. In the section «The lessons of belles lettres» Peter Veil and Alexander Genis discuss Pushkin's «Eugene Onegin». The section «Book Corners» introduces readers to the magazine «Beseda» published in Paris.

JOURNALISM

The final chapters of Antonov-Ovseenko's narrative «The executioner's career» tell readers about the activities of Stalin's favourite Beria between 1951 and 1953, about the circumstances accompanying Stalin's death and about Beria's end — his trial and execution on the 23rd December 1953. Mikhail Ivin «The liberating occupation». The author of this documentary essay took part in the events he describes. He remembers the invasion of Soviet troops into Latvia and the impression which the prosperous and well-kept Latvia made on the soldiers who came «to liberate it from bourgeois oppression».



РИНТЕКС

ПРИНТЕКС — независимая компания, объединяющая разветвленную сеть предприятий, филиалов и представительств, активно участвующая своими инвестициями в развитии различных современных производств, научных исследований и инноваций, торговли и сервиса, а также компьютерных банковских и управленческих технологий.

В состав учредителей и акционеров ПРИНТЕКСа входят Ленинград и другие крупнейшие ленинградские банки, промышленные и торговые предприятия.

Используя преимущества и экономические льготы ленинградской зоны свободного предпринимательства, ПРИНТЕКС создает советским и иностранным предпринимателям благоприятные условия для их деятельности.

СЕГОДНЯ ДЛЯ ВАС:

ПРИНТЕКС ПРЕДЛАГАЕТ широкий выбор товаров народного потребления. Оплата в СКВ и рублях.

Являясь официальным представителем фирмы Копика (Япония), ПРИНТЕКС ПОСТАВЛЯЕТ копировально-множительную технику, оргтехнику, медицинское оборудование за СКВ.

191126, Ленинград,
Звенигородская ул., 30.
Телефоны: 112-03-02, 112-45-95, 164-98-22.
Телефакс: (812) 164-98-22.